МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ «ВСЕМИРНОЕ СЛОВО». № 15. 2002

# LETTRE INTERNATIONALE

№ 15
2002

М.Юнгрен «И.Шмелев и С.Лагерлёф» ■ К.Азадовский «Элен Кей защищает Горького» ■ А.Блох «Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

Главные редакторы:
**ЕЛЕНА ЧИЖОВА**
**АНТОНИН ЛИМ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**
**Международный журнал**
**«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»**

191011, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 23
телефон/факс: 233-91-85
e-mail vozgreen@medport.ru

**РЕДКОЛЛЕГИЯ:**

КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ
ЕЛЕНА БАЕВСКАЯ
ВАСИЛЬ БЫКОВ
ДАНИИЛ ГРАНИН
БОРИС ДЕНИСОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ДОНДЕ
НИНА КАТЕРЛИ
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ
БЕНЕДИКТ САРНОВ
НИНА СНЕТКОВА
МИХАИЛ ЯСНОВ

Представители «Всемирного слова»:

**в Риме** — РИТА ДЖУЛИАНИ
**в Берлине** — БИРГИТ МЕНЦЕЛЬ
**в Будапеште** — ЛАСЛО ХАЛЛЕР, ЧАБА ХАЙДУ
**в Хельсинки** — ЛИЙСА БЮКЛИНГ

Сотрудники Петербургского издания:

**Леонид Левинский** — ответственный секретарь
**Наталья Русецкая** — редактор
**Галина Лапшова** — художественный редактор
**Ирина Анисимова** — корректор

**Борис Денисовский** — оформление обложки

**Учредитель** — Общество «Всемирное слово»

**Издатель** — Петербургская редакция журнала

Редакция благодарит Елизавету Ренне — старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа — за помощь в подготовке номера.

На первой странице обложки:
Магнус Габриель Делагарди (1622—1686) и Мария Ефросиния Пфальц-Цвейбрюккенская (1625—1687).
*Хендрик Мунникховен. 1653.*

На четвертой странице обложки:
Дом. *Карл Ларссон.*

## СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Цимбал. **Под знаком Полярной звезды**..... 1

**ПЕРВЫЙ ВЕК НОБЕЛЯ**

Абрам Блох. **Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе**..... 5
Магнус Юнггрен. **Иван Шмелев и Сельма Лагерлёф**..... 13
Евгений Пастернак. **Нобелевская премия Бориса Пастернака**..... 17

**РУССКИЕ В ШВЕЦИИ**

Борис Фрезинский. **А.М.Коллонтай и И.Г.Эренбург.** *Шведские страницы*..... 24
Тумас Транстремер. *Стихотворения*..... 34
Александр Львовский. **Двойники и подпольные люди.** *Ф.М.Достоевский и шведская литература 1880—1920-х годов*..... 35
Черстин Экман. **Детство.** *Эссе*..... 40

**ШВЕДСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ**

Людмила Глухова, Ольга Либова. **Шведская литература в фондах библиотек и в чтении россиян**..... 43
Фаина Золотаревская. **Август Стриндберг на петербургской сцене**..... 50
Татьяна Шах-Азизова. **Семейная драма Стриндберга**. *Взгляд со сцены*..... 55
Наталия Толстая. **На берегу лесного озера.** *О поэзии Эдит Сёдергран*..... 58
Тумас Транстремер. *Стихотворения*..... 61
Август Стриндберг. **Романтический пономарь с острова Ронё.** *Рассказ*..... 62

**МИФЫ И АНТИМИФЫ**

Константин Азадовский. **Эллен Кей защищает Горького**..... 71
Эллен Кей. **Вопрос о Горьком**..... 75
Валерий Шубинский. ***«Покой мне не в укор, а просто кара...»*** *О Сергее Петрове*..... 77
Сергей Петров. *Стихотворения*..... 80

**ШВЕДЫ В РОССИИ**

Карл фон Руланд. **Похождения шведского офицера в России (1714 год)** *Вступительная статья, перевод и примечания Ю.Беспятых*..... 82
Бенгт Янгфельдт. **«Храм для поклонения Господу всего мира»**..... 90
Тумас Транстремер. *Стихотворения*..... 96
Фаина Золотаревская. **Несостоявшееся обручение**..... 97

**НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ**

Александр Мусин. **Вверх и вниз по реке времени...** *Страны и народы на путях из «Варяг в Греки»*..... 99
Тумас Транстремер. *Стихотворения*..... 109
Ларс Андерссон. **Киевская весна. В конце одного столетия.** *Отрывок из повести*..... 110

**КАНВА ИСТОРИИ**

Вадим Рогинский. **Александр I и шведский наследный принц Карл Юхан (Бернадот)**..... 118
Адриан Селин. **Новгородцы и шведы в начале XVII века.** *Разыскания в Государственном архиве (Стокгольм)*..... 125
Владимир Лапин. **Россия и ее «малые войны»**..... 129

**P.S.**

Александр Чепуров. **«Оперная война» короля и императрицы: художественный ответ Екатерины Великой в европейском политическом диалоге XVIII века**..... 133

Редакция благодарит Шведский Институт (г. Стокгольм) за финансовую поддержку и лично госпожу Сусанну Конча Эммрих за помощь в подготовке и издании этого номера.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Редакция и редколлегия журнала «Всемирное слово» уведомляет читателей о том, что с 1 января 2002 года книгоиздательство «Всемирное слово» не имеет отношения к нашему журналу.

©«Всемирное слово». № 15. 2002

# Под знаком Полярной звезды

Ирина ЦИМБАЛ

**«Россия — юная сестра европейских наций с юношескими промахами и великими заслугами молодости».**

***Август Стриндберг***

Размышляя о тысячелетних связях России и Швеции, приходишь к ясному выводу: обе страны пали жертвой географии. Сопредельность территорий, схожесть ландшафта, взаимное присутствие надменного соседа (именно соседа, а не вражьего пришельца) — вот совокупная причина неминуемости исторических коллизий. Согласимся с И.Бродским: есть места, где «история неизбежна, как дорожное происшествие», где география и творит историю, вызывая ее к жизни. Наш Северо-Запад — тому подтверждение. Для Петра I география была первична, а любимыми сторонами света навсегда остались Север и Запад. Как, наверное, и для самого Бродского. Драматизм его биографии-географии в том, что он «родился и вырос на другом берегу Балтики, практически на ее противоположной серой шелестящей странице». Иногда в ясные дни, особенно осенью, стоя на пляже где-нибудь в Келломяках, его приятель, указывая пальцем на северо-запад говорил: «Видишь голубую полоску земли? Это Швеция». А что, если вдруг окажешься по ту сторону моря и станешь вглядываться в Россию с противоположного берега? Напрягаешь зрение и за шхерами почти различаешь верхушки сосен, а дальше — покрытый пеленой снега великий и трагический город. Кажется, именно таким он привиделся современной шведской писательнице Биргитте Тротциг, назвавшей свою повесть «По ту сторону моря» .*

Войны, союзы, родственные узы, победы и поражения наших стран (в шведских школах больше знают про Нарву, в русских — про Полтаву) — все это проделки географии-Урании, которая, как известно, старше Клио.

...О чем только ни мечталось великому шведу Августу Стриндбергу... О Нобелевской премии за достижения в науке или, на худой конец, за вклад в отечественную литературу. А еще о том, чтобы его пьесы поставил Станиславский. Ни одна мечта не сбылась. Зато единственной реальной наградой оказалась медаль Русского географического общества за научно атрибутированную карту Джунгарии (Зунгарии), доставленную одним из пленников Полтавской битвы и обнаруженную Стриндбергом в библиотечном архиве. В Петербурге карту опубликовали отдельным изданием, а комментатор (не без поддержки академика Я.Грота) получил большую серебряную медаль за вклад в русскую географию. Единственное официальное поощрение, которого удостоился писатель.

То-то радовался бы Петр I. Не за Стриндберга, разумеется. Пышно празднуя Полтавскую победу, царь усадил шведских генералов за свой пиршественный стол, пил за здоровье «своих учителей» (поверим словам Ключевского) так усердно, что позабыл об остатках разгромленной шведской армии — не стал преследовать. Неутомимые же пленные времени зря не теряли и, дойдя до самого Китая, помогли составить карту этих мест, которая, кажется, только Стриндберга и заинтересовала.

А вот отчего безымянный сортировщик из «Палаты № 6» (о Чехове еще поговорим) грезил о награде и вовсе несоизмеримой с его скромными заслугами, мы уже никогда не узнаем. «Я непременно получу шведскую "Полярную звезду". Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента». Орден, действительно, почетный и описан со знанием дела. Опять же и название его — ураническое. «Полярная звезда», то есть та, чье положение на небе остается неизменным, а значит, она не даст затеряться бедному сортировщику.

С конца XIX века завороженность России Севером становится всеохватной. Открывается железнодорожное сообщение с Финляндией, и художественная интеллигенция, чуждая сервильности и духовной «обрюзглости», устремляется на дачные сезоны именно в те места, где дышится вольнее — предпочитает северное направление «царскому». Журналы, сборники, издательства, развивая складывающуюся традицию, признают в своих названиях лишь одну сторону света — Север. На читателей обрушиваются «Северное сияние», «Северные писатели», «Северные цветы», Северные сборники издательства «Шиповник» и т. д. Экспансия северной культуры или скорее духа, идущего с севера, становится неотвра-

*Слова «по ту сторону моря» — цитата из стихотворения И.Бродского «Шведская музыка».

тимой. Северу готовы поклоняться, как очищающему, хоть и не согревающему свету, ему охотно придают поэтическую харизму, восходящую к Е.Баратынскому. В завещании писателя прочитывают духовное наставление, верят, что этот край выпестовал из него поэта. «Лучшая мечта моей поэтической гордости, — признается он, один из первых российских певцов Севера, — чтобы в память обо мне посещали эти места будущие поэты». К этому завещанию прислушиваются и в наши дни.

«На компасе художественной литературы, — пишет в начале века Юрий Айхенвальд, — стрелка неизменно обращается к Северу. Именно оттуда, — пророчествует автор, — идет на нас какое-то сияние, которое бросает свой необычный отблеск во все глубины человеческого духа». Этот особый эзотерический отблеск упал на все искусства, включая такое материализованное, как архитектура. Нечасто эстетические термины так строго связаны с географией. «Северный модерн» пришел в Петербург из Швеции и Финляндии. Северный гранит — главный материал этих зданий, а в декоре угадывается причудливая тайнопись северных фантазий. Кажется, в унисон модерну возникла мода увенчивать дома вознесенными в поднебесье башнями. Не имея понятия друг о друге, в таких приметных башнях поселились почти одновременно (благо, что дома только что отстроены) Вячеслав Иванов на Таврической (1904) и Август Стриндберг на Дроттнинггатан (1908). В окрестностях Стриндберговской башни (он назвал ее Голубой) не пели соловьи Таврического сада, зато раскинулся живописный сквер с поэтическим названием Тегнерлюнден, где впоследствии установят вызывающе дерзкий памятник великому Августу и пернатые охотно будут устраивать свои концерты.

А.Стриндберг с готовностью взял на себя миссию проводника таинственного северного излучения — призрачно-прозрачного, а потому вероломного света. В этом особом своем предназначении он убедился, читая Бальзака. С Бальзака началось и серьезное и глубокое увлечение шведского писателя творчеством своего именитого философа-соотечественника Э. Сведенборга. Сведенборг — «Северный Будда», без которого Бальзак едва ли написал бы «Серафиту» и «Луи Ламбера» (самое невнятное из того, что создал автор «Человеческой комедии»), вдохновивших Стриндберга в момент тяжелейшего душевного кризиса совершить путешествие в Ад («Inferno») .

Вскоре после смерти Стриндберга Георг Брандес не без иронии будет вспоминать, как великий писатель без тени усмешки цитировал Бальзака: «И снова свет придет с Севера». Ведь это было предсказанием о приходе в мир нового Мессии — его самого. «А, может, Бальзак имел в виду Ибсена», — не унимался саркастичный Брандес. «Ничуть не бывало, — следовал ответ. На этот счет не может быть двух мнений».

Зато совсем по-иному воспринял и северных писателей, и излучаемый ими зыбкий свет Эдмон Гонкур — современник Стриндберга и соотечественник Бальзака. Скандинавия и Россия означали для француза (надо полагать не для него одного) единое пространство, покрытое мрачной пеленой неизвестности. А сомнительные художественные идеи, просочившиеся оттуда и овладевшие серьезными умами, задевали его здравый галльский ум. «Давайте оставим «славянский (!) туман» на совести русских и норвежцев, — брюзжал он на страницах *Эко де Пари*. — Не позволим ему затуманить наши ясные головы. А уж если и придется искать среди современных драматургов пример для подражания, то это будут не Толстой и не Ибсен, а наш несравненный Бомарше». (Заметим в скобках, что Гонкур нетверд не только в географии, но и в этнографии, и Стриндберг для него датчанин).

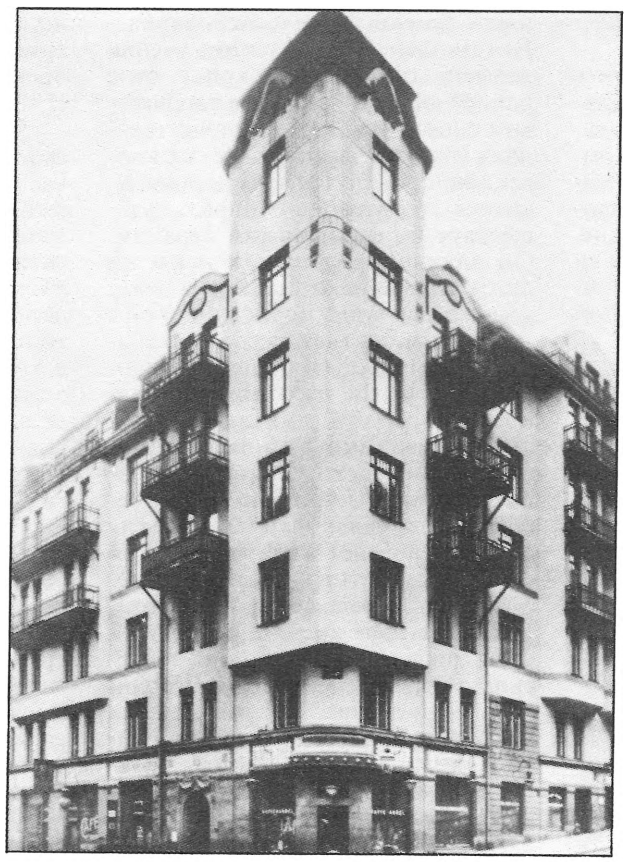
Вот и для России Швеция всегда рядом и всегда в отдалении. Путь к ней недолог, но непрост. Установившийся мир сблизил страны скорее на техническом, бытовом уровне. Большая политика переместилась на Запад, язык так и остался невнятным (попробуйте отыскать шведские mots в родной лексике), а что до высот духа, то и здесь у шведов нашлись сильные европейские соперники. Шведенборг (в тогдашней транскрипции) — всеобщее увлечение русских романтиков начала века — отступал вместе с романтизмом, хотя и оставил заметный, не до конца еще освоенный след. Ведь не случайно Пушкин, знавший толк в сумрачных гениях, вынес эпиграфом к V главе «Пиковой дамы» именно слова Сведенборга, а непримиримый к ересям Достоевский (в целом не принявший учения шведского мистика) назовет его книгу о духах и Аде «искренней и нелживой».

Кстати, и заглавное L в систематике растений за последние три века еще никто не отменил. Классификация Карла Линнея сохраняется и по сей день как первооснова ботанической науки, русской в том числе. Заметим в скобках, что в 1734 году Э.Сведенборг получил звание члена-корреспондента С-Петербургской академии наук за свод научных работ. Оба ученых принадлежат «золотому веку» Густава III. А в конце позапрошлого века мало что располагало к шведомании, и в этом отчасти повинны сами скандинавы. Менее всего они желали остаться в заточении на своем полуострове — заповеднике легендарных викингов. Напротив, душа их неудержимо рвалась в Европу. Слиться с ней, изучать языки, проникать в бездны новейших эстетических идей, не теряя самоидентичности, — такова была мечта просвещенных шведов. И они ринулись в Париж, вполне успешно осваивая его духовное пространство. Но в поле зрения шведов оказываются и Толстой и Достоевский, хотя до глубинного постижения русских человековедов им еще далеко. Желание шведов не оказаться на обочине мировой цивилизации лучше других выразил Стриндберг. Называться скандинавом, по его словам, вовсе не значит «оказаться заживо погребенным с тремя мертвыми языками». Он-то знал секрет, как, оставаясь шведом, ощущать себя европейцем, завсегдатаем Парижа, Вены и Берлина.

После учреждения премии Альфреда Нобеля многое изменилось в отношениях Швеции с миром. В 1900 году Швеция берет на себя роль авторитетного арбитра во всех областях научных штудий: от точных и естественных до гуманитарных. Хотя в первый же год присвоения премии по литературе вышел казус, и Стриндбергу в числе еще 42 писателей пришлось извиняться перед Л.Толстым за неприсужденную ему награду. Впрочем, и сам Стриндберг никогда не станет ее лауреатом и придумает ей замену под названием «антинобелевская».

Позже, чем в других странах, голос Стриндберга зазвучал в России (на необходимости перевода его произведений на русский категорически настаивала Софья Ковалевская, молодой профессор молодого Стокгольмского университета). Но зато его творчество мощным эхом отозвалось в душах русских поэтов, в первую очередь символистов. А.Блок всерьез сетовал на то, что В.Пяст представил ему великого Августа, а не наоборот. А.Белый, склонный к мистицизму, прочитав «Inferno», был глубоко потрясен «своим

родным страданием». Для Блока Стриндберг надолго остается безошибочным сейсмографом внутренних вибраций, неблагополучия и разлада с самим собой в самые отчаянные моменты жизни. Избирательное сродство двух страдальцев подтверждают не столько научные статьи, сколько зашифрованные ссылки на Стриндберга в блоковских записных книжках, словно шведский писатель и в самом деле посылает русскому поэту знаки-сигналы через сведенборговских ангелов. Жесткий северный голос Стриндберга оберегает от опасности, помогает разрешить трагически неразрешимое. «Стриндберговские препятствия. Пути ясные, очевидные. Все преодолены», или «Сегодня было маленькое предостережение стриндберговского характера». Какое-то время Блок неразлучен со Стриндбергом, как Данте с Вергилием. Он ведет с ним нервически взвинченный диалог, больше напоминающий разговор с самим собой. «Майская петербургская стриндберговщина», — слышим мы приглушенный голос великого поэта. Оказывается, она отталкивает его (и, надо полагать, Стриндберга) особым «кишением улиц». Вырвавшиеся на волю пошлые инстинкты, вид их весеннего брожения, равно ненавистен им обоим. Для Блока Стриндберг — не общешведский тип. Он обнаруживает в писателе суровость и праздничность «нового человека», не чуждые и русской натуре.



«Голубая башня» А.Стриндберга.

Тем временем интерес к Стриндбергу проявляется по-разному. Поэт и переводчик Юргис Балтрушайтис обращается к Чехову за рекомендательным письмом к шведским издателям. Намечается — впрочем, так и не состоявшаяся — его поездка с Чеховым в Скандинавию, которая давно и очень сильно манила Чехова. В Стриндберге-прозаике Чехов раньше других обнаружил талант «силы не совсем обыкновенной», хотя с трудом представлял себе «Фрёкен Жюли» на сцене. Внимательный анализ показывает, что автор «Вишневого сада» близок Стриндбергу не только «темой конца», но и очевидной новизной театральных идей, заложенных в драматургии. Недаром проницательный критик А.Кугель, первым заговоривший о чеховском символизме, связывает творчество писателя не только с Метерлинком, но и со шведско-немецкой традицией.

И Стриндберг и Чехов принадлежали одному времени. Они родились в середине XIX века и завершили свой путь раньше, чем началась Первая мировая война. Оба не были удостоены Нобелевской премии. Оба выступили реформаторами отечественного театра и оттого легко перешагнули в XXI век. Сегодня уже ясно, что разговор «с городом и миром» они ведут прежде всего на языке театра. И у «таганрогского мещанина», и у «сына служанки» на полках зачастую стояли одни и те же книги, что, впрочем, не так удивительно, когда речь идет о современниках. Оба заслушивались сонатами Бетховена и открывали для себя новомодное искусство Арнольда Бёклина. Для своего Интимного театра Стриндберг выбрал «Остров мертвых». Чехов, по совету В.Чумикова, переводчика на немецкий, отправлял Бёклина — в Таганрогский музей, над которым взял шефство. Среди отправленных картин — «Одиссей и Каллипсо». Чумиков в восторге оттого, что Чехов согласен разделить его пристрастия: «Сердечно рад, что Бёклин Вам понравился, столько грусти и тоски можно прочитать в одной спине Одиссея? <...>»

Естественник и мистик оказались ближе друг к другу, чем можно было предположить. Гротескный, беспощадный в своих приговорах «тревожитель» человеческой души Стриндберг и мягкий, но ироничный «врачеватель» душ Чехов. Именно сейчас в начале нового тысячелетия нам особенно слышно, как они посылают друг другу сигналы, перекликаются и аукаются. Театральные режиссеры, расслышавшие эту внутреннюю перекличку, охотно ужесточают, «стриндбергизируют» Чехова, и резкость красок шведской палитры лишь помогает проявить «стыдливую тонкость чеховских символов» (В.Набоков). Чеховские же настроения, тайна, недосказанная в словах, органично прививаются к стриндберговским попыткам разгадать вечную «игру снов».

Чехов мечтал увидеть Скандинавию, ощутить ее географическое, этническое, культурное своеобразие. В письме к Лейкину Чехов прямо признается: «На Стокгольм и шведов хочется взглянуть». В письме к О.Книппер строит планы: «мы, т.е. ты и я поедем вместе в Швецию и Норвегию <...> Будет о чем вспоминать под старость». Так и осталась чеховская мечта неутоленной. Зато в рассказах нет-нет да и являются неприкаянные скандинавские тени. Вспомним «Рассказ старшего садовника» Михаила Карловича и поведанную им историю-легенду, которую он слышал еще от шведской бабки. Чехову идея рассказа явно дорога: вера в человека вопреки фактам, рассудку, логике обстоятельств. Оказывается, поверить в человека труднее, чем уверовать в Бога, но это — необходимо. Так и слышишь отголосок стриндберговского «Жалко людей». Да и «Черный монах», с его высоким «чувством жизни», попадись он на глаза Стриндбергу (а ведь мог — в 1903 году повесть вышла в английском переводе), непременно вовлек бы писателей в философический диалог. Оба интересовались проблемами психиатрии и прочли поверхностного популяризатора Мак-

са Нордау. Однако здесь проступает некоторое различие: каждый вычитал свое. Чехов (как, впрочем, и Блок) резко отмежевывается от умозаключений немецкого публициста.

Житейская проза и духовное воспарение несовместимы — в этом исповедальность «Черного монаха», его глубочайший драматизм. Чтобы преодолеть несовместимость, нужна энергия действия, явленная в напряжении воли: выбраться из своей оболочки и принять двойственность себя самого — реально существующего и иллюзорного.

«Зачем Гамлету было хлопотать о видениях после смерти, — задавался вопросом Чехов, — когда самое жизнь посещают видения пострашнее?»... Пригоден ли современный мир для обитания? Этим вопросом мучаются и Стриндберг и Чехов. Прежде всего их интересуют задачи и возможности театра, его способность добраться до жизни истинной и ненадуманной.

Предпосылки этих размышлений в России возникли раньше — если в качестве точки отсчета взять приблизительную дату рождения нового театра, то есть 1898 год, — в Швеции — позже. (Заметим в скобках, что в те годы, когда МХТ уже приобрел мировую славу, в драматической школе при Стокгольмском королевском театре Грета Густафсон, будущая Грета Гарбо, загадочная звезда мирового небосклона, еще ходила в скромных ученицах).

На сценах Петербурга, города политеатрального и невольно оказавшегося на пересечении театральных культур, уже давно играли на многих языках. Германия, Франция, Италия посылали на невские берега своих актерских полпредов, многие из которых обосновывались здесь надолго, создавая постоянные труппы. Но, поскольку шведская диаспора числилась по немецкому ведомству (видимо, конфессиональная принадлежность играла важнейшую роль), ни о каких драматических гастролях шведов нам почти ничего не известно.

Первым из гастролеров, удостоившихся особого упоминания, оказался легендарный Август Линдберг. В 1895 году, очевидно на великопостных неделях (дело было в марте), Петербург познакомился с образцом скандинавского сценического искусства. Лучший Гамлет шведской сцены XIX века, актер, чей талант не оставил равнодушным ни Ибсена, ни Стриндберга, дал спектакль в Благородном собрании. Он представил публике отрывки из «Пер Гюнта» в сопровождении музыки Э.Грига. Судя по прессе, это был моноспектакль, в котором решалась особая задача: умелым композиционным приемом раскрыть философско-поэтическую природу ибсеновской мистерии. В своих воспоминаниях актер восторгается красотой северной столицы, которую собирался посетить еще не раз.

Неделю спустя в Петербурге появился еще один посланник шведской культуры: Свен Шоландер, личность своеобычная и легендарная. Потомственный архитектор, ученик знаменитого Шарля Гарнье, он с ранней юности увлекался творчеством своего великого соотечественника Карла Бельмона, а также коллекционировал chansons populaires, которые тщательно отбирал, путешествуя по европейским странам. Он овладел искусством игры на лютне и, имея некоторые вокальные данные, выступал перед публикой с маленькими драматическими сценами. Необычное сочетание старинного инструмента, полузабытых и заново воскрешаемых мелодий, а главное новизна самого жанра, вызывали бурный восторг присутствующих. Концерты проходили в помещении музыкальной школы на углу Невского проспекта и Большой Морской. Вблизи этого района Петербурга традиционно селились шведы. Газета «Новое время», редко удостаивавшая гастролеров критических отзывов, сделала для Шоландера исключение. Чуткая критика уловила в виртуозных экспериментах Шоландера перспективы дальнейшего развития самого жанра и настойчиво рекомендовала русским актерам внимательно отнестись к искусству шведского гостя. Свен Шоландер, развивал свою мысль критик, мастерски демонстрирует этот неизвестный дотоле в России род «мимико-драматической песни», получивший широкое распространение в Европе в Средние века, а затем подхваченный французскими шансонье. Песни эти столь выразительны, живы, красочны и театральны, что русские певцы, обладающие скромными вокальными данными, непременно должны культивировать это искусство. Едва ли восприимчивые русские актеры оставили без внимания гастроли «северного барда». Во всяком случае, в конце XIX века жанр мелодекламации обретает вполне почетный статус, который сохраняется за ним и по сей день. Однако при этом мало кто вспоминает Свена Шоландера. Точнее, не вспоминает никто.

В театре и кинематографе Швеции XX век — это эпоха гениального Бергмана (хотя сами шведы — противники высоких эпитетов). Его бесценный опыт человековедения уже давно стал частью мировой культуры, российской в том числе. К сожалению, сам Бергман был мало знаком с российским кино, за исключением, пожалуй, фильмов Андрея Тарковского. Правда, в одном из своих давних интервью он упомянул актера, с которым был бы не прочь поработать: «такого длинного, сыгравшего Дон Кихота». Бергман оценил талант и масштаб личности Н.Черкасова.

Что касается современного шведского театра, здесь русский след подчас обнаруживает себя и самым неожиданным образом. Я имею в виду творчество ныне покойного актера Аллана Эдваля, его маленький театр в Стокгольме на Брунсгатан (Колодезной улице) дом 4. Спектакль, который мне посчастливилось увидеть в этом «театре одного актера» состоит из двух частей: «Дом» (не правда ли, веет чем-то русским) и «Крокодил» по повести Ф.Достоевского «Крокодил, необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже».

Свой «Дом» Аллан Эдваль сочинил и сыграл сам. Аскетичная декорация: угловое окно, несколько фотографий на стене, на заднике густое переплетение труб, словно стена, открытая залу, заткана ими, как паутиной. Подполье жилья и души «маленького человека», замкнутое, почти безвоздушное пространство повседневной, одинокой жизни. Невольно представляешь себе, что Макар Девушкин начнет здесь свою горькую исповедь, или появится Акакий Акакиевич, грезящий о «Шинели». Но этот спектакль — шведский, все в нем неуловимо пронизано шведской экзистенциальностью. Это не что иное, как стоическая борьба с пустотой, преодоление и «заговаривание» одиночества. На программке спектакля изображен колодезный журавль и написано: «Чтобы добыть свежую воду, приходится долго копать, пока не обнаружишь источник».

ПЕРВЫЙ ВЕК НОБЕЛЯ

# Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе

Абрам БЛОХ

Невозможно подобрать для характеристики ушедшего в бездну времени двадцатого столетия более яркого культурологического явления, чем феномен Нобелевской премии. Явление, которое не только увековечило в памяти человечества светлый образ Альфреда Нобеля — это само собою. Не только сформировало неповторимый имидж для его родины, а рядовую европейскую столицу превратило поистине в Мекку современного интеллектуализма — подобное восприятие сегодняшнего дня Швеции тоже лежит на поверхности.

Главной отличительной метой этого феномена представляется, в антураже прошедших десятилетий, все же нечто менее заметное для неподготовленного глаза. А именно Устав Нобелевского фонда — уникальный инструмент международного поиска и келейного выбора достойнейших из достойных, созданный шведскими академиками на исходе XIX века. Именно это творение коллективного гения сделало учрежденные Нобелем награды теми международными премиями, равных которым не было и нет в истории цивилизации и едва ли появятся в обозримом будущем.

Сказанное не следует воспринимать как утверждение, что у нобелевских учреждений, включая Шведскую академию — наделителя премий по литературе, не было досадных упущений и сомнительных награждений. Все это случалось, и не один раз. Ведь выбор осуществляют люди с их иррациональными комплексами, а небездушные, хорошо отлаженные машины. Но ошибки, имевшие место, являлись ошибками учреждений-наделителей, а не следствием давления извне — со стороны властных структур, авторитетных ходатаев или хотя бы расхожего общественного мнения. На страже законности стоят уставные требования полной конфиденциальности в работе комитетов и учреждений-наделителей. Эти требования распространяются не только на членов нобелевских учреждений, но и на привлекаемых со стороны экспертов, номинаторов, получающих от комитетов приглашения на выдвижение своих кандидатов на очередную нобелевскую награду, и т. д.

Текст Устава, подписанный королем Швеции Оскаром II 29 июня 1900 года, однако, не является чем-то раз и навсегда затверженным. Время от времени отдельные его положения, признанные устаревшими, постановлением правительства Швеции подвергаются изменениям и уточнениям. Одно из значимых новых положений появилось в Уставе в 1974 году. Был установлен 50-летний срок закрытого хранения материалов нобелевских комитетов. Так в научный оборот был включен огромный массив неизвестных до того архивных сведений.

Рассекречивание архивной документации каждого последующего года происходит 2 января. Тем самым на сегодняшний день открытыми для исследователя стали материалы о претендентах на нобелевские награды по 1951 год включительно. Однако, до того как перейти к рассмотрению происходивших с 1901 по 1951 год в Нобелевском комитете по литературе обсуждений кандидатур из числа представителей русской словесности, целесообразно остановиться на одном странном документе, появившемся на исходе 1955 года.

В протоколе № 13 заседания бюро отделения физико-математических наук АН СССР от 1 ноября имеется, среди прочих, пункт 19, дословно гласящий о следующем: «Бюро Отделения не считает целесообразным выдвижение советских ученых на Нобелевскую премию, так как, по мнению членов бюро Отделения, эту премию нельзя считать международной, ввиду того что Нобелевский комитет в свое время не считал нужным присудить эту премию выдающимся деятелям науки и культуры нашей страны (Д.И.Менделеев, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.Горький)».[1]

Проведенный автором поиск достаточно достоверно позволил прийти к выводу, что пункт 19 сфальсифицирован и подпечатан в текст протокола через две с лишним недели после заседания бюро; у главного ученого секретаря АН СССР и у иностранного отдела академии, явных инициаторов такого добавления, на то имелись свои резоны.[2] Оставляя за скобками фигуру Д.И.Менделеева,[3] к кандидатурам Толстого и Горького вернемся ниже. Здесь же остановимся на Чехове, за отсутствие которого в числе нобелевских лауреатов на шведов обиделись авторы этого примечательного документа.

Дело прежде всего в том, что Чехова никто на Нобелевскую премию не выдвигал. Популярность на Западе писатель приобрел уже после кончины в 1904 году и потому не мог привлечь внимание иностранных номинаторов. Но и на родине, среди тех, кто владел правом выдвигать своих кандидатов, не нашлось ценителя его творчества. Вот дневниковая запись великого князя Константина Константиновича, президента Императорской академии наук и почетного академика Разряда изящной словесности, члены которого имели право ежегодного номинирования: «Прочел... глупую статью Куприна "Памяти Чехова",[4] — писал 18.06 (1.07) 1905 великий князь, — в которой скончавшийся в прошлом году литератор выставлялся "великим писателем", чуть не гением, обладавшим необыкновенно прекрасным слогом, и приводятся... разные его далеко не остроумные словечки».[5] Пассаж великого князя и поэта К.Р. перекликается по внутреннему своему содержанию с отношением консервативной прессы к чеховскому творчеству. Суворинская газета «Новое время», подводя итоги ушедшего XIX столетия и коснувшись нарождавшихся в литературе декадентских течений, к представителям упадочной словесности отнесла и Чехова вместе с Горьким, «вытолкнувших на арену литературы своих неврастеников и идеализированных босяков».[6]

Не то было с кандидатурой Льва Толстого. Сразу после обнародова-

ния в начале 1897 года текста завещания Альфреда Нобеля мировая печать обрушила на читателя бездну домыслов на тему о том, кого из писателей первым увенчают лаврами нобелевского лауреата. Доминировал в предположениях Лев Толстой. Потому, когда 10 декабря 1901 года было объявлено решение Шведской академии о присуждении награды малоизвестному французскому лирику Сюлли-Прюдому, по Швеции прокатилась волна протестов.

Наибольший резонанс получил адрес-протест группы шведских интеллектуалов. Автором его стал виднейший литературовед, профессор истории литературы Стокгольмского университета Оскар-Ивар Левертин. Под протестом было 42 подписи, в том числе лидера шведской литературы Августа Стриндберга, будущего нобелевского лауреата Сельмы Лагерлёф и других. Обращаясь к Толстому и видя в нем «глубокочтимого патриарха современной литературы», они свою «потребность обратиться... с этим приветствием» объяснили тем, что «учреждение, на которое было возложено присуждение литературной премии, не представляет в настоящем своем составе ни мнения писателей-художников, ни общественного мнения».[7]

В столь уничижительной оценке членов Шведской академии, конечно, содержалось зерно истины. Но сами по себе претензии к кандидатуре Толстого были безосновательными. Среди 25 претендентов, выдвинутых на премию 1901 года, великого писателя попросту не оказалось. Оттого и основания для рассмотрения его в качестве претендента на награду у комитета отсутствовали.

Надо сказать, что контингент номинантов 1901 года вообще был представлен по преимуществу малоизвестными тружениками пера. Те, кто откликнулся на приглашение Нобелевского комитета прислать свои предложения, еще не успели осознать, что рекомендуют своих протеже на награду, которой предназначено стать самой престижной для нового столетия. В списке претендентов, зафиксированных комитетом, знаковых кандидатов было всего два — Эмиль Золя и Генрик Сенкевич; последний, кстати, был подданным Российской империи. На правах парадокса нелишне отметить, что имена двух достойнейших претендентов на первую премию — Льва Толстого и Генрика Ибсена — все-таки прозвучали в одной из полученных номинаций. Норвежский номинатор из Христиании (ныне Осло) Кристиан Бирх-Рейхервальд предложил от себя кандидатуру парижского литературоведа, выходца из России Осипа Лурье за опубликованные в 1899 и 1900 годах труды, посвященные анализу творчества обоих гигантов словесности минувшего XIX века.

Скандал с кандидатурой Толстого не забылся и сыграл свою роль, когда наступило время очередной кампании номинирования, теперь уже на премию 1902 года. Имя русского писателя фигурировало в четырех номинациях. Исправил собственное упущение, допущенное в прошлом году, инициатор адреса-протеста профессор Левертин. Среди французских номинаторов — член Французской академии, драматург и писатель Леон Галеви. По сравнению с другими авторами номинаций в пользу Толстого Галеви зарекомендовал себя наиболее верным поклонником его таланта; все пятилетие, с 1902 по 1906 год, пока в Нобелевский комитет приходили предложения присудить премию русскому писателю, французский академик неизменно был в числе выдвигавших его.

История с обсуждением в Нобелевском комитете кандидатуры Льва Николаевича подробно рассмотрена в монографии Челя Эспмарка, видного знатока нобелевских номинаций, члена комитета с 1988 года, а в настоящее время его председателя[8]. Задавая себе вопрос, почему Толстой не стал нобелевским лауреатом, сам же на него и отвечает: все дело было в критериях выбора. Сложившаяся в комитете система рассмотрения и избрания определялась в то время консервативными взглядами Карла Давида Вирсена, постоянного секретаря Шведской академии и председателя Нобелевского комитета.

«Эпоха Вирсена», как именуется первое десятилетие функционирования нобелевских учреждений по разделу литературы, определялась следующей нормой выбора — награды заслуживает тот, кто в своем творчестве руководствуется критериями «высокого и здорового идеализма». Наиболее четко такой подход был сформулирован, на примере разбора творческого пути Льва Толстого, в заключении Нобелевского комитета в 1905 году, когда писателя выдвинул 21 номинатор из Норвегии, Финляндии и Франции.

«При всем восхищении многими произведениями Толстого, — формулировали члены комитета, — следует задаться вопросом, насколько, в сущности, здоров идеализм писателя, когда в его особенно великолепном произведении "Война и мир" слепой случай играет столь значительную роль в известных исторических событиях, когда в "Крейцеровой сонате" осуждается близость между супругами и когда во многих его произведениях отвергается не только церковь, но и государство, даже право на частную собственность, которой он сам столь непоследовательно пользуется, когда оспаривается право народа и индивидуума на самозащиту».[9]

В заключении 1905 года неприятие творчества Толстого предстает в наиболее рафинированном виде. Возможно, фундаментальность в изложении своей позиции стала для Нобелевского комитета как бы ответной реакцией на поступившее в комитет рекордное число номинаций. Однако и в 1902 году, при всех содержавшихся реверансах, содержание последнего не оставляло поклонникам творчества гениального художника слова никаких надежд на положительный вердикт адептов «эпохи Вирсена».

Не ставя под сомнение место, занимаемое Толстым в спектре современной мировой литературы, видя в нем бытописца «высочайшего класса», склоняясь перед такими «бессмертными творениями», как «Война и мир», «Анна Каренина», и подчеркивая, что было бы «сравнительно легко отдать пальму литературного первенства этому великому русскому писателю», авторы заключения 1902 года переходят затем к анализу его позднего творчества. И здесь их пафос становится беспощадным. «Воскресение» у них «рождает чувство нравственного негодования», «Власть тьмы» ужасает «зловещими натуралистическими картинами», «Крейцерова соната» неприемлема проповедью «негативного аскетизма». Для них недопустима толстовская критика государства и церкви, толкование Нового Завета «в полурационально-полумистическом духе»[10].

Но Лев Толстой — не единственный изгой для критериев «эпохи Вирсена». В 1901 году шведские академики дружно отклонили кандидатуру Эмиля Золя, казавшуюся приоритетной среди номинантов того года, впоследствии их не устраивал символизм Генрика Ибсена и т. д. То есть не только могучая фигура Толстого не умещалась в прокрустовом ложе «здорового идеализма».

В коллизиях, связанных с рассмотрением кандидатуры Толстого в

Нобелевском комитете, обращает на себя внимание еще одно небезынтересное обстоятельство. Среди его номинаторов не оказалось ни одного нашего соотечественника, если за таковых не считать почти два десятка членов академического общества Финляндии, номинально подданных империи, подавших голоса за Толстого на премию 1905 года. Больше никто из россиян в регистрационных книгах Нобелевского комитета не числился. Правда, попытка выдвинуть кандидатуру Толстого на Нобелевскую премию предпринималась несколькими почетными академиками Разряда изящной словесности Академии наук в конце 1905 года, но завершилась она крахом. Эта постыдная история заслуживает особого рассмотрения.

Начало оживлению в академическом отделении русского языка и словесности дало письмо от упоминавшегося К.Д.Вирсена, направленное 8 ноября 1905 года на имя непременного секретаря Императорской академии наук С.Ф.Ольденбурга. В письме председатель Нобелевского комитета заметил, что действительные члены отделения владеют правом номинирования своих кандидатов и просил «напомнить им об этом праве, передав прилагаемые при сем циркулярные письма».[11] О полученном напоминании 5 (18) ноября было доложено на заседании отделения, и его участники постановили письмо Вирсена «принять к сведению и назначить на вторник 8-го сего ноября в два часа пополудни соединенное заседание отделения и Разряда изящной словесности».[12]

На следующий день, во исполнение принятого постановления, председательствовавший на прошлом заседании академик А.Н.Веселовский направил приглашение в числе других и почетному академику К.Р. В верноподданнейшем послании сообщалось, что разбираться будет вопрос «о предоставлении кандидатов на награждение ПРЕМИЕЙ НОБЕЛЯ за литературные заслуги», и потому «имею честь... покорнейше просить ВАС пожаловать в означенное заседание для суждения по сему делу».[13]

В те дни страну сотрясали революционные столкновения. Великий князь пребывал в меланхолии и обиде на всех и на заседание не поехал. В дневнике же, который педантично заполнялся много лет подряд, в записи от 9 ноября зафиксировал свое настроение в тот момент в следующих словах: «В город не ездил. Надо было бы в Академию, но появляться там сильно неохота по причине противоправительственного, если не прямо революционного, настроения многих академиков».[14]

Заседание, тем не менее, состоялось. В итоговом резюме члены Разряда изящной словесности, как явствует из протокольной записи, постановили «единогласно внести в список кандидатов от Императорской Академии Наук имя графа Льва Николаевича Толстого и просить почетного академика К.К.Арсеньева составить мотивированную записку о предложении кандидатом графа Льва Толстого и об его важнейших произведениях, особенно за последнее время,[15] чтобы указать на его преимущественное право на получение премии Нобеля в будущем году как одного из виднейших писателей нашего времени, так много поработавшего в той области, для почтения коей и учреждены Нобелем самые премии».[16]

Месяц с лишним спустя, 19 декабря 1905 (1 января 1906) года, на очередном заседании членов Разряда текст представления, подготовленного Арсеньевым, был заслушан и участников собрания не удовлетворил. Большинством голосов собрание «постановило... просить орд. акад. Н.П.Кондакова и поч. акад. А.Ф.Кони... представить к следующему заседанию записку о кандидатуре гр. Л.Н.Толстого на премию Нобеля в расширенной редакции».[17] Упомянутую записку члены Разряда рассмотрели и одобрили 7 (20) января 1906 года и направили для перевода на французский язык, а ее автору Кони поручили этот перевод отредактировать.[18] На первой странице канцелярской копии перевода, аккуратно хранящегося в архивной папке, красуется все разъясняющая запись: «Послано 19 января 1906 г. за № 113».[19] То есть по григорианскому календарю — 1 февраля. Как раз в тот день, когда прием номинаций на 1906 год уже был прекращен. Оттого и не удалось найти следы этого представления в регистрационной книге Нобелевского комитета.

Что это — разгильдяйство или умысел? Нет ответа...

Конечно, даже если номинация Кондакова и Кони вовремя добралась до Стокгольма, ничего бы она там не изменила. В противоположность тем, кто жил сто лет назад, современному исследователю хорошо известна непримиримая позиция в отношении Льва Толстого не только Вирсена, но и остальных членов комитета. Оттого в описанной академической коллизии основное внимание привлекает антураж, на фоне которого происходили петербургские дебаты.

Яркие впечатления о проходивших обсуждениях увековечил для потомства А.Ф.Кони. В главных своих чертах атмосфера их удивительно напоминала настроения, господствовавшие в Нобелевском комитете. Упоминая о заседании 19 декабря 1905 года, Кони писал: «...возникли возражения, вообще по поводу указания на Толстого. Одни находили, что "Великий грех"[20] есть слабое произведение и что, за неимением ничего другого, лучше отказаться от представления кого-либо, другие находили, что Академия не может отделять политико-литературную деятельность Толстого от его беллетристики — и ввиду характера первой из них не может указывать на Толстого как на достойного премии и, наконец, третьи признавали, что Толстой в сущности популяризирует Евангелие, сущность которого ist Langst uberwunderer Punkt,[21] и считали, что такая проповедь не только неуместна, но даже вредна во времена "освободительного движения"».[22]

Неспособность членов Шведской академии преодолеть свой консерватизм и воспринять фигуру Толстого в том масштабе, какого она заслуживала, конечно, их не украсила. Но негоже забывать и о вкладе отечественных интеллектуалов начала XX столетия, своим дружным молчанием объективно способствовавших негативному настрою большинства голосующих членов учреждения-наделителя. И в зеркале приведенных фактов особенно неприглядно выглядит упомянутый выше приснопамятный пассаж 1955 года, вписанный задним числом в протокол академического отделения невежественными управленцами «в штатском» из президиума АН СССР. Неуместность подобных попреков в адрес нобелевских учреждений касалась не только Менделеева,[23] Толстого и Чехова, но и Максима Горького.

Горький был широко известен за рубежом еще до начала функционирования системы нобелевских награждений. Вот яркий пример его популярности в мире. Парижская газета «Фигаро» осенью 1901 года, в рамках готовившегося празднества по случаю исполнявшегося 26 февраля 1902 года столетия со дня рождения Виктора Гюго, предложила устроить в Париже торжественное шествие выдающихся представителей новой литературы мира. Францию в этой колонне, по наметкам газеты, должен был представлять

Эдмон Ростан, Италию — Габриэле Д'Аннунцио, Германию — Герхарт Гауптман, Великобританию — Редьярд Киплинг. Кандидатом же от России предлагался не кто иной, как Максим Горький.[24]

Пример этот приводится с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть, что кандидатура «буревестника революции», конечно, не могла не быть представлена среди номинантов Нобелевского комитета. Она там и имелась. Причем, как и в случае с Львом Толстым, соотечественников писателя среди выдвигавших его кандидатуру опять же не оказалось ни одного...

Представлялся Горький на Нобелевскую премию четырежды. Впервые это произошло в 1918 году, когда его номинатором стал профессор литературы в Гётеборгском университете (Швеция) Б.Хассельберг; выдвинул он русского писателя вместе с кандидатурой немецкого христианского литератора пастора Г.Френсена. Следующее выдвижение было в 1923 году, когда Горький жил за границей. Номинировал его, вместе с двумя другими эмигрантами И.А.Буниным и К.Д.Бальмонтом, лауреат Нобелевской премии 1915 года Ромен Роллан. В 1928 году, теперь уже индивидуально, его предложили два члена Шведской академии — нобелевский лауреат Вернер фон Хайденстам и профессор Т.Хедберг. И, наконец, в 1933 году номинатором Горького стал профессор славянских языков из университета в Луде (Швеция) поэт и лингвист Пер Сигурд Агрелл; с 1930 года он ежегодно номинировал И.А.Бунина и Д.С.Мережковского, а в этот раз предложил Нобелевскому комитету вариант — Бунин и Мережковский или Бунин и Горький.

Ходили слухи, что Горький номинирован был также в 1932 году. Об этом информировала свое начальство в Москве посланник СССР в Стокгольме А.М.Коллонтай.[25] Однако эти сведения не соответствовали действительности.

История с рассмотрением кандидатуры Горького в Нобелевском комитете и Шведской академии достаточно подробно рассматривает упоминавшийся Чель Эспмарк. В 1918 и 1923 годах его номинация не обсуждалась в качестве серьезной заявки на престижную премию. Отдавая должное большому таланту писателя, члены комитета в 1918 году акцентировали внимание на преобладании в его творчестве «анархиствующих, часто сырых произведений», которые тяжело вписать в рамки требований к номинантам Нобелевского комитета.[26]

По-иному складывались обстоятельства с рассмотрением номинации 1928 года. Возникшая в комитете благоприятная для писателя атмосфера в немалой степени была связана с блестяще составленным экспертным заключением выдающегося скандинавского слависта, профессора Копенгагенского университета Антона Карлгрена. Особенно высоко тот оценивал автобиографическую повесть «Детство», а также две ранние новеллы и пьесу «На дне». В заключение эксперт подчеркнул, что в перечисленных произведениях фигура Горького приобретает совершенно иной формат в сравнении с прежними временами и вызывает иное отношение и иные симпатии, хотя, добавил он, «его политическое лицо остается неясным».[27]

При голосовании в комитете Горький получил тогда два голоса — председателя комитета Эрика Акселя Карлфельдта и Андерса Эстерлинга. Остальные члены отдали свои голоса за норвежскую писательницу Сигрид Ундсет. Шведская академия поддержала комитетское большинство.

Академик Пер Халльстрём, с 1931 года постоянный секретарь академии, в ответ на призывы Карлфельдта и Эстерлинга присудить награду Горькому за произведения, упоминавшиеся в экспертном заключении, а остальное из созданного им во внимание не принимать резонно заметил, что сам факт присуждения премии неизбежно становится мерой оценки всего творчества писателя. Поэтому подход, за который ратует комитетское меньшинство, может стать «сомнительной рекламой учреждения-наделителя — хранителя литературного вкуса». Тем самым, заключил Халльстрём, хотя в упомянутых Карлгреном произведениях Горький предстает «безусловно выдающимся писателем», присужденная ему Нобелевская премия могла бы превратно быть истолкованной в мире. Дабы отвести законные подозрения в политической ангажированности, оратор посчитал необходимым одновременно подчеркнуть, что для него, как члена академии, не имеет значения, «был ли или является сейчас Горький большевиком».

Однако без политических пристрастий в данном случае все-таки не обошлось. Эспмарк привел выдержку из письма Фредрика Бёка, члена Шведской академии, профессора Лундского университета, коллеге по Лунду лингвисту Эсайе Тегнеру. 25 октября 1928 года он информирует адресата, что не собирается голосовать за Горького и рад такой же решимости со стороны трех других лундских членов академии. Комментируя письмо, Эспмарк обоснованно указал на явное свидетельство «чего-то более чем литературное пристрастие».[28]

Но даже, несмотря на все это, допустимо ли интерпретировать отказ Горькому в благоприятном вердикте в той стилистике, в какой этот отказ интерпретировался в приведенном выше документе 1955 года? Тот же Эспмарк перечислил в своей монографии длинную вереницу имен писателей и поэтов, прошедших через чистилище Нобелевского комитета в период между двумя мировыми войнами. Их одаренность, убежден нынешний председатель комитета, «не была замечена, а их дальнейшие заслуги лишь подтвердили необоснованность высказывавшихся мнений».[29]

В этом ряду, вместе с англичанином Томасом Харди, французами Полем Валери и Полем Клоделем, немцем Стефаном Георге, австрийцами Гуго фон Гофмейстером и Зигмундом Фрейдом, испанцем Мигелем де Унамуно, упомянут и Максим Горький. Именно Горький, а не его неизменный критик Мережковский, который, начиная с 1914 года и вплоть до 1937-го, был номинирован девять раз! То есть творчество Мережковского проходило через экспертирование в Нобелевском комитете в два с лишним раза чаще, чем Горького. К тому же тот был изгнанником, что по-человечески не могло не рождать к нему сочувствия. И тем не менее больше притягивала шведских академиков мощью таланта кандидатура политически чуждого им человека...

Завершая тему Максима Горького, полезно вернуться к фигуре будущего постоянного секретаря Шведской академии Андерса Эстерлинга, отстаивавшего в 1928 году его право на Нобелевскую премию. Пять лет спустя, в 1933 году, когда премию получил Бунин, а славист из Лунда Агрелл рекомендовал разделить ее между Буниным и Горьким, Эстерлинг жестко выступил против кандидатуры последнего. В прессе он заявил, что творчество его, ранее привлекавшее благожелательное внимание, ныне «лишь в малой своей части отвечает необходимым требованиям».[30]

Д.С.Мережковского в 1914 году выдвинул петербургский академик Н.А.Котляревский, видный историк

русской литературы XIX — начала XX веков и плодовитый биограф ее лучших представителей. Его номинация, надо думать, не случайно совпала с выходом в свет в том же году полного собрания сочинений писателя в 24 томах.

Впоследствии его кандидатура вплоть до 1930 года никем не номинировалась. Котляревскому в последующие годы, вероятно, помешала возобновлять свои рекомендации война. Выражать же положительное отношение в послереволюционное время к эмигранту, активному противнику утвердившегося в России режима, было попросту небезопасно. Достаточно упомянуть, что, например, в Большой Советской Энциклопедии писатель характеризовался как «заклятый враг».[31] В свою очередь, А.М.Коллонтай, откликаясь на оказавшиеся недостоверными слухи о возможном присуждении Нобелевской премии 1932 года Мережковскому, информировала Москву, что ей «пришлось кое с кем поговорить по этому поводу и указать через дружески к нам расположенных профессоров, что эта кандидатура "политически неприлична" по отношению нас и что эсдековский кабинет не может не понимать этого».[32]

С 1930 по 1937 год фамилия Мережковского фигурировала в списках номинантов Нобелевского комитета каждый год. Его неизменным номинатором оставался упоминавшийся выше славист из Лундского университета Агрелл. До 1933 года кандидатура писателя предлагалась вместе с кандидатурой Бунина. Когда же последний стал нобелевским лауреатом, для Агрелла вплоть до его кончины в 1937 году постоянным и единственным протеже оставался Мережковский.

Любопытную историю, вполне созвучную натуре Константина Сергеевича, поведал в своих воспоминаниях писатель Андрей Седых (Я.М.Швибак), сопровождавший в 1933 году Бунина в Стокгольм на нобелевские торжества. Последний рассказал ему, «что как-то явился к нему Дмитрий Сергеевич (брат Константина Сергеевича. — *примеч.ред.*) и предложил странную сделку: составить у нотариуса договор на случай получения одним из них Нобелевской премии. Тот, кому премию присудят, обязуется заплатить другому 200 000 франков».[33]

В 1931 и 1932 годах номинантом Нобелевского комитета становится И.С.Шмелев, автор романа «Лето Господне», одного из наиболее поэтичных полотен первой трети XX века. Как и другие эмигранты из послереволюционной России, мечтавшие о престижной награде и сопровождавшем ее огромном денежном куше, он приложил немало личных усилий, чтобы упросить выдвинуть его кандидатуру. Хотя, судя по опубликованной переписке, он отлично понимал тщетность таких наджед.[34] В 1931 году его номинатором стал Томас Манн, предложивший вместе с ним швейцарского писателя Германа Гессе; последний удостоился премии в 1946 году, за написанный в 1943 году всемирно известный роман-утопию «Игра в бисер». На следующий 1932 год Шмелева представляет голландский профессор славянских языков из Лейденского университета Н. ван Вийк.

Попытки заручиться авторитетной поддержкой в 30-х годах были для Шмелева не первыми. Как признался в письме к постоянному своему корреспонденту И.А.Ильину, публицисту и религиозному философу, еще в 1912 году, при благополучной жизни на родине, у него имелись контакты на этот счет с почетным академиком А.Ф.Кони.[35] Поводом для разговора послужил успех у критики и читателей появившейся в 1911 году повести «Человек из ресторана». Судя по отсутствию в архивах Шведской академии такого представления успеха у маститого юриста и литератора намеки молодого писателя не имели...

Следующим номинантом Нобелевского комитета из числа изгнанных из России стал выдающийся философ и мыслитель Н.А.Бердяев, один из пассажиров «философского парохода», на котором 28 сентября 1922 года, после предварявших арестов органами ГПУ, был насильственно выслан за рубеж цвет русской интеллектуальной мысли начала XX века. Кандидатуру Бердяева предложил в 1942 году и затем ежегодно повторял вплоть до смерти номинанта в 1948 году профессор теоретической философии Лундского университета и специалист в области историко-филологических наук Алф Ниман.

Однако шансы привлечь внимание нобелевских учреждений к творчеству христианского мыслителя — певца философии истории,[36] защитника абсолюта антропоцентризма, в противовес канону теодицеи христианства, были предельно низкими. Экзистенциализм в те годы еще не отвечал эстетике выбора наделителей премии по литературе. За рамками выбора оказался не только Бердяев, но и испанский философ и писатель Мигель де Унамуно, а премии Альбера Камю и Жан-Поля Сартра были еще впереди; первый из них стал нобелевским лауреатом в 1957-м, а Сартр — в 1964-м.

Нельзя попутно не отметить, что карантин на имя Бердяева существовал в Советском Союзе вплоть до периода горбачевской гласности. Сохранилось директивное письмо начальника Ленинградского управления Главлита от 12 октября 1977 года, которым предписывалось изымать из букинистических магазинов все его книги, независимо от года издания.[37] Правда, в томе 3 третьего издания Большой Советской Энциклопедии, вышедшем в 1970 году, биографическая справка о философе все-таки имела сравнительно нейтральное содержание, не в пример откровенно погромной характеристике во втором издании БСЭ, появившейся на свет двумя десятилетиями раньше, в 1950 году.

Заканчивался мартиролог имен представителей литературы эмигрантской России, творческая жизнь которых началась на родине, номинацией М.А.Алданова. Выдвигал его на нобелевскую награду несколько лет подряд, с 1947 по 1950 год, И.А.Бунин. В этих выдвижениях можно, однако, разглядеть не только признание таланта плодовитого прозаика, автора многочисленных исторических полотен,[38] но и акт давней признательности Бунина к тому, кто в свое время немало сделал для того, чтобы его собственная нобелиана завершилась так, как она завершилась. Именно Алданов, истинный ценитель бунинской прозы, еще в 1922 году обратил внимание Ромена Роллана на творчество русского писателя.[39] Итогом явилось представление его Ролланом на премию 1923 года. Впоследствии с той же целью Алданов обратился к Томасу Манну, но тот на его рекомендацию не отозвался.

Хотя утечки информации о номинировании писателей русского зарубежья до Москвы, несомненно, доходили, головной болью для идеологов ЦК в конце 30-х годов они уже не становились. Блестящие представители русской литературы завершали свой жизненный путь, и отводить им роль достойных противников, каким виделся Бунин в свой звездный час, причин не имелось. Если что и тревожило партчиновников в связи с возможностью награждения идеологически нежелательных лиц, так это тени втихую загубленных писателей в годы большого террора.

Одним из выразительных свидетельств таких страхов стала паническая депеша, направленная в МИД СССР из Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) в начале 1947 года. Заместитель председателя правления ВОКС А.В.Караганов предлагал срочно сообщить пресс-атташе миссии СССР в Стокгольме, в связи с его телеграммой о просьбе Шведской академии передать для ее библиотеки произведения Б.А.Пильняка, что «Пильняк — враг народа». Одновременно порекомендовал потребовать от дипломата принять «все меры против обсуждения его (Пильняка. — *А.Б.*) кандидатуры и присуждения ему Нобелевской премии».[40]

Просьба академии скорее всего была связана с пожеланием пополнить свой библиотечный фонд книгами писателя,[41] весьма популярного в Скандинавских странах. Достаточно сказать, что в 1931 году шведский энциклопедический словарь поместил биографическую справку о нем объемом в 16 строк, что немало для энциклопедии. В Дании же в 1979 году, более сорока лет спустя после трагической гибели Пильняка, появилась капитальная монография датского литературоведа о его творчестве.[42]

Автор цитированного обращения в МИД, надо думать, не знал, что Бориса Пильняка давно нет в живых, или в ином случае не был знаком с уставным требованием о награждении премией только здравствующих лиц. Но это в данном контексте — не более чем частность. Главное в рассматриваемом сюжете — подспудное содержание документа. Несколько фраз из суконного текста депеши концентрируют в себе квинтэссенцию драматичных обстоятельств сталинских времен. Это — невежественное самодовольство антиинтеллектуальной власти, уверовавшей в собственное всесилие («примите все меры...» и т. п.). И это — тотальный террор, от которого не был застрахован ни один человек. Наиболее яркий пример последнему — судьба-злодейка самого автора депеши, со скандалом снятого с должности по поступившему на него доносу девять с половиной месяцев спустя....

Номинации собственно советских литераторов, то есть тех, начало творческой деятельности которых в основном пришлось на послереволюционный период жизни России, появились в Нобелевском комитете после окончания 2-й мировой войны. Первым в этом ряду стал Борис Пастернак. Вслед за его кандидатурой, в 1947 году, пришло представление на Михаила Шолохова. Оба они в дальнейшем были увенчаны лауреатскими лаврами — первый в 1958 году и второй — в 1965-м.

Третьим советским номинантом стал в 1949 и 1950 годах Леонид Леонов. Выдвинул его профессор русского языка и литературы Хельсинского университета Валентин Кипарский. Как явствует из текста номинации 1949 года, поводом для знакомства Кипарского с творчеством Леонова стала их личная встреча в Хельсинки в феврале 1945 года, во время визита маститого писателя в финскую столицу.

Представление, направленное в Стокгольм, не содержало серьезного литературоведческого анализа. Это скорее было формальное перечисление произведений писателя за два десятилетия, от действительно впечатляющих сочинений «Барсуки» (1925) и «Вор» (1927) до скороспелых творений периода Великой Отечественной войны — пьесы «Нашествие» и романа «Взятие Великошумска» (1944). Естественно, столь легковесная номинация не могла привлечь внимание экспертов Нобелевского комитета, несмотря на лестные сравнения автором номинации почерка Леонида Леонова с творческими приемами Федора Достоевского, Амадея Гофмана и Андрэ Жида.

Благодаря утечкам информации Леонов по каким-то каналам прослышал о номинировании его на Нобелевскую премию, но отнесся к слухам скептически, заведомо не веря в благоприятный исход. Леонов рассказал об этих слухах Даниилу Гранину, который, в свою очередь, сообщил об этом автору статьи в марте 2000 года.

Симптоматична завершающая часть номинации Кипарского. Будучи неопытным номинатором (до 1949 года его фамилия в документах Нобелевского комитета не встречалась), он в заключение посчитал нужным назвать несколько русскоязычных писателей, которые, по его мнению, не могут претендовать на нобелевскую награду — эдакая номинация наоборот...

Из советских писателей он упомянул Илью Эренбурга и Александра Фадеева. В укор им он поставил излишнюю политизацию их творчества. И далее, уже не конкретизируя посылы своего негативного отношения, причислил к недостойным престижной премии писателей-эмигрантов Марка Алданова, Михаила Осоргина и Владимира Набокова[43].

Возвращаясь к фигуре Ильи Эренбурга, «отвергнутого» Кипарским, как бы в подтверждение его слов о политизированности творчества популярного писателя тех лет, расскажем о полуанекдотической истории, случившейся в том же 1949 году. Один из сотрудников Договорно-правового управления МИД СССР сообщил в партбюро управления о разговоре с коллегой по службе, который «нехорошо отозвался о романе И.Эренбурга «Буря», утверждая, что он не заслуживает Сталинской премии и что не дал бы за этот роман Сталинской премии». Эти слова в своем заявлении доносивший квалифицировал «как антисоветские»...[44]

Все, что происходило в недрах Нобелевского комитета во второй половине XX века, станет явным по достижении обусловленного 50-летнего срока закрытого хранения. Тем не менее некоторые возможности для обсуждения имеющейся косвенной информации все же существуют. Касаются эти сведения главным образом временного промежутка между премиями Пастернака в 1958 году и Шолохова в 1965-м.

Коллизии, связанные с подготовкой к награждению Шолохова, уже подробно рассматривались автором.[45] В частности, было показано, что в негласной очереди, существующей во всех нобелевских комитетах, включая комитет при Шведской академии, в качестве очередного «русского года» намечался 1962 год. Наиболее вероятными претендентами, помимо Шолохова, тогда считались Константин Паустовский и Анна Ахматова. Рассмотрением этих двух достойных представителей русской словесности мы и завершим предпринятый обзор.

Первые упоминания о Паустовском как одном из номинантов Нобелевского комитета появились в шведской прессе в январе 1962 года, еще до истечения срока приема комитетом предложений на премию этого года. Своеобразным откликом на такие публикации стала статья московского корреспондента газеты «Стокгольмс тиднинген», писателя и переводчика Ханса Бьеркегрена о творческом пути нового для большинства шведских читателей претендента на престижную награду. Название статьи звучало вполне недвусмысленно: «Русский кандидат на Нобелевскую премию».

Летом того же года в Москве побывал Артур Лундквист — фигура весьма авторитетная в литературном мире Швеции; шесть лет спустя, в 1968 году, он станет членом Шведской академии — одним из восем-

надцати «бессмертных», голосами которых определяется очередной нобелевский лауреат. Видимой целью его приезда было участие в работе очередной сессии Всемирного совета мира, вице-председателем которого он являлся. Однако первый вопрос, с которым тот обратился к встречавшему его в аэропорту члену правления Общества дружбы СССР — Швеция А.М.Борщаговскому, касался не предстоящих заседаний. Прежде всего его обеспокоило, сумеет ли он в этот приезд познакомиться и побеседовать с Паустовским. Характер вопроса и последовавшие коллизии позволяют предположить, что приехал он сюда еще и в роли негласного эмиссара Нобелевского комитета, дабы составить собственное впечатление о претенденте.

В Союзе писателей СССР хорошо понимали причину его настойчивости в желании встретиться с опальным писателем.[46] В получении им Нобелевской премии не были заинтересованы ни в писательском департаменте, ни на Старой площади. Оттого давно отработанными способами организаторы международного форума всячески тянули с поездкой Лундквиста в Барвиху, где писатель долечивался после перенесенного инфаркта. Тягомотина продолжалась до тех пор, пока гость не пригрозил покинуть сессию и объяснить мотивированно свой отъезд.

В 1962 году лауреатом стал американец Джон Стейнбек. Но при следующем цикле работы Нобелевского комитета кандидатура Паустовского — снова в списке претендентов на награду. И вновь фамилия русского прозаика на слуху. Ее широкому обсуждению в прессе, не только шведской, способствовало участие писателя в очередном форуме Европейского сообщества в Риме, в октябре 1963 года, когда со дня на день ожидался вердикт Шведской академии. В Риме с Паустовским встретился, по поручению «Нью-Йорк Таймс», Марк Слоним, русский публицист, критик и переводчик из первой волны эмиграции. Газета просила на всякий случай заручиться интервью у потенциального избранника.[47] Прогнозами на его счет в 1963 году была переполнена и французская пресса; толстую подборку вырезок из газет по возвращении домой переслали Паустовскому его парижские знакомцы.[48]

Своеобразным свидетельством номинирования Паустовского также в 1965 году, в котором премию в итоге получил Шолохов, стало миланское издание одного из его произведений на итальянском языке. На титульном листе книги, ниже названия, отмечено: «Candidato Nobel 1965».[49]

По сведениям директора Музея Паустовского в московском парке «Кузьминки» И.И.Комарова, поддержанным немецким славистом Вольфгангом Казаком,[50] номинатором Паустовского был Луи Арагон, давний поклонник его творчества и многолетний недоброжелатель Шолохова. Противопоставление Паустовского Шолохову не ограничивалось вкусами и взглядами одного Арагона. В 1992 году к этой связке вернулся поэт Б.А.Чичибабин, обсуждая негласное соперничество обоих номинантов в первой половине 60-х годов. «Трагедийно-живописный, добротно подробный, языческистихийный эпос Шолохова, — писал он, — представляется мне настолько устарелым, этнографически-архаичным, принадлежащим и интересным скорее минувшему, чем настоящему и будущему. Поэтическая проза Паустовского с графически-бегло набросанными героями, но освещенными светом вечности, заставляющая читателя думать, воображать, мечтать, кажется мне более современной и перспективной».[51]

С тем же промежутком времени, о котором шла речь выше, то есть с первой половиной 60-х годов, связана и имеющаяся информация о номинировании на Нобелевскую премию Анны Ахматовой. Одним из главных фигурантов в этом сюжете являлся маститый шведский литературовед и эксперт Нобелевского комитета, знаток поэзии на славянских языках Эрик Местертон. Он неоднократно приезжал в Советский Союз, не раз бывал в гостях у Анны Андреевны, а та, на русский манер, называла его Эриком Рикардовичем.

Впервые она услышала о себе как номинанте Нобелевского комитета летом 1962 года, то есть в то же время, когда с Паустовским встречался в Барвихе Лундквист. Как пометила поэтесса в своем дневнике, посетив ее в Комарове 14 июля, Местертон при прощании заметил, что некие интересные сведения она услышит от сына писательницы Веры Пановой Б.Б.Вахтина. На следующий день она и узнала, что ее выдвинули на Нобелевскую премию.[52]

Следующий массив информации, относящийся по преимуществу к заметкам самой Ахматовой, связан с ее номинированием на премию 1965 года. Обращает внимание, что на тот год рекомендовать ее кандидатуру готовы были номинаторы из Оксфорда.[53]

Косвенные посылы имеются также и о выдвижениях на премии 1963 и 1964 годов. К их числу можно отнести датированный ею 30 июнем 1963 года и посвященный Местертону сонет «И, наконец, ты слово произнес». В 1962 году она уже откликнулась на известие от Вахтина верлибром «И северная весть на севере застала». С чего бы год спустя вновь возвращаться к образу «верного друга Севера», с которым у нее прочно ассоциируется тема Нобелевской премии, не будь сведений о новых утечках информации, теперь уже по премии 1963 года?

И еще одно свидетельство, теперь уже от давней подруги Анны Андреевны Л.К.Чуковской. В дневнике ею записано 17 октября 1963 года, что в одной из встреч зашла речь об английском филологе и философе, выходце из России Исайе Берлине, с которым поэтесса познакомилась в Ленинграде летом 1945 года. Далее Лидия Корнеевна припоминает, «как Анна Андреевна говорила в Москве: "И зачем этот господин так обо мне печется?", считая, что выдвижение на Нобелевскую премию и вообще слава на Западе — это дело рук Исайи Берлина».[54]

Таким образом, номинирование Ахматовой на Нобелевскую премию в течение ряда лет можно рассматривать как достоверный факт. Притом, что кандидатура ее котировалась среди экспертов и членов комитета достаточно высоко. В ином случае она едва ли упоминалась в столь уважительной форме в монографии Челя Эспмарка.[55] Остановимся на некоторых приводимых в ней примерах.

В 1966 году Нобелевская премия была разделена между израильтянином Шмуэлем Агноном и жившей в Швеции немецкой поэтессой Нелли Закс. Двойное награждение вызвало дискуссию. Спорили о том, кто бы более, чем Агнон, подошел в пару с Закс, которая в 1965 году оказалась в резервном списке Нобелевского комитета на втором месте, вслед за гватемальским писателем Мигелем Астуриасом; последний стал нобелевским лауреатом на год позже Закс, в 1967 году. Веское слово в дискуссии произнес член Шведской академии Генри Олссон, кстати, первый номинатор Шолохова, выдвигавший его в 1947 году. В письме к Эрику Линдегрену, переводчику Нелли Закс на шведский язык, он назвал три фамилии тех, кто, по его мнению, были более достойны награды 1966 года. Одной из им упомянутых была Анна Ахматова.

Еще категоричней высказался на нобелевском симпозиуме 1967 года чехословацкий литературовед Роберт Влах. Возвращаясь к истории с премией Шолохова, он заявил, что среди всех славянских претендентов цикла 1965 года более других отвечала критериям номинанта Нобелевского комитета кандидатура Ахматовой. А Чель Эспмарк включил ее фамилию в составленный им список очевидных упущений Шведской академии за период после 2-й мировой войны, состоявший у него из 15 лиц.

Через много лет после кончины великой поэтессы Вяч.Вс.Иванов, возвращаясь к нобелевским мотивам в ее жизни, с грустью констатировал: «Нобелевский комитет медлил с Ахматовой... и не успел, что обидно».[56]

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Архив РАН. Ф. 579. Оп. 1. Ед. хр. 639. Л. 32.

[2]Этот вопрос подробно разобран в газ.: Поиск. 1998. № 31—32. С. 12; см. также: *Блох А.М.* Советский Союз в интерьере нобелевских премий. СПб.: Изд-во «Гуманистика», 2001. С. 271—272, 299—300.

[3]О причинах, не позволивших присудить Нобелевскую премию по химии Д.И.Менделееву, см.: *Блох А.М.* «Нобелиана» Дмитрия Менделеева // Природа. 2002. № 2.

[4]Сборник Товарищества «Знание» за 1904 г. № 3. СПб., 1905. С. 5—42.

[5]Красный архив. 1931. Т. 1 (44). С. 133.

[6]Новое время. 1901. 1. 1. С. 2.

[7]*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 73. М.: ГИХЛ, 1954.С. 204—205.

[8]*Espmark K.* The Nobel prize in Literature. A study of the criteria behind the choices. Boston; Mass., 1991.

[9]Ibid. P. 17.

[10]Ibid. P. 16—17.

[11]Петербургский филиал архива РАН (ПФА РАН). Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 11. Л. 7.

[12]Там же. Ф. 1. Оп. 1а—1905. Ед. хр. 152, Л. 303.

[13]Там же. Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 11. Л. 12 (с оборотом).

[14]Красный архив. 1931. Т. 1 (44). С. 145.

[15]Напомним, что по завещанию А.Нобеля и уставу Нобелевского фонда премия могла присуждаться за научные открытия и литературные произведения, появившиеся за последние год-два. От этой нормы, загонявшей систему выбора в тупик, нобелевские учреждения отказались только во второй половине 30-х гг.

[16]ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1а—1905. Ед. хр. 152, Л. 328.

[17]Там же. Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 11. Л. 13.

[18]Там же. Л. 125.

[19]Там же. Л. 29.

[20]Статья «Великий грех», где Толстой рассматривал насущные вопросы землепользования, без решения которых «никакие политические реформы не дадут свободы и блага народу», опубликована в журнале «Русская мысль» (1905. Кн. 7) и оперативно переведена на английский язык и напечатана в том же июле в газете «Таймс». Представляя это произведение, номинаторы опирались на существовавшие ограничения в выдвижении только новых произведений (см. примеч. 15).

[21]«Заключается в чем-то сверхчудесном» (*нем.*).

[22]Архив Института русской литературы (ИРЛИ) РАН. Ф. 134. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 158—160. При жизни А.Ф.Кони этот отрывок из воспоминаний о Л.Н.Толстом не публиковался по желанию автора.

[23]См.: Природа. 2002. № 2.

[24]См. перепечатку информации в «Новостях и биржевой газете» от 18 ноября (1 декабря) 1901 г.

[25]«Нобелевская премия в этом году по линии литературной будет присуждена Гальсворфи (Голсуорси. — *А.Б.*) ... По поводу представления Нобелевской премии Гальсворфи многие левые общественные деятели выступили в печати с протестом, считая премию более заслуженной Горьким» (Архив внешней политики РФ (АВП РФ). Ф. 0140. Оп. 16. Папка 115. Ед. хр. 280. Л. 119).

[26]*Espmark K.* P. 50.

[27]Ibid. P. 51.

[28]Ibid. P. 183.

[29]Ibid. P. 151.

[30]Svenska Dagb Ladet. 1933. 10. 11. S. 1. Напрашивается сравнение с 1965 г., когда Нобелевская премия была присуждена Шолохову. Его творчество и тем более гражданская позиция в гораздо большей степени не соответствовали требованиям, которые подразумевал Эстерлинг. Что лишний раз подчеркнуло, сколь свойственно Шведской академии время от времени существенно менять свои ориентиры...

[31]БСЭ. 1-е изд. Т. 39. 1938. Стб. 9.

[32]АВП РФ. Ф. 0140. Оп. 16. Папка 115. Ед. хр. 280. Л. 119. Коллонтай так и не поняла до конца своей карьеры, что шведское правительство не имело никаких рычагов воздействия на решения нобелевских учреждений.

[33]*Седых Андрей.* Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962. С. 191.

[34]*Ильин Иван и Шмелев Иван.* Переписка двух Иванов. М.: Изд-во «Русская книга», 2000. Т. 1. С. 190.

[35]Там же. С. 235.

[36]«...стория и историческое не есть только феномен... Это есть самая радикальная предпосылка философии истории... Философия истории есть некоторое одухотворение и преображение исторического процесса» (*Бердяев Н.А.* Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Берлин, 1923. С. 24, 27).

[37]Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. Р-8425. Оп. 1. Ед. хр. 1603. Л. 24; см. также сб.: Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958—1964. Документы. М.: РОССПЭН. 1998. С. 97.

[38]В октябре 1945 г. Бунин писал Алданову: «Недавно перечитал (уж верно в третий или четвертый раз) «Могилу воина» (Роман «Могила воина» (1939) посвящен Байрону и его таинственной смерти). «До чего хорошо!» (Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энцикл. биограф. словарь. М.: РОССПЭН, 1997. С. 20).

[39]Минувшее. Исторический альманах. М.: Изд-во «Atheneum — Феникс», 1992. Вып. 8. С. 322; репринтное воспроизведение одноименных сборников, выходивших в Парижском изд-ве «Atheneum».

[40]АВП РФ. Ф. 0140. Оп. 31. Папка 138. Ед. хр. 35. Л. 20.

[41]В прессе не имелось никаких сообщений об аресте Б.А.Пильняка в октябре 1937 г. и тем более о его казни в апреле 1938-го. Его просто перестали упоминать, а книги были изъяты из продажи и открытых фондов общедоступных библиотек.

[42]*Jensen P.A.* Nature as Code. The achievement of Boris Pilnjak. 1915—1924. Copenhagen, 1979.

[43]Шведская академия, архив Нобелевского комитета по литературе за 1949 г.

[44]Российский государственный архив социально-политических исследований (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 118. Ед. хр. 872. Л. 47. Роман «Буря» был удостоен Сталинской премии 1-й степени в 1948 г.

[45]*Блох А.М.* Советский Союз в интерьере нобелевских премий. Глава 10.

[46]В октябре 1961 г. в Калужском областном издательстве вышел в свет, по инициативе и под редакцией К.Г.Паустовского, альманах «Тарусские страницы». После издания сборник был объявлен идеологически вредным и изъят из продажи, а 35-тысячный его тираж почти полностью пошел под нож. Инфаркт писателя — прямое следствие этой акции.

[47]Из воспоминаний М.Л.Слонима, опубликованных в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) от 30. 3. 1974.

[48]Из письма Л.Н.Делекторской, гражданской вдовы французского художника Анри Матисса, из Парижа от 26. 9. 1991; из фондов Музея Паустовского в парке «Кузьминки» в Москве.

[49]*Paustorski K.* E'ancora giorno. Milano: «Nouva Accademia», 1965.

[50]В.Казак в статье «Русские лауреаты Нобелевской премии», опубликованной в журнале «Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Lingwistik» (H. 107. 1997. S. 54—55) приводит ссылку на сообщение Комарова.

[51]Литературное обозрение. 1992. № 11—12. С. 43—44.

[52]Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966). Torino: Einaudi editore, 1996. С. 235.

[53]Записные книжки... С. 177: «Тотя привела Питера (Тотя — А. Н. Изергина, искусствовед. Питер — Н. Норман, английский критик и литературовед, переводчик Ахматовой и Пастернака). Он передал мне предложение Оксфордского университета о Prix Nobel».

[54]*Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой. М.: Изд-во «Согласие», 1997. Т. 3. С. 83.

[55]*Espmark K.* P. 125, 159, 161, 192.

[56]Русская мысль (Париж). 1990. 25. 5. С. XI.

# Иван Шмелев и Сельма Лагерлёф*

Магнус ЮНГГРЕН

Создается впечатление, что у русских писателей было особое отношение к Нобелевской премии. Они мечтали получить ее как особого рода вознаграждение за страдания и унижения, выпавшие на их долю, — так было с Иваном Буниным, Александром Солженицыным и Анной Ахматовой. Важную роль в формировании этой idee fixe, очевидно, играл тот факт, что семья Нобелей была тесно связана с Россией.

Иван Шмелев, эмигрировавший во Францию и живший в бедности, в течение десяти лет мечтал о Нобелевской премии.[1] В начале 1923 года он приехал в Париж и вскоре, через Бунина, вступил в контакт с Михаилом Хандамировым, преподавателем русского языка при Лундском университете. С его помощью Шмелев добивался публикации своих книг в Швеции, однако очень скоро эту цель затмила стратегически более значимая — получение Нобелевской премии.

До этого времени ни один из русских писателей премии не получил. Льва Толстого позорно обошли вниманием. Дмитрия Мережковского и Максима Горького тоже лишь номинировали. На премию 1923 года Ромен Роллан предложил Константина Бальмонта, Бунина и Горького вместе. Имея в виду это предложение, Бунин установил контакты с Хандамировым и славистом Сигурдом Агреллем, профессором Лундского университета, чтобы форсировать издание своих сочинений на шведском языке, что в скором времени дало результаты. Шмелев пошел по его стопам и завел переписку с Рут Ведин Ротштейн, переводчицей Бунина, слависткой в Лунде.

В 1924 году Шмелев начал рассылать переводы своих сочинений нобелевским лауреатам прошлых лет, прекрасно осознавая, что они обладают исключительным правом номинировать кандидатов. Свои книги он отправил Редьярду Киплингу, Герхарду Гауптманну и Ромену Роллану. В 1926 году, воспользовавшись своими лундскими связями, Шмелев впервые опубликовал свою повесть на шведском языке; это был «Человек из ресторана» в переводе Рут Ведин Ротштейн. В предисловии к изданию приводился одобрительный отзыв поэта и критика Андерса Эстерлинга, члена Нобелевского комитета Шведской академии. Ведин Ротштейн немедленно отправила книгу бывшему лауреату Кнуту Гамсуну, который откликнулся с энтузиазмом.

Для осуществления задуманного особый интерес представляла Сельма Лагерлёф: лауреат премии и член академии, она имела двойное право номинировать кандидатов. Шмелев решил проторить себе дорожку, послав Сельме Лагерлёф может быть самое главное свое произведение — «Солнце мертвых» в немецком переводе, приложив к нему письмо, написанное по-французски. Еще один экземпляр романа он отправил Эстерлингу. В обращении к Сельме Лагерлёф Шмелев писал о своем «глубоком восхищении» и «вере в дух человека». В письме он сожалел о том, что его французский язык не столь совершенен, чтобы выразить все, что он хотел бы высказать. В ответном письме Лагерлёф назвала его произведение «великим шедевром». Она выразила восхищение силой его искусства изображения и удрученность той жестокой европейской действительностью, которую он воссоздал в своей повести о русской гражданской войне. Этот отзыв сильнейшим образом укрепил надежды Шмелева. Он вообразил, что, подобно тому как сделал Эстерлинг незадолго до этого, она, нобелевский лауреат, напишет предисловие к шведскому изданию «Солнца мертвых».

Однако шведские издатели не торопились. Рут Ведин Ротштейн уже закончила перевод на шведский язык рассказа «Неупиваемая Чаша», но издателя найти не смогла. Именно в это время — в мае 1926 года — Шмелев и отправил Лагерлёф немецкий перевод своего рассказа с дарственной надписью, в которой назвал себя ее «читателем и почитателем». Скоро она от него получила и шведский перевод «Человека из ресторана».

У Шмелева же родился новый план: убедить Лагерлёф написать предисловие к шведскому изданию «Неупиваемой Чаши». В качестве образца, если таковой понадобится, он мог бы прислать ей статьи Александра Амфитеатрова и Юлия Айхенвальда. Он обратился к своему другу Хандамирову, чтобы тот, используя перевод Ведин Ротштейн, похлопотал от его имени перед Лагерлёф. Хандамиров взялся за дело не сразу, но, в конце концов, в начале 1928 года, просьбу выполнил. В письме к шведской писательнице он отметил, что у нее со Шмелевым много общего, и подчеркнул, что «искренняя религиозность» и «благородный идеализм» героя-иконописца Шмелева родственны «ведущим идеям» произведений Лагерлёф.

Реакция Лагерлёф стала для Шмелева жестоким ударом. Она возвратила непрочитанной «Неупиваемую Чашу», сославшись на множество обязательств, которые не позволят ей в этом году ознакомиться с рассказом. Реакция Шмелева была резкой. Позже он писал Хандамирову, что видит в этом ответе особенность нынешнего времени, которому недостает чувства стыда: «Стыдно такой писательнице так относиться к творчеству автора — европейск(ого) и — даже больше известного!»[2] Мог ли он знать, что Лагерлёф получала по 60—70 писем в день? Но, конечно, этот удар оказался особенно сильным оттого, что ее реакция на «Солнце мертвых» была столь бурной и великодушной.

Теперь Шмелев был вынужден искать в Швеции новых контактов. Он рассчитывал на то, что отправит еще несколько книг Андерсу Эстерлингу, который был благосклонно к нему расположен, а также другому влиятельному члену Нобелевского комитета, профессору истории литературы при Лундском университете Фредрику Беку (к которому Бунин уже обращался). Кроме того, аналогичным образом он предполагал

*Автор приносит благодарность доктору Ричарду Дэвиесу (Лундский университет) за помощь в подготовке статьи.

воздействовать на Антона Карлгрена, шведского профессора славянской филологии Копенгагенского университета, который составлял для Шведской академии отзывы на номинированных русских писателей. В ноябре 1929 года он сетовал Хандамирову на то, что шведы равнодушны к его произведениям: «Какая тугая страна! Из 20—22 книг, появившихся на европейских языках, только одна — на шведском![3] В другом письме он критиковал Швецию еще более определенно: «Туга Швеция для русской литературы. Не любят шведы русское! Отрыжка далекого прошлого».[4]

И.С.Шмелев. Фотопортрет на почтовой открытке. *Не позднее 1931 г.*

Однако это было не вполне справедливо. Дело в том, что в 1928 году Максим Горький едва не получил премию. Было очевидно, что скоро лауреатом должен стать русский писатель. На премию 1930 года Сигурд Агрелль, пользуясь своим правом профессора университета, номинировал Мережковского или, в качестве альтернативного варианта, Мережковского и Бунина вместе. Теперь с именем Бунина необходимо было считаться. И Агрелль и Вединг Ротштейн работали над новыми переводами его произведений; издательства проявляли заметный интерес, а сам Бунин подключил несколько влиятельных профессоров разных стран, чтобы они номинировали его на 1931 год.

Шмелев взялся за дело еще более энергично. И раньше он всегда следовал примеру Бунина, а теперь ясно осознал, что двойная роль Агрелля — номинатора и переводчика — делает его ключевой фигурой. Он посылает Агреллю немецкие издания четырех своих книг (именно тех, которые были посланы Лагерлёф) и «скромное» письмо, в котором завуалированно высказал надежду на помощь в переводе. В письмах к философу Ивану Ильину, близкому другу и главному союзнику в нобелевских делах, он подробно излагал свои стратегические соображения, в особенности объяснил, каким образом можно «завоевать» Агрелля и Карлгрена. Он говорил, что премия стала политизированной, и для русских, «лишенных гражданства», наступили трудные времена.[5] Тем не менее у него теплилась надежда, что Агрелль его номинирует. В определенной степени он рассчитывал и на своего друга Николауса ван Вэйка, голландского профессора славистики, на которого он имел влияние.

В это же время он возобновил контакты и с Лагерлёф, которая так глубоко его разочаровала. Накануне рассмотрения кандидатов 1931 года в подробном письме он подчеркивает особую родственность идеалов классической русской литературы и литературы скандинавской, которую она представляет, и прикладывает к письму свой рассказ «Под горами», только что опубликованный в немецком переводе, а также новое французское издание «Неупиваемой Чаши». Это произведение он характеризует как «поэму ужаса», но в то же время «поэму священной любви, Священной Красоты и жертвы — во имя искусства». Он сетует на то, что скандинавские страны все еще закрыты для этого произведения, любимейшего из всех, им написанных. Он спрашивает, не кажется ли Лагерлёф, что в этом рассказе есть что-то иностранное, чуждое шведскому духу. Со своей стороны она лишь подтверждает его опасения. Теперь, когда она наконец прочла «Неупиваемую Чашу», ей кажется, что главный герой, терпеливо подчиняющийся судьбе, может оказаться чуждым для шведов. Лично ей ближе его «юношеский лиризм и великолепные изображения природы» в рассказе «Под горами». Удрученный Шмелев ответил ей посылкой нового английского перевода своего рассказа — тем показывая ей, как широко его переводят и понимают.

Наконец лоббирование Шмелева дало результат. Лагерлёф и Агрелль не предприняли на его счет никаких шагов. Агрелль выдвинул Бунина и Мережковского по отдельности или вместе. Зато Шмелева номинировал не кто-нибудь, а Томас Манн, лауреат 1929 года; они познакомились в 1924 году, и Шмелев столь же усердно добивался его поддержки. Манн выдвинул его вместе с Германом Гессе и представил Шведской академии в качестве «достойного кандидата». В особенности он выделял «Человека из ресторана» и «Солнце мертвых» как произведения, которые произвели большое впечатление на «читателей во всем мире».[6]

Весной 1931 года профессор Карлгрен написал отзыв о Шмелеве, назвав его «несомненно крупным литературным талантом», но все-таки не соответствующим требованиям Нобелевской премии. Дореволюционный Шмелев, автор «Человека из ресторана», казался ему слишком тенденциозным, его работы напоминали «один большой обвинительный акт против status quo». С другой стороны, Шмелев-эмигрант представлялся Карлгрену излишне политизированным в противоположную сторону. Он мог лишь сожалеть о том, что такой «тонкий наблюдатель и блестящий комментатор оказался столь односторонне вовлеченным» в борьбу против большевизма. В своем отзыве, близком к мнению Лагерлёф, он выделял «Солнце мертвых», подчеркивая его чрезвычайную яркость и беспощадный натурализм и называя самым значительным вкладом Шмелева в литературу.[7] Сдержанные суждения Карлгрена надо рассматривать на фоне его особенно теплого отзыва о Бунине, написанного в предыдущем году. О Бунине он очень скоро будет высказываться еще более одобрительно.

Когда академия рассматривала кандидатов 1931 года, Перу Халльстрему, секретарю Нобелевского комитета, оставалось лишь признать, что Шмелев, как следует из отзыва Карлгрена, это скорее «материал», из которого может выйти великий писатель. В «Человеке из ресторана»

представлены «интереснейшие черты русского характера», это — «сильный и захватывающий сюжет», которому, однако, не хватает по-настоящему значительной художественной силы. «Солнце мертвых» не упоминалось, зато Халльстрем обратился к рассказу «Это было»: здесь, в патологических описаниях ужасов войны, Халльстрем обнаруживает зависимость от Гаршина и Чехова и, больше того, философскую путаницу.[5]

В ноябре 1931 года Шмелев посылает Лагерлёф немецкий перевод своего рассказа «История любовная». Конечно, он надеялся, что она выдвинет его на премию 1932 года, а заодно и поддержит публикацию рассказа на шведском языке, поскольку до этого времени «Неупиваемая Чаша» еще не нашла издателя. Шведская переводчица Эллен Риделиус, жившая в Париже, выразила желание перевести на шведский «Историю любовную». У Шмелева появилась новая надежда, но вскоре она исчезла, поскольку Риделиус больше не давала о себе знать.

Позиции Бунина с течением времени становились все более прочными. На премию 1932 года Агрелль вновь номинировал его и Мережковского (вместе или порознь), кроме того, Бунин продолжал пользоваться поддержкой ряда известных профессоров. Со своей стороны, Шмелеву удалось добиться номинации профессора ван Вэйка. Пер Халльстрем отметил, что в творчестве Шмелева не появилось ничего, что позволило бы по-новому его оценить, в то время как Бунин стал основным кандидатом, который лишь в финальном голосовании уступил Джону Голсуорси. В ноябре 1932 года Шмелев предпринимает еще одну тщетную попытку добиться номинации Лагерлёф — он посылает ей немецкий перевод рассказа «В пеньках» (с подзаголовком «Рассказ бывшего»). Его дарственная надпись, однако, звучит более сдержанно, чем два года назад; он пишет лишь «с уважением».

На премию 1933 года Агрелль вновь выдвигает Бунина, одного и в паре — либо с Мережковским, либо с Горьким. Новые переводы рассказов Бунина, сделанные Агреллем и Вадин Ротштейн, появляются в самый подходящий момент. На этот раз кандидатура Шмелева даже не рассматривается. Это означает, что все кончено. Усилия Бунина, активно продвигавшего свою кандидатуру, увенчались успехом, и в качестве последнего представителя великой классической традиции русской литературы он становится в этом году первым русским писателем-лауреатом Нобелевской премии.

Единственное, что оставалось Шмелеву — сдаться. В чествовании Бунина, устроенного его друзьями-эмигрантами, он не принял участия. Жесткая конкурентная борьба за премию полностью разрушила их прежнюю дружбу. Правда, в ноябре 1933 года он воздает дань Бунину, направив послание в парижское общество «Россия и славянство», где оно должно быть зачитано; однако в письмах к Ивану Ильину, написанных в это же время, звучат совсем другие ноты. В них он сетует на неудачу, причиной которой стало вероломство шведов, и, как ему представляется, необъяснимая нерешительность Лагерлёф. В его понимании, Бунина раздражал сам факт того, что он решился предложить ему соперничество в получении премии; Бунин же действовал умно и сумел, за его счет, завоевать симпатии шведов. Совершенно очевидно, что до конца жизни его не покидало чувство горечи: даже в 1947 году он писал Ильину, что с согласия Бунина влиятельные силы в Швеции поднялись против него и его «замолчали». Все это выглядит так, словно он говорит о безнадежной борьбе со своим Doppelganger'ом.[9]

***Перевод Елены Рябининой***

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]На эту тему см. еще: *Марченко Т.* Иван Шмелев и Нобелевская премия // Венок Шмелеву. М., 2001; *Бонгард-Левин Г.* Кто вправе увенчивать? // Наше наследие. 2001. № 59—60; *Юнггрен М.* Русские писатели в борьбе за Нобелевскую премию // На рубеже веков. Российско-скандинавский литературный диалог. М.,2000.

[2]Недатированное письмо. Г. Яугелис. Переписка русских писателей с лундскими славистами // Slavica Lundensia. Vol.2. Lund, 1974. P. 94—95.

[3]Письмо от 27 ноября 1929 г. // Ibid. P. 93.

[4]Письмо от 1 июля 1929 г. // Ibid. P. 92.

[5]Письмо от 19 января 1931 г. // Переписка двух Иванов. Т. 1. М., 2000. С. 190.

[6]Письмо от 23 января 1931 г //Архив Шведской академии (Стокгольм).

[7]*Карлгрен А.* Иван Шмелев // Там же.

[8]Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901—1950. Vol. II (ed. B. Svensén). Stockholm, 2001. P. 168—169.

[9]Двойником *(нем)*. Переписка двух Иванов. Т. 3. М., 2000. С. 143.

18 февраля, 1926[1]
12, улица Шевер, Париж, VII округ
Госпоже Сельме Лагерлёф

Дорогая писательница,

Я русский, но прекрасно знаком с Вашими изысканными и благородными сочинениями. И с огромной радостью посылаю Вам «Die Sonne der Toten»[2] в знак глубокого восхищения, признательности и веры в Ваш дух, столь высокий и чистый. Столько хотелось бы Вам сказать, но во французском и в немецком я совершенно немощен, а по-шведски не знаю ни слова.

Примите же, дорогая писательница, мои извинения и чувства, которых я не в силах выразить.

*Иван Шмелев.Париж*

Морбакка, Сунне, 3 апреля 1926[3]

Милостивый государь!

Только что кончила Вашу книгу «Die Sonne der Toten», которую прочла с живейшим интересом и глубочайшим сочувствием. Из событий этих ужасных дней вы создали великий шедевр.

Поздравляю писателя, но, восхищаясь силой Вашего искусства изображения, одновременно удручена тем, что в нашей Европе и в нашем времени всё это могло проходить.

Примите моё восхищение и благодарность за книгу и письмо.

*Сельма Лагерлёф*

14 мая 1926
Канбретон-сюр-мер (Ланды)

Милостивая сударыня,

Ваше внимание к моей книге «Die Sonne der Toten» глубоко меня тронуло. Благодарю Вас от всей души. Прошу Вас принять благосклонно мой «Der niegeleerte Kelch»[4] как свидетельство моего глубочайшего уважения и восхищения и как документ, напоминающей о более спокойной работе — как было когда-то.

*Ваш читатель и поклонник*
*Иван Шмелев*

9 декабря 1926
2, имен де Кутюр
Севр, л<евый> б<ерег> (С<ена> и У<аза>)

Милостивая сударыня!

Я очень обрадовался Вашему письму — оно для меня так дорого.

Рад, что могу предложить Вашему чуткому вниманию мою первую книгу на шведском — «Kypare!»[5]

Соблаговолите принять ее со снисхождением и примите мои чувства — наивысшее восхищение, глубочайшее почтение. *Иван Шмелев*

(Визитная карточка)

Морбакка, 2 января 1927

Сельма Лагерёф (напечатано)
приносит благодарность господину Шмелеву за то, что он любезно прислал ей свою книгу *Кураге!*

До сих пор у меня не было возможности с нею ознакомиться, но я заранее радуюсь возможности ее изучить.

*С. Л-ф*

(20/V 1928)
(Визитная карточка)
Сельма Лагерлёф (напечатано)
огромное спасибо![6]

25 декабря 1930
9, улица Росиньоль
Севр (С<ена> и У<аза>)

Милостивая сударыня!

Беру на себя смелость представить на Ваш проницательный суд маленькую свою книжку — «Liebe in der Krim».[7] Соблаговолите принять ее как выражение моего преклонения перед Вами — блестящим представителем художественной литературы Севера, по идеям своим столь родственной классической русской литературе.

Ранее я имел честь и удовольствие удостоиться Вашего великодушного одобрения за мою эпопею «Die Sonne der Toten», а затем я позволил себе также преподнести Вам свой роман на шведском языке — «Кураге!» и поэму в прозе — «Der niegeleerte Kelch».

Буду счастлив, если экзотический и восхитительный Крым — увы! оставшийся в прошлом! — пробудит в Вас интерес, а «Nachwort» г-жи д-ра Р. Кандрейа, моей скромной переводчицы, представит меня Вам более осязаемо.

Прошу Вас, милостивая сударыня, не отказать мне и сообщить со всей прямотой Ваше мнение о моей маленькой поэме «Неупиваемая Чаша». Беру на себя смелость послать Вам эту поэму-сказку по-французски[8], но если Вы предпочитаете по-английски, я с Вашего позволения пришлю ее Вам на английском.

Но почему я Вас об этом прошу? Позвольте сказать со всей откровенностью.

Эта поэма многое значит для меня, для моей души. Я написал ее в 1918 году, в Крыму, в большой тоске, в лишениях, во время нашей кровавой революции. У меня не было ни единой книги. Было только Евангелие. В моей хижине не было даже самой маленькой лампы, только совсем слабенький огонек, как мышиный глазик, и там было холодно, в этой моей хижине, +6—7. Лишь много лет спустя я понял, что такое эта моя сказка. Мне кажется, уж простите мне эту смелость, что это поэма ужаса, тревоги, безмятежной радости от искусства, — поэма о священной любви, о Священной Красоте и о жертве — во имя искусства, во имя чистоты душевной. Я посвятил ее молодежи — всем чистым душой. Она переведена на многие языки... Но Север Европы для нее закрыт. Шведские издатели ее хвалят — но не принимают.

Мне хотелось бы знать, милостивая сударыня, Ваше мнение, столь для меня важное: может быть, эта моя поэма чужда шведскому духу?

Ваше слово, авторитетное и особое, могло бы удовлетворить меня и прояснить мои сомнения.

Простите мне, милостивая сударыня, мой очень скверный французский и соблаговолите принять заверения в моем восхищении и преклонении.

*Иван Шмелев*

Лунд, 5 февраля 1928 г.
Доктору Сельме Лагерлёф,
Морбакка

Хотя я и знаю, как дорого Ваше время, осмеливаюсь, однако, послать Вам прилагаемую рукопись — перевод на шведский язык новеллы популярного русского писателя Ивана Шмелева «Неупиваемая Чаша» — историю одного художника, иконописца. Решимости на этот смелый поступок придает мне мыслъ, что героя новеллы, написанной уже в 1918 году, воодушевляет исконная и искренняя религиозность, создавшая в нем гармоничную личность и радостный оптимизм. Когда судьба ставит его перед испытанием, он остается верен своим моральным принципам и проявляет благородный идеализм. Мне кажется, что эти мысли — я осмеливаюсь сказать это — сродни ведущим идеям многих Ваших произведений.

Поэтому беру на себя смелость попросить Вас написать о книге 2—3 страницы, что принесло бы новелле неоценимую поддержку и послужило бы ее предисловием.

*С почтением и глубочайшим уважением Михаил Хандамиров, учитель русского языка при Лундском университете*

Морбакка, Сунне
7/2 1928

Господин Михаил Хандамиров,

В этом году у меня нет возможности прочитать новеллу Шмелева, тем более — написать о ней. Поэтому я немедленно отсылаю ее обратно. На мне лежит так много обязательств, которые ждут выполнения, что я не осмеливаюсь увеличить их количество.

*С глубоким уважением Сельма Лагерлёф*

Морбакка, Сунне
1 февраля 1931 года

Милостивый государь,

я прочитала теперь обе присланные Вами книги и благодарю Вас за доставленное удовольствие.

Если я правильно поняла Ваше письмо, Вы желаете знать, какая из этих книг более всего годится для перевода на шведский. Мне особенно понравилась «Liebe in der Krim» своим юношеским лиризмом и великолепным изображением природы, и, значит, можно предположить, что шведы предпочли бы именно эту повесть.

Для Вашей «поэмы» «La Coupe Inépuisable» будет, я полагаю, труднее найти понимание в нашей стране. Терпеливая покорность героя нам слишком чужда.

*С совершенным почтением Сельма Лагерлёф.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Письма Шмелева хранятся в фонде Лагерлёф (L 1:1) в архиве рукописей Королевской библиотеки Стокгольма.

[2]*Iwan Schmeljow*. Die Sonne der Toten. Berlin , 1925 («Солнце мертвых» в немецком переводе Кэте Розенберг).

[3]Письма Лагерлёф (из Парижского архива И.С. Шмелева) ныне хранятся в Архиве-библиотеке русского зарубежья Российского фонда культуры (Москва).

[4]I*wan Schmeljow*. Der niegeleerte Kelch. Berlin, 1926 («Неупиваемая Чаша» в немецком переводе Ханса Руоффа).

[5]*Ivan Sjmeljov*. Кураге! Stockholm, 1926 («Человек из ресторана» в шведском переводе Рут Вадин Ротштейн).

[6]Лагерлёф, скорее всего, выражает благодарность за английский перевод «Неупиваемой Чаши» (*Ivan Shmelov*. Inexhaustible Cup. New York, 1928, перевод Татьяны Дехтеревой-Франс).

[7]*Ivan Schmeljow*. Liebe in der Krim.Leipzig, 1930 («Под горами» в немецком переводе; Р.Кандрейа — переводчик и автор послесловия).

[8]*Ivan Chmélov*. La coupe inépuisable. Paris, 1930 («Неупиваемая Чаша» во французском переводе Анри Монго).

*Письма 1—7 — в оригинале по-французски. Перевод Елены Баевской.*

*Письма 8—9 — в оригинале по-шведски. Перевод Георга Йугелиса.*

*Письмо 10 — в оригинале по-немецки. Перевод Константина Азадовского.*

# Нобелевская премия Бориса Пастернака

Евгений ПАСТЕРНАК

Всемирная известность пришла к Борису Пастернаку в последние годы его жизни, озарив их трагическим светом. Присужденная ему в 1958 году Нобелевская премия по литературе объединяла в своей формулировке «достижения в современной лирической поэзии и продолжение традиций великой русской прозы». Признанием литературных заслуг он обязан завершению своей многолетней работы над романом «Доктор Живаго», ставшим выражением его мыслей о жизни, любви и бессмертии и включившим стихотворения удивительной лирической высоты. Эта работа стала возможной в силу открывшегося ему после войны понимания определенных сторон жизни людей его поколения, их исторических надежд и трагической судьбы. Его поддерживала надежда на скорое освобождение от идеологического гнета, на то, что его усилия не пропадут даром.

Разговоры о присуждении Пастернаку Нобелевской премии начались в первые послевоенные годы. Он узнавал об этом косвенно — по усилению нападок отечественной критики. Близкие и друзья часто толкали его к тому, чтобы он публично «отмежевался», как это тогда называлось, от чужих похвал, чтобы отвести прямые угрозы. Начатое тогда письмо осталось неотосланным: «По сведениям Союза писателей, в некоторых литературных кругах на Западе придают несвойственное значение моей деятельности, по ее скромности и непроизводительности — несообразное».

«Но я читать их не могу, — жаловался Пастернак Л.К.Чуковской, — как же я им буду писать?»[1]

Интерес к Пастернаку за границей в первую очередь исходил из Англии, от небольшой группы писателей, издававших альманахи «Transformation». «За последние два года я, поначалу, отрицательными путями из нападок (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes), — писал Пастернак своему другу Сергею Дурылину 29 июня 1945 года. — Эти люди побывали на войне и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. <...> Они зачислили меня в свое братство».[2]

Усилиями этого «братства» в Лондоне, в издательстве Lindsay Drummond были изданы том короткой прозы Пастернака (The collected prose works, 1945) и небольшой стихотворный сборник (Selected poems, 1946). В выходившей в Москве газете «Британский союзник» появилась восторженная статья профессора Лондонского университета Кристофера Ренна о шекспировских переводах Пастернака,[3] несколько раньше литературный критик Стифен Шиманский в статье «Долг молодых писателей» писал об особом месте, которое занимает Пастернак среди советских писателей.[4]

Случайно доходившие отклики смущали Пастернака, который с особой остротой чувствовал необходимость написать наконец «что-то дорогое и свое и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».[5]

Внимание персоналистов было для Пастернака «большим утешением в суровой судьбе», оно помогло преодолеть чувство пустоты и гнета, окружавших его. В декабре 1945 года он писал сестрам в Оксфорд, что содержание статей журнала «Transformation», «общий духовный рисунок» братства, «идейное его очертанье, те стороны, какими в нем присутствуют символизм и христианство <...>, все это удивительно совпадает с тем, что делается» с ним самим. «...Это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас».[6] Томясь «благополучно продолжавшимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей», он хотел положить этому «целиком перекрывающий конец», который отменял бы «все нажитые навыки» и стал бы «вторжением воли в судьбу, вмешательством души в то, что как будто обходилось без нее». Это желание, как объяснял Пастернак Вяч.Вс.Иванову,[7] стало главным импульсом к работе над романом «Доктор Живаго».

Деятельным интересом к себе в Англии Пастернак стал обязан первым выдвижением своей кандидатуры на Нобелевскую премию. Крупный филолог, профессор классической литературы в Оксфордском университете (St. Antony College) сэр Сесил Морис Баура, автор книги о наследии символизма и переводчик А.Блока, был несколько лет подряд в числе номинаторов Нобелевского комитета. Составляя антологию русской поэзии (A book of Russian verse. Macmillan and Co, 1945) и переводя Блока, Мандельштама, Пастернака, он особенно выделял поэзию последнего. По сведениям А.М.Блоха, недавно получившего доступ к архивам Нобелевского комитета, который по прошествии 50 лет открывает свои материалы, Баура в январе 1946 года в первый раз предложил кандидатуру Пастернака. Можно вполне достоверно предположить, что на этом решении сказались также впечатления от личного знакомства с Пастернаком другого оксфордского профессора Исайи Берлина, недавно вернувшегося из Москвы. Через год кандидатура Пастернака была предложена также известным шведским историком литературы профессором Мартином Ламмом, повторившим свою номинацию и в следующем 1948 году. В 1949-м она вновь появляется от лица С.М.Баура, в 1950-м — от М.Ламма, со смертью последнего в том же году выдвижение Пастернака обрывается на несколько лет.

Несмотря на обобщающую формулировку присуждения Нобелевской премии Пастернаку в 1958 году, включавшую весь объем его творчества, — выигрыш в этой многолетней лотерее объясняется успехом недавно написанного «Доктора Живаго». Предыдущие выдвижения, подтолкнувшие Пастернака на работу над романом, не опровергают точности формулировки 1958 года, но значение их горячей симпатии и поддержки — в том, что «рискованный выход на публику» обернулся для Пастернака светлым приятием будущего и готовностью пойти на «вольную страсть».

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

История этих выдвижений не была известна Пастернаку, «железный занавес» полностью преграждал всякие попытки сообщения, но можно понять, какой опасностью в период острой политической подозрительности к «западным влияниям» грозили Пастернаку доходившие до более информированных сфер отголоски его славы. Таковой была встреча советских писателей с английскими в марте 1947 года в Лондоне. Там был поднят вопрос о Пастернаке, видимо, в связи с неоправданными надеждами англичан на его приезд. В своем ответе А.Фадеев выдал набор отработанных клише: «Пастернак никогда не был популярен в СССР у широкого читателя в силу исключительного индивидуализма и усложненной формы его стихов, которую трудно понимать. У него было два произведения: "1905 год" и "Лейтенант Шмидт", которые имели общественное значение и были написаны более просто. Но, к сожалению, он не пошел дальше по этому пути. В настоящее время Пастернак занимается переводами драм Шекспира и как переводчик Шекспира славится у нас».[8] О последних, «простых» стихах из книги «На ранних поездах» и переполненных залах на его недавних поэтических вечерах Фадеев не упомянул.

Пастернак имел основания предполагать, что интерес к нему в Англии станет предметом обсуждения на встрече с советскими писателями, и 11 мая 1947 года писал К.Симонову: «Я надеялся, что в какой-то десятитысячной доле среди вещей, виденных делегацией и имеющих отношение к России, столкнетесь Вы и с той бессмыслицей, что я каким-то образом и в какой-то дозе известен за границей, <...> и Вы <...> привезете мне выправленную, более логичную, осмысленную и справедливую форму судьбы моей у себя дома. Но очевидно этого не случилось, потому что в противном случае, несмотря на Ваш или А.А.<Фадеева> недосуг, эта радость сказалась бы сама по себе на обстоятельствах, прорезалась бы и дошла до меня, а этого нет...»[9]

Состоявшееся вскоре свидание Пастернака с Симоновым, который передал ему подарки от его сестры из Оксфорда, не добавило взаимопонимания. В отличие от имен, составлявших постоянный список советской пропаганды, таких как Горький, Маяковский, Шолохов, растущий интерес на Западе к Пастернаку неизменно вызывал возмущение литературных функционеров, вероятно в первую очередь объясняемый элементарной профессиональной ревностью. «Прославленный не по программе, И вечный вне школ и систем, Он не изготовлен руками и нам не навязан никем», — писал Пастернак позже по поводу такой же свободной любви читателей к Блоку.

Именно в эти годы родилась та ложная ситуация, по которой выходило, что «перевести шесть пьес Шекспира, заложить основу к ознакомлению с целой молодой литературой <грузинской> и самому заслужить расположение какой-то, пусть небольшой, но не совершенно испорченной и уголовной части общества, почему все это — не советская деятельность, а сделать десятую долю этого и плохо — советская?» — как писал Пастернак Симонову в том же письме, решительно не желая «покупать» эту советскость отречением от тех, кто относится к нему по-человечески, в пользу тех, кто относится враждебно. «Все это чистый бред и абсурд, на который при краткости человеческой жизни нельзя тратить времени. Тем более что я ничего не боюсь. Моя жизнь так пряма, что любой ее оборот приемлем», — заканчивал он разговор.[10]

Но этот «бред и абсурд» продолжал расти и все более укреплялся в мозгах «ревнителей советской словесности», достигнув своего апогея, когда 23 октября 1958 года Шведская академия остановила свой выбор на кандидатуре Пастернака и присудила ему Нобелевскую премию. С каким восторгом и радостью мы встретили это известие. Это казалось нам несомненной победой, которая должна была быть воспринята как почесть, оказанная всей русской литературе. Мы считали, что авторитет этой премии защитит теперь Пастернака от злобных нападок и несправедливости недоброжелателей. Но он сам смотрел на это событие более трезво. Еще четыре года назад, когда сведения об обсуждениях его кандидатуры просачивались в западную прессу и случайные отголоски, вырастая до размеров свершившегося факта, доходили до Пастернака, 12 ноября 1954 года он писал своей двоюродной сестре О.М.Фрейденберг, предчувствуя сложность ситуации: «Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают. Я узнаю о них после всех, из третьих рук. "Бедный Боря, — подумаешь ты, какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!"

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом же движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь, опять-таки, не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось. Вот ведь вавилонское пленение. По-видимому, Бог миловал — эта опасность миновала. Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских и западногерманских газетах. Это видели, читали, так рассказывают. Потом люди слышали по BBC, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но зная правы, запросили согласия правительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонению которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и хотя бы по недоразумению оказаться рядом с Хемингуэем».[11]

Сведения из газет, о которых упоминает Пастернак, касались предложения Шведской академии, которое получил осенью 1953 года писатель и академик С.Н.Сергеев-Ценский, выдвинуть кого-нибудь из советских писателей кандидатом на Нобелевскую премию. Этот вопрос согласовывался Союзом писателей и ЦК, после чего Сергееву-Ценскому было рекомендовано предложить кандидатуру М.А.Шолохова.[12]

Роман «Доктор Живаго» был дописан через год после этого письма, зимой 1955—1956 года. Это было время, когда хрущевские разоблачения Сталина и периода репрессий стали первыми проблесками света и освобождения общества от «власти мертвой буквы». Интерес к тому, что происходит в Москве, оживил связи с заграницей. В Переделкино, где жил Пастернак, одна за другой приезжали иностранные делегации из Польши, Че-

хословакии, Франции. Широко распространилось известие о том, что Пастернак написал роман. Ранней осенью 1956 года его посетил профессор Эрик Местертон из Швеции. По его просьбе Пастернак читал ему недавно написанные стихи и отрывок из автобиографического очерка. Благодаря магнитофонной записи, сделанной Местертоном, мы получили возможность слушать голос Пастернака. Свои впечатления от этой встречи Местертон передал Нобелевскому комитету, интересовавшемуся Пастернаком, чья кандидатура, по сведениям непременного секретаря Шведской академии Ларса Гилленстена, обсуждалась также и в 1957 году.[13]

За французским переводом «Доктора Живаго» сочувственно следил Альбер Камю — об этом можно прочесть в его дневниках лета 1957 года.[14] В своей Нобелевской лекции «Художник и его время», сказанной в университете Упсала вскоре после вручения ему премии 1957 года, он с восхищением говорил о русской литературе: «Тогдашняя Россия — Блок и великий Пастернак, Маяковский и Есенин, Эйзенштейн и первые романы о стали и цементе — подарила мне великолепную лабораторию форм и сюжетов, плодотворное беспокойство, страсть к поискам». Камю противопоставлял легкость писательского труда на Западе условиям творчества в замкнутых обществах тоталитарного типа.[15] Летом 1958 года он обменялся с Пастернаком письмами. «Я, который был бы ничем без русского XIX века, — писал он Пастернаку 12 июня, — нахожу у вас ту Россию, которая вскормила и укрепила меня. Это ложь, что не существует границ. Но одновременно с ними есть сила творчества и правды, которая объединяет нас всех и в смирении, и в гордости. Я ее почувствовал более всего, когда читал вас, и потому хотел бы высказать вам свою благодарность и полное единомыслие».[16]

Первым изданием «Доктора Живаго» стало итальянское, у Фельтринелли, что сделало издателя владельцем мирового авторского права. С полугодовым запозданием, летом 1958 года, появилось французское, осенью — английское и немецкое. Несмотря на горячее желание Пастернака, русская публикация задерживалась, что также затрудняло решение Нобелевского комитета. Препятствие было неожиданно преодолено выходом «пиратского» издания в Голландии у Мутона. Срочно прилетевший из Милана Фельтринелли успел поставить на книге свой копирайт и остановить тираж. Отпечатано было меньше сотни экземпляров. Шведская академия получила русский текст, и это обеспечило выбор кандидатуры Пастернака. Сам он писал одной из французских переводчиц романа 30 июля 1958 года: «Что касается Н <обелевской> премии, то я уверен в несбыточности этой опасности, потому что обычно действия комитета включают запрос к правительству, в подданстве которого находится обсуждаемая личность и о кандидатуре которой спрашивают согласия. А в моем случае этого никогда не будет».[17]

Из материалов архива ЦК КПСС стало известно, что слухи о выдвижении Пастернака дошли до Москвы в сентябре 1958 года. Борис Полевой информировал об этом Отдел культуры ЦК, прося указания, какую позицию должен занять Союз писателей и что предпринимать. Чтобы избежать скандала, Сурков и Полевой предлагали срочно издать «Доктора Живаго» с распределением тиража по закрытой сети и оповещением в печати, чтобы лишить возможности западную прессу поднимать шум по поводу премии за произведение, не изданное в СССР. Но инструкторы Отдела культуры сочли эту инициативу «нецелесообразной».[18]

За два дня до объявления о присуждении премии в ЦК была разработана «строго секретная» программа действий. Почти все намеченные ею пункты вскоре были выполнены послушными исполнителями. Вот только сорвалось участие в ней Всеволода Иванова, который должен был оказать «должное влияние» на Пастернака. Узнав вечером 23 октября 1958 года о присуждении премии Пастернаку, он радостно кинулся поздравлять своего друга: «Ты лучший поэт эпохи и действительно по полному праву заслужил любую премию мира».[19] На следующий день, когда Иванов получил повестку на президиум правления Союза писателей, он потерял сознание и целый месяц пролежал в тяжелом состоянии.

Зато Константин Федин полностью оправдал высокое доверие и с готовностью выполнил возложенную на него задачу. Утром 24 октября он пришел на дачу своего соседа и друга и, не поздоровавшись с хозяйкой, готовившейся к своим именинам, поднялся в кабинет Пастернака. Он потребовал демонстративного отказа от премии, угрожая тем, что в завтрашних газетах Нобелевская премия будет расценена как плата за предательство. Пастернак ответил, что ничто не заставит его плевать в лицо тем, кто оказал ему высокую честь. Федину также не удалось уговорить его пойти к нему на дачу, где ждал Пастернака приехавший из Москвы заведующий Отделом культуры Д.А.Поликарпов. «Поликарпов уехал взбешенный», — рассказывал Федин в тот день Корнею Чуковскому.[20] В докладной записке Поликарпов передавал часовой разговор Федина с Пастернаком: «По началу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что захотят. <...> Сам К.А.Федин понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведения».[21]

Вместо решительного отказа от премии, Пастернак сразу после ухода Федина в ответ на телеграмму непременного секретаря Шведской академии известного поэта Андерса Эстерлинга ответил благодарностью: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен». «Это большая радость для меня, — говорил Пастернак журналистам, приезжавшим к нему в тот день, — я рад, что до поездки в Стокгольм еще месяц с половиной, это время нужно как раз, чтобы спокойно вздохнуть еще немного. Он удивлен, что роман наделал столько шума и надеется, что западные критики его прочтут и разберутся».

Начавшаяся в газетах кампания травли и вызовы из Союза писателей, который перенес заседание президиума с 25-го на 27 октября из желания подготовить необходимую для решения атмосферу, не изменили обычного распорядка дня Пастернака. Он продолжал ежедневно работать над переводом «Марии Стюарт» Словацкого, был светел, не читал газет, говорил, что за честь быть лауреатом Нобелевской премии готов принять любые лишения. «Это большая радость для меня, — отвечал он на вопросы журналистов. — Я очень взволнован, но жалею, что моя радость останется одинокой».[22]

За границей назревала ответная реакция. Члены Шведской академии выразили свой протест против нападок на Пастернака в русской печати. Эстерлинг высказал сомнения по поводу приезда Пастернака в Стокгольм 10 декабря.[23]

Гордая позиция несломленного человека, логика здравого смысла и душевное благородство сказались в письме Пастернака, направленном на заседание президиума Союза писателей. Письмо в машинописной копии было недавно найдено в «Президентском архиве» и вошло в сборник документов ЦК, относящихся к «делу» Пастернака «А за мною шум погони». Понятно, какое злобное раздражение вызвало оно у писателей. Приведем его полный текст:

«1. Я искренне хотел придти на заседание и для этого приехал в город, но неожиданно почувствовал себя плохо. Пусть товарищи не считают моего отсутствия знаком невнимания. Записку эту пишу второпях и, наверное, не так гладко и убедительно, как хотел бы.

2. Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные "Доктору Живаго". Я только шире понимаю права и возможности советского писателя, и этим представлением не унижаю его звания.

3. Я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но все же напомню, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в наши редакции в период печатания произведения Дудинцева и общего смягчения литературных условий. Можно было надеяться, что он будет напечатан. Только спустя полгода рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя. Лишь когда это стало известно, было написано письмо редакции "Нового мира", приводимое "Литературной газетой". Умалчивают о договоре с Гослитиздатом, отношения по которому тянулись полтора года. Умалчивают об отсрочках, которые я испрашивал у итальянского издателя и которые он давал, чтобы Гослитиздат ими воспользовался для выпуска цензурованного издания как основы итальянского перевода. Ничем этим не воспользовались.

Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые места, препятствовавшие его изданию и которые я соглашался выпустить, и ничего, кроме грозящих мне лично бедствий, не произошло. Отчего же нельзя было его напечатать три года тому назад, с соответствующими изъятиями.

4. Тармоедом в литературе я себя не считаю. Кое-что я для нее, положа руку на сердце, сделал.

5. Самомнение никогда не было моим грехом. Это подтвердят те, кто меня знает. Наоборот, я личным письмом к Сталину просил его о праве трудиться в тишине и незаметности.[24]

6. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказан<а> вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался.

7. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью. Что касается денежной стороны дела, я могу попросить Шведскую академию внести деньги в фонд Совета Мира, не ездить в Стокгольм за ее получением или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей. Об этом я хотел бы переговорить с кем-нибудь из наших ответственных лиц, быть может с Д.А.Поликарповым, спустя недели полторы-две, в течение которых я приду в себя от уже полученных и еще ожидающих меня потрясений.

8. Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит.

Б.Пастернак».[25]

В воспоминаниях О.В.Ивинской «Годы с Борисом Пастернаком» ярко описывается ее свидание с Фединым, состоявшееся на следующий день после заседания, единогласно исключившего Пастернака из членов Союза писателей. Отчаявшаяся и перепуганная, она искала защиты, обещая «уговорить» Пастернака подписать «любое» письмо кому угодно, — как записал Федин в своем отчете Поликарпову.[26] Отсюда можно сделать вывод об авторстве публиковавшихся в газетах писем Хрущеву и в «Правду».

Ничего не зная о разговоре Ивинской с Фединым, утром следующего дня Пастернак отправил телеграмму в Стокгольм с отказом от Нобелевской премии: «В силу того значения, которое получила незаслуженно присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен отказаться от нее. Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Этот поступок непосредственно соотносится с самоубийственными настроениями, о которых говорила Ивинская Федину, и был сделан в порыве отчаяния, последовавшего за телефонным разговором с нею. Одновременно с телеграммой в Нобелевский комитет Пастернак отправил телеграмму в ЦК: «Благодарю за двукратную присылку врача, отказался от премии, прошу восстановить Ивинской источники заработка в Гослитиздате».[27]

В тот же день газеты сообщили о присуждении Нобелевской премии по физике И.Е.Тамму, И.М.Франку и П.А.Черенкову. В конце статьи содержался иезуитский абзац о принципиальной разнице между премией по литературе, вызванной политическими причинами, и премией по физике, как заслуженной награде всей советской науке. Человек благороднейшей души, академик М.А.Леонтович счел нужным извиниться за подлую статью и объяснить Пастернаку, что настоящие, честные физики придерживаются иного мнения. Он встретил Пастернака на улице в Переделкине, тот просил прощения, что не может принять его, потому что ездил в город и очень устал. С серым и измученным лицом, он плохо понимал, что говорил ему Леонтович, сказав только, что теперь ему это все равно, потому что он отказался от премии.

Телеграмма с отказом пришла в Стокгольм в день выхода романа «Доктор Живаго» по-шведски. На следующий день первые страницы всех газет пестрели письмами и телеграммами виднейших имен мира, выступивших в защиту Пастернака. Американский комитет «Свобода культуры»: куда входили такие крупные писатели, как Джон Стейнбек, опубликовал декларацию, в которой заявлял о своей «поддержке Борису Пастернаку в борьбе, которую он ведет во имя духовной свободы человека».[28] «Times» от 31 октября 1958 года писала: «Когда-нибудь русские будут гордиться Борисом Пастернаком и его произведением» и проводила параллель между ним и Карлом Оссецким, лауреатом Нобелевской премии мира 1936 года, который погиб в концлагере.

На адрес Союза писателей шли телеграммы за подписью С.М.Баура, Т.С.Элиота, Э.Форстера, Грем Грина, Олдоса и Джулиана Хаксли, Соммерсета Моэма, Джона Пристли, Бертрана Рассела, Стивена Спендера и других: «Мы глубоко встревожены судьбой одного из величайших поэтов и писателей мира Бориса Пастернака. В романе «Доктор Живаго» мы видим волнующее свидетельство, а не политический документ. Во имя великих традиций русской литературы, которая стоит за вами, мы призываем вас не бесчестить ее, подвергая гонениям писателя, почитаемого всем цивилизованным миром».[29]

Вежливая и лишенная осудительной окраски форма отказа Пастернака от премии не устраивала никого — по советским канонам требовалось высказать возмущение и политические оскорбления в адрес учреждения, присудившего награду. Ни в Кремле, ни в Союзе писателей этого никто не заметил. Намеченная программа «народного гнева и возмущения» шла своим чередом и заливала страницы советских газет бездарными клише людей, с жаром кинувшихся клеймить «преда-

теля». Стандартной фразой было: «Я романа не читал, но считаю, что...» В ответ на тревогу, выраженную дипломатическими запросами разных стран, агентство ТАСС вынуждено было заявить 31 октября 1958 года, что правительство не чинит препятствий отъезду Пастернака и что его жизнь и имущество не подвергаются опасности.

На проходившем в то время в Неаполе международном конгресе, учредившем Европейскую ассоциацию культуры с участием СССР, ведущий советский критик Александр Чаковский на вопрос об отношении Союза писателей к Нобелевской премии Пастернака сказал: «Мы не позволим Шведской академии играть с достоинством нашего народа».[30]

Вероятно, в эти же дни Пастернак послал открытку своей поверенной в делах Жаклин де Пруайяр с просьбой поехать в Стокгольм в день вручения премии 10 декабря и уполномочил ее, пользуясь его старой доверенностью, принять участие в церемонии и выступить с ответным словом. Открытка не дошла до адресата и была перехвачена на почте. Через несколько месяцев председатель Комитета госбезопасности А.Шелепин писал об этой открытке и о поручении Пастернака принять премию в своем докладе ЦК.[31]

Член Французской академии, лауреат Нобелевской премии 1952 года, Франсуа Мориак писал: «Я с возмущением узнал о санкциях, которые применили к Борису Пастернаку. Я надеюсь, что в этом случае советское правительство пересмотрит свое решение по поводу запрета его поездки в Стокгольм, поскольку его роман прославляет Россию всех времен и помогает нам лучше понять Россию сегодняшнюю».

На той же странице «Le Figaro litteraire» помещены слова другого лауреата Нобелевской премии Альбера Камю: «Все в мире знают, что Союз писателей предпочел бы, чтобы вместо Пастернака премией наградили Шолохова. Однако это не могло повлиять на Шведскую академию. Она могла оценить заслуги обоих только со своей стороны, и ее выбор совсем не политический, это признание литературных заслуг Пастернака. У Шолохова давно нет новых книг, тогда как недавно изданный «Доктор Живаго», — вещь несравненная и возвышающаяся над всей современной мировой литературой. Это великий роман о любви, и он не может быть антисоветским, как пишут о нем, он не принадлежит ни к какой партии, он всеобъемлющий (universel). Единственное, что надо признать в России, это то, что Нобелевская премия присуждена великому русскому писателю, который живет и работает в советском обществе. В заключение скажу: гений Пастернака, его благородство и личная доброта далеки от того, чтобы нанести вред России и ее ниспровергнуть, но, напротив, — служат ее красоте и заставляют любить больше, чем любая пропаганда. Россия пострадает в глазах мира только в том случае, если она осудит того, кто сумел завоевать восхищение и горячую любовь всего мира».

Пастернаку выражали свою поддержку и сочувствие члены Французской академии Жорж Дюамель, Андре Моруа и Жюль Ромен, президент Пенклуба Андре Шамсон вспоминал свое знакомство с Пастернаком в Париже в 1935 году, их разговоры о «суровостях и трудностях жизни» и веру Пастернака в то, что жизнь всегда «великодушнее и легче наших представлений». «Вспоминает ли он еще обо мне?» — спрашивал он себя.[32]

Пастернак ничего не знал о поднявшейся за границей лавине выступлений в его защиту. Его переписка была полностью блокирована. Какой поддержкой в его глухой борьбе были бы эти известия! О заступничестве премьер-министра Индии Джавахарлала Неру рассказывал И.Эренбург, только что вернувшийся из Швеции, где принимал участие в награждении Ленинской премией мира Артура Лундквиста. Он был испуган и взволнован, увидав воочию бурю, разразившуюся в те дни в мировой печати.

Но радостные известия не могли заглушить все более настойчивых слухов о готовящемся лишении Пастернака гражданства и высылке из страны. Впервые это требование прозвучало на собрании президиума Союза писателей 25 октября 1958 года из уст Н.М.Грибачева и С.В.Михалкова, еще более отчетливо оно было высказано В.Е.Семичастным на пленуме ЦК комсомола 29 октября и приобрело форму прямого обращения к правительству на общемосковском собрании писателей 30 октября. Успокоить разбушевавшуюся общественность и «помириться с народом», по мнению ЦК, могла только публикация «покаянного» письма Пастернака.

Среди бумаг О.В.Ивинской, взятых у нее при аресте летом 1960 года, сохранилась машинопись «письма Пастернака» к Хрущеву с его замечаниями синим и красным карандашом. В одном из них он просил Ольгу Всеволодовну заменить «в вашем письме» абзац: «Я являюсь гражданином своей страны» словами: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». В конце страницы синим карандашом Пастернак вычеркнул место: «Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры». Вместо него написано: «Я это обещаю. Но нельзя ли на это время перестать обливать меня грязью». Эта замена не была принята, и громкая фраза попрежнему венчала текст письма, в котором были использованы лексика и отдельные выражения Пастернака, что давало повод приписывать ему авторство. История появления этого письма описана в книге Ивинской. Основные формулировки, по воспоминаниям Вяч.Вс.Иванова, принадлежали главным образом Ольге Всеволодовне и А.С.Эфрон, сам он только записал их под диктовку и вместе с дочерью Ивинской отвез в Переделкино Пастернаку, взволнованному известием о неминуемой высылке.[33]

Однако письмо к Хрущеву не сняло угрозу, в Заявлении ТАСС, сопровождавшем его публикацию, говорилось: «В случае если Б.Л.Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском произведении "Доктор Живаго", то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все «прелести капиталистического рая».[34]

«Самое страшное для моего мужа — это изгнание», — заявила госпожа Пастернак, не пустив журналистов дальше порога и сказав, что муж спит и что шум вокруг присуждения Нобелевской премии очень его утомил, — передавала французская газета «La nouvelle Republique» известия из Переделкина 3 ноября 1958 года.

Происхождение следующего «письма Пастернака» в редакцию газеты «Правда» сложнее. Сохранились разные этапы работы над ним: первоначальный автограф Пастернака, машинка чужого варианта с заметками Пастернака на полях и отдельными абзацами, написанными рукой Пастернака, приклеенными и затем оторванными. Пастернак писал:

«В продолжение бурной недели я не подвергался судебному преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Если благодаря посланным испытаниям я чем и играл, то только своим здоровьем, сохранить которое помогли мне совсем не железные запасы, но бодрость духа и человеческое участие. Среди огромного множества осудивших меня, может быть, нашлись от-

дельные немногочисленные воздержавшиеся, оставшиеся мне неведомыми. По слухам (может быть, это ошибка), за меня вступились Хемингуэй и Пристли, может быть, писатель-траппист Томас Мертон и Альбер Камю, мои друзья. Пусть, воспользовавшись своим влиянием, они замнут шум, поднятый вокруг моего имени. Нашлись доброжелатели, наверное, у меня и дома, может быть, даже в среде высшего правительства. Всем им приношу мою сердечную благодарность.

В моем положении нет никакой безвыходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что мои занятия слишком связаны с родною землею и не терпят пересадки на другую».[35]

Понятно, что такой текст не мог удовлетворить Поликарпова, и с помощью Ивинской он составил свой собственный. У Пастернака день ото дня возрастало мучительное чувство стыда за сделанные уступки. «Очень тяжелое для меня время, — писал он 11 ноября своей двоюродной сестре.

Всего лучше было бы теперь умереть, но я сам, наверное, не наложу на себя рук». От предполагавшейся пресс-конференции он решительно устранился. Он видел страшные последствия «бурной недели» и, естественно, мог ожидать прямого насилия и предупреждал Поликарпова о возможных эксцессах в случае встречи с иностранными корреспондентами.

«Темные дни и еще более темные вечера времен античности или Старого Завета, возбужденная чернь, пьяные крики, ругательства и проклятия на дорогах и возле кабака доносились до меня во время вечерних прогулок; я не реагировал на эти крики и не шел туда, откуда они раздавались, но и не возвращался назад, продолжая свою прогулку», — так описывал Пастернак в письме к Жаклин де Пруайяр 28 ноября 1958 года обстановку своих будней.[36]

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

Публикация «писем Пастернака» помогла спустить на тормозах разбушевавшуюся «ярость масс», требовавших суровой кары «предателю». Но прекращение газетной кампании никоим образом не означало прощения. У Пастернака были полностью оборваны все заработки, спектали, поставленные по его переводам, запрещены, издания переводов остановлены, типографские наборы рассыпаны, работы, сделанные им в свое время, заказывались новым переводчикам. Обещания, дававшиеся в ЦК, оказались чистейшей ложью. Пеняя Ивинской на то, что она заставила его подписывать «эти поликарповские письма», Пастернак говорил ей: «Сознайся, ведь мы из вежливости испугались».[37]

Наступившая после перенесенных унижений глухая неизвестность была еще труднее. Оставалось черпать утешение в возобновившейся переписке, сильно возросшей за последнее время. Пастернак получал пожелания не падать духом и чтобы его не покидали здоровье, чистота сердца и легкость совести художника. Те, кому удалось прочесть роман, в списках ходивший по рукам, благодарили его за правду и мужество писателя выражать свое мнение. В дни разыгравшейся вокруг него политической кампании ему подкидывали в почтовый ящик поздравления с Нобелевской премией, радовались тому, что он остался на родине. «Бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в грудах писем из-за границы, — писал он 12 декабря 1958 года. — Говорил ли я Вам, что однажды наша переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, — душевное единенье века».[38]

За границей не могли понять того, что Пастернак полностью лишен своих гонораров, что он вынужден в безденежье занимать у знакомых. Слова поддержки и выражения любви в одних письмах перемежались в других просьбами о материальной помощи. Газетная ложь о полученных миллионах толкала к нему находящихся в крайности людей.

Среди задержанных и переданных в КГБ писем Пастернака за границу А.Шелепин в своей докладной записке ЦК цитирует его слова к Мак-Грегору: «Я напрасно ожидал проявления великодушия и снисхождения в ответ на два моих опубликованных письма. Великодушие и терпимость не в природе моих адресатов, оскорбления и унижения будут продолжаться. Петля неясности, которая все больше затягивается вокруг моей шеи, имеет целью силой поставить меня в материальном отношении на колени, но этого никогда не будет. Я переступил порог нового года с самоубийственным настроением и гневом».[39]

Пастернак отказался от каких-либо шагов примирения с Союзом писателей, на чем настаивал Поликарпов. Сохранились наброски его письма к Поликарпову, написанного 16 января 1959 года. В нем звучит открытый вызов доведенного до крайности человека:

«...Помнится, я расписывал, что я не подвергался никаким нажимам и притеснениям, что от роскошной поездки (без оставления заложников), любезно предоставлявшейся мне, я отказался добровольно, — я бессовестно врал под Вашу диктовку не затем, чтобы мне потом показывали кукиш. Я понимаю, я взрослый, что я ничего не могу требовать, что у меня нет прав, что против движения бровей верховной власти я козявка, которую раздавить и никто не пикнет, но ведь это случится не так просто, перед этим где-нибудь обо мне пожалеют. <...> Я вообще по глупости ожидал знаков широты и великодушия в ответ на эти письма. Действительно, страшный и жестокий Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заключенных и по своему почину вызывать меня по этому поводу к телефону. Государь и великие князья выражали письмами благодарность моему отцу по разным негосударственным поводам. Но разумеется, куда им всем против нынешней возвышенности и блеска».[40]

Вскоре, 11 февраля 1959 года, в газете «Daily Mail» появилось стихотворение Пастернака «Нобелевская премия», что имело для него серьезные последствия. Вместе с другими, стихотворение было передано английскому корреспонденту Энтони Брауну и напечатано в сопровождении политического комментария. Следствием этого был сигнал из Управления государственных тайн при Совете Министров и на время визита в Москву премьер-министра Англии Гаролда Макмиллана Пастернаку было предписано покинуть Переделкино, чтобы избежать встреч с иностранными корреспондентами. Через три недели, по своем возвращении из Грузии, Пастернак был остановлен на дороге во время

прогулки и отвезен на допрос к генеральному прокурору Р.А.Руденко. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Угроза ареста и лишения гражданства вновь приобретала грозную реальность. Было поставлено условие полностью прекратить всякие встречи с иностранцами. Известный шведский славист Нильс Оке Нильсон, приезжавший к Пастернаку в сентябре 1958 года, незадолго до истории с Нобелевской премией, опубликовал свой разговор с ним о романе «Доктор Живаго», о пробудившейся у него в 1930-х годах с особенной силой ненависти к кровопролитию, о положении, когда заставляют любить то, что ненавидишь, и ненавидеть то, что любишь.[41] Теперь он был задержан на станции в Переделкине, и без объяснения причин ему велели вернуться в Москву.[42]

По словам Т.В.Ивановой, ей както позвонила по телефону О.Ивинская с просьбой позвать с соседней дачи Пастернака по очень срочному делу. (У него в Переделкине не было своего телефона). Ей было поручено передать ему, что, если он откажется от приглашения шведского посла в Москве господина Сульмана, ему уплатят гонорар за давно сданный перевод «Марии Стюарт» Словацкого и переиздадут «Фауста», — но эти обещания снова обернулись ложью — деньги за «Марию Стюарт» были получены только в сентябре, «Фауст» вышел уже после смерти Пастернака.

Душевным освобождением стала для Пастернака новая работа, посвященная судьбе таланта при крепостном праве, он сам чувствовал себя в тисках рабства, стремящегося к уничтожению творческих способностей ради полного духовного закабаления человека. Драматическое воплощение этого замысла получило название «Слепая красавица», символизирующее историческую судьбу России. Но пережитые насилие и унижения разрушительно сказались на его здоровье. Стремительно развивавшийся рак легких уложил его в постель в начале мая 1960 года, 30-го он скончался. Его похороны в Переделкине вылились в великое торжество любви и поклонения тех, для кого имя Пастернака было синонимом поэзии и свободы.

Классическая драма русского поэта была им доиграна до конца. Он нередко предчувствовал такой исход. «...Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, — это нахождение себя во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя, — писал он в 1932 году в письме к сестре. — Потому что и в этом — извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь».[43]

Первое издание «Доктора Живаго» в России было осуществлено в 1988 году тем самым «Новым миром», отказ которого в свое время от публикации, написанный с позиций советской литературы 40—50-х годов, определил запрет на роман Пастернака на тридцать лет вперед. В декабре следующего 1989 года Шведская академия решила пересмотреть свое отношение к Нобелевской премии Бориса Пастернака и признать его отказ от нее недействительным. Был выписан и передан в Москву диплом, на торжественное вручение золотой Нобелевской медали нас пригласили в Стокгольм. Накануне дня рождения Альфреда Нобеля, ставшего днем ежегодных вручений премии, 17 декабря 1989 года, в зале Шведской академии собрались члены Нобелевского комитета, лауреаты этого года, послы Швеции и СССР и многочисленные гости. В их присутствии непременный секретарь академии профессор Сторе Аллен прочел две, разделенные недельным сроком, телеграммы Пастернака 23 и 29 октября 1958 года и сказал, что, признавая отказ Пастернака от премии вынужденным и сожалея о том, что его уже нет в живых, он, по прошествии 31 года, вручает почетные знаки лауреата его наследникам. Из списка награжденных этой премией Шведская академия распорядилась исключить запись: «отказался от премии», до того неизменно сопровождавшую имя Пастернака. На следующий день в здании ратуши на торжественном банкете, устроенном в честь вручения премий лауреатам 1989 года, «о великом русском поэте Борисе Пастернаке, лишенном права получить присужденную ему награду и воспользоваться счастьем и честью быть лауреатом Нобелевской премии», напомнил «посланник русской музыки» Мстислав Ростропович, исполнив «Сарабанду» Баха для виолончели соло.

К столетию учреждения Нобелевских премий в Стокгольме в залах академии была открыта выставка Cultures of Creativity. Из более чем семисот лауреатов на ней представлены пятьдесят. Видимо, именно их жизненный путь ближе всего воплотил в себе представления о свободной игре человеческого гения в трагических условиях минувшего XX века. Трое русских, удостоенных этой чести, — Петр Капица, Борис Пастернак и Иосиф Бродский стали тем определением времени, о котором Пастернак сказал:

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Живой курсивный шрифт...

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*Лидия Чуковская.* Соч.: В 2 т. Т.2. Дневники. Письма. М., 2000. С. 233.
[2]*Пастернак Б.* Собр. соч.: В 5. Т.5. М., 1992. С. 433.
[3]*Реш Кр.* Шекспир в переводах Пастернака // Британский союзник. 1945. № 2. С. 8.
[4]Life and Letters Today. 1943.Febr.
[5]*Пастернак Б.* Собр. соч. Т.5. Письмо С.Дурылину 29 июня 1945. С. 433.
[6]Там же. С. 433.
[7]*Пастернак Б.* Собр. соч. Т. 5 Письмо 1 июля 1958.С. 565.
[8]Цит. по: Письма на «Олимп». Борис Пастернак — Александру Фадееву и Константину Симонову. Публикация М.А.Рашковской // Континент- 90. С. 199.
[9]Континент-90. С. 205.
[10]Там же. С. 205.
[11]*Пастернак Б.* Собр. соч. Т.5. С. 534—535.
[12]А за мною шум погони. Борис Пастернак и власть. М., 2001. С. 150.
[13]Lars Gyllensten. Some notes on Pasternak's Nobel prize in 1958. Artes. St. N1. 1983. P.112.
[14]*Camus A.* Carnets. T.III. Gallimard, 1989.
[15]*Camus A.* Discours de Suède. NRF. Paris, 1958.
[16]Canadian Slavonic Papers. Vol. XXII. N 2. 1980. June. В русском переводе: Дружба народов. 1998. № 2. С. 206.
[17]*Пастернак Б.* Переписка с Эден Пельтье-Замойской // Знамя. 1997. № 1. С. 125.
[18]А за мною шум погони. С. 141.
[19]*Иванова Т.В., Пастернак Б.Л.* // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 255.
[20]*Чуковский К.* Из дневника // Воспоминания о Борисе Пастернаке. С. 277.
[21]А за мною шум погони. С. 147.
[22]Ce soit une joie tellement solitaire // Le Figaro. 1958. 25—26 octobre.
[23]La nouvelle République. 1958. 26 octobre.
[24]Письмо Сталину 1935 года // Русская мысль. 1991. 28 июля.
[25]А за мною шум погони. С. 153—154.
[26]Там же. С. 160.
[27]Там же. С. 39.
[28]La nouvelle République. 1958. 31 октября.
[29]Times. 1958. 31 октября.
[30]Courier de l'Ouest. 1958. 31 октября - 2 ноября.
[31]А за мною шум погони. С. 185.
[32]Le Figaro littéraire. 1958. 1 ноября.
[32]А за мною шум погони. С. 41.
[33]*Иванов Вяч.Вс.* Как было написано письмо Б.Пастернака // С разных точек зрения: «Доктор Живаго» (Б.Пастернака). М., 1999. С. 111—112.
[34]Правда. 1958. 2 ноября.
[35]А за мною шум погони. С. 43.
[36]*Пастернак Б.* Письма к Жаклин де Пруайяр // Новый мир. 1992. № 1. С. 153.
[37]*Ивинская О.* В плену времени. Париж, <1978>. С. 335.
[38]*Пастернак Б.* Собр. соч. Т. 5. Письмо Л.А.Воскресенской. С. 568.
[39]А за мною шум погони. С. 185—186.
[40]Там же. С. 46.
[41]Le monde. 1958. 8 октября.
[42]А за мною шум погони. С. 250.
[43]*Пастернак Б.* Письма к родителям и сестрам. Stanford. 1998. Кн. II. С. 27.

РУССКИЕ В ШВЕЦИИ

# А.М.Коллонтай и И.Г.Эренбург

## *Шведские страницы*

Борис ФРЕЗИНСКИЙ

### АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ В ПИСЬМАХ ИЗ ШВЕЦИИ

Судьба Александры Михайловны Коллонтай (1872—1952) незаурядна, легендарна, и, конечно, трагична. Коллонтай — одна из самых ярких женских фигур XX века. «Родители мои были людьми различных социальных полюсов, — пишет Коллонтай своему раннему биографу, — отец — генерал Генерального штаба М.А.Домонтович, мать — финляндская уроженка, из крестьянской семьи. Образование получила, как и большинство девиц того круга, в котором я росла, домашнее и только сдала экзамен на аттестат».[1] Затем — замужество и рождение любимого сына (1894). Ограничить свою жизнь семьей Коллонтай не могла и не хотела — она была сильной натурой, с несомненным общественным темпераментом. В середине 90-х годов увлеклась легальным марксизмом, прельстилась им и в 1898 году, разведясь с мужем и оставив ребенка, уехала в Цюрих учиться политэкономии. Швейцария, Англия, Франция — страны, где она проводит начало века, лишь изредка наезжая в Россию повидаться с сыном. Ее первые книги посвящены социальным проблемам Финляндии. «Угнетение Финляндии и стойкая борьба этого мужественного народа, с которым у меня всегда были тесные связи и по крови, и по симпатиям, толкнули меня на изучение рабочего вопроса в Финляндии», — пишет она биографу в 1913 году.

В 1901 году Коллонтай знакомится с Плехановым и на долгие годы попадает под его обаяние. Прочно сложившееся, едва ли не благочинное для мятежной души Коллонтай социал-демократическое движение Европы толкает ее влево, к радикальным группам, и только уважение к Плеханову будет долгие годы удерживать ее от перехода к большевикам (их тупые бюрократы зачтут ей потом партийный стаж лишь с 1915 года — предыдущие 15 лет общеевропейской социал-демократической деятельности будут не в счет). В нечастые наезды в Россию Коллонтай интегрируется в российское социал-демократическое движение: участвует в событиях 9 Января 1905 года в Петербурге, в 1908 году — в работе Всероссийского женского съезда (именно тогда, под угрозой ареста, она вынуждена будет бежать из России, чтобы вернуться назад уже в 1917 году).

Работа Коллонтай в Европе поражает интенсивностью — статьи в газетах и журналах, брошюры, книги, турне с лекциями и рефератами по разным странам, митинги, съезды, конференции. Она говорит и пишет на многих европейских языках (в письме биографу об этом скромно: «Говорю свободно только на четырех языках: французском, немецком, английском и русском, немного по-шведски и фински»; потом к ним добавились итальянский и испанский).

Илья Эренбург, впервые услышавший Коллонтай в Париже в 1909 году, вспоминал: «Она показалась мне красивой. Одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу, — личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без всеобщего счастья».[2]

В Швецию Коллонтай впервые приехала в 1910 году — вместе с делегатами конгресса 2-го Интернационала. «Я всегда с большим удовольствием вспоминаю, — пишет она известному шведскому социал-демократу Карлу Линдхагену,[3] — наше совместное пребывание в Мальмё» и шлет горячий привет Карлу Брантингу;[4] с обоими она будет поддерживать товарищеские отношения долгие годы.

Весной 1912 года по приглашению левого крыла Шведской социал-демократической партии Коллонтай снова приезжает в Швецию. Перед отъездом из Германии она пишет в Петербург своей подруге писательнице Т.Л.Щепкиной-Куперник: «Еду завтра в Мальмё — начальный пункт турне. Оттуда — не знаю еще куда. Но конечно, добе-русь и до Стокгольма. Из Мальмё пришлю тебе маршрут. Вся поездка займет у меня четырнадцать-пятнадцать дней», а через 12 дней — уже отчет: «Я ношусь не останавливаясь по Швеции — ежедневно переезды в девять-двенадцать часов, редко пять-шесть часов — это уже благо — и вечером собрание. Разумеется, все время на людях, и потому абсолютно некогда, *невозможно* писать... Пока посылаю тебе афишку — она красуется на всех заборах пятнадцати шведских городов и местечек. Шутки ради посылаю вырезку из архиконсервативной газеты. "Наших" газет не шлю — там-то, разумеется, свои превозносят... Ты ведь читаешь по-шведски». И, уже возвращаясь в Германию: «Своей поездкой по Швеции — я не только довольна, нет — это нечто большее. Она дала мне громадное моральное удовлетворение, так как я осязательно чувствовала, что являюсь *опорой* для молодого, радикального течения в Швеции (общесоциалистического, неженского), но и женщинам кое-что дала. Вся поездка — это какой-то золотой сон. *Ни одной* моральной тени. Это так редко бывает в жизни, правда, физические неудобства, усталость — все это было, но зато оно искупалось радушием, теплом, вниманием и всем, что меня окружало. Могло бы вскружить голову, если б я была моложе и менее знала жизнь. Было много и чисто внешнего успеха. Моя первомайская речь комментировалась всякими газетами, особенно волновались консерваторы. Но быть временной знаменитостью — это тоже имеет свои неудобства: сегодня на пароходе, конечно, все меня знали, еще бы: в газетах всяческие снимки — то на трибуне, то премьер-министр и... я — два полюса первомайского дня! Проводы толпы с криками "Alexandra Kollontay Hoch! Hoch! Hoch! Hoch!" (четыре раза, заметь! это полагается в Швеции)».

За 14 дней Коллонтай побывала в 14 городах и поселках Швеции, выступая с рефератом «Семья и проституция»;[5] в Стокгольме она произнесла антивоенную речь на грандиозном первомайском митинге; на 8

собраниях после ее речей принимались резолюции в защиту осужденных социал-демократических депутатов русской Государственной думы. И такой же успех и такая же насыщенность поездок всюду — в Германии, Бельгии, Англии... Коллонтай не представляла себе, как можно общаться с аудиторией не на ее языке (когда в Швецию, где она уже была советским посланником, приехал наркомпрос Луначарский и перед двухтысячной аудиторией читал по бумажке лекцию на немецком языке, она писала об этом подруге едва ли не осуждающе: «Сама понимаешь, что это — не то», — Коллонтай еще не догадывалась, какие «полиглоты» займут кресло Луначарского впоследствии). Троцкий, с которым у крайне левой Коллонтай отношения были не слишком дружеские, встретившись с ней в 1916 году в Америке, признавал: «Знание языков и темперамент делали ее ценным агитатором. Ее теоретические воззрения всегда оставались смутны. В нью-йоркский период ничто на свете не было для нее достаточно революционно»...[6]

Интенсивные поездки давали Коллонтай материал для книг. Одна из них: «По рабочей Европе. Силуэты и эскизы. (Из записной книжки лектора)» (СПб.,1912) — остро критиковала бюрократию немецких социал-демократов, что вызвало резкое недовольство критикуемых. Горький, с которым Коллонтай тогда не была лично знакома, откликнулся на книжку благожелательно: «Прочитал с великим интересом...»

Через два дня после начала мировой войны немецкие власти арестовали Коллонтай, но, обнаружив среди ее бумаг мандат Международной конференции социалисток, освободили — противница царского режима им полезнее была на свободе. При содействии депутата рейхстага К.Либкнехта Коллонтай удалось перебраться из Германии в Швецию. После взвихренной войной Германии Коллонтай попадает в спокойную страну. Из Стокгольма она пишет подруге: «Здесь такая тишина!.. И жизнь точно переносит тебя на многие десятилетия назад. Пусть дома и в стиле модерн, пусть налицо все удобства XX века — Швеция еще живет в середине XIX века: столько здесь неторопливого благодушия, приветливости, какая бывает у нации, еще не истощенной безумным деловым бегом капитализма. Порою мне кажется, что это не я здесь, а моя мама, так все похоже на ее рассказы из ее молодости! Эти уютные домики в шхерах, красненькие избушки, будто крестьянские хижины, а внутри полные уюта, где мило живет какая-нибудь пара стариков, с собаками, попугаями, цветами, где греешься у печки, в которой тлеют березовые дрова и где тебя закармливают шведскими яствами, густыми сливками и пуншем... Или городская квартира старой фрекен, вся в стиле 40-х годов, где беседуют, как о чем-то теоретическом, о женском равноправии за чашкой кофе и горюют об "ужасах" далекой, тоже теоретически для них существующей, войны... Театры — прекрасны. Особенно хороши шведские вещи. Ты читала "Dunungen" Lagerlof?[7] Но в театрах всегда есть места, и лучшее место стоит 4 кроны! Даже рабочее движение здесь неспешное, и вся атмосфера убаюкивающая. После берлинской жизни с ее напряжением всех нервов, ее ужасами и бессонными ночами — это отдых. Но странно и даже жутко сейчас находиться в этом оазисе тишины».

Дух беспокойства и в Швеции не оставил Коллонтай; в середине ноября ее арестовали по обвинению в антивоенной пропаганде и угрозе государственной безопасности Швеции. Однако радикалы из шведских социал-демократов выступили в ее защиту, их требование поддержал съезд партии, и шведскому правительству пришлось ограничиться высылкой Коллонтай из страны, правда, «навечно», то есть без права въезда в Швецию когда-либо впоследствии.[8] Правительство, разумеется, не догадывалось, что Коллонтай официально вернется в Швецию послом послереволюционной России.

Приехав в Петроград весной 1917 года, Коллонтай неожиданно столкнулась там с Карлом Брантингом. Она немедленно проинформировала об этом еще не вернувшегося в Россию Ленина: «Здесь Брантинг. Проповедует нам "осторожность", не разрывать и не раскалывать силы!..» Взвешенную позицию патриарха шведской социал-демократии радикальная Коллонтай разделить не могла.

После октябрьского переворота она становится народным комиссаром государственного призрения и с упоением отдается новой работе. Ее политические взгляды все столь же пылкие — с Бухариным она «левый коммунист», с Шляпниковым — во главе «рабочей оппозиции»... «В России, — вспоминал в 1929 году Троцкий, — Коллонтай почти с первых же дней встала в ультралевую оппозицию не только ко мне, но и к Ленину. Она очень много воевала против "режима Ленина —Троцкого", чтобы затем трогательно склониться перед режимом Сталина».[9]

Первые революционные годы отмечены в жизни Коллонтай не только интенсивной работой, но и бурным «романом» с матросом Павлом Дыбенко (руководитель Центробалта до переворота и нарком по морским делам после, он был на 17 лет ее моложе). Этот «роман» имеет отношение к нашей теме, так как трагический для Коллонтай разрыв с Дыбенко в 1922 году обусловил ее намерение уехать из России в Скандинавию дипломатом.[10]

Ее отношение к большевистской революции и после отъезда из России остается романтическим, хотя и не одноцветным.[11] Начиная с 1923 года, имя Коллонтай мало-помалу вытесняют из большевистской истории; в 1924 году она с горечью пишет подруге, что в новом историческом очерке о женском движении «сознательно — всюду опущено мое имя... А составляли свои — ученицы, соратницы...»[12] Оказавшись в Москве осенью 1927 года, когда в Кремле проходил Всесоюзный съезд работниц и крестьянок, Коллонтай в один из дней его работы все же получила слово для приветствия, но в президиуме ей уже не было места. Реальный опыт Октябрьской революции, пылким участником которой она была, кое-чему научил Коллонтай — она сумела, отойдя в сторону, оглядеться и почувствовать, что происходит. В 1920-е годы она еще не боялась писать об этом близким: «Смолоду хотелось повысить людское счастье и уменьшить людские страдания. А сейчас наоборот. И всюду. Сама же стоишь невероятно беспомощная. Вот эта беспомощность отвратительна и мучительна. Раньше видела способ борьбы, раньше были слова утешения. А сейчас знаешь — это неизбывно. Это надолго. Целое поколение, может быть, два, три поколения вынуждены будут жить под этим знаком страдания... У меня много внешних тревог, неприятностей, сложностей. Но я радуюсь всему, что дает жизнь: снегу под окном, лучу солнца, ночной тишине, вплоть до физического, вбирая тепло, когда пойдешь с холоду в свою комнату, где тихо и тепло» (1925). Чтение книг по мировой истории стало ее потребностью: «Аналогии делают мудрее, но не радуют» (из письма 1929 года); оно не было утешением, но создавало иной масштаб переживаемому: «В каждую

эпоху люди думали, что их эпоха особенно тяжелая, особенно кровавая и особенно полная перемен. Просматривая историю, глава за главой, век за веком, видишь, что редкому поколению удавалось прожить и не быть свидетелем войн или других социальных потрясений или бедствий... мы ужасаемся всему непривычному и в новом готовы видеть отступление от светлых норм жизни... И все-таки человечество идет медленно, по колено в крови, по ступенькам истории вверх, к более человеческому будущему. Но ступенек этих еще много, много, и наши достижения еще очень малы по сравнению с целью — счастье трудящихся и труд — как счастье» (1927). Она не рассталась с социалистическими идеалами, не зачеркнула азартную молодость, но поняла, что «прогресс» человечества исторически долог. Это понимание пришло вовремя — диктатура Сталина уже установилась; Коллонтай, видимо, посчитала ее исторически обусловленной и смирилась. Она пишет Щепкиной-Куперник: «Я уже поборола в себе остроту огорчения. Поняла всю историческую неизбежность факта... Только, знаешь, странно это в жизни: с годами надо все чаще и чаще учиться "zu verzichenten"» (отрекаться. *Нем.*).[13]

Иногда она еще пытается бороться за правду о прошлом — скажем, в 1929 году посылает в Москву рукопись сборника очерков «Это было в Октябре» и одновременно пишет подруге: «Не знаю, кажется, тоже не подойдет. Это жаль». Разумеется, книгу отвергли.

Весной 1930 года Коллонтай назначают посланником СССР в Швеции по совместительству с работой в Норвегии. (Заметим, что Коллонтай — первая в мире женщина-посол. В 1936 году в Париже состоялся Международный конгресс деловых женщин разных профессий; он определил самых знаменитых женщин мира — Коллонтай заняла второе место; третье — нобелевская лауреатка Ирен Жолио-Кюри, еще дальше — нобелевская лауреатка Сельма Лагерлёф.)

Швеция — вершина дипломатической карьеры Коллонтай, принесшая ей новую европейскую известность (не только общешведскую — несколько раз она выезжала в Женеву для участия в ассамблеях Лиги Наций). Дипломатия была по силам Коллонтай, но чиновный протокол ее тяготил. В 1930 году она делилась этим со шведской писательницей Элен Микельсен: «У меня здесь нелегкая работа. И больше, чем когда-либо, я мечтаю быть свободной от административной работы и отдаться только литературно-филологическим и, так сказать, "философским" занятиям. Суждено ли мне когда-нибудь испытать такое счастье?»; еще откровеннее об этом в письмах русским друзьям: «Такая жизнь — на людях, — будто на сцене. Играешь, играешь, не скажешь же всего, что думается. Все "представительство", "чаи". Все надо быть глупо-светской. Там, в Осло, — было больше человеческого». И еще раз через полгода: «Дружно, созвучно работаем. Но я не люблю, когда работа начинает заслонять жизнь, когда нет времени ощутить, что живешь».

По приезде в Швецию Коллонтай пишет самому близкому своему другу Зое Шадурской: «В Стокгольме наладила основное, повидала много всякого народу, официального и частного, побывала на торжественном концерте с семьей Бернадотов[14] и дипкорпусом, провела вечер (в мою честь) в редакции радикального органа... все по положению и это сверх неотложных, очень напряженных текущих дел. Но, когда "надо", находишь энергию и решимость». И в другом письме: «За эти полтора года я много передумала, пережила, переварила. Сверила с историей. И пришла к очень оптимистическим выводам. <...> О теневых, привходящих, неизбежных частностях, хотя часто до слез мучительно ненужных, я не говорю». Это окончательный выбор: Коллонтай — советский посол, она осуществляет свою деятельность, подчиняясь сталинской политике, но принципы и стиль ее практической работы на Западе интеллигентны и умны... Как-то она напишет Шадурской об их устремленности в будущее: «Мы с тобой можем оглянуться на прошлое, только чтобы улыбнуться на его непревзойденное несовершенство. Наши взоры с тобою всегда глядят вперед...»

Осенью 1930 года Коллонтай окончательно распрощалась с любимым Осло (ее освободили от обязанностей посланника в Норвегии) и сосредоточилась на работе в Швеции. Она пишет из Стокгольма Щепкиной-Куперник: «Город помпезный и красивый. Но это город. А Осло — зеленая гавань, обросшая домами... Только теперь за эти последние трудные годы я сказала "прости" молодости. И молодость — я похоронила в милой Норвегии».

30—31 октября 1930 года все шведские газеты поместили снимки и статьи о вручении Коллонтай верительных грамот королю Густаву V...

Работа за границей, воспринимается ею как отрыв от родины, от-

В саду советского полпредства. Сидят (слева направо): Л.М.Эренбург, А.М.Коллонтай, А.Я.Савич. Стоит (справа) О.Г.Савич. *Осло, 1929 г. Фото И.Эренбурга.*

сюда оправдательный романтизм в письмах: «Трудное время сейчас. Чувствую, что мы здесь — на аванпостах. Огонь бьет в первую очередь по нам. День и ночь на посту часовыми. Такое ощущение. Еще никогда так четко этого не ощущалось. И не было столько трудностей, столько забот, чтобы все учесть, предвидеть, не ошибиться»; «Знаешь, почему я так страстно хочу домой, в Союз? Я чувствую, как там растет новая молодежь. И я ее не знаю, не улавливаю. Здесь ведь темп жизни иной. Здесь мы еще передовые. А в Союзе, я уверена, что мы будем или, вернее, я буду вроде старика Острогорского...»[15]

1930-е годы начались мировым экономическим кризисом. В 1932 году Коллонтай пишет из Стокгольма: «Швеция, еще недавно, еще два года тому назад не знавшая, что такое "недостаток работы", кичившаяся накоплениями, страна, экспортирующая капиталы, сейчас потрясена событиями, связанными с мировым кризисом. Шведы — народ дисциплинированный и выдержанный. Нет паники, нет отчаяния, стойко встречают они трудности. Но тяжело сейчас здесь...» (это же восхищение организованностью шведов возникнет

у Коллонтай и в начале второй мировой войны: «Шведы не теряют присутствия духа и демонстрируют прекрасную дисциплину. Они обладают даром организовывать быт даже в самых трудных условиях. Газа нет, кофе и другие продукты выдают по карточкам. Люди ходят пешком или ездят на велосипедах. Тот прекрасный город, который мы обе так любили, стал совсем другим. Сейчас он безрадостный, сдержанный и тревожный. Никаких приемов, никаких званых обедов» (письмо Паленсии, бывшему испанскому послу в Швеции, октябрь1939-го).

Коллонтай не перекладывает своей работы на других: «Замотали меня. Обстановка мировой политики, длительного кризиса — все это в конце концов доводит нас, работников по дипломатии, до потери сна и анархии сердечной деятельности» (декабрь 1932-го). Но тут же, оказывается, она находит время для искусства и рассуждает о судьбе романа как литературного жанра: «Я давно говорю, что роман отмирает, что эта форма хороша была в XIX столетии и для определенной эпохи». По сравнению с провинциальной Норвегией меняется масштаб деятельности: «Я живу, замкнувшись и в себе. Сурово и деловито. Ни одна пуговка не может быть расстегнутой. Когда мои нервы не выдерживают, пью бром... Еще в 30—31 годах я была иная» (1933).

7 марта 1933 года Сталин награждает Коллонтай (среди других советских женщин) орденом Ленина: «за выдающуюся самоотверженную работу в области коммунистического просвещения работниц и крестьянок».[16] Это, конечно, не охранная грамота, но свидетельство: ею довольны...

В Швеции Коллонтай встречается с массой людей, посещает выставки и спектакли, свободно и много читает, следит за настроениями в обществе — у нее много друзей, и главная ее заповедь: «Дипломат, не давший своей стране друзей, не может называться дипломатом». Оторванная от советской молодежи, она интересуется шведской; ее наблюдения точны: «Фашизм и коммунизм — две силы. Борьба обостряется. Забыты проблемы Ибсена. Бьёрнсон стоит в кожаных переплетах на полках. Гамсун издается для почета. Молодежь живет другим: Квислинг[17] (фашист) или большевизм?» Эта отмеченная Коллонтай поляризованность взглядов шведской молодежи была свойственна всей Европе середины 1930-х годов, она порождалась европейскими политическими событиями и, в свою очередь, влияла на них.

1933 год Коллонтай с бешеной энергией, по собственному признанию, работает над договором о займе в 100 миллионов крон для покупки промышленных и сельскохозяйственных товаров. «Стоил он мне, во всяком случае, нескольких лет жизни»,— пишет она Бонч-Бруевичу. Предстояло нелегкое прохождение договора через парламент: консерваторы хотели провалить ратификацию и тем самым свалить правительство. И в этот момент Сталин отказывается от договора, спутав карты шведских консерваторов, но и растоптав сложнейшую работу. Коллонтай пишет Щепкиной-Куперник: «Это были трагические дни. Так надо было. Но это все равно что собственной рукой взорвать тщательно и любовно выстроенный мост. Да, это было трагично. И эти дни вписаны черными буквами в летопись моей жизни». Формула «так надо» облегчала существование многих функционеров сталинской эпохи, но Коллонтай она не лишала проницательности: «Чувство такое, — пишет она подруге в 1935 году,— что предстоят большие, тяжкие мировые события. И ловишь минуты, когда этого еще нет».

Конечно, она чувствует возраст («65 лет — это переход в новую ступень жизни. До сих пор можно было говорить: пожилые годы. Сейчас — эпитет "старость" станет скоро привычным» — из письма Зое Шадурской), но еще подвижна и, конечно, сохраняет живой интерес к жизни и работе.

Как и все левые в Европе, Коллонтай «болела» за республиканскую Испанию, когда там вспыхнул военно-фашистский мятеж; она приветствует деятельность Георга Брантинга[18] по оказанию помощи испанцам; у нее устанавливаются сердечные (на долгие годы) отношения с послом Испании в Стокгольме Изабель де Паленсией.

Шведские газеты немало писали о репрессиях в России, сообщали о готовившихся отзыве и аресте Коллонтай; нелегко ей давалось этого не замечать... Весной 1937 года она побывала в Ленинграде, возвращалась в Швецию в подавленном состоянии. Проезжая через Финляндию, на границе, в Белоострове, она вспомнила 1923 год и те же места — «когда навсегда распрощалась с Павлом и ехала, отупевшая от боли, мертвая. И вдруг неизвестно отчего в Райякокках почувствовала: нет, я не мертва». Ей хотелось почувствовать, что и теперь она не мертва, однако сейчас от нее лично мало что зависело... Вернувшись в Стокгольм, она не нашла там старых сотрудников (чистки катком прошлись по всем советским посольствам) и сообщает об этом подруге сдержанно и кратко: «Я много одна. И это будет не прежний Стокгольм. Ведь в доме у нас все новые»; близкие отношения с новыми сотрудниками не могли сложиться: «У меня со всеми нашими в колонии хорошие отношения. И меня, конечно, ценят и уважают. Но без тепла личного, хоть капельки тепла, участия, внимания — что за жизнь?» (1938).

Коллонтай всегда волновалась за сына. Он получил хорошее образование, знал языки и его удалось устроить на внешнеторговую работу — большую часть жизни он проработал за границей, часто рядом с матерью. Сталин их не тронул. Понятно, что без его визы арестовать Коллонтай не могли. Адекватного объяснения конкретных поступков Сталина не найти. Конечно, Коллонтай умела создавать в посольствах человеческую атмосферу и у нее было мало врагов, стало быть, и доносов на нее было немного; она отлично выполняла дипломатические обязанности, принося несомненную пользу стране, и, разумеется, внешне была лояльна сталинскому режиму и публично скромна в оценке своих прежних заслуг — однако сами по себе эти добродетели тогда отнюдь не гарантировали жизнь...

Коллонтай в Швеции не раз подводила итоги жизни; эти итоги искренне и продуманно выражены 21 июля 1938 года в письме к ее другу, широко известному в Швеции врачу и деятельнице женского движения Аде Нильсон[19] (письмо из Сальтшёбадена — здесь, на даче под Стокгольмом, Коллонтай, обожавшей природу, иногда удавалось чуточку отдохнуть): «Моя жизнь была богатой и интересной. Я пережила много великих событий. Но также много страданий. Главное, за что я боролась, о чем мечтала, и ради чего работала всю свою жизнь, — социалистическое государство стало действительностью. Освобождение женщины, за что я вела непрерывную и тяжкую борьбу, и это осуществлено в Советском Союзе. Страдания? Я ненавижу жестокость, нетерпимость, несправедливость, человеческие мучения. Ныне человечество находится в такой стадии, когда все эти явления приобрели ужасающие размеры. Это происходит

всегда в периоды коренной ломки социально-политических и экономических систем. Исторически это обусловлено. Но от этого страдания не становятся меньшими». Если реальное социалистическое государство не уменьшило страдания на земле (мы знаем — увеличило!) — о том ли она мечтала? Мучил ли Коллонтай этот вопрос?..

Август 1939 года существенно изменил мировую политику на ближайшие годы; в письмах Коллонтай, понятно, не найти суждений о пакте Молотова — Риббентропа (формула «так надо» работала). После вступления СССР в мировую войну и захвата Восточной Польши Коллонтай получает несколько писем от поляков, эмигрировавших в Швецию, писем с угрозами; она сообщает друзьям об этом спокойно, даже с романтическим вызовом: «"Если Вам дорога жизнь — уезжайте отсюда", — пишут эти несчастные люди. Я улыбнулась. Так ли уж "дорога мне жизнь"? Я люблю жизнь, наслаждаюсь ею. Я прожила жизнь наполненную, интенсивную. И все же ах, если бы эти грозящие мне люди знали, как прекрасно, когда о тебе говорят: "умер на баррикадах"» (в конце 1930-х многие потенциальные жертвы репрессий мечтали об этом!).

30 ноября 1939 года началась фактически санкционированная Гитлером советско-финская война; отношения СССР со Швецией резко ухудшились. Швеция оказывала Финляндии военно-материальную помощь. Англия, Франция и США настаивали на проходе через Швецию англо-французских войск в Финляндию. Коллонтай в свое время была противницей «права наций на самоопределение», но выступила за признание независимости Финляндии. Теперь ей было нелегко, однако, приструнив эмоции, она решала поставленные войной задачи. Главная: удержать Швецию на позициях нейтралитета. В письмах друзьям она не может дать волю чувствам, суха, дипломатична.

25 декабря 1939 года: «Мне сейчас приходится проходить страницы новой главы, очень трудной, очень напряженной. Без отдыха и без единого человека, который был бы для меня хоть изредка другом... Живем мы в трудной обстановке. Напряженно. От перегрузки слегла в особом "припадке переутомления"».

В тот же день пишет Щепкиной-Куперник: «Моя жизнь сейчас очень нелегкая, бесконечно напряженная и нагруженная до отказа... Жизнь предъявляет требования нести свой нелегкий пост с терпением и выдержкой. Это опять "новая глава" жизни, при современной международной обстановке. Хорошо, что во мне есть "частица писателя". Это поможет как-то со стороны, вернее, сверху глядеть на трудности и на саму себя, которая, сжав зубы, преодолевает одно за другим и препятствие и трудности».

Коллонтай добилась того, что сформировавшееся в декабре 1939 года шведское правительство национального единства воспротивилось попыткам Англии и Франции вовлечь Швецию в войну Финляндии с СССР. С начала 1940 года два с половиной месяца Коллонтай с понятным энтузиазмом участвовала в подготовке советско-финляндского мирного договора, который в итоге был подписан в Москве 12 марта 1940 года. Илья Эренбург вспоминал: «Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшёбадене на даче у шведского актера Карла Герхарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. "Другой такой умницы я не встречал, — восклицал он, — обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом..."»[20]

9 апреля 1940 года Гитлер вторгся в Данию и Норвегию. Коллонтай делала все для сохранения нейтралитета Швеции, вела переговоры с министрами финансов и народного хозяйства о заключении советско-шведского соглашения о кредите (подписано 7 сентября 1940 года), готовила визит шведской правительственной делегации в Москву. В апреле она пишет Щепкиной-Куперник: «Мировые события уж очень близко подошли к Швеции. И моя работа утроилась. После краткой передышки в работе с 13 марта в апреле снова пришлось раздуть паруса и пуститься в плавание по волнам сложных мировых событий. Но я полна энергии и душевно бодра. Конечно, устаю физически, но это неизбежно», а 15 мая 1940 года в Мексику Изабель де Паленсии: «Европа перестраивается на военный лад. Кофе, мыло, сахар — все по карточкам. В Стокгольме мы почти все время сидим без света, напряжение колоссальное, но у шведов образцовый порядок, и, вопреки трудностям, у них все хорошо организовано... Какой странный поворот истории мы переживаем! В свободное время читаю работы по истории Древнего Рима, — особенно по ночам, когда не спится. Есть над чем подумать: Древний Рим, его упадок — масса размышлений, масса аналогий»; 18 августа из Сальтшёбадена снова Шепкиной-Куперник: «Я прикована очень трудной работой. И не вижу ей конца. Мир такой стал беспокойный, и для нашей профессии значительно прибавилось забот и хлопот. За все лето я впервые вырвалась на сутки за город и наслаждаюсь одиночеством и тишиной. За окном залив и шхеры... Ни одной моторной лодки, ни одного автомобиля — нет бензина. Газеты полны жирными заголовками о битвах воздушных и морских. Мир полон потрясений» — а далее приписка (наверняка для перлюстраторов!): «Только у нас в Союзе светло и радостно...»

4 сентября 1940 актриса В.Л.Юренева, сестра ее самой близкой и умершей в 1939 году подруги, посылает ей «Из шести книг» Ахматовой.[21] Коллонтай отвечает: «Большое сердечное спасибо и за книжку и еще больше за милое внимание. Но, представьте, я не могу найти часа, чтобы сесть и спокойно понаслаждаться ее стихотворениями. У меня сейчас такой наплыв работы, что я не успеваю почистить ногти и хожу со срочно закрученными волосами, как у старой гувернантки».

1941 год не снял этого напряжения...

## ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. КОЛЛОНТАЙ И ЭРЕНБУРГ

С нападением Германии на СССР жизнь советского представительства в Швеции снова стала неспокойной — Стокгольм, как и Стамбул, превращался в арену дипломатического соперничества двух воюющих лагерей: Германии с ее сателлитами и союзных держав (СССР, Англия, США). Шведское общество раскололось — одни поддерживали Германию, другие — союзников (соотношение сил противостояния колебалось с неизменным перевесом в сторону побеждающей стороны, так что поддержка союзников стала доминировать лишь в 1943 году: после Сталинграда). 17 апреля 1942 года Коллонтай уверяла советского посла в Лондоне И.М.Майского: «В шведской общественности без сомнения больше англо-американских симпатий, чем пронемецких. Но малые успехи и неудачи наших союзников за последнее время расхолаживают

шведов, и это очень досадно и нежелательно. Немцы же энергично работают и держат Швецию все время под угрозой. Посылаю Вам несколько экземпляров нашего бюллетеня. Он имеет огромный успех, расходится ежедневно в 10 000 экземпляров, и тираж безостановочно растет. Даже попы из провинции просят высылать бюллетень и благословляют Красную Армию, что она спасет Швецию от нацизма. Преследование священников в Норвегии произвело здесь огромное впечатление и укрепило антифашистские настроения». Конечно, о довоенном преследовании священников в России шведы тоже хорошо знали, да и пронемецкие симпатии всегда были сильны в Швеции — так что Коллонтай в этом письме не слишком объективный хроникер событий.

Прогерманские настроения основных газет Швеции делали нелегким поиск влиятельной прессы, которая рискнула бы печатать статьи Ильи Эренбурга, самого яростного антифашиста и, несомненно, первого публициста антигитлеровской коалиции (его регулярно печатала пресса Англии и США, да и подпольная печать порабощенной Гитлером Европы). Книги Эренбурга в Швеции знали с 1925 года, когда в Стокгольме вышли «13 трубок» и следом еще четыре его книги. Антифашисткая публицистика Эренбурга за годы войны — более полутора тысяч статей; боевой счет был открыт 25 июня 1941 года (статья «Час настал») и прервался 9 апреля 1945 года (статья «Хватит») по негласному указанию Сталина. Эренбург фактически создал идеологию военной публицистики, опередив партийную пропаганду, медленно отходившую от установок эпохи пакта Молотова — Риббентропа и договора о дружбе с гитлеровской Германией. Но в Швеции найти для него солидную трибуну было нелегко... Шведской газетой, начавшей печатать статьи заклятого врага Гитлера, стала «Göteborgs Handels- och Sjofarts Tidning» («Гётеборгская торговая и судоходная газета») — одна из старейших газет либеральной партии (не социал-демократов!). Она в 1941—1944 годы не только перепечатывала статьи Эренбурга из «Красной звезды», но и заказывала ему материалы специально для Швеции. Так был создан главный противовес германской пропаганде в Швеции, и Коллонтай существенно способствовала этому.

Тут пора заметить, что Коллонтай и Эренбург были давно знакомы. Конечно, Александра Михайловна не помнила восемнадцатилетнего юнца, который скорее всего иронично слушал ее в Париже, — счет их знакомству она вела с 1929 года. Из ее письма Зое Шадурской 11 августа 1929 года: «Эти дни были у нас гости: Эренбург с женой художницей и новый писатель Савич с женой. Эренбург — культурный, наблюдательный, с тактом. Говорили много о путях литературы». 12 августа в клубе полпредства Эренбург и Савич провели литературный вечер, читали свою последнюю прозу. Коллонтай писала об этом: «Я получила большое духовное удовольствие».

Впечатления Эренбурга о той встрече с Коллонтай: «Меня поразила ее популярность — многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге».[22]

Вдова ближайшего друга Эренбурга писателя О.Г.Савича Аля Яковлевна рассказывала мне о поездке с Эренбургом по Скандинавии в 1929 году и о встрече с Коллонтай: «А.М. предложила устроить в полпредстве вечер по случаю нашего приезда. Полпредство размещалось в очаровательном особняке. Нижний этаж занимала канцелярия, а наверху — апартаменты посла. Там в красивой раме висел портрет то ли матери, то ли бабушки А.М. — она не стеснялась своего происхождения. В А.М. больше всего поразило необычайное чувство демократизма. Это было не первое советское полпредство, которое мы посетили, но такой дружественной, товарищеской обстановки не видели нигде... Коллонтай узнавали на улице! Я это видела своими глазами, когда А.М. пошла с нами гулять по городу... Ее известность напомнила мне известность Качалова на московских улицах... На вечере Эренбург и Савич читали куски из новой прозы, им задавали массу вопросов. Потом А.М. рассказывала о Скандинавии. Мы любовались ею. Казалось, что собралась одна семья — так она держалась со всеми...»[23]

Судя по мемуарам Эренбурга «Люди, годы, жизнь», он встречался с Коллонтай еще в 1933 году, затем — в 1938 году (об этой встрече остался краткий след в письме Коллонтай 8 мая 1938 года Зое Шадурской: «Вчера — Эренбург, проездом, прочел у нас чудесный доклад об Испании»). Эренбург обстоятельства встречи 1938 года помнил в деталях. В конце декабря 1937 года он приехал ненадолго в Москву из Испании, где был корреспондентом «Известий», но вскоре у него отобрали международный паспорт. Эренбург написал Сталину, что считает целесообразным вернуться в Испанию, где может принести больше всего пользы. Ему передали отказ и в то же время обязали посетить расстрельный процесс «правотроцкистского блока», где главным обвиняемым был друг его юности Н.И.Бухарин. Угроза была очевидна, но Эренбург, проведя день на процессе, отказался написать о нем для «Известий». Спустя какое-то время он снова заявил о своем желании вернуться в Испанию, и на сей раз его отпустили. Он ехал с женой через Ленинград и Финляндию и всю дорогу до границы думал, что это ловушка и их арестуют; в Хельсинки была пересадка — «Мы сидели с Любой[24] на скамейке в сквере и молчали: не могли разговаривать даже друг с другом...»[25] Вот в таком состоянии Эренбург появился в Стокгольме. Разумеется, ничего этого нет в письме Коллонтай, и не было в ее разговоре с Эренбургом, но две ее фразы все же оказались многозначительными — Эренбург их запомнил: «В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республики Испания Паленсию, оживилась когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: "Я тоже считаю, что еще не все потеряно..." Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: "Как дома?" И поспешно добавила: "Можете не отвечать — я знаю..." Когда мы расставались, она сказала: "Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве..."»[26]

Вернемся к 1942 году. Коллонтай курировала доставку эренбурговских материалов в Стокгольм. 3 декабря 1941 года она телеграфировала в Куйбышев, куда были эвакуированы правительственные учреждения, главе Совинформбюро С.А.Лозовскому, которого знала еще по Парижу с 1909 года: «Здешние левые газеты настойчиво просят статьи Эренбурга и его фронтовые заметки. Эренбурга здесь хорошо знают, и нам эти статьи будут весьма полезны. Попросите Эренбурга заготовить что-либо специальное для Швеции». На этой телеграмме резолюция заместителя Лозовского: «Надо

договориться с т. Эренбургом и заказать просимые статьи».[27] Так к прочим нагрузкам Эренбурга добавилась новая — он стал писать и для Швеции. Эренбург вспоминал об этом так: «Газета "Гётеборг хандельстиднинг" была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел предупредил шведов, что "статьи Эренбурга в гётеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия". Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — "Стокгольмс тиднинген", "Гётеборг морген", "Афтонбладет" и другие. Особенно образно выражалась "Дагпостен": "Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую рожу и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы". Статьи, которые печатала гётеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и "Франкфуртер цейтунг" писала, что "все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору". Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о "свирепости русского медведя" и восхвалял шведа, записавшегося в немецкую дивизию».[28]

28 января 1942 года, когда регулярное сотрудничество с гётеборгской газетой наладилось, пресс-атташе Коллонтай Александра Ларцева сообщила Эренбургу телеграммой:

«Все Ваши статьи напечатаны в газете Гётеборг хандельстиднинг тчк имеют большой успех тчк газета просит писать не менее раза в неделю».[29]

Теперь вся работа Эренбурга на Швецию шла через полпредство, минуя Совинформбюро. Снабжением западной прессы советскими материалами в Совинформбюро занимался В.Кеменов,[30] молодой выдвиженец, чувствовавший себя большим начальником; распределяя литработу на заграницу, он 10 февраля 1942 года телеграфировал в Москву Эренбургу:

«Для шведских газет нужны статьи генералах Красной Армии биографическими данными Пишете вы и Катаев=Кеменов».[31]

Эренбург был не тот человек, который позволил бы чиновникам так с собой разговаривать; он ответил:

«Удивлен тоном вашей телеграммы тчк для Швеции высылаю регулярно

Обложка книги И.Эренбурга «Секрет русского сопротивления». *Стокгольм. 1942 г.*

статьи определенной газете через полпредство тчк Катаеву передам вашу телеграмму=Эренбург».[32]

Прес-служба Коллонтай держала связь с Эренбургом непосредственно; иногда к нему обращалась и сама Александра Михайловна. Вот две ее радиограммы 1942 года:

«4 мая. Москва. Эренбургу. Гостиница Москва. Ждем нетерпением ваших статей. Газеты не дают нам покою. Телеграфьте день высылки. Посланник СССР Коллонтай».

На эту телеграмму Эренбург ответил тотчас же:

«5-го мая 42. Стокгольм. Совпосольство. Коллонтай. Последний раз передал очерк 2 мая. Следующий пришлю скоро. Привет. Илья Эренбург».

Вторая телеграмма Коллонтай отправлена осенью:

«12 октября. Эренбургу. Гостиница Москва. Москва. Просим срочно дослать четвертую телеграмму вашей статьи в Красной звезде 8 октября,[33] которую мы недополучили, — Посланник Коллонтай...»[34]

В мемуарах Эренбург вспоминал, как пронемецкие силы в Швеции сопротивлялись публикации его статей; он приводил слова министра почты и телеграфа Андерса Эндре, написавшего в статье «Илья Эренбург в Швеции»: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». «Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью», — заметил Эренбург[35] и привел примеры реакции левой прессы на правительственный нажим: «В шведском журнале "Фольксвильян" было напечатано следующее: "Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом"».[36] Аудитория Эренбурга в Швеции вопреки всем трудностям росла; он вспоминал: «Редактор "Гётеборгс хандельстиднинг" профессор Сегертедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты».[37] 18 апреля 1945 года, когда в СССР по указанию Сталина Эренбурга перестали печатать, стокгольмская газета «Экс-прессен» признала: «Во время войны Эренбург был лучшим военным корреспондентом своей страны».

Уже в 1942 году стокгольмское издательство «Арбетаркультур» решило выпустить книгу военных статей Эренбурга, напечатанных в гётеборгской газете. 30 июня 1942 года А.Ларцева телеграфировала Эренбургу:

«Для сборника Ваших статей просим выслать еще несколько, в том числе статью "Фриц — философ" тчк Очень просим выслать для Бюллетеня копии Ваших статей Красной звезде тчк Статья к годовщине войны опубликована 27 июня ожидаем опубликование статей отношениях Швецией».[38]

В конце 1942 года сборник Эренбурга «Ryska motstandets hemlighet» («Секрет русского сопротивления») был издан.[39] В него вошли 19 статей (включая такие известные, как «Россия» и «Русский Антей»...) и предисловие издательства; в книге поместили 13 фотографий (среди них московский снимок Черчилля со Сталиным)...

Коллонтай в этом уже не принимала участия — в августе 1942 года ее организм не выдержал перегрузок: кровоизлияние в мозг случилось, когда она входила в посольский лифт. Состояние советского посла врачи признали безнадежным. Спасла Коллонтай профессор Нанна Сварц — применением рискованных инъекций. В 1944 году А.М. работала почти с прежней энергией... Весной 1944 года Эренбург посылает Коллонтай сборники своих военных статей, она отвечает письмом: «Стокгольм, 15 апреля 1944 года. Дорогой товарищ Эренбург, сердечное спасибо Вам за Ваши книжечки и за теплые слова. Вы ведь знаете, как в Швеции Вас ценят и любят как большого писателя. Я бы очень хотела снова повидать Вас здесь и оказать Вам теплое гостеприимство. Мы Вам так благодарны за теплые статьи, которые брали в шведскую прессу. Работаю я очень много, и дела большие, но сердцем и мыслью, конечно, у себя на дорогой Родине. Надеюсь, что уже скоро можно будет самолетом прилететь в Москву. Тогда повидаемся. А пока тепло жму Вашу руку, желаю всяческих успехов в работе и всего Вам хорошего. Посол А.Коллонтай».

Еще в 1943 году началась работа над переводом на шведский романа Эренбурга «Падение Парижа», который к тому времени стал бестселлером в Лондоне.[40] Вскоре роман вышел, а вслед за ним еще одна книга статей Эренбурга по-шведски.[41]

В СССР с 1942 года ежегодно издавались тома основных военных статей Эренбурга под названием «Война»;[42] в 1944 году вышел третий том, и Эренбург послал его Коллонтай. Вот ее ответ: «Стокгольм, 25 ноября 1944. Дорогой товарищ Эренбург, самое теплое спасибо Вам за Вашу память обо мне и за книжечку "Война", которая дает возможность еще раз перечитать Ваши интересные мысли и картины о пережитых годах Отечественной войны. Очень хотела бы Вас повидать. Найду Вас, как только прямые самолеты начнут регулярно летать из Стокгольма в Москву. Все Ваши книги с большим интересом читаются в Швеции, и Ваше имя близко всем северным народам. Самый теплый Вам привет и пожелания успехов в работе. А.Коллонтай».

Илья Григорьевич попал в Швецию лишь после войны, в 1950 году, когда А.М.Коллонтай там уже не было...

## ЭРЕНБУРГ И СТОКГОЛЬМ. ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА

«Нет ничего патетичней воды и камня — просто далась Стокгольму осанка столицы. Давно уже великая держава стала историей, давно уже окаменели удила королевских коней на вечно влажных цоколях, но по-прежнему пышен и горд город. Его призрачное величье, его холод и благородство сродни городу Петра. Можно, конечно, сказать, что здесь сказалось естественное подражание, что город, заложенный "назло надменному соседу", невольно примерял его нежную спесь, наконец, что были у них общие учителя, которые привезли из Голландии поэзию строгих фасадов, отображенных в воде, огромных окон и взволнованного тумана. Но убедительней истории здесь география: обе северные столицы воплощают не только торжество, зачастую превратное, над соседними племенами, военные трофеи, парады, казну — нет, их набережные и дворцы полны иного вдохновения, — это торжество над злой косностью природы. Стокгольм сделан из шхер и воды; построить дом здесь — все равно что взять крепость; на вновь проложенных улицах среди магазинов готового платья еще торчат неприязненные скалы; здесь нет просто жилья: это обдуманный план, почти абстракция, навязчивый бред, справедливо дополняемый белыми ночами, металлическим просвечиванием воды и сиренами пароходов».[43]

Так начинаются очерки Ильи Эренбурга «Север», написанные в 1930 году. Цитируя их, трудно остановиться. Через тридцать пять лет, работая над мемуарами «Люди, годы, жизнь», Эренбург снова напишет о Швеции — спокойней, рассудительней, с меньшей экспрессией и большим сочувствием: «Швеция неизменно удивляет иностранцев. Эта страна — баловень судьбы: дважды мировые войны ее пощадили. Из сельской идиллической окраины Европы она превратилась в страну передовой промышленности и ультрасовременного комфорта. Ее новая архитектура напоминает мечты наших конструктивистов начала двадцатых годов. Все здесь разумно — и большие окна, и кресла, и яхты, и кухни. Несмотря на это, не только в книгах шведских писателей, но и в рассуждениях любого шведа после того, как он опорожнит бутылку водки, столько противоречий. Столько душевного разора, что диву даешься. Видимо, комфорт одновременно восхищает и обкрадывает, засасывает и выводит из себя».[44] Эти рассуждения о Швеции Эренбург начал лаконичным признанием: «Мне часто приходилось бывать в Стокгольме, и этот город вошел в мою жизнь»[45] — речь шла, конечно, не только, а может быть, и не столько о Стокгольмском воззвании 1950 года и многочисленных политических заседаниях, в работе которых Эренбург участвовал.

Эти заметки о шведских страницах жизни двух чем-то схожих людей хочется закончить рассказом не о политике — не ее имел в виду Эренбург, в процитированном признании.

Начало этой истории имеет точную дату — вечер 19 марта 1950 года. Сенатор Георг Брантинг устроил ужин для участников Стокгольмской сессии Всемирного совета мира. Эренбург вспоминал: «Меня посадили рядом с молодой женщиной, Лизлоттой Мэр.[46] Мы говорили по-французски. Вдруг она сказала по-русски: "Я училась в Москве..." Оказалось, что она родилась в Германии; когда Гитлер пришел к власти, ее родители успели выбраться в Париж, а оттуда перебрались в Москву, где девочку отдали в десятилетку. Потом они уехали в Стокгольм, где Лизлотта встретилась с Мэром.[47] Мне сразу стало легче: училась в Москве — значит, не чужой человек...»[48] Чуть дальше Эренбург возвращается к этому рассказу: «В середине пятидесятых, когда многое на свете оттаяло, Лизлотта рассказала мне о своих школьных годах. Это было время ежовщины. В школу приходил то растерянный мальчик, то заплаканная девочка. Лизлотта по-детски влюбилась в одного из учителей. Он исчез. Она увидала Москву в очень трудные годы, и, несмотря на это, а может быть, именно поэтому в ней осталась любовь к советским людям, к русской речи, к Москве...»[49]

В мемуарах Эренбург крайне скуп во всем, что касается «кружения сердца», поэтому так многозначительны все его упоминания об этом. Последний в жизни Эренбурга большой «роман» продолжался до самой его смерти; он многое изменил в Илье Григорьевиче — главное, сделал его мягче (пишу об этом со слов

его близких)... «Романа» этого Эренбург не скрывал. Лизлотта была на 28 лет его моложе, но они сами считали себя сиамскими близнецами — так говорили, так подписывали письма друг к другу.

Расставаясь с Лизлоттой, Эренбург обычно уже знал, когда и где они увидятся снова. А.Я.Савич рассказывала мне со слов Лизлотты, что, прощаясь, Эренбург обычно оставлял ей блокнотик — в нем на каждый день предстоящей разлуки была страничка с несколькими его словами — ими Лизлотта начинала каждый свой день без Эренбурга.

Как-то, в 1970-е годы, я сказал Ирине Ильиничне Эренбург, что для эренбурговской летописи, которой занимался, хорошо бы попросить Лизлотту Мэр (об их дружбе я знал) составить перечень ее встреч с И.Г. — время и место. Лизлотта откликнулась сразу, — оказалось, она хранит все письма и телеграммы. Этот список сейчас передо мной. Он открывается Стокгольмом 19 марта 1950 года и заканчивается Пармой 16 июня 1967 года; встречи по два-три дня, реже — две-три недели. 74 встречи, из них 43 — в Стокгольме, остальные — в Париже, Ницце, Риме, Брюсселе, Копенгагене, Варшаве, Москве, Женеве — заседания Движения сторонников мира, конференции «Круглого стола "Восток — Запад"», приглашения Юнеско, писателей, издателей... Посвященные шутили: Движение сторонников мира держится на этом «романе»...

В начале 1967 года Эренбург приехал в Стокгольм, оттуда они отправились в Париж, потом в Прагу. С конца мая были в Парме, куда Эренбурга пригласили на стендалевский конгресс. Это оказалась их последняя встреча.

Эренбург всю жизнь терпеть не мог обращаться к врачам — над ними он неизменно иронизировал. И хотя возраст брал свое, даже деликатной Лизлотте не всегда удавалось сгладить его антимедицинский настрой (когда однажды в Париже их обоих свалил грипп, ухаживать за ними приехал верный Лизлотте Ялмар Мэр...).

В июле 1967 года в Москве умер Овадий Савич, давний и ближайший друг Эренбурга. Лизлотта узнала об этом из его письма; она написала: «Дорогой друг, только лишь сегодня я получила Ваше письмо. Не могу вам сказать, как известие о Савиче меня опечалило. Это потеря для всех вас. Как это печально. Когда я с вами говорила последний раз, я не могла Вас расслышать. Я лишь поняла: что-то не в порядке. Вы не хотели, чтобы я узнала об этом известии по телефону. Я подумала, что кто-то из ваших заболел...»[50] Не прошло и месяца после смерти Савича, как у Эренбурга на даче, когда он сидел за пишущей машинкой, работая над седьмой частью мемуаров, безумно забо-

Лизлотта Мэр и Илья Эренбург.
*Стокгольм, 1961 г.*

лела рука — это оказался инфаркт. И.Г. уложили в постель, запретив ему двигаться. Его дочь Ирина позвонила в стокгольмскую больницу, где лежала Лизлотта; вскоре Эренбург смог написать ей записочку слабым, едва разборчивым почерком:

«Dimanche soir.

Je suis tombé malade et depuis mercrede matin couché sans me remuer. Peut-être Copine te dis quelque chose en... pour elles et ils mentent.

Je vis par l'espoir de reveoir Siam le bonheuer. Sois forte».[51]

(«Воскресенье вечером.

Я заболел и с утра среды лежу без движения. Может быть Copine[52] Вам говорит что-то, а мне они врут. Я живу надеждой увидеть вновь Сиама... Будь сильной»).[53]

Еще не получив эту записку, Лизлотта 14 июля написала два письма (она писала по-французски, хотя не считала, что знает его свободно): «Дорогой Илья! Ирина мне позвонила по телефону... Главное: лечитесь! Вам известны Ваши задачи, Ваши обязательства. Если лучше лечь в больницу и если это возможно для Вас, для Вашего душевного состояния, ложитесь. Сделайте все, что может Вас вылечить как можно быстрее. Будьте откровенны с Вашим врачом Коневским, чтобы у него были все данные и таким образом он сможет лучше дать Вам совет по поводу Вашего лечения. В то же время Вы сами говорили, что психологические вещи играют роль. Я знаю это по опыту. Поговорите с Ириной, у нее больше сил. Как поживает Люба? Надеюсь, что она немножко благоразумна. Как бы я хотела приехать, чтобы вам всем помочь... Ирина сказала мне, что она немного рассердилась, когда я заплакала. Но было тяжело услышать обо всем этом и быть в то же время вдалеке... Я уверена, что история с Савичем причинила вред... Пишите, если возможно».

Второе письмо — Ирине: «Я не знаю, что делать с собой, со всем, с ничем... Я написала твоему отцу. Я надеюсь, он понимает, что я думаю о нем все время, что Ялмар и Стефан[54] спрашивают всегда, когда они приходят, как идут дела и посылают ему приветы. Я успокоюсь тогда, когда мы его увидим здесь, в Москве, или где-нибудь в другом месте. Скажи ему все это, чтоб он был спокойней и благоразумней. Надеюсь, что ты мне простила мои слезы... Я знаю, что ты все делаешь и что тебе приходится слишком много делать...

Был ли инфаркт обширным? Лежит ли он, и прекратил ли курить?.. Понял ли он с самого начала, как это серьезно?.. В нем есть та жизненная сила, которую он должен мобилизовать. Когда он узнает, что перспективы хорошие, он будет спокойнее и благоразумнее. Если же он не сможет думать о перспективах работы, писательстве, путешествиях — тогда будет очень плохо. Очень важно, что у него есть врач Коневский и он может с ним говорить... Для него стать инвалидом значительно хуже, чем, например, страх повторения инфаркта. Психологические вещи играют огромную, первостепенную роль в его выздоровлении. Речь идет о перспективах. Это очень жестокая история. Я надеюсь, что Люба также имеет силы его немножко беречь... Я знаю слишком хорошо, что он больной нелегкий. Но я также знаю, что если ему все объяс-

няют приемлемым для него способом, то он знает, что он ответственен не только перед собой, но и перед своими близкими. Я жду с нетерпением все известия, думаю о вас все время. Бесполезно говорить больше...»

Только через 9 дней в Стокгольм пришла записка Эренбурга. Лизлотта ответила на нее сразу: «Спасибо за Ваши слова, которые я получила с письмом моей Copine. Я вижу, какие Вы делаете усилия. Единственное, чего я не понимаю, это как они могут врать. Вы можете говорить с Коневским, как вы это делали в Париже с В.[55] в феврале, когда Вы болели. Говорите с ним нормально, не осмеивайте медицину. Я связываю все свои надежды с Вашей ответственностью перед сиамством и с Коневским, который, как Вы мне говорили, очень хороший врач. Copine мне написала, как все шло день за днем. Я понимаю, что Вы с самого начала все скрывали. Вероятно, это не было очень благоразумно. Больше так не делайте, я Вас умоляю. Я переживаю невероятно тяжелое время, худшее в моей жизни... Я думаю о Вас все время... Вы считаете, что то, через что Вам приходится проходить, унизительно. После каждой процедуры, мне приходится, как и Вам, лежать неподвижно... Бог мой, игра сделана, следовательно, надо жить и поправляться. Что касается больницы. Если у Вас будет отдельная палата, телефон, посетители, тогда у Вас будут силы, такой уход, чтобы Вы чувствовали себя как дома, газеты и книги, и Вы будете отвечать на письма, когда будут силы, то, я думаю, Вам будет покойнее, и Вы скоро поправитесь. Я Вас умоляю от всего сердца — лечитесь, держите меня в курсе всего, ничего не забывайте. И я заканчиваю мое письмо, как Вы — будьте сильным, и я добавлю: мужественным для всего зверинца».[56]

Через неделю после первой записки Эренбург смог написать вторую — последнее письмо в его жизни:

«Samedi, l'après-midi.

Les medecins et les femmes de l'entourage disent que "objectivement" ça va bien et qu'on avait peur du plys des dégast. Bien j'attends. Je crois que vers le 1 sept. on va aller a Moscou. Dès que je pourai je poserai la question de Zurich et de <название второго города неразборчиво>. Je vous prie d'être courageuse, de vous soigner bien et ne pas oublier Moscou et Siam.

Adieu».

(«Суббота, после полудня.

Врачи и женщины, которые меня окружают, говорят, что объективно все идет хорошо и что, боялись, что будет затронута большая часть сердца. Хорошо, я буду ждать. Думаю, что к 1 сентября перееду в Москву. Надеюсь, как только смогу — поставить вопрос о Цюрихе.[57] Я Вас прошу быть мужественной, лечиться хорошо и не забывать теперь в Москве Сиама. Прощайте»).

Это письмо дошло быстрее, Лизлотта ответила на него сразу; это ее последнее письмо Эренбургу: «Получила Ваше второе письмо, спасибо. Сегодня утром я была у нашего друга, врача специалиста по болезням сердца. Я задала ему кучу вопросов... Он сказал, что нет оснований не вести нормальную жизнь — работать, путешествовать и т.д. Все как раньше... Copine мне сказала, стучу по дереву, Вам становится все лучше с каждым днем. Очень важно Ваше моральное состояние... Пишите мне, когда у Вас будут силы. Это для меня облегчение моего несчастья и может для Вас отвлечение. Будьте благоразумны и мужественны... Может быть, из Москвы Вы сможете говорить по телефону. Я жду от Вас известий. Смелости! Сиам».

30 августа Эренбурга перевезли с дачи в Москву; на утро 1 сентября был заказан разговор со Стокгольмом. Вечером 31-го он умер.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Письма А.М.Коллонтай, за исключением оговоренных случаев, цитируются по кн.: *Коллонтай А.М.* Революция — великая мятежница. Избр. письма 1901—1952. М.: Сов. Россия, 1989.

[2]*Эренбург И.* Собр.соч.: В 8 т. Т. 7. М., 2000. С. 720. Это, конечно, суждение пожилого человека — в молодости Эренбург посмеивался над темами рефератов Коллонтай, но, когда в 1929 г. познакомился с ней лично, его отношение к ее работе и личности изменилось.

[3]*Карл Альберт Линдхаген* (1860—1946) — с 1897 г. депутат шведского парламента, в 1903—1945 г. — бургомистр Стокгольма; один из основателей Шведской социал-демократической партии.

[4]*Карл Ялмар Брантинг* (1860—1925) — один из основателей и лидеров Шведской социал-демократической партии; в 1920—1925 гг. премьер-министр Швеции.

[5]Эта, характерная для рефератов и публицистики Коллонтай, тема дала повод для зубоскальства критики; так, журналист А.Яблоновский за книгу Коллонтай «Любовь пчел трудовых» назвал ее автора «теткой русской проституции» (см.: *Гуль Р.* Я унес Россию. Т. 1. М., 2001. С. 171).

[6]*Троцкий Л.* Моя жизнь. М., 1991. С. 265.

[7]Рассказ Сельмы Лагерлёф «Дунунген».

[8]«Освобожденная из тюрьмы в Мальмё, посылаю свое приветствие конгрессу», — телеграфировала Коллонтай 23 ноября 1914 г. съезду шведских социал-демократов. Два года спустя она использовала все свои связи в Швеции, чтобы помочь арестованному там Н.И.Бухарину выйти на свободу, и добилась этого.

[9]*Троцкий Л.* Моя жизнь. С. 266.

[10]Коллонтай бросилась в Европу, чтобы легче перенести разрыв с Дыбенко, хотя боль эта долго ее не отпускала и там. «Сейчас вечер, дивный осенний вечер, — пишет она по приезде в Норвегию Щепкиной-Куперник. — В такие часы так трудно быть только министром и холостой женщиной!..»

[11]Характерно письмо, которое Коллонтай отправила из Норвегии своему дальнему родственнику поэту И.Северянину: «Я люблю Ваше творчество, но мне бы ужасно хотелось показать Вам еще одну грань жизни — свет и тени тех неизмеримых высот, того бега в будущее, куда революция — эта великая мятежница — завлекла человечество. Именно Вы — поэт — не можете не полюбить ее властного, жуткого и все же величаво прекрасного, беспощадного, но мощного облика».

[12]Коллонтай еще даже не догадывалась, что ждет «историю большевистской партии» впереди.

[13]В 1929 г. она тепло и сердечно, как к старому товарищу, обратится из Осло в Москву к председателю ВОКСа О.Д.Каменевой, прося принять президента Норвежской академии. Жену Каменева и сестру Троцкого скоро сожрет сталинский молох, и Коллонтай в очередной раз мысленно «отречется».

[14]Члены шведской королевской семьи.

[15]*Острогорский В.И.* (1840—1902) педагог, литератор, домашний учитель Коллонтай.

[16]17 марта Коллонтай шлет из Стокгольма Сталину благодарственное письмо: «За награждение не благодарят, но я хочу, чтобы Вы и ЦК знали, какую ценность данный факт имеет для меня в связи с женским движением».

[17]*Квислинг Видкун* (1887—1945) — организатор и лидер фашистской партии в Норвегии.

[18]*Брантинг Георг* (1887—1965) — сын К.Брантинга; адвокат, политический деятель, депутат шведского парламента.

[19]В архиве А.Нильсон (1872—1964) сохранилось 300 писем Коллонтай.

[20]*Эренбург И.* Собр.соч.: Т. 7. С. 721.

[21]Выпуск этого сборника Секретариат ЦК вскоре признает вредным и запретит книгу Ахматовой.

[22]*Эренбург И.* Собр.соч.: Т. 7. С. 721.

[23]Записи воспоминаний А.Я.Савич «Минувшее проходит предо мною»; архив автора.

[24]*Любовь Михайловна Козинцева-Эренбург* (1899—1970) — художница, вторая жена Эренбурга.

[25]*Эренбург И.* Собр.соч.: Т. 7. С. 567.

[26]Там же. С. 722.

[27]РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3792. Л. 1.

[28]*Эренбург И.* Собр.соч.: Т. 7. С. 723.

[29]РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264. Л. 6

[30]*Владимир Семенович Кеменов* (1908—1988) — тогда начинающий критик и искусствовед, сделавший карьеру на

1937 г.; впоследствии деятель Академии художеств СССР.

[31]РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264. Л. 7.

[32]Там же. Л. 8.

[33]Речь идет о статье Эренбурга «Ожесточение», давшей название сборнику его военной публицистики (М., 1942).

[34]Собрание автора.

[35]*Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Т. 2. М., 1990. С. 724.

[36]Там же.

[37]Там же.

[38]РГАЛИ. Ф. 1204. Оп.2. Ед. хр. 3264. Л. 10.

[39]19 января 1943 г. Ларцева телеграфировала Эренбургу: «Сборник высылаем» РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед.хр. 3264. (Л. 12).

[40]В Лондоне переводу «Падения Парижа» способствовал друг Коллонтай И.М.Майский; 10 февраля 1944 г. Эренбургу телеграфировали: «Падение Парижа на шведском будет издан издательством Бонньес весной» РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед хр. 326. (Л. 16).

[41]Med Roda armen mot Berlin («С Красной Армией в Берлин»). Inapress: Stokholm, 1945.

[42]Набор последнего, четвертого, тома был рассыпан летом 1945 г. — издание было запрещено.

[43]*Эренбург И.* Собр.соч. Т.4. М., 1991. С. 185.

[44]Там же. Т. 8. М., 2000. С. 277—278.

[45]Там же. С. 277.

[46]*Лизлотта Мэр* (1919—1983) — жена Ялмара Мэра; к ней обращены некоторые из поздних стихов Эренбурга (см.: *Эренбург И.* Стихотворения. Новая Библиотека поэта. СПб., 2000).

[47]*Ялмар Мэр* (1910—1968) — шведский политический деятель, социал-демократ, один из бургомистров Стокгольма.

[48]*Эренбург И.* Собр.соч. Т. 8. С. 276.

[49]Там же. С. 278—279.

[50] Письма Л.Мэр к И.Эренбургу // РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 1889. Приводимый далее перевод Л.Мэр выполнен Н.Я.Лейбошиц.

[51]Архив автора. Два последних письма Эренбурга были любезно переданы И.И.Эренбург Дж.Рубенстайном, получившим их от семьи Л.Мэр.

[52]Подружка (*фр.*) — так Лизлотта Мэр звала Ирину Эренбург.

[53]Перевод писем И.Г.Эренбурга к Л.Мэр — И.И.Эренбург.

[54]Сын Л. и Я.Мэров.

[55]Парижский врач; фамилия неразборчива.

[56]Так между собой Эренбург и Л.Мэр звали московскую семью Эренбурга.

[57]И в тяжелейшем состоянии Эренбург думал только о встрече с Л.Мэр, используя в своих планах возможные варианты общественно-политических и литературных поездок.

Иллюстрации из архива Б.Я.Фрезинского. *Публикуются впервые.*

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

### Тумас ТРАНСТРЕМЕР

### ГОГОЛЬ
*(из сборника «17 стихотворений»)*

Сюртук потрепан, как волчья стая.
Лицо, как мраморный сколок.
Сидит, обложенный письмами, в роще, а та что-то шепчет
про грехи и издевки,
и сердце, как бумажный лист, вздымается и опадает
в неждущих гостей проулках.

Закат крадется лисицей над этой страной,
Поджигает мгновенно траву.
Космос полон рогатых с копытами, а внизу,
меж освещенных хуторов отцовских,
тенью скользит коляска.

Петербург расположен на гиблом месте
(ты видел красоту кренящейся башни).
и по обледеневшим кварталам все так же кружит медузой
бедняга в своей шинели.
И здесь он теперь постится, там, где раньше его окружали
табуны смеха,
но они уж давным-давно пребывают в краях высоко над
кромкой деревьев.

Шаткие столы людей.
Выгляни, посмотри, как мрак прижигает
Млечный путь душ.
Так взойди ж на огненную колесницу и покинь эту страну!

*Перевод А.Афиногеновой*

# Двойники и подпольные люди

## *Ф.М.Достоевский и шведская литература 1880 — 1920-х годов*

Александр ЛЬВОВСКИЙ

Интерес к проблеме раздвоения личности, столь характерный для литературной Швеции конца XIX — начала XX века, объясняется как массовым увлечением шведских писателей психологией (стремление понять, что у человека «внутри», в его раздираемой противоречиями душе, и почему человеческая натура двойственна), так и — в меньшей степени — популярностью литературного двойничества как такового («наследство» Гофмана и Эдгара По). При этом особенное внимание уделялось изучению раздвоения личности преступника или «идиота», а также исследованию дуализма как отражения вечной борьбы добра со злом, происходящей в душе каждого человека.

Таким образом, проблему дуализма человеческой личности, так сильно волновавшую Достоевского (не случайно Свен Линнер охарактеризовал все творчество Достоевского как непрерывное «исследование двойственности человеческой природы»[1]), не оставили без внимания и его шведские последователи. Хотелось бы заметить, что эта тема представлена у Достоевского в трех ипостасях (при этом не следует забывать, что в одном и том же произведении Достоевского можно обнаружить два, а то и все три типа двойников):

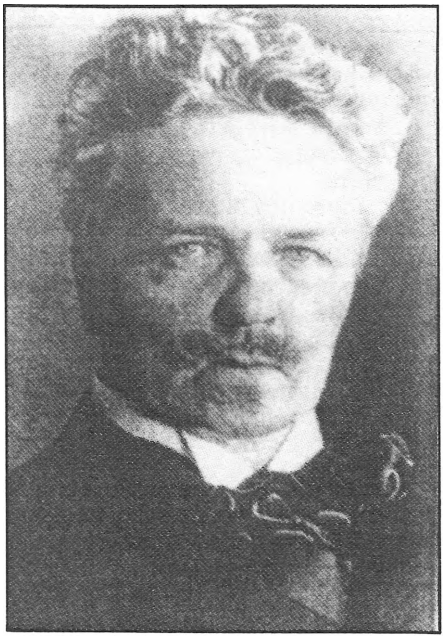
— *собственно двойник* (мистическое или порожденное больным воображением героя существо, сходное с персонажами Гофмана, Эдгара По или главным героем «Двойника» Достоевского; крайняя форма такого раздвоения — встреча Ивана Карамазова с чертом);

— *реально существующий двойник* (персонаж, олицетворяющий определенные, положительные или отрицательные, черты героя, «подчеркивающий» эти черты или, наоборот, показывающий, каких качеств герою недостает, а также своим образом мыслей и поведением демонстрирующий определенный вариант дальнейшего развития личности героя; это своего рода комплиментарная фигура к главному персонажу — наподобие Сони Мармеладовой со знаком плюс или Свидригайлова со знаком минус);

— *внутренний двойник, или «подпольный человек»* (второе «я» героя, его внутренний голос — как у героя «Записок из подполья», соединяющего в себе двух разных людей, живущих двумя разными жизнями: один — тот, который «на поверхности», — унижается, мучается и страдает, а другой, «подпольный», жестоко мстит за страдания первого и, как правило, совершенно невиновным людям).

Что же касается шведских писателей, то их в большей степени заинтересовали комплиментарные двойники и «подпольные люди»: Достоевский привлекал шведов именно как яркий психолог-реалист, а его фантастические сюжеты вызвали куда меньший резонанс — достаточно сказать, что «Двойник» был переведен на шведский язык едва ли не последним из всех произведений Достоевского, — хотя и некоторые интересные двойники «первого» типа (скажем, карамазовский черт) оставили свой след в шведской литературе.

Разговор о шведских двойниках и «подпольных людях» хотелось бы начать с самого сложного, противоречивого и масштабного писателя — Августа Стриндберга, который еще в 1885 году в новелле «Рецидив» («Återfall») из сборника «Утопии в действительности» («Utopier i verkligheten») попытался изобразить трагический разлом в душе русского человека (Павла Петровича, героя новеллы), разрывающегося между необходимостью стать «новым человеком» в духе героев Чернышевского (без раскаяния и сочувствия, да и вообще без каких бы то ни было слабостей) и невозможностью соответствовать своему идеалу («естественный человек» берет верх). Этот внутренний конфликт не дает герою душевного покоя и раскалывает его «я» на непримиримые составляющие — такое трагическое противоречие Андре Жид определил как «одновременное присутствие противоположных чувств»,[2] борющихся друг с другом (в этой борьбе — суть жизни внутренне раздвоенной личности); в «исполнении» Версилова эта мысль звучит так: «Я могу чувствовать... два противоположные чувства в одно и то же время».[3]



Август Стриндберг.
*1849—1912 гг.*

В романе «Слово безумца в свою защиту» («En dåres försvarstal», 1893), рассуждая о котором, шведский философ и культуролог Вильхельм Экелунд сравнил Стриндберга с Достоевским, «способным такой легкой рукой передвигать тяжелые массы человеческих судеб»,[4] раздвоение личности героя (Акселя) выражается в типичном для «подпольных людей» разрыве между состраданием, чувством вины за «неизвестные преступления», муками совести, внутренней потребностью в смирении и покорности — и жаждой власти, ненавистью, желанием унижать других. Два голоса ведут непрерывный словесный поединок в душе героя. Писатель мастерски показывает эти резкие переходы от смирения к жестокости, «неистовые метания от любви к ненависти, от чувственной влюбленности и плотских наслаждений к диким ревнивым фантазиям и полнейшему отвращению»[5] — только настоящий психолог может так

тонко чувствовать и передавать бурю, которая неистовствует в душе «раздвоенной» личности.

В этом же романе Стриндберга появляется и комплиментарный двойник героя — Мария, отражающая (а иногда и опережающая) «внутренние» радости и страдания Акселя и меняющая манеру поведения в зависимости от его душевных взлетов и падений (чаще, разумеется, падений). Внутренний мир героя раскрывается, таким образом, через Марию, а также и через «маску» безумца, позволяющую Акселю высказывать такие мысли, которые «здоровый» человек никогда не решился бы обнародовать.

В более поздней драме Стриндберга «На пути в Дамаск» («Till Damaskus», 1898—1904) душевный разлом героя (Неизвестного) провоцирует проявление его второго «я» в образе Искусителя, очень похожего на карамазовского черта. Как и черт, Искуситель представляет только одну сторону героя — его «самые гадкие и глупые» мысли и чувства. У Стриндберга это тоже голос богоборца и циника, крайнего эгоиста и противника «самоистязаний»; это средоточие ненависти и злобы (между Искусителем и чертом Ивана Карамазова есть и чисто внешнее сходство: оба они — видавшие виды джентльмены, еще не успевшие состариться, хотя и довольно «потертые»).

И Искуситель и черт, играя на струнах гордыни героев, внушают им идею человекобога, которому «все позволено». Однако Иван Карамазов (как, впрочем, и Раскольников) тщетно пытается подавить в себе угрызения совести — значит, «позволено» не все! Неизвестный Стриндберга также прислушивается к своему первому, человеческому «я», которое напоминает ему о чувстве вины, «страдании за всех» и всепрощении. В жестокой битве рая и ада, не утихающей в душе героя, побеждает рай — Неизвестный выбирает дорогу спасения.

Герой новеллы шведского писателя-натуралиста Улы Хансона «Неприкаянный» («Husvill», 1889) разрывается между своей новой (городской, «книжной», искусственной) и старой (крестьянской, простой, естественной) жизнью. В его душе борются «новый» и «старый» человек, и герой пытается разрешить этот конфликт, вернувшись к истокам — к своей прежней жизни. Но он остается чужим и для тех, и для других (две девушки, городская и деревенская, олицетворяют собой эти разные миры, а также разные жизни героя).

Постоянная рефлексия (нужно отметить мастерский психологический анализ писателя), безотчетные угрызения совести, невыносимая «психическая двойственность» и нескончаемые противоречия в душе героя — все это постепенно накапливается, и герой сходит с ума. В его воспаленном воображении двойник начинает приобретать реальные очертания, героя преследуют кошмары — и он,

Яльмар Бергман.
*1883—1931 гг.*

не выдержав тяжких мук, убивает своего двойника (на деле совершает самоубийство). Так трагически заканчивается история раздвоения личности, которое Хансон образно сравнивает с жестокой средневековой казнью, когда преступника привязывали к двум лошадям, а лошадей гнали в разные стороны.

Немало интересных двойников и в книгах Яльмара Бергмана, крупнейшего шведского прозаика первой половины XX века, мастера психологического и сатирического реализма. Так, сходящую с ума героиню новеллы «Госпожа Гунхильд из Вискингехольма» («Fru Gunhild på Hviskingeholm»), сборник «Танцы во Фречерне» («Dansen på Frötjärn», 1912) преследует двойник, порожденный ее больным воображением, отражающий ее тайные мысли и мечты о чем-то более возвышенном, нежели «Kinder, Küche, Kirche» и заботы о престарелом муже. Двойник заставляет героиню отказаться от «служения другим» и служить только самой себе. Он то появляется, то исчезает, и чрезмерное увлечение госпожи Гунхильд этим плодом своего воспаленного воображения, олицетворяющим ее многолетние внутренние переживания, приводит к полному психическому расстройству.

Герой повести «Мнимый Кристофоро» («Den falske Cristoforo», 1910) из сборника «Амуры» («Amourer») — еще один психически нездоровый человек, страдающий раздвоением личности (святой: «Кристофоро» спасает малолетнюю проститутку, да и главная цель его — благая: освободить человечество от грехов, указав путь к младенцу Христу; преступник: для достижения этой цели он использует самые гнусные и злодейские средства, в том числе и жестокое убийство).

Здесь мы встречаем еще и буквальное раздвоение: все свои злодеяния герой совершает под чужим именем (ни в чем не повинного священника Кристофоро, которого он убил), то есть «Кристофоро» становится вторым «я» героя, отвечающим за все темное в его искалеченной душе. Борьба темного и светлого начала в душе «криминального безумца» превращается в столкновение двух его противоположных и непримиримых «я».

Леонард Левен, герой романа Бергмана «Истории Левена» («Loewenhistorier», 1913), напоминает скорее «подпольных людей» Достоевского. Он беден, но амбициозен; его унижают — он отыгрывается на тех, кто слабее его. При этом наслаждение собственным унижением гораздо сильнее радости «мести». В целом же Левен — беспрестанно копающийся в своей душе меланхолик, в котором уживаются два человека (по «формуле» Достоевского): один — слабый, ранимый и способный на сострадание, а другой — злой и безнравственный. Когда один из них совершает необдуманные поступки, другой пытается их анализировать, погружаясь в омут душевных «самокопаний».

Бергман объясняет такое раздвоение личности героя так называемой «третьей волей» — подсознательными импульсами, заставляющими человека думать или действовать то так, то эдак, но в любом случае вопреки его же собственным интересам (вспоминается герой «Записок из подполья», отстаивавший свободу поступать «против законов рассудка и против собственной выгоды»[6]).

Еще один «подпольный человек» Бергмана — главный герой романа «Господин фон Ханкен» («Herr von Hancken», 1920), униженный, столк-

нувшийся с непониманием со стороны окружающих, но гордый и тщеславный человек. Гораздо интереснее в этом романе реальные двойники фон Ханкена (в «Мнимом Кристофоро» двойник — чужое имя, но не реальный человек):

— второе «я» героя — домашний учитель Карландер, на которого фон Ханкен перекладывает (или, говоря словами Марии Бергом-Ларссон, проецирует) ответственность за собственные дурные поступки (а сам Карландер — тоже типичный «подпольный человек»!), подобно тому как Голядкин проецирует на своего фантастического двойника «все свои неприемлемые с этической точки зрения стороны»;[7]

— своеобразный дьявол-искуситель фон Ханкена — Лесаж (реальный персонаж, очень напоминающий карамазовского черта) олицетворяет собой самое гнусное (но потаенное) в душе героя и теряет свою власть над ним, как только фон Ханкен соглашается признать свои грехи.

Таким образом, здесь можно говорить о «растроении» личности (герой со своим «подпольным человеком», герой с Карландером и герой с Лесажем), где разные стороны «я» фон Ханкена неразрывно связаны друг с другом. И опять этот разлом заканчивается сумасшествием героя.

Вообще у Бергмана дуализм личности никогда до добра не доводит: в драме «Мария, мать Иисуса» («Maria, Jesu mor», 1904) именно он заставляет Иуду, отказавшегося смирить гордыню и признать Иисуса Христа не человеком, а Богом, пойти на предательство своего учителя. По мнению Бергмана, унижения и постоянные «самокопания», помноженные на гордость и тщеславие человека, становятся самой благодатной почвой для душевного разлома, который, в свою очередь, непременно приводит «раздвоенного» человека к трагедии.

Иллюстрацией к этой «формуле» Бергмана может служить и роман «Мемуары мертвеца» («En döds memoarer», 1918), который, по мнению Юханнеса Эдфельта, «в вопросе психологического освещения и творческой фантазии можно сравнить с произведениями Достоевского»[8]. Герой романа Юхан Арнберг — «подпольный человек», балансирующий между капризами, причудами и «идеями фикс», оказывается абсолютно беспомощным (это он — духовный «мертвец», как, кстати, и его сын Ян, копия своего отца, — не случайно этот роман считается одним из самых пессимистических сочинений Бергмана). Есть здесь и комплиментарные двойники Юхана, помогающие читателю лучше понять психологию героя и «отвечающие» за качества, которых так ему недостает: таинственный моряк — мудрость, Хансен — деловая хватка, отец Юханнес — доброта и сочувствие.

Наконец, Друг, герой драмы Бергмана «Игорный дом» («Spelhuset», 1923), видит в зеркале дьявола — своего двойника, свое второе «я», полностью находящееся во власти карточной игры, — и стреляет в него, вызывая явные ассоциации с Иваном Карамазовым, бросающим стакан в свое «кривое зеркало» — черта. И Друг и Иван пытаются таким образом избавиться от своих двойников-искусителей (а значит, и от всего темного в своей душе), однако «освободиться» удается лишь Другу, а Ивану еще предстоят долгие душевные муки.

Пожалуй, самый типичный «подпольный человек» — доктор Глас из одноименного романа одного из ярких представителей шведского психологического реализма Яльмара Сёдерберга («Doktor Glas», 1905). Глас — созерцатель и «спокойный пессимист», в глубине души мечтающий о «настоящем деле» и претворяющий эти мечты в жизнь, убивая ненавистного пастора Грегориуса (убийство это тихое и камерное, но оттого не менее жестокое), — больше, чем кто бы то ни было, похож и на Раскольникова, и на героя «Записок из подполья». Примечательно, что внутренний диалог, в котором ведут непрерывный спор два разных «я» героя, выдержан в духе «Преступления и наказания», хотя экспрессия, разумеется, иная: у Сёдерберга это скорее философский диспут на вечные темы, в котором сошлись два непримиримых, но уважающих друг друга оппонента, — и победу в этом диспуте одерживает голос-искуситель, — тогда как у Достоевского все куда более надрывно, судорожно и лихорадочно, словно отражение крайне острых душевных мук героя.

В романе одного из классиков шведской «рабочей литературы» Мартина Кока «Романтические письма» («Romantiska brev», 1915) главный герой Хельге Виделль мечется между «романтикой» (чувство вины, стремление к «чистоте самопожертвования», чистая любовь, попытки жить «для человечества») и «действительностью» (грязь, разврат, презрение к окружающим, приоритет собственного «я»), между идеализмом князя Мышкина и скептицизмом и даже цинизмом «раннего» Раскольникова. Постоянная внутренняя борьба разъедает душу Хельге, а беспрестанные метания между добром и злом приводят его к трагической пустоте. Напряженные поиски истины не увенчиваются успехом: слишком силен двойник-искуситель героя.

В романе «Прекрасный Божий мир» («Guds vackra värld», 1916) два типа персонажей отражают внутренние метания Кока между «светом» (добрые и благородные Симон и Томассон) и «тьмой» (неисправимые преступники Варьен и Фрассе). Силы добра (Бог, дух) и зла (дьявол, плоть) постоянно противопоставляются: «благородное и человечное ... борется с дурным и злым в каждом маленьком человеческом сердце»[9] — как это напоминает знаменитую фразу Достоевского «...дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей!»[10] Но народная мудрость гласит: «тот, кто никогда не был злым, никогда не станет добрым»[11] (а это уже похоже на «формулу» Достоевского о возможности спасения только через падение).

Два абсолютно разных человека живут и в душе героя романа еще одного представителя шведской «рабочей литературы» Дана Андерсона «Наследство Давида Рамма» («David Ramms arv», 1919): один из них — милосердный, отзывчивый и набожный, другой — постепенно затягивает Давида в трясину ненависти, алкоголя и опиума (снова мы видим противопоставление святой — преступник). Один негодует по поводу детских мучений, а другой предательски нашептывает: «Зачем я буду вмешиваться в то, что меня не касается?»[12] (вспомним гневные, но лицемерные филиппики Ивана Карамазова о страданиях невинных детей, а также раскольниковское «пусть его позабавится» — о преследователе малолетней проститутки).

Еще более примечательны многочисленные комплиментарные двойники Рамма. Типизация их характеров вызывает определенные ассоциации с «Братьями Карамазовыми» — кстати, любимой книгой Андерсона. Так, отец Рамма и дьякон (как и старец Зосима и Алеша) «отвечают» за добро и христианскую любовь — это «добрые гении» Давида; Хартманн (как и Иван) — интеллектуал-богоборец, отдающий дань как любви, так и жестокости, декадент, отчаявшийся найти истину; Нилениус (как и Федор Павлович) — воплощение зла и разврата, человеконенавистник, лишь в редкие минуты испытывающий угрызе-

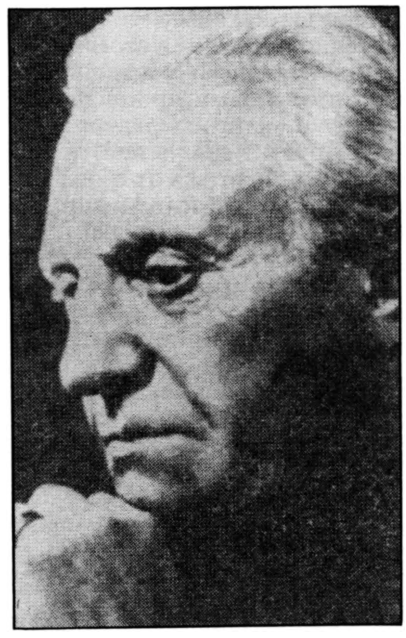
ния совести. Все эти персонажи не только отражают определенные черты и наклонности Рамма (затаенные желания героя реализуются еще и во сне, как у персонажей Достоевского), но и показывают, каким может стать его будущее в зависимости от того, удастся ли ему обрести душевный покой. Рамм же с поистине «карамазовским безудержем» «разрывается ... между злом и добром».[13] Он напоминает Дмитрия Карамазова: оба они — «на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди ... но их ... сердца ... жаждут нежного, прекрасного и справедливого».[14]

Таким образом, можно говорить о многоуровневом «расслоении» личности Рамма, приводящем его к полному душевному разлому, выход из которого писатель видел только в возвращении к Богу через сумасшествие. Разрешить трагические противоречия в душе героя способна лишь одна безумная, недоступная психически здоровым людям «любовь, живущая во всем»[15] — в том числе и в грехе, и в зле. Только любовь и к доброму, и к злому, и к Мадонне, и к Содому может примирить разбитое сердце с невероятно сложной, запутанной, жестокой и одновременно милосердной жизнью («А все-таки удивительно, какая карамазовская наша жизнь!»[16] — восклицал Андерсон).

Небезынтересно проследить, как решается проблема раздвоения личности в произведениях основоположника шведского литературного экспрессионизма Пёра Лагерквиста. В новелле «Подвальный этаж» («Källarvåningen») из сборника «Злые сказки» («Onda sagor», 1924) писатель высказывает важную мысль: настоящий «подпольный» (или «подвальный», по Лагерквисту) человек — это не тот, кто живет в подвале (нищий, но сильный духом и полный внутреннего света старик Линдгрен), а внешне респектабельный, но внутренне раздвоенный лирический герой (человек без веры и душевного покоя, но не без сострадания к чужим мукам).

Такая двойственность расколотого «я», в котором добро и зло ведут непрерывную борьбу, пронизывает все творчество Лагерквиста. Светлые и темные стороны души человека имеют, по мнению писателя, общую природу и влияют друг на друга (о неразрывной связи этих противоположностей, «идеала Мадонны» и «идеала содомского», говорил и Дмитрий Карамазов), заставляя человека испытывать потребность и в чистоте, и в грязи. У Лагерквиста добро и зло, взаимодополняющие друг друга, нередко олицетворены в конкретных персонажах («Люди»: Эрик и Мерк; «Неизвестный»: Неизвестный и управляющий; «Палач»: мученик Иисус Христос и палач-убийца, напоминающие соответственно князя Мышкина и Рогожина, которые также неотделимы друг от друга).

И в более поздних сочинениях шведского писателя, выходящих за временные рамки данного исследования, можно встретить «подпольных людей»: «Карлик» (здесь физически и духовно ущербный — у Лагерквиста эти изъяны неразрывно связаны — герой жестокостью отвечает на унижения); «Победа в темноте» (одинокий, унижаемый всеми и страдающий герой мстит за свои муки, и от этого зла его страдания становятся еще более невыносимыми).



Пёр Лагерквист
*1960-е гг.*

Стремление к внутреннему монизму приводит лишь к редким вспышкам единения героев со Вселенной — «лирические утренние видения» раздвоенных персонажей Лагерквиста по силе своего воздействия на душу человека несопоставимы с экстазом преодолевших дуализм Алеши Карамазова (при виде мертвого старца) и князя Мышкина (перед припадком). В остальное же время герои Лагерквиста переживают душевный разлом, балансируют между светом и тьмой, «состраданием и отвращением» (кстати, и сам писатель со смешанными чувствами относится к своим раздвоенным людям).

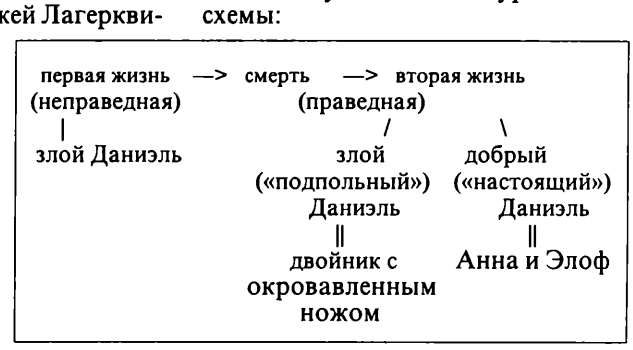
Подробнее хотелось бы остановиться на драме Лагерквиста «Тот, кому было суждено прожить свою жизнь заново» («Han som fick leva om sitt liv», 1928), — произведении писателя наиболее ярком и интересном с точки зрения дуализма личности. Здесь уместно говорить о нескольких уровнях раздвоения личности главного героя (Даниэля):

— *фантастический* (две разные жизни героя: в первой — неправедной — жизни это грубый, злой, ненавидящий всех скептик, а во второй — праведной — жизни, которая непостижимым образом наступила после смерти героя, это добрый и любящий всех мечтатель; первый следует формуле «**я** живу» и ставит во главу угла свое, по выражению Бриты Вигфорсс, над-«я», второй же следует формуле «я **живу**» и проявляет свое под-«я»);

— *«подпольный»* (однако и во второй жизни героя не все безоблачно, и «настоящий», добрый Даниэль вынужден мириться с существованием своего «подпольного», злого второго «я»);

— *полумистический-полуреальный* (во второй жизни Даниэля «навещает» некий таинственный двойник с окровавленным ножом — злой гений героя, вызванный, казалось бы, его болезненным воображением; этот двойник — логическое воплощение злого «я» Даниэля, и это ужасное видение всякий раз заставляет героя возвращаться от злого «я» к доброму — своеобразная очистительная роль зла, по Лагерквисту; однако мистический двойник — воплощение всех темных сторон героя — почему-то, словно в назидание, оставляет после себя вполне реальную окровавленную тряпку);

— *реальный, или комплиментарный* (Анна и Элоф). Этот сложный дуализм героя можно представить в виде следующей многоуровневой схемы:



В данной схеме Анна (жена Даниэля) — комплиментарная фигура к «злому» герою. Это простая, но необычайно добрая, сердечная, благочестивая и способная на самопожертвование женщина (а главное — у нее нет никакой рефлексии, а тем более «подпольных» двойников!). Если все будут такими, как Анна или «настоящий» Даниэль (что, в принципе, одно и то же, ведь Анна — добрый гений героя, как, допустим, Соня для Раскольникова), тогда, по мнению Лагерквиста, и наступит всеобщий мир и люди станут жить только по законам любви.

Но пока до этой идиллии слишком далеко, и Даниэль, словно типичный герой Достоевского, продолжает судорожно метаться от одного своего «я» к другому. Писатель убедительно, в духе Достоевского, раскрывает истоки «подпольного» «я» героя: раннее одиночество, унижения, затаенные обиды, подавленность (еще в первой жизни) — и, как следствие, желание отомстить, сорвать зло на ближних. Неудивительно, что в конце драмы «подпольный человек» Даниэля доводит до самоубийства его сына Элофа.

Кстати, Элоф — еще один примечательный персонаж, отдаленно напоминающий Алешу Карамазова: чистый, бескорыстный, любящий всех без исключения — он «никогда не совершил ничего дурного»,[17] — но слабый, ранимый и потому не выдерживающий ожесточенного столкновения с суровой реальностью. В идиллическом мире Лагерквиста он мог бы занять достойное место рядом с Анной и «настоящим» (а не «подпольным») Даниэлем.

Вместо идиллии — трагедия и невозможность обрести душевный покой. А главная причина, по убеждению писателя, — в том, что добро и зло, любовь и ненависть идут рука об руку («в нас есть и то, и другое»[18]) и переплетаются в клубок, который невозможно распутать (даже двойник с окровавленным ножом не всегда был таким, а стал злодеем, пережив сильную, страстную, но неразделенную любовь). Попытка преодолеть это противоречие ни к чему хорошему не приведет, а значит, нужно смириться, отказаться от красивых, но неосуществимых мечтаний, принять жизнь такою, какая она есть, и если уж доходит до требований, «мы должны требовать всего»[19] — и света и тьмы.

Итак, как и у Достоевского, у шведских авторов можно встретить разные типы двойников: дуализм и в душе одного человека, и у противопоставляемых, но неразрывно связанных между собой и дополняющих друг друга персонажей. При этом мистические и фантастические аспекты проблемы интересовали как Достоевского, так и шведов куда меньше, нежели психологические. Желая создать цельный, комплексный психологический портрет героя — человека противоречивого, словно сотканного из темных и светлых нитей: ведь «добрый человек ... не так уж и добр ... а злой ... не так уж и зол»,[20] — писал шведский поэт Густав Фрединг в своем стихотворении «Бедный монах из Скары» («En fattig munk från Skara») из сборника «Гитара и гармоника» («Gitarr och dragharmonika», 1891), — писатели так активно исследовали проблему раздвоения личности. И именно поэтому двойник («внутренний» или «внешний», мистический или реальный) практически никогда не был простым зеркальным отражением героя, а всегда был хуже или лучше своего «оригинала», делая более выпуклыми его качества или показывая отсутствие таковых, выражая его самые потаенные мысли или намечая «дорогу» в будущее.

Преодолеть же этот драматический и разъедающий душу дуализм способен только человек, сумевший выйти за пределы реального, «разумного» мира, — как сумасшедшие Андерсона, люди «не от мира сего» Бергмана или праведники Достоевского.

В заключение автор статьи приносит благодарность Шведскому институту и Совету Министров Северных стран за помощь в подборе материалов.

## Примечания

[1] *Linner S.* Pär Lagerkvists livstro. Stockholm, 1961. S. 220.
[2] Цит. по: Linner S. S. 221.
[3] *Достоевский Ф.М.* Собр.соч. Т.8. Л., 1990. С. 342.
[4] *Ekelund V.* Antikt ideal. Malmö, 1909. S. 79.
[5] *Бергом-Ларссон М.* «Слово безумца в свою защиту» и кризис мужского сознания // Писатели Скандинавии о литературе. М., 1982. С. 355.
[6] *Достоевский Ф.М.* Собр.соч. Т. 5. Л., 1973. С. 111.
[7] *Bergom-Larsson M.* Diktarens demaskering. Stockholm, 1970. S. 69.
[8] *Edfeld J.* Förord // Bergam Hj. Samlade skrifter. D. 13. Stockholm, 1952. S. 8.
[9] *Koch M.* Valda verk. D. 4. Stockholm, 1940. S. 77.
[10] *Достоевский Ф.М.* Собр.соч. Т. 9. Л., 1991. С. 123.
[11] *Koch M.* Valda verk. D. 4. S. 60.
[12] *Andersson D.* David Ramms arv. Stockholm, 1919. S. 189.
[13] *Ågren G.* Kärlek som i allting bor. Göteborg, 1971. S. 291.
[14] *Достоевский Ф.М.* Собр.соч. Т. 9. С. 260.
[15] Цит. по: *Ågren G.* S. 316.
[16] Цит. по: *Henningsson P.* Dan Andersson och Dostojevski // Studiekamraten. 1949. № 17—18. S. 212.
[17] *Lagerkvist P.* Han som fick om sitt liv. Stockholm, 1928. S. 121.
[18] Ibid. S. 95.
[19] *Lagerkvist P.* Skiffer. D. 1. Stockholm, 1932. S. 287.
[20] *Fröding G.* Poesi. Borås, 1993. S. 107.

# Детство

## *Эссе*

Черстин ЭКМАН

Моя мама не помнит,
январь сейчас или май,
Но по деревьям видно,
что за окном зима.

И она знает, что за окном зима
и что у нее есть я.

Недавно она сказала:
знаешь, как-то папа
взял меня в Эсский замок.
Он следил за работами
и разрешил пойти с ним.

Внутри красиво —
шелковые диваны, которые заново
обивали,
а мы стояли и смотрели на
блестящие полы и картины.

На стене в прихожей
балалайка.
«Это балалайка», —
сказал папа.

Мы вышли на дорогу,
И вдруг отец остановился,
и я увидела, что он плачет.

«Почему ты плачешь?» — спросила я.
«Я плачу по маме», — сказал он.
У нее была балалайка.

Мама его была русская.
Отец, шорник, как и он сам,
поехал на заработки в Петербург
и встретил Анну,
ее фамилии я не знаю.
Когда она приехала
в Энчопинг, то привезла с собой
балалайку.
У них было много детей.
Но когда дедушка был маленьким,
Анна умерла от оспы.

Мама мне много рассказывала.
А сейчас она уже ничего не помнит.
Правда, раньше она никогда не
говорила,
что ходила в Эс
и что дедушка плакал.
Но теперь, когда почти все забыто,
Она вдруг вспомнила.

Вот так бывает — словно серебряная ложка со дна черного глубокого колодца, блеснет какое-нибудь воспоминание. И думаешь тогда: ничто не пропало. Ничто не утеряно. Глубоко на дне сохранилось все.

Там, в глубинах рассыпающейся памяти старого человека, сохранилось воспоминание о русской Анне — матери моего деда, которую я все свое детство считала такой близкой и знакомой. Ни одной ее фотографии не сохранилось — я позже объясню почему — но черты ее лица проступают на других фотографиях: на портрете дедушки, что висит в кабинете, где он так похож на Гоголя, на юношеском снимке моей мамы, который я называю «Чеховская девушка».

Конечно, с годами русская страница нашей семейной истории приобрела литературную окраску. Подумать только, неужели моя русская прабабка была петербургской барышней и ходила по тем же мостовым, что и Раскольников! Приблизительно в то же самое время! Я вновь и вновь погружалась в описания домов, где жили ремесленники и мелкие торговцы, и, кажется, слышала, как Аннины каблуки стучат по деревянным лестницам. А что, если отец моего деда, шорник из Энчо-пинга, набивал диваны в доме Каренина? Или смастерил седло для той прекрасной кобылы, которой граф Вронский переломил хребет?

Так проникали миры Достоевского, Толстого, Эдит Сёдергран и Нины Берберовой в мой мир. Петербург этих людей накладывался на Петербург моей прабабушки. Даже когда я читаю автобиографические эссе Бродского о Питере, о доме его детства, то до меня доносится стук Анниных каблуков, и я понимаю, что запах щей навсегда останется в нашей памяти.

Но в один прекрасный день я узнала, что получила литературную премию «Пилот». Возвращаясь через Гамла Стан с пресс-конференции, которая проходила в отеле «Гранд», я свернула не налево, а направо, на Вэстерлонггатан. И вот чем обернулась эта случайность.

Я встретила вдову моего двоюродного брата со стороны матери. Оказывается, они изучали родословную нашей семьи... Их увлек рассказ моей мамы о бабушке Анне из Петербурга. Интересно, что же они узнали о русской Анне, в честь которой крестили маму и от которой многие из Дальгренов унаследовали темные волосы и гоголевские черты?

—Русской Анны не существовало, — вздохнула вдова моего кузена.

— Что, совсем ничего не удалось узнать?

— Да нет, прабабушку мы нашли. Только звали ее Хильда, и была она из Вэстероса.

На дне глубокого колодца блестела, оказывается, обыкновенная слюда. Теперь все погасло.

### Черстин Экман

*Родилась в 1933 году в г. Рисинге. Выросла в Катринехольме. С 1978 по1989 год — член Шведской академии. В 1978 году получила почетную литературную премию «Литературное развитие».*

*Черстин Экман начала свою писательскую деятельность (а дебютировала она в 1959 году) как автор детективных романов, но уже в начале 60-х она оставляет этот жанр и увлекается психологическим романом.*

*В 70—80-е годы выходит серия ее романов об изменяющейся Швеции. Действие охватывает период с конца XIX века до наших дней.*

*На русский язык переведена ее книга «Серый» и роман 1993 года «Происшествия у воды», названный в русской критике «замечательным психосоматическим бестселлером».*

## ЧТО ТАКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ?

Есть один теоретик психоанализа, Паломбо. Он считает, что память — это ряд наложений и двойных экспозиций; сходные, похожие друг на друга образы и события якобы отбираются и откладываются в своего рода архив, если вообще можно дать определение такому непостоянному и призрачному явлению и миру такому огромному, как память. Это ассоциативное накапливание воспоминаний имеет форму дерева и множится в течение всей жизни. Ответвления на дереве — чувствительные узлы, и чем ближе они к стволу, тем ближе мы к воспоминаниям детства и к мощным, определяющим ответвлениям.

О Паломбо я узнала из книги «Возвращение детства» психоаналитика Кларенса Крейфорда. Сам Крейфорд считает, что воспоминания детства постоянно обновляются в течение всей жизни. Детские воспоминания двадцатилетнего человека имеют иную окраску и образность, нежели воспоминания человека восьмидесятилетнего. Мы создаем и преобразуем свои воспоминания. Паломбо предполагает, что эта созидательная работа происходит во сне и что мы запоминаем те сны, во время которых воспоминания небезболезненно отбираются и откладываются. Остальные сны мы забываем.

Если наложения в памяти возникают при помощи сновидений, то мне становится понятно, почему я часто помню то, чего скорее всего в действительности не было, но просто приснилось мне. На воспоминания могут наслоиться фантазии. Или творческий вымысел.

Крейфорд подчеркивает, что понятие Фрейда «уплотнение» по-немецки называется «Verdichtung» и что у глагола «dichten»[1] есть два значения. Так же как память «уплотняет» пережитое нами, писатель уплотняет то, что принято называть действительностью.

Сколько же таких смещений, уплотнений и наложений пережил образ балалайки на стене Эсского замка перед тем, как пробиться живым побегом на сухом древе воспоминаний?

Была ли вообще когда-нибудь в Эсе балалайка? Что это за воспоминание? Может, это старый номер из богатого репертуара умелой рассказчицы, — номер, которого мне раньше просто не доводилось слышать?

Когда я узнала, что у меня никогда не было русской прабабки, я, разумеется, разозлилась. Так же как возмущаются очень даже многие читатели романа «Приспособленные», когда узнают, что сам Петер Хёг,[2] в отличие от Петера Хёга из романа, вовсе не рос ни в каком детском доме и никогда не воспитывался в чужой семье. Его родители сидят в зале и слушают, как он рассказывает о своем уплотненном повествовании. Интересно, о чем они думают?

Я, как и Петер Хёг, как и все мы, существую в рассказах двух семей о себе самих. Откладываясь в памяти, эти рассказы размножаются. И вот их уже не два, а четыре, а может быть, восемь. Их могло бы стать шестнадцать, а то и тридцать два, но тут они начинают пропадать. Они больше не уплотняются, а, наоборот, рассеиваются. Теряются в темноте. И неважно, золото это или слюда — их отблеск гаснет.

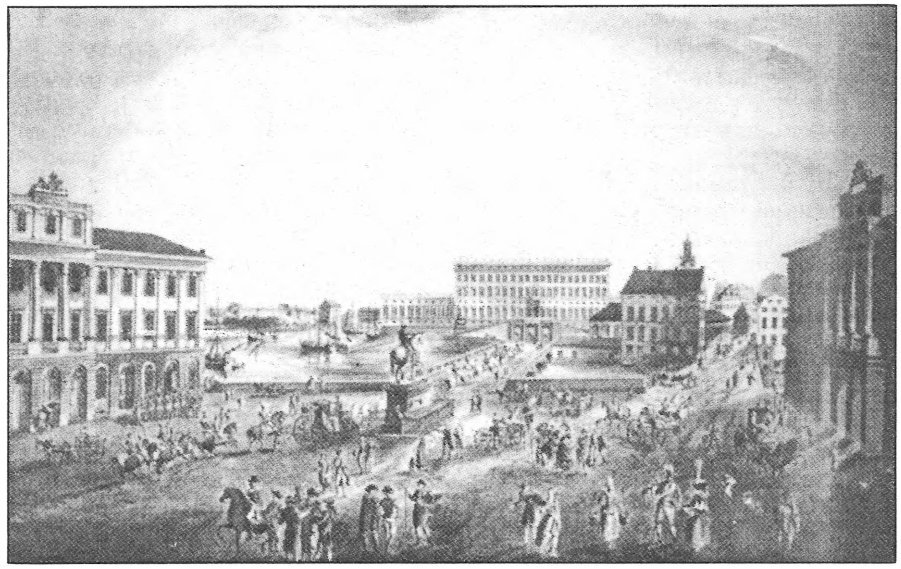
Французский философ Лакан утверждал, что, рождаясь на свет, мы попадаем в сеть символов. Можно еще сказать, что мы попадаем в сеть рассказов. Эта сеть нас поддерживает. Заботится о нас. Но она не остается неизменной. Мы плетем ее, как пауки. Мы вплетаемся в нее, как пауки. Выдумываем ее.

Учение одной психологической школы основывается на мысли, что мы живем в своих собственных рассказах и что рассказы о нашей жизни, будь то правда или ложь, и есть сама жизнь.

Рассказами живут не только семьи. Целые культуры и цивилизации живут ими. До тех пор пока мы в них верим, мы их называем действительностью. Как только мы начинаем сомневаться или разоблачать в этих рассказах вымысел, мы говорим, что это мифы.

Миф, что Солнце есть труба, из которой дует ветер. Миф об огромном змее, который гложет корни древа жизни. Мифы мудрые и нелепые. Легенды о предательствах. Протокол Симона Мага. Рецепт золота Гермеса Трисмегиста.

Наша коллективная память — не что иное, как лавка старьевщика, свалка металлолома! Ржавые шпаги, окровавленные рубашки и оскаленные черепа. Какое все причудливое! Изумительно красивое и горестно истлевшее!



Вид площади Норрмальмсторг в Стокгольме.

Когда я рассказала мужу, что русская Анна растаяла как дым, что моя мама все придумала, он рассмеялся и ответил, что это вполне в ее духе. А я почувствовала, как весь мир рассказов моего детства пошатнулся словно от землетрясения.

Но пошатнулся он всего на одно-единственное мгновение! Все осталось на своих местах. Я ведь жила этим миром. Моя Анна бродила по тем же улицам, что и Раскольников. Ведь, как выяснилось, ее улицы были также сплетены из слов.

Может быть, где-то в самой глубине души я все-таки знала правду про русскую Анну. Как же иначе могло случиться, что я — эдакая архивная моль — не удосужилась заглянуть в пасторскую контору и навести справки? Может, я с самого начала догадывалась, откуда взялись Анна и ее Петербург. И оттого так усердно искала ее в романах, а не в церковных книгах?

Рассказ о русской Анне имел совсем другой смысл для моей матери.

В том, что в конце концов мама во все сама поверила, я абсолютно убеждена. Но откуда взялся этот рассказ, я так никогда и не узнала. Возможно, из шелухи и осколков того, что мы называем действительностью. Сильно сжатая, состоящая из наслоений образов действительность все же проступает в местах ответвления, где царит мрачное чувство горечи и отчужденности. «Какие темные волосы!» — воскликнул дедушка, когда ему показали новорожденную.

Рассказ об Анне мог бы быть правдой — литературной правдой, как принято говорить. До чего неустойчиво значение слова «правда»! Иногда литературная правда — насколько бы замаскированной, разукрашенной и вымышленной она ни была — правдивее будничной и поверхностной правды.

И все же это заманчиво. Ведь что-то же произошло. Или не произошло.

Мы живем в мире, в котором моей русской прабабушки не существовало. Это ясно показало исследование моей кузины. Хильда из Вестероса все разрушила. Она существовала.

Но не она жила во мне. Не она открыла для меня мир русских романов, не она давала почувствовать себя в этом мире дома, словно у меня есть какие-то наследственные права, некий генетический опыт там, где скрипят ступеньки под сапогами Раскольникова.

Если бы жизнь была так проста, что, свернув по Вэстерлонггатан налево, а не направо, я бы поменяла Хильду из Вестероса на русскую Анну, — то история была бы исправлена и эта или другие подобные ошибки уже никогда бы не повторились. Не было бы больше войн. Женщины получали бы такие же зарплаты, как и мужчины. Эресундский мост[3] так и не был бы построен.

Кажется, если раскопать могилу, открыть гроб с останками, извлечь отвратительные клоки волос и подвергнуть их анализу ДНК, то он исчезнет. Но он не исчезает. Миф уже пережит, и, будь он выдуман или нет, опасен или нет, он уже дал свои отростки на древе памяти.

Когда мы говорим, что история никогда бы не повторилась, если бы мы помнили то, что было, — это странная истина. Такая же странная, как то, что история повторяется именно потому, что мы ее помним.

Археология, анализы ДНК, родословные, музеи в концлагерях не позволят нам ничего забыть. Миф дремлет и оживает.

В моей молодости, в этом уголке мира, было принято считать, что миф можно вырвать с корнем. В нашей стране все еще были приверженцы монархического правления. Но Швеция продолжала строить быстрый и удобный мир, где газовые облака от PV444[4] все еще были похожи на сгустки снов в волнующихся тенистых краях с извилистыми гравиевыми дорожками. В мифе этот мир назывался Народным домом,* и покоился он в трезвом свете люминесцентной лампы.

Мы и не думали тогда, что мифы окажутся в нашем мире чем-то большим. Мы ни за что бы не поверили, что религиозный экстремизм может превратиться в сильную и опасную политическую силу. Я и подумать не могла, что стану приверженкой рационализма.

Было бы, наверное, разумно выяснить, что же на самом деле случилось в мирах детства моей матери. Но я не хочу. Я понимаю, что на дне колодца я нашла бы не только серебряные ложечки. Наверное, свалку металлолома. Мусор и хлам.

По существу, мама, наверное, думала так же, как я. Но даже если это и так, я все равно разочарована. Не из-за утерянной русской Анны, нога которой никогда не касалась петербургских мостовых. А из-за того, что мы, люди, так мало можем воздействовать на действительность.

Старый человек, который с каждым днем уходит от меня все дальше и дальше, извлек из глубин своей памяти картинку прошлого, которое я считала навсегда потерянным. Я так обрадовалась! Я подумала: там, в глубине, все сохранилось. Там человеческая душа. Она ведь и должна быть в древе памяти с его чувствительными узлами-ответвлениями, уходящими к самым корням, к безмолвному раннему детству.

Итак, никакие это были не воспоминания. Всего лишь выдумка, к которой она прибегла, чтобы еще раз создать вокруг себя мир. Мир из осколков. Из хлама и мусора.

Это все?

Я пытаюсь утешить себя тем, что это уже не мало. Ведь я знаю, что все мамины рассказы о детстве, правдивые или нет, обладали каким-то удивительным сказочным свойством, как рассказ о балалайке и о дедушкиных слезах. Все эти рассказы были невероятно образными и удивительно небудничными в границах тонко уловленной атмосферы будней.

Разве я сама не преуспела в этом? Нарисовать золотой ободок на серовато-коричневых открытках Катринехольма. Поведать о чуде в будний день.

Но есть ли чудо?

Не Хильда из Вэстероса выросла из истории моей семьи и так жестко поставила вопрос сейчас, когда мне за шестьдесят. Я сама долго выписывала эту историю.

...Всем лестницам — конец.
Пора идти
И лечь туда, откуда счет ступеням:
На свалку сердца, к обветшалым
теням.

*Перевод А.Блейз*

Это строчки из Йейтса, строчки, преисполненные необъяснимой тоски. Поэт освободился от беспорядочности и смятения при помощи лестницы, которой было его стихотворение. И сейчас, когда ее нет, он лежит внизу, «откуда счет ступеням», на свалке сердца. Среди обветшалых теней. Хлама и мусора. Металлолома.

В тот миг поэта ничто не могло убедить, что мир состоит не из хлама и мусора. Магия рассказов оборвалась. Его мир безутешен. В нем нет никакого смысла.

Когда я так рассердилась на свою бедную старенькую маму за то, что она на склоне лет выдумывает небылицы, я просто пожелала, чтобы она оставалась на свалке сердца. Пусть придерживается правды. Только мне, писательнице, дозволено взбираться по лестнице.

На самом же деле я, конечно, всегда хотела верить маме. Ее рассказы придавали смысл этому серому и беспорядочному миру.

Они не были христианскими или социал-демократическими. И даже не особенно нравственными. Они убеждали своим светом. И в этом был их смысл.

Светлый смысл.

Будь я другим человеком, менее похожим на свою маму, я бы никогда не различила никакого смысла в ее рассказах. Я бы поняла, что она выдумывает.

Какой бы жизнью я тогда жила?

Писателем я бы точно не стала.

*Перевод А. Поливановой и М. Людковской*

*Народный дом (Folkhemmet) — шведская модель государства всеобщего благоденствия.

### ПРИМЕЧАНИЯ

[1]dichten (*нем.*). 1) сплачивать, сплотить, 2) выдумывать, сочинять стихи.

[2]Петер Хёг — выдающийся современный датский писатель.

[3]Эресундский мост соединяет Швецию с Данией. Был открыт в 1999 году.

[4]Старая модель «Вольво».

ШВЕДСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ

# Шведская литература в фондах библиотек и в чтении россиян

Людмила ГЛУХОВА, Ольга ЛИБОВА

Россияне всегда с симпатией относились к северным соседям, русскому обществу были близки и понятны интересы скандинавов, их театр, кинематография, литература. Достаточно простого перечисления перевода памятников фольклора и художественной литературы Швеции: библиографический указатель переводов произведений шведских поэтов и писателей, а также материалов об их творчестве, изданный пятнадцать лет тому назад Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И.Рудомино, включает около пяти тысяч названий![1] Естественно, интерес к литературе Швеции в разные периоды нашей истории был не равномерным, он то спадал, то возобновлялся с новой силой, но никогда не исчезал совсем.

В 1878 году датский литературовед Георг Брандес писал: «Литературная слава в скандинавских странах носит почти всегда местный характер. Произведения, написанные на языке, на котором говорят лишь несколько миллионов и который нигде в свете не изучается и не употребляется как культурный язык, имеют, конечно, мало шансов на приобретение европейской или всемирной славы. Если поэтическим сочинениям и удается иногда, в виде исключения, пробиваться на поверхность, то они редко получают широкое распространение и во всяком случае редко сохраняют надолго свою притягательную силу...»[2] Однако уже в 1890-е годы благодаря А.Блоку, К.Бальмонту, Ю.Балтрушайтису и другим страстным поклонникам «скандинавских неоромантиков» книги шведских писателей и поэтов стали известны самому широкому кругу русских читателей. «Скандинавская литература, — писал К.Бальмонт, — за последнее время возбудила к себе в России напряженный и исключительный интерес, и, надо думать, основная причина этому коренится в душевном складе русского читателя. Есть нечто — тесно сближающее нас с нашими северными собратьями. И русским и скандинавам в одинаковой степени свойственны некоторые общие черты, делающие нашу литературу популярной в Скандинавии, а скандинавскую — в России. Эти черты: широкий размах мысли и чувства, неутолимая жажда героизма, идеалистическая мечтательность, глубокая грусть и глубокий юмор».[3]

В общедоступные библиотеки России книги шведских писателей начали поступать в конце XIX — начале XX века. В этот период, когда библиотеки открывались во всех губернских и чуть ли не во всех уездных городах, интерес к шведской литературе был велик, как никогда. С тех пор неизменно практически все рекомендательные каталоги для библиотек, обслуживающих население нашей страны, включали книги, написанные шведскими писателями.

Н.А.Рубакин, книговед и крупнейший специалист в области библиотечного дела, писал в 1911 году: «...литература скандинавских народов отличается... своею жизненной силой, проникновенной бодростью, свежестью своих идей, непосредственностью эмоций и искренним стремлением освободить человеческую личность и общественную жизнь не только от социальной неурядицы и несправедливости, но и от условной лжи, которыми они окружены...Во всяком случае, ни один отдел западноевропейской литературы не оказывает на читателей такого освежающего и бодрящего влияния, какой именно оказывает современная литература скандинавских народов».[4]

В знаменитом труде «Среди книг» Рубакин объединил художественную литературу Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Он перечислил наиболее значимых, с его точки зрения, шведских писателей и поэтов: Эрик Юхан Стагнелиус (1793—1823), Эсайас Тегнер (1782—1846), Захариас Топелиус (1818—1898),[5] Леффлер (Леффлер—Эдгрен Анна-Шарлотта, 1849—1892), Август Стриндберг (1849—1912), Ола Гансон [Хансон Ула 1860—1925], Сельма Лагерлёф (1858—1940), Густав аф Гейерстам (1858—1909), Альгрен (Бенедиктсон Виктория, 1850—1888), Гедберг (Хедберг Тур, 1862—1931), Карлен (Флюгаре-Карлен Эмилия 1807—1892), Яльмар Сёдерберг (1869—1941), Сигурд (Хеденшерна Альфред, 1852—1906). Этот список авторов, чьи произведения, переведенные на русский язык, Рубакин считал исчерпывающим. Далее он пишет: «...просматривая список русских переводов из литературы скандинавских народов и сравнивая его с теми списками, которые дает история этих литератур, нельзя не отметить, что знакомство наше с этими литературами только начинается...» Большинство из авторов, вошедших во второй список Рубакина, так и не были переведены на русский язык. Однако представляется достаточно любопытным на примере шведской литературы через 100 лет проследить правильность предположений крупнейшего русского специалиста в области библиотечного дела. Большинство имен писателей, названных в начале XX века, русским читателям незнакомы.

На «одно из самых почетных мест» Н.А.Рубакин[6] поставил творчество романтика Эсайаса Тегнера, рекомендуя библиотекам приобрести его поэму «Фритьоф, скандинавский витязь», получившую высокую оценку И.-В.Гете и В.Г.Белинского. В 1911 году «Сага о Фритьофе» (иное название) была издана уже третьим изданием.

Шестое издание литературно-библиографического справочника «Основные произведения иностранной художественной литературы», составленное в 1997 году специалистами библиотеки иностранной литературы, включает тщательно отобранный достаточно небольшой круг имен шведских писателей. Начинается список с имени Э.Тегнера.[7] Значимость его творчества составители объясняют так: «Музыкальность стиха, яркость образов, эмоциональность языка, остроумие, живость и сатиричность — все это сделало его творчество значительным явлением в истории шведской литературы»,[8] и

добавляют, что одно из стихотворений Тегнера стало текстом национального гимна Швеции. Необходимость включения произведений Тегнера в фонд общедоступных библиотек Рубакин и составители литературно-библиографических справочников XIX и XX веков обосновывали тем, что наряду с другими памятниками литературы они представляют исторический интерес. Действительно, среди русских читателей есть интересующиеся скандинавским фольклором и эпосом, они смогут прочитать «Сагу о Фритьофе», традиционно включаемую в сборники «Поэзия народов мира», «Поэзия Европы», «Европейская поэзия XIX века» и т. д.

«Из новых» Рубакин обратил внимание россиян на творчество С.Лагерлёф, А.Стриндберга и Гайерстама (Гейерстам Густав аф). Он рекомендовал в «Кратком списке книг для небольших библиотек» приобрести не только произведения этих авторов, но и литературу о них: «Литературные силуэты» (СПб., 1907), где была опубликована биография Стриндберга, написанная О.Гаузером и критико-биографические очерки Ф.Поппенберга «Северные писатели», один из которых был посвящен Г.Гейерстаму и сопровождался «приложением образцов произведений».

Произведения А.Стриндберга и С.Лагерлёф были отобраны Н.А.Рубакиным во вторую группу как «представляющие современный литературный интерес, — интерес той жизни, которою живет современное общество и в которой вопросы вечные так тесно переплетаются с вопросами злободневными...»[9] Сейчас, столетие спустя, книги этих писателей включены во все литературные энциклопедии и справочники, а также в практическое пособие «по формированию наиболее ценной в культурном и культурно-историческом отношениях части библиотечного фонда публичной (массовой) библиотеки».[10]

Безусловно, самым популярным шведским писателем на рубеже XIX—XX веков был Август Стриндберг (1849—1912). Его произведения издавались большими для того времени тиражами, его пьесы шли не только в столичных, но и в провинциальных театрах России. В 1892 году произведения Стриндберга издавались 8 раз, в 1908 году — пик интереса русских к творчеству шведского писателя — более 50 раз. В 1908 году в Москве дважды выходили полные собрания сочинений А.Стриндберга — в 12 томах в издательствах М.Саблина (выходило вплоть до 1911 года) и 15-томное в «Современных проблемах» (последний том вышел в 1912 году). Сочинения Стриндберга были в библиотеках самой глухой провинции России, о чем свидетельствуют каталоги и отчеты библиотек. Так, например, в отчете Товарищеской библиотеки г. Уральска за 1902 год список книг «новейших модных писателей» возглавляет «Стриндберг».[11]

Основным источником знакомства с творчеством Стриндберга и других шведских писателей для русской читающей публики были литературные журналы. Публичные библиотеки уездных городов в конце XIX — начале XX века большое внимание уделяли подписке на периодические издания. Многие провинциальные библиотеки имели в своем распоряжении литературные журналы «Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Мир божий», «Русская мысль» «Журнал для всех», в которых Стриндберг печатался неоднократно.[12] Так, городская публичная библиотека г. Орлова (Вятской губернии), где проживало в начале века две с половиной тысячи человек, регулярно издавала типографским способом каталоги книг и журналов, находящихся в фонде. В «Пятом прибавлении к каталогу книг...» было расписано содержание 59 журналов «с указанием статей за 1890—1900 гг.». Каталог отражал содержание таких литературно-художественных журналов, как «Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Новый журнал иностранной литературы», «Русское богатство» и многие другие, вводя в круг чтения горожан новые произведения не только Стриндберга, но и Гейерстама, Флюгаре-Карлен, Лагерлёф, Хальстрема и др.

Как воспринимали произведения шведских писателей русские читатели на рубеже XIX—XX веков?

В уже процитированной рецензии на книгу Ф.В.Горна «История скандинавской литературы с древнейших времен до наших дней» К.Бальмонт уверенно говорит о моде на скандинавскую литературу. Нам известно, что большой популярностью у широких кругов читателей (не зрителей!) пользовались роман Стриндберга «Красная комната» и драма «Фрёкен Жюли». Об этом опосредованно свидетельствует тот факт, что их издавали чаще других произведений, и та интерпретация, которую мы находим в популярной литературной критике того времени. Интерес к теме «Красной комнаты», как правило, издававшейся с подзаголовком «очерки из жизни художников и писателей», понятен без комментариев. Драму «Фрёкен Жюли» («Графиня Юлия», «Графиня и лакей») высоко оценил М.Горький. В 1899 году в письме из Нижнего Новгорода он благодарит А.П.Чехова за рекомендацию прочесть пьесу в переводе Е.М.Юст. «Смел швед! — пишет Горький. — Никогда я не видел аристократизма холопов, столь ярко изображенного...Суть пьесы поразила меня, и сила автора вызвала во мне зависть и удивление к нему, жалость к себе и много грустных дум о нашей литературе... я спрашиваю себя и Вас — почему нет у нас ни Стриндберга, ни Гедберга,[13] ни Ибсена, ни Гауптмана?»[14] Совершенно по-другому воспринимают драму «Графиня Юлия» женщины. В статье о Стриндберге, написанной для Энциклопедии Брокгауза и Ефрона в 1901 году, З.Венгерова интерпретирует творчество Стриндберга как борца с феминизмом, она считает, что писатель изображает женщину «как исчадие ада», «чувствуется нечто средневековое и католическое в том непритворном ужасе, с которым С[триндберг] смотрит на женщину».[15] В литературной критике преобладало мнение, что Стриндберг является возмутителем общественного покоя, что, подобно Ибсену, он протестует против общепринятых предрассудков и обычаев и его творчеству, так же как и творчеству Ибсена, свойственны горечь, подозрительность и резкость. А.Блок утверждал не без основания, что с именем Стриндберга «связаны заметные мысли демократии» и к XX веку он встал в ряд «властителей дум» европейской интеллигенции.

Русские поэты настойчиво вводили в круг чтения россиян не только творчество Стриндберга, но и шведскую новеллу — Альмквиста, Далина, Сёдерберга, Сивертса, Хальстрема, поэзию — Аттербума, Вирсена, Гейера, Мальмстрема. Почти все эти авторы удостоились специальных статей в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, Энциклопедическом словаре Гранат.

Столь же известными у российских читателей в эти годы были повести и романы, посвященные взаимоотношениям между мужчинами и женщинами, иногда написанные в жанре мелодрамы, иногда острополемические, приближающиеся к очерковой литературе. Чаще всего из-

давались в эти годы произведения Э.Флюгаре-Карлен («Омбергская невеста», «Причудливая женщина», «Блестящий брак», «Две молодые женщины, или Год супружества», «Бурная натура», «Два брака» и др.), В.Бенедиктсон (псевд. Эрнст Альгрен) («Женитьба по расчету», «Грубиян», «Мариана» и др.); Ф.Бремер («Семейство, или Домашние радости и огорчения», «Соседи: Сцены из вседневной жизни», «Суженая, или Женушка моя» и др.); Элин Вэгнер («Дитя века», «Вставочка: Роман из жизни шведских суфражисток») и, конечно, Ула Хансона, «психолога иррациональных настроений», который приобрел известность собранием эротических новелл («Женщины: К физиологии любви нашего века», «Женщины, каких много: К физиологии современной жизни», «Психология любви») и тому подобное.

Нам кажется, что и в наши дни читателей могли бы заинтересовать биография и творчество Анны-Шарлотты Леффлер-Эдгрен, причудливым образом связанные с Россией. Первый сборник ее повестей вышел в свет, когда будущей писательнице исполнилось 15 лет. Известность Леффлер принесли рассказы «Из жизни», переведенные на многие языки, в том числе и на русский. Русская литературная критика отмечала «простоту в развитии сюжета и яркость бытового колорита», но констатировала также «тенденциозность в духе феминизма». Внимание русских читателей и зрителей привлекла пьеса «Борьба за счастье», написанная в соавторстве с Софьей Ковалевской. Пьеса эпатировала шведское и русское общество, но молодые писатели отнеслись к совместному творчеству двух женщин вполне благосклонно. Датский писатель Г.Банг писал: «Я люблю эту необыкновенную драму, которая с математической точностью доказывает всемогущество любви».[16] По мнению критиков, последний роман Леффлер «Женственность и эротика» (в русском переводе «Алия») наибо-лее привлекателен, он наполнен «настоящим сиянием... хотя уступает прежним произведениям во внешней стройности и мастерстве». Биография-мемуары «Софья Ковалевская: Что я пережила с ней и что она рассказывала мне о себе» принято называть самым выдающимся произведением Леффлер, которое, «отличаясь проникновенной правдивостью... по художественности приближается к роману».[17] В 2000 году редакция журнала «Регулярность и хаотичность динамики» (Ижевск) предприняла попытку переиздания этого произведения, озаглавив его «Софья Ковалевская: Воспоминания Анны-Шарлотты Леффлер, герцогини ди-Кайянелло». Перевод остался прежним, осуществленным М. Лучицкой еще в 1892 году. Тираж этой книги — 500 экз. — не позволяет сделать объективный вывод о том, насколько творчество одной из самых популярных и экстравагантных писательниц Шве-

Портрет Т.С.Люботович.
К.А.Коровин.
*1886—1888 гг.*

ции будет сегодня интересным широкому кругу читателей. Однако мы констатируем: сам жанр — интимные подробности известных исторических персонажей — в настоящий момент достаточно популярен в России.

Подробнее хотелось бы остановиться на творчестве писателя, которого Н.А.Рубакин поставил рядом со Стриндбергом и Лагерлёф, — Густаве Гейерстаме. В 1909 —1912 годах выходит его первое полное собрание сочинений, в 1913 году — второе. Всего за несколько лет, предшествующих 1917 году, было издано 35 томов произведений Гейерстама, в том числе 14 романов. Статья Ю.Веселовского в Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дает полное представление о том, что притягивало к нему читающую публику. «В начале своего творческого пути, — пишет Ю.Веселовский, — Г.Гейерстам находился под влиянием А.Стриндберга, но вскоре обнаружилось коренное различие их писательских темпераментов, например, по вопросу о правах женщин... Он почти исключительно специализировался на психологическом романе. Лучшие его вещи те, в которых на первом плане психологический анализ, изображение в мягких, нередко грустных тонах семейной жизни и связанных с нею недоразумений и взаимного непонимания. "Книга о маленьком брате" — едва ли не лучшее произведение. Даже там, где Гейерстам стремится затронуть общие вопросы или отозваться на текущую жизнь, всего более интересует его психологический анализ («Опасные силы», 1905)».[18] Сегодня достаточно просто перечислить названия романов и повестей Гейерстама, чтобы читательницы заинтересовались его творчеством: «Борьба за любовь», «Брачная комедия», «История одного брака», «Борьба душ», «Вечная загадка», «Власть женщины» и т.д.

Навсегда покорил россиян герой романа С. Лагерлёф — Йеста Берлинг («Сага о Йесте Берлинге», «Геста Берлинг»), отрешенный от сана пастора, удивительно обаятельный молодой человек, перед чарами которого не могла устоять ни одна из знаменитых красавиц Вермланда. Своеобразный цикл новелл, окрашенный мотивами народных легенд, получил в Швеции первую премию газеты «Идун», объявившей конкурс на лучшее беллетристическое произведение. Жюри отметило, что «Сага...» «оставил[а] далеко позади не только всех прочих участников конкурса, но и большинство из тех книг, что давным-давно могла предложить наша [шведская] отечественная литература».[19] Вскоре она была переведена на русский язык и вплоть до 1917 года издавалась регулярно в разных переводах. Несколько меньшей популярностью пользовались романы «Чудеса антихриста» и «Император Португальский», а также трилогия о пяти поколениях дворянской семьи «Лёвеншёльдов» («Перстень Лёвеншёльдов», «Шарлотта Лёвеншёльд», «Анна Сверд»). О судьбе книг С.Лагерлёф, адресованных детям, мы скажем несколько позже.

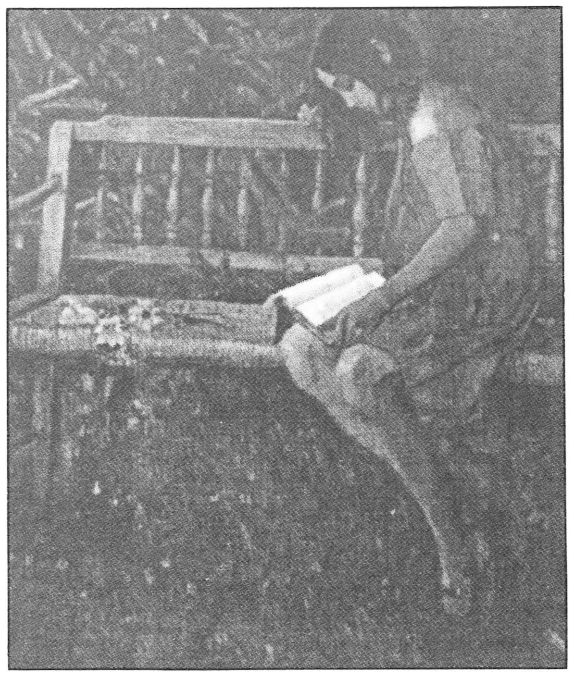
Эти и многие другие произведения шведских авторов на долгие годы стали любимым чтением тех, кого в послереволюционные годы было принято снисходительно называть «уездными барышнями» той самой «буржуазн[ой] полуинтеллигенци[и]

и городск[ого] мещанств[а], носящего общее имя обывателя», которые, по меткому наблюдению Н.Фридьевой, человека в послереволюционной России стоящего у руля политики в библиотечном деле, «отнеслись к революции враждебно, ничего не поняли в ней и не участвовали».

«Читают почти исключительно беллетристику — и беллетристику с особым уклоном, — почти с ненавистью пишет Н.Фридьева, — в книгах ищут любовь во всех ее разновидностях, любят старые исторические романы, высокопоставленных, сиятельных героев (графов, князей), обстановочность, безыдейность и мистику. Это — библиотечные гробокопатели, книжные гиены. Если вы еще не произвели чистки беллетристики в вашей библиотеке — положитесь на их чутье ко всякой мертвечине: они просят именно те книги, которые необходимо изъять».[20] Таким нехитрым способом руководители библиотечного дела формировали фонды советских библиотек. Читать, издавать и переиздавать можно было лишь литературу определенной тематики, «социально близкой» и полезной строителям коммунизма.

Надо ли говорить, что шведская литература, посвященная анализу внутрисемейных отношений, переведенная в начале века и кое-где сохранившаяся в библиотеках, вполне подходила под категорию книг, вредных для советского читателя? Такие книги просто перестали издавать и больше никогда к ним не возвращались.

Иначе сложилась в России судьба творчества Сельмы Лагерлёф. Ее произведения издавались два раза — в 1922 и 1924 годах. Кстати, в 1922 году Госиздат издал «Гномы и люди» в переводе С.Г.Займовского, но появившийся в Германии на русском языке тот же сборник («Тролли и люди», 1923) попал в «Руководящий каталог по изъятию... литературы из библиотек, читален и книжного рынка».[21] В 1923 году в журнале «Красный библиотекарь» была опубликована рецензия на книгу «Гномы и люди»: «Новеллы не лишены литературных достоинств. В их задушевности, в их ненапряженной и неторопливой фантастике есть какая-то старомодность, какая-то наивная искренность и простота. Эта фантастика вплетена в быт крепкий, отстоявшийся, прочный и консервативный сельский быт. Она набрасывает на этот быт легкую поэтическую дымку, она идеализирует его... Эта неподвижная жизнь заброшенных деревень и хуторов, одиноких усадеб, пасторских дочек и адъюнктов, — это, в сущности, вчерашний день. И хорошо, что вчерашний... И сама Лагерлёф, со своей идеализацией деревни, со своим отрицанием «антихристова социализма «Чудеса антихриста», со своим сентиментальным христианством, в духе Франциска Ассизского, сама она в мировой литературе старомодная фигура вчерашнего дня».[22]



Наташа Нестерова на садовой скамейке. М.В.Нестеров. *1914 г.*

Затем наступил перерыв, когда в течение 15 лет не было издано ни одной книги С.Лагерлёф. Однако литературная критика не забывала о писательнице, ей были посвящены статьи в Литературной энциклопедии, под редакцией А.В.Луначарского, в Большой советской энциклопедии, в учебниках по истории западноевропейской литературы. Следует сказать, что чаще всего отзывы о творчестве шведской писательницы были негативными. Так, Л.Блюмфельд назвал Сельму Лагерлёф «одной из самых реакционных писательниц конца XIX—XX века». Это было первое упоминание о ней после 1924 года. «Ее идеал — Швеция до второй половины XIX века... Лагерлёф отразила настроения шведского дворянства этой эпохи, судорожно бьющегося за сохранение своих прав эксплоататора [так в тексте. — *Л.Г., О.Л.*] крестьянства и в то же время запуганного и озлобленного обострением классовых противоречий, ростом рабочего движения... Элементы грубейшей мистики и суеверия занимают... весьма значительное место... социализм для [нее] — это последний величайший искус антихриста... Антивоенный "протест" Лагерлёф является... сугубо реакционным, ханжеским».[23] Только в 1940 году состоялось триумфальное возвращение творчества С.Лагерлёф к русским читателям вновь получившим доступ к ее книгам, адресованным детям. Однако мнение, высказанное столь безапелляционно, принималось как истина в последней инстанции еще достаточно долгое время. Уже вернулся в детскую литературу Нильс и его гуси, уже наступили совсем другие времена, но, высказывая свое мнение о трофейной литературе, библиотекари Челябинской областной библиотеки по сути повторяют оценку, данную «Йесте Берлингу» Л.Блюмфельдом — «роман сентиментальный, никому не интересен. Описывается жизнь взбалмошного священника и пьяницы».[24] Рецензент имел в своем распоряжении веские доводы для негативного решения вопроса о включении трофейной книги в фонд провинциальной русской библиотеки — речь шла об издании на шведском языке. Много ли читателей в Челябинске в 40—50-х годах владели шведским настолько, чтобы получать удовольствие от чтения художественной литературы в оригинале? Однако не это прагматическое соображение легло в основу решения об уничтожении книги, изданной в Стокгольме в 1891 году, а вульгарная оценка-штамп, предложенный Литературной энциклопедией.

В соответствии с задачами, которые ставили перед собой те, кто в 1920-е годы стоял во главе культурной политики, репертуар шведской литературы, рекомендуемой читателям, обновился в корне. Для перевода отбиралась литература, показывающая пороки буржуазного общества и преимущества социалистического строя. В 1924 году появляется роман Х.Бергера «Дневник одинокого», в 1925-м — «В борьбе за право» Р.Каспарсона. В 1927 году центральные издательства предлагали романы Т.Нермана «Союз пятерых», И.Бойера «Эмигранты», Г.Эриксона «Бродячая Америка» (выходила дважды) и, конечно, «Селямбы»

З.Сивертса — «острую сатиру на буржуазные нравы». Вся книжная продукция в те годы обязательно рецензировалась на предмет соответствия воспитательным задачам. Типичен пример положительной аннотации: «небольшой рассказ является страничкой, иллюстрирующей тяжелую атмосферу, убивавшую творческие возможности... и тем самым оттеняющей просветы, внесенные сюда революцией. Книжку следует иметь в сельских библиотеках».[25] Рецензии такого рода на шведскую литературу печатались в журналах «Красный библиотекарь», «Книга и революция», «Печать и революция», «Книга и профсоюзы», «Книгоноша» и др.[26] Так, в 1926 году в журнале «Книгоноша» (еженедельный журнал критики, библиографии и книжного дела) появляется рецензия на книгу Франка Хеллера «В столице азарта», вышедшую в Ленинграде в издательстве «Мысль». Б.Киреев, автор рецензии, пишет, что «Хеллер не только мастер сюжета, не только занимательный рассказчик — он еще и острый изобразитель современной Европы. Рецензируемая нами книжка рассказов несколько разочаровывает. Она просто занимательна, и вещи, вошедшие в сборник, кроме занимательности ни на что и не претендуют».[27]

И в дальнейшем, в 1930 — 1970-е годы в центре внимания переводчиков шведской литературы находились произведения с четко выраженными социальными пристрастиями и антипатиями. Преимущество при выборе книг для перевода отдавалось писателям, «разочаровавшимся в буржуазной цивилизации», изображающим «материальную и духовную нищету» западного общества, писателям, в чьем творчестве были сильны антифашистские и антиколониальные настроения. Например, неоднократно переводились представители статарской школы, «отразившие нужду и бесправие батраков» — М.Мартинсон, И.Лу-Юханссон, Т.Аурелль, а также члены шведской группы международного союза «Кларте», «способствовавшего распространению социалистических идей»: Х.Мартинсон, А.Лундквист, Ю.Чельгрен и Э.Асклунд.[28] Чаще других в библиотеки России попадали произведения Ю.Чельгрена «Приключения в шхерах» и «Люди и мост», его считали одним из видных представителей пролетарской литературы, а его роман «Люди и мост» яркой, новаторской по стилю и хорошо документированной картиной жизни шведского рабочего класса.

В эти годы библиотеки получали ежегодный рекомендательный библиографический указатель «Литература и искусство», отражавший опубликованные на русском языке произведения советской и зарубежной литературы, «привлекающие внимание актуальностью тематики и художественным уровнем».[29] В указатель включались романы, повести, пьесы, сценарии, впервые опубликованные, а в ряде случаев переизданные после значительного перерыва и поэтому не знакомые большинству читателей. Составители учитывали как отдельные издания, так и публикации в центральных журналах, тематических сборниках и альманахах. Государственная библиотека им. В.И.Ленина, главная библиотека страны, информировала «библиотекарей и пропагандистов книги» о «значительных» произведениях, появившихся за год, рассчитывая на то, что с этими книгами будут «работать», их будут рекомендовать «широкому кругу читателей».

Рабфак идет. Вузовцы. Б.В.Иогансон. *1928 г.*

Изданный тиражом в 100 тысяч экземпляров сборник рассказов «Задиры» попал во многие библиотеки. Здесь были собраны рассказы писателей Японии, Ирландии, Испании, США, Франции, ФРГ и Швеции. Швеция была представлена рассказом Лу-Юханссона «Нигилист». Составители аннотации акцентировали внимание библиотекарей на том, что в рассказах в негативном плане освещались «различные стороны жизни пролетариата в капиталистическом обществе». Герои рассказов — молодые люди, ощущающие «свою беззащитность в мире конкуренции и алчности, решившиеся на протест, на попытку отстоять свои права...[проявить] рабочую солидарность».[30] Регулярно подобного рода литература печаталась в литературно-художественных журналах, широко представленных в фондах библиотек. Роман С.Вернстрема «Человек с поезда» был опубликован в 1982 году в ленинградском журнале «Нева». Вот как указатель «Литература и искусство» рекомендовал читателям это произведение: «В купе поезда, идущего с севера Швеции в ее столицу Стокгольм, встретились оба главных героя... молодой солдат Андерс Фринберг и пожилой шахтер с Севера Эверт Нюстрём...» Шахтер «послан своими товарищами выступить в защиту прав рабочих по центральному телевидению... Писатель показывает, какие последствия вызвала речь Эверта в Стокгольме — демонстрации на улицах, выступления рабочих по телевидению и радио — и как высказывания Эверта о жизни страны, о положении рабочих подействовали на Андерса, внеся изменения в его жизненный путь...» Стоит ли говорить, что для читателей такая рекомендация служила антирекламой?

Относительно популярной, у читателей в те годы была и остается до сих пор жанровая литература — шведский детектив (П. Валё, Я.Экстрем, Я.Мортенсон и др.) и фантастика.

К сожалению, популярные ранее книги о путешествиях и приключениях, такие как «К северному полюсу», «Моя жизнь и путешествия» Свена Гедина, «На Баунти в южные моря», «По стопам Кон-Тики» Бенгта Даниэльсона, «Белый тапир и другие ручные животные» Яна Линдблада, «В поисках Анаконды» Рольфа Блумберга и многие другие, ушли из чтения. Книги этого жанра были полностью заменены многочисленными талантливыми телевизионными передачами.

Начиная со второй половины 1990-х годов к русской читающей публике вернулась мелодрама — произведения немецких писательниц Е.Марлитт, Э.Вернер, англичанки Оливии Уэдсли, в новых переводах

появились романы Барбары Картланд, Дафны дю Морье, Джорджетт Хейер, переизданы книги норвежских писательниц Карин Михаэлис и Сигрид Унсет, шведская литература «о любви» ни в старых, ни в новых переводах пока не публиковалась ни разу.

Потомки «уездных барышень», к сожалению, плохо читают поэзию и драматургию, достаточно часто издаваемую в России и, как правило, в хороших переводах. Так, сценарии и киноповести Ингмара Бергмана, кинофильмы которого знают и любят не только в столицах, но и в русской провинции, у читателей спросом не пользуются. Впрочем, и лучшие произведения признанных мастеров шведской литературы, Вернера фон Хейденстама, Эрика Карлфельдта, Пёра Лагерквиста, Харри Мартинсона, Эйвинда Юнсона, лауреатов престижной у россиян Нобелевской премии, по существу широкому кругу русских читателей известны мало. Знают их (в первую очередь Лагерквиста) только любители скандинавской литературы. На рубеже XX—XXI веков знаком каждому россиянину и любим всеми лишь шестой Нобелевский лауреат — Сельма Лагерлёф.

В наше время россияне всех возрастов знают и любят шведскую литературу, адресованную детям.

Шведские сказки, народные и литературные, издавались в России регулярно вплоть до 1917 года. Составители систематического указателя книг для детей и юношества особо выделили сборник сказок, вышедший в 1913 году в обработке Н.Каринцева. Для перевода он выбрал сказки, собранные шведскими учеными Олафом Коваллиусом и Георгом Стевенсом. Издательство «Просвещение» выпустило их, снабдив многочисленными рисунками шведских и русских художников. Рекомендуя сборник читателям, составители указателя так сформулировали его достоинства: «сюжеты шведских сказок те же, что и сказок других европейских народов, но обработка и детали имеют много своеобразного. Изложены они красиво и художественно, и на них лежит отпечаток мягкости и изящества. Читаются сказки с интересом, рисунки изящны и соответствуют стилю сказок и бытовым их особенностям».[31] Проводя параллель между обработкой сказочных сюжетов русскими и шведскими писателями, составители отдали пальму первенства шведам. «"Черная шкатулка и красная" — это... сказка о злой мачехе и падчерице, во многих подробностях напоминающая русскую сказку о мальчике, похищенном гусями бабы-яги. Самая длинная сказка «Подземный принц». В основу ее так же, как и нашего "Аленького цветочка", положен миф об "Амуре и Психее", но шведская сказка по подробностям ближе подходит к греческому мифу, гораздо сложнее по содержанию, чем русская сказка».[32] Другие издания шведских сказок составители считали менее удачными. «Подбор сказок в сборниках, — пишут они, — нельзя признать удачным: во-первых, среди них слишком много нравоучительных сказок, а во-вторых, в сказках чувствуется мало характерно-народного элемента».[33]

Дореволюционные читатели-дети хорошо знали писательницу С.Лагерлёф. Ежегодно разные издательства печатали «Легенды о Христе». Это произведение и «Шведские народные сказки» в обработке Н.Каринцева комиссия при Подвижном Музее учебных пособий выделила «как особенно желательные для детских библиотек».[34] Книга о чудесных путешествиях мальчика по Швеции была переведена в России и издана почти сразу же после ее публикации на родине автора. Но приключения книги в России были почти такими же удивительными, как у ее героя,[35] мы вернемся к ним несколько позднее.

После революции в центр внимания профессиональной библиотечной печати попали сказки, вокруг которых и завязалась дискуссия. Как известно, резко негативное отношение к ним характерно для Н.К.Крупской. «Есть сказки, которые спутывают действительность с фантазией... во многих сказках есть такие моменты, которые открывают двери для всякой мистики...Ведь в сказках бывает так много недоговоренного, намеков, и то, на что намекается... на деле является самой ядовитой и вредной пищей для детского ума».[36] «...Преподносить пролетарскому ребенку все старые суеверия, всю старую мораль, пригодную для буржуазного строя, не только смешно, но прямо преступно».[37]

Составители примерного каталога книг для рабочих библиотек в предисловии к разделу «Детская литература» разъясняют свою позицию: «Сказка родная сестра религии. Как то, так и другое появилось главным образом из непонимания и неумения объяснить многие явления природы... Теперь, когда мы умеем научно объяснять многие и многие непонятные ранее явления природы, теперь не нужна нам и сказка, которая затуманивает сознание ребенка... В наших списках нет ни сказок Гримма [так в тексте. — *Л.Г., О.Л.*], которые являются прямо-таки апофеозом мещанства, ни многих сказок Андерсена, проникнутых мистикой, ни французских сказок Перро, переполненных ненужными жестокостями, ни красивых, но слишком религиозных сказок-сказаний Лагерлёф, ни других подобных этим».[38]

В 1919 году в Петрограде изданы сказки Анны Валенберг «Горный дух и мальчик, или Старый тролль с Большой горы», пьеса-сказка «Новая шапочка Андерса». Затем несколько лет шведские литературные и народные сказки, произведения современных писателей для детей не издавались. Изредка появлялись в периодической печати для детей произведения типа «Мы в ряд шагаем радостно...» («революционная песня шведских рабочих»).[39] К середине 30-х годов закончилась дискуссия на тему — нужна ли детям сказка. Сказка победила.

В 1940 году после долгого перерыва была опубликована книга С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» в «свободной обработке З.Задунайской и А.Любарской», уже через год вышло второе издание. В таком пересказе книга была предназначена младшим школьникам и сохранила в конспективном виде лишь сказочную линию сюжета. Сказка о маленьком заколдованном мальчике, пролетающем со стаей гусей через всю Швецию, считается во всем мире и в нашей стране шедевром детской литературы. Книга в подлиннике представляет собой трехтомное сказочное учебное пособие по географии и природоведению и была написана по заказу Шведского общества учителей с целью сообщить шведским детям в наиболее доступной и занимательной форме как можно больше сведений о родной стране. Написана она так, что «жадно читается даже там, где вообще не знают, является ли Стокгольм столицей Швеции или Швеция столицей Стокгольма».[40] Сейчас в самых различных изданиях и переводах, в полном виде и с сокращениями она есть во всех библиотеках России, обслуживающих детей.

«Легенды о Христе» вернулись к русским читателям только в 1991 году и в течение года были напечатаны пять раз центральными и провинциальными издательствами.

Не менее, а может быть и более популярной, известной буквально

каждому в России, стала шведская писательница Астрид Линдгрен. Первые ее переводы стали доступны русским детям в конце 50-х годов, и с тех пор все поколения россиян зачитываются ее книгами. Больше всего любят маленькие россияне сказочные повести «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1957, всего через два года после выхода ее в Швеции), «Пеппи — Длинный Чулок» (1965), «Мио, мой Мио!» (1965), реалистические повести для детей — «Приключения Калле Блюмквиста» (1969), «Расмус-бродяга» (1963), «Мы на острове Сальткрока» (1971). Все произведения Линдгрен часто переиздаются, ее творчество находится в центре внимания русской литературной критики, статьи печатаются во всех современных энциклопедиях, в учебниках детской зарубежной литературы. Есть немало красочных изданий, подготовленных на основе повестей и сказок Линдгрен для театра и кино.

Российская национальная библиотека несколько лет подряд проводит опросы населения, выясняя отношение к библиотекам, книгам и чтению. Отвечая на вопрос о любимой книге детства, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Уфы, Мглина, Кашина и многих других малых и больших городов России называли самой любимой сказку А.Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Среди любимых книг называли так же «Пеппи — Длинный Чулок» и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С.Лагерлёф.

Итак, интерес к шведской литературе у читателей библиотек за 100 лет их существования присутствовал всегда. В конце XIX — начале XX века наибольшей популярностью пользовались книги писателей Стриндберга, Гейерстама, Хансона, Альмквиста, Седерберга, в творчестве которых прослеживается сложное сочетание ницшеанства и романтизма. Женская часть библиотечной аудитории предпочитала романы о независимых шведках, рвущих с лицемерной моралью ханжеского общества. В советской России в первую очередь переводили очерковую литературу о путешествиях и открытиях новых суровых земель — посетители библиотек с удовольствием читали эти книги. В последние тридцать-сорок лет сердца читателей-детей прочно завоевали шведские авторы сказок и психологической прозы (Лагерлёф, Линдгрен, Гриппе). Смерть замечательной писательницы Астрид Линдгрен, которую знала и любила вся Россия, почитатели ее таланта переживали с той же болью, что и ее соотечественники.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Шведская литература // Художественная литература скандинавских стран в русской печати: Библиогр. указ. Вып.1. Древнеисландская и шведская литература. М., 1986. С. 59—408.

[2]*Брандес Г.* Собр. соч. Т. 2. Ч. 2. Шведские писатели. СПб., [1906]. С. 3.

[3]*Бальмонт К.* Рец. на кн. Горн Ф.В. История скандинавской литературы с древнейших времен до наших дней // Русская мысль. 1894. Кн. 5. С. 243—244.

[4]*Рубакин Н.А.* Среди книг: Опыт справочного пособия для самообразования и для систематизации и комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов. 2-е изд., доп. и перераб. Т. 1. Ч. 1. М.: Наука, 1911. С. 94

[5]Произведения Топелиуса, чрезвычайно популярного в России, теперь принято рассматривать в контексте финской литературы (в соответствии с самоидентификацией автора).

[6]*Рубакин Н.А.* Среди книг... С. 95.

[7]Литература Швеции // Основные произведения иностранной художественной литературы. Европа. Америка. Австралия: Лит.-библиогр. справочник. СПб.; М., 1997. С. 419—430.

[8]Там же. С. 419.

[9]*Рубакин Н.А.* Среди книг... С. 22.

[10]Книжное ядро публичной библиотеки: Пособие для библиотекарей. СПб., 2000. С. 325—326.

[11]Архив РАН. 158. 4. 13. 190а.

[12]Например, в отчете библиотеки при Мензелинской городской управе (Уфимская губерния) за 1901 год говорится, что спрос на периодические издания возглавляет «Вестник Европы», затем идет «Русская мысль» и «Русское богатство» (Архив РАН. 158. 4. 24).

[13]Имеется в виду драматическая поэма Тура Хедберга «Гергард Грим».

[14]*Горький М.* Собр. соч. М., 1954. Т. 28. С. 77—79.

[15]Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXXI. СПБ., 1901. С. 800.

[16]Цит. по: Новый энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Пг. [1924]. Т. 24. С. 443.

[17]Там же. С. 443—444.

[18]Новый энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон [1913]. Т. 12. Стб. 844.

[19]Цит. по: *Илюкович А.М.* Согласно завещанию: Заметки о лауреатах Нобелевской премии по литературе. М.: Кн. палата, 1992. С. 171.

[20]*Фридьева Н.* Современные запросы городского читателя и активность библиотеки. (Наблюдения и опыт городской районной библиотеки) // Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 53.

[21]Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка КССР. Оренбург, 1924. С. 40. Впрочем, вполне возможно составители каталога руководствовались тем соображением, что книга издана в Германии, а не ее содержанием.

[22]Красный библиотекарь. 1923. № 2—3. С. 32.

[23]Литературная энциклопедия. М., 1932. Т. 6. С. 21—23.

[24]*Блюм А.В.* перед прочтением сжечь... // Книжное дело. 1994. № 2. С. 45.

[25]Красный библиотекарь. 1923. № 2—3. С. 48.

[26]Рец. на роман Т. Нермана «Союз пятерых» появилась в журналах: Читатель и писатель. 1924. № 12. С. 7; Печать и революция. 1928. № 2. С. 207; роман З. Сивертса «Селямбы» — Книга и профсоюзы. 1928. № 7. С. 38; Г.Эриксон «Бродячая Америка». М.; Л. 1929 // Октябрь. 1927. № 7. С. 173—174; Книга и революция 1929. № 21. С. 53—54 и т.д.

[27]Книгоноша. 1926. № 41—42. С. 43.

[28]*Мацевич А.А.* Основные тенденции в развитии современного шведского романа // Вопр. заруб. лит. Пермь. 1972. С. 76—87.

[29]Литература и искусство: Рекомендательный библиограф. указ. 1976. С. 2.

[30]Там же. 1987. С. 62.

[31]Сказки: Систематический указатель книг для детей и юношества / Под ред. О.И.Капица. Пг. 1915. Ч. 1. С. 94—95.

[32]Там же. С. 95.

[33]Речь идет о трех сборниках «Шведские сказки», напечатанных Библиотекой новой школы в Издательстве Сытина. Первый сборник издавался к 1913 г. уже четыре раза, в него вошли сказки «Золотые ключики», «Сон больной девочки», «Охотник Заяц», «Говорящие ели». Второй сборник был издан трижды и включал «Подарок крестной матери», «Мышка невеста». Третий также в 1912 г. вышел в третьем издании, и в него были включены «Мальчик Монс, который хотел быть умнее самого короля», «Лодка, которая ехала по воде и земле», «Мальчик, который не хотел есть каши».

[34]Сказки... С. 262.

[35]См. об этом: *Брауде Л.Ю.* Полет Нильса: Судьба книги Сельмы Лагерлёф. М., 1975. С. 94.

[36]*Крупская Н.К.* Об учебнике и детской книге для I ступени // Пед. соч.: В 6 т. Т. 3. М.,1979. С. 81. В первые послереволюционные годы мнение Н.К.Крупской о том, какие книги полезны, какие нет было решающим.

[37]Книгоноша. 1924. № 23.

[38]Указатель книг для рабочих библиотек. С краткими пояснениями содержания каждой книги // Сост. С.Анциферов, Н.Бузиньер, Ф. Доблер, Б.Мартов, В.Невский, В.Ревзина, Д.Розанов, А.Рендель, Н.Херсонская и др. М.: ВЦСПС. 1924. С. 375.

[39]Пионер. 1940. № 4—5. С. 7 (пер. Э.Багрицкого).

[40]Цит. по: *Илюкович А.М.* Согласно завещанию... С. 172.

# Август Стриндберг на петербургской сцене

Фаина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

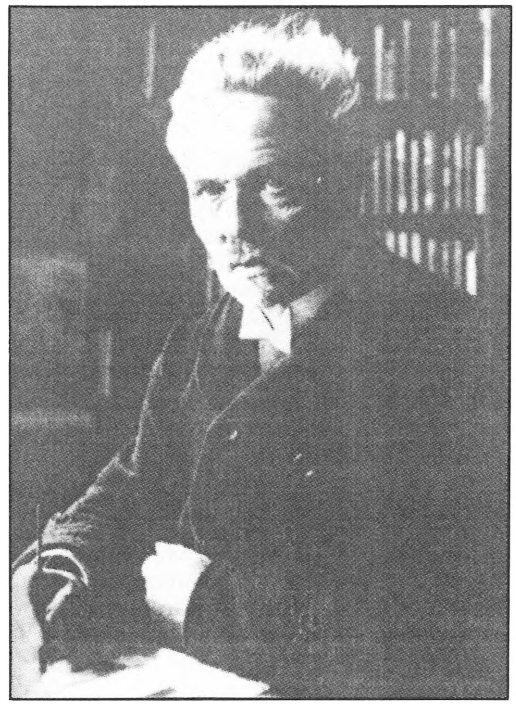
История шведской литературы знает немало крупных, выдающихся имен, но и среди них выделяется исполинская фигура Августа Стриндберга, поражая воображение своей мощью и масштабностью. По обширности интересов и познаний, по многообразию дарований и всеохватности трудов Стриндберга можно поставить в один ряд с титанами эпохи Возрождения. Художник, мыслитель, скульптор и музыкант, он в то же время много занимался и естественными науками. В течение ряда лет Стриндберг работал в Стокгольмской королевской библиотеке. В ее фондах он обнаружил карту Центральной Азии, составленную шведским сержантом Юханом Ренатом за годы российского плена. Стриндберг отослал эту карту в Петербург, за что был награжден медалью Санкт-Петербургского географического общества. Это был, по сути дела, первый контакт Стриндберга с Россией, страной, где он впоследствии стал поистине властителем дум.

Но главным делом Августа Стриндберга была, разумеется, литература. Стриндберг не имел равных в умении воздействовать на сердца и умы читателей. Его бунтарство и неутомимое правдоискательство, парадоксальность его взглядов и слава ниспровергателя устоев вызывали негодование его противников и восторги его почитателей. Стриндберг был одним из самых знаменитых авторов в Европе, причем за пределами Швеции он был, пожалуй, даже более ценим, чем у себя на родине. Особо следует отметить то влияние, которое личность Стриндберга, его творчество и в первую очередь драматургия оказали на русскую культуру конца XIX — начала XX века.

Первые переводы прозы Стриндберга появились в России в конце 1890-х годов и сразу поразили воображение не только читателей, но и литераторов. Выдающиеся русские писатели высоко оценили творчество «великого шведа», как называли Стриндберга в России. Они ощущали мощь его дарования, масштаб личности, предвидели влияние, которое он способен оказать на литературу других стран. Им импонировало бунтарство Стриндберга, его непримиримость и неуспокоенность, напряженный нравственный поиск.

Максим Горький называл Стриндберга «чудесным бунтарем». Он утверждал, что Стриндберг близок ему как никакой другой писатель Запада, что он особенно волнует его сердце и ум. А.П.Чехов считал его «замечательным писателем, наделенным необыкновенной силой».

Что касается Александра Блока, то его увлечение Стриндбергом поистине граничило с поклонением. Русский поэт благоговел перед этим «великим и гремящим на весь мир именем». В записных книжках и письмах к друзьям Блок признавался: «Нахожусь под знаком Стриндберга», а в короткой автобиографии среди событий, оказавших сильнейшее влияние на его судьбу, отметил «знакомство с творениями Августа Стриндберга». После смерти шведского писателя Блок посвятил его памяти два стихотворения и поместил в пятом номере журнала «Современник» большую статью-некролог, исполненную неподдельной скорби. В этой статье Блок назвал Стриндберга истинным демократом и большим художником. Несколько позднее, чем проза, в России стали известны и пьесы Стриндберга. Была переведена пьеса «Фрёкен Жюли», а позднее в журнале «Артист» появилась статья, посвященная драматургии Стриндберга. Вместе с тем деятели русского театра не торопились представлять его пьесы на театральных подмостках. Бытовало мнение, что они трудны для восприятия, чересчур натуралистичны и могут оказаться чуждыми и непонятными русскому зрителю. Останавливали также опасения, связанные с цензурой, которая была в то время особенно строга и нетерпима. Даже А.П.Чехов, большой поклонник пьесы «Фрёкен Жюли», писал, что при всех несомненных достоинствах поставить ее в России едва ли возможно. Высокую оценку этой пьесе дал также Максим Горький.



Август Стриндберг в последние годы жизни.

Опасения насчет цензуры и впрямь были небезосновательны. Когда впоследствии встал вопрос о постановке пьесы на сцене Нового театра, в ней по требованию цензуры был сделан ряд купюр и изменен социальный статус главного героя. Лакея Жана превратили в управляющего графским поместьем, дабы сократить сословную пропасть между простолюдином и родовитой госпожой, ставшей его любовницей.

Итак, нужна была известная смелость, чтобы преодолеть определенную косность в восприятии драматургии Стриндберга и представить его пьесы на суд русского зрителя. Подобную смелость проявила петербургская актриса Лидия Борисовна Яворская, стараниями которой пьесы Стриндберга впервые увидели свет рампы на русской сцене. Имя Лидии Яворской (настоящая фамилия — Гюббенет) было хорошо известно в театральной среде того времени. Она училась на драматических

курсах при Александринском театре, а затем с большим успехом дебютировала в Москве, в театре Корша. Когда этот театр гастролировал в Петербурге, Яворская не только пленила своей игрой столичных зрителей, но и покорила сердце блестящего петербуржца, журналиста и драматурга князя В.В.Барятинского. Выйдя за него замуж, Яворская стала работать в театре Суворина, но вскоре вынуждена была покинуть его, отказавшись играть в антисемитской пьесе «Сыны Израиля».

Брак с именитым и состоятельным человеком принес актрисе полную независимость. Вместе с Барятинским она основала в Петербурге театр, получивший название Новый театр. Театр Яворской на Мойке, так же как и театр Комиссаржевской в Пассаже, стал центром свободомыслия и передовых идей. Мятежный дух драматургии Стриндберга был близок актрисе, и она сразу включила в репертуар своего театра одну из его пьес. Театр Яворской открылся 5 сентября 1901 года, а уже 8 декабря на его сцене состоялась премьера пьесы «Преступление и преступление», в которой Яворская сыграла роль Генриетты. Это был первый в России спектакль по пьесе Стриндберга.

После премьеры Яворская послала Стриндбергу телеграмму, в которой сообщила шведскому драматургу о «громадном успехе его пьесы». По свидетельству шведских исследователей, эта телеграмма до сих пор хранится в архивах издательства Боньер. Можно, конечно, понять стремление актрисы порадовать любимого ею автора, однако утверждение Яворской было, по сути дела, далеко от истины. На самом деле публика приняла спектакль более чем прохладно, а что касается рецензентов, то почти все они подвергли и спектакль, и саму пьесу уничтожающей критике. Автора обвиняли в чересчур мрачном взгляде на жизнь. Один из критиков даже иронически посоветовал шведскому драматургу лечиться от мизантропии с помощью минеральных ванн. Игра актеров также не удовлетворила рецензентов, и они удостоили похвалы только Лидию Яворскую, которая, по их мнению, сыграла роль француженки Генриетты с истинно парижским шиком. Вердикт критиков был достаточно суров: «Избавьте нас от подобных пьес. Пессимизм скандинавских авторов чужд и непонятен русской натуре. Русский человек может плакаться и сетовать на судьбу, но надежда на лучшее будущее никогда его не покидает».

Когда спустя три года, 27 сентября 1904 года, в том же Новом театре была поставлена вторая пьеса Стриндберга — «Отец», ей был оказан совершенно иной прием. В этой постановке Яворская играла роль Лауры, а роль ротмистра исполнил знаменитый в те годы актер Горев. На сей раз спектакль действительно имел грандиозный успех. Публика с

Актриса Л.Яворская, впервые представившая пьесы А.Стриндберга на русской сцене. *Фото 1900-х гг.*

первых же минут с неослабевающим вниманием следила за развитием действия, а когда в финале занавес опустился, разразилась восторженными аплодисментами. Рецензии были в основном хвалебными. Пьеса не сходила со сцены 18 вечеров подряд, что было по тем временам большой редкостью. Любопытная подробность: стокгольмский театр, в котором состоялась премьера «Отца», также назывался Новым театром.

12 октября 1904 года пьеса «Отец» была показана на сцене Александринского театра. Заядлые театралы стремились побывать на обоих спектаклях, чтобы иметь возможность сравнить постановки. На сцене Александринки ротмистра играл Далматов, Лауру — Мичурина, а их дочь Берту — актриса Есипович. Эта постановка также имела успех и выдержала 9 представлений.

Вскоре пьеса Стриндберга начала свое триумфальное шествие по городам России и опять-таки благодаря спектаклям петербургских театров. Лидия Яворская показала пьесу во время гастролей в Москве, на сцене театра Корша. В последующие годы Новый театр выезжал с этим спектаклем и на зарубежные гастроли — в Польшу и Англию. Александринский театр познакомил со спектаклем «Отец» русскую провинцию, и здесь особенно прославился исполнявший роль ротмистра Мамонт Викторович Неелов, более известный под своей сценической фамилией Мамонт Дальский. Этот замечательный трагик, которого называли «русским Кином», буквально потрясал зрителей своей игрой.

Полная драматизма роль ротмистра как нельзя более подходила актерскому темпераменту Дальского, его яркой, взрывной эмоциональности. Вместе с тем современники отмечали, что Дальский стремился избегать надрыва и неврастенических интонаций. Он играл незаурядного человека, талантливого исследователя, потерпевшего поражение в борьбе с окружавшими его низкими и лживыми людьми. Современники выделяли в игре Дальского несколько кульминационных моментов. Когда ротмистр, выведенный из себя коварством и лживостью Лауры, в исступлении хватал со стола горящую лампу и швырял ее вслед уходящей жене, зал замирал от ужаса, а после того как лампа, не задев актрисы, пролетала мимо ее головы, по рядам проносился вздох облегчения. Исполнительницы роли Лауры всякий раз с трепетом ожидали этой сцены, однако действия актера при всем накале страстей были столь точны, что ни одна из его партнерш не пострадала.

Особое впечатление в этом спектакле производила знаменитая пауза Мамонта Дальского, которая наступала после того, как Лаура заявляла ротмистру, что Берта — не его дочь. Оставшись на сцене один, ротмистр пытался раскурить трубку, но руки у него дрожали, спички ломались, гасли, и он ронял их на пол. В этих обломках спичек, усеявших пол, зрители усматривали символ того, что сам ротмистр сломлен и повержен. Несколько долгих минут длилась эта сцена, и все это время зрители сидели не шелохнувшись, не в силах оторвать глаз от артиста.

Потрясала в исполнении Даль-

ского финальная сцена спектакля. Ротмистр с непередаваемым страданием в голосе говорил: «Я так устал!» и замертво падал на пол. Историки театра описывают эпизод, случившийся на одном из представлений в Нижнем Новгороде. После того как ротмистр упал мертвым, в зале послышались громкие рыдания. Несколько зрительниц забились в истерике, и их пришлось вывести. Роль ротмистра в пьесе Стриндберга «Отец» стала вершиной исполнительского мастерства Мамонта Дальского. Вскоре карьера великого артиста трагически оборвалась. Будучи на гастролях в Москве, он попал под трамвай и погиб.

3 января 1906 года в Новом театре Яворской состоялась премьера пьесы Стриндберга «Фрёкен Жюли». Роль юной графини стала одной из лучших в репертуаре Лидии Яворской. Спектакль приняли хорошо, хотя и не так восторженно, как «Отца». Рецензий на него было заметно меньше. Вместе с тем «Графиню Юлию» несколько сезонов показывали на гастролях в провинции. Интересно отметить, что эта пьеса была очень популярна на Западе, где в роли фрёкен Жюли блистала Аста Нильсен.

К драматургии Стриндберга обращалась и замечательная русская актриса В.Ф.Комиссаржевская. Она приняла к постановке в своем театре одноактную пьесу «Самум», но в ходе репетиций охладела к этому материалу. Она пыталась что-то переделать в пьесе, делала купюры и перестановки, но это не спасло спектакль: показанный на гастролях в Москве 21 апреля 1905 года, он успеха не имел.

Незамеченной прошла также премьера пьесы Стриндберга «Пляска смерти», состоявшаяся 20 сентября 1908 года в Василеостровском театре искусств, где спектакль прошел лишь дважды. Следует учесть, что созданный в 1887 году Василеостровский театр был предназначен для рабочего зрителя, и столь сложная пьеса заведомо была обречена на неуспех.

Зато подлинным событием в театральной жизни Санкт-Петербурга стал спектакль по пьесе Стриндберга «Преступление и преступление», поставленный в 1912 году и связанный с именем выдающегося режиссера В.Э.Мейерхольда. В петербургский период своего творчества Мейерхольд работал вначале в Александринском театре, а затем в театре Комиссаржевской. Режиссер-новатор, яркая творческая личность, он не желал подчиняться диктату даже такого мастера, как В.Ф.Комиссаржевская, и покинул ее театр. Мейерхольд мечтал об актерском коллективе, в содружестве с которым он смог бы воплотить в жизнь свои новаторские замыслы. И когда такой коллектив появился и ему предложили возглавить его, Мейерхольд с радостью дал согласие.

В 1912 году в Петербурге было

Мамонт Дальский, русский трагик, снискавший особый успех в ролях стриндбергского репертуара. *Фото 1900-х гг.*

создано на паях «Товарищество актеров, художников, писателей и музыкантов», которое основала группа единомышленников, подобно Мейерхольду тяготившихся театральной рутиной и так же, как и он, стремившихся к новым формам выразительности. В «Товарищество» вошли такие известные актеры, как В.Веригина, А. Мгебров, В.Чекан, художники Ю.Бонди и Н.Кульбин, поэт В.Пяст и др.

Для летнего сезона был выбран поселок Териоки (ныне Зеленогорск). У шведского арендатора Ионкера сняли курзал и приспособили его под театр. Актеры поселились коммуной на большой даче, вскоре к ним присоединился Всеволод Мейерхольд с семьей. После того как было успешно поставлено несколько спектаклей по пьесам русских и зарубежных авторов, Александр Блок и Владимир Пяст убедили Мейерхольда принять к постановке одну из пьес Стриндберга. Блок формально не состоял членом «Товарищества», но был в курсе всех его дел, поскольку его жена, Любовь Дмитриевна Блок (по сцене Басаргина), играла в этой труппе. Несколько подробнее следует сказать о другом инициаторе териокской постановки — Владимире Алексеевиче Пясте, поэте-символисте, переводчике, критике и страстном поклоннике шведского драматурга. Именно он познакомил Блока с творчеством знаменитого шведа, и увлечение Стриндбергом положило начало их многолетней дружбе.

В апреле 1912 года, узнав о смертельной болезни своего кумира, Пяст поспешил в Стокгольм, чтобы повидаться с ним. Однако Стриндберг уже не мог принимать посетителей, и встреча не состоялась. Пяст был принят старшей дочерью писателя Карин и ее мужем, профессором Гельсингфорсского университета Владимиром Смирновым. Пяст передал для Стриндберга букет цветов от русских поэтов, а они вручили ему — для передачи А. Блоку — портрет драматурга. Когда спустя некоторое время Блок писал статью «Памяти Августа Стриндберга», этот портрет стоял на его письменном столе.

По приезде из Стокгольма Владимир Пяст прочитал на собрании труппы пьесу Стриндберга «Преступление и преступление». И актеры и режиссер пришли в восторг и с энтузиазмом взялись за подготовку спектакля. В.Веригина и А.Мгебров вспоминают в своих мемуарах, что никогда еще Мейерхольд не работал с такой страстью и увлечением.

Следует напомнить, что в русском переводе пьеса называлась «Виновны — невиновны?», и в этом названии для создателей спектакля заключался особый смысл. В спектакле ставился вопрос: виновен ли один человек в гибели другого, если он не убивал его своей рукой, а лишь исступленно желал его смерти? Герои пьесы, Морис и его возлюбленная Генриетта, много раз мысленно лишали жизни маленькую дочь Мориса Марион, мешавшую их сближению. И вот девочка умерла. Виновны ли они в ее смерти? Спектакль не давал ответа на этот вопрос, и даже в самом названии ставился вопросительный знак, однако столь популярный ныне тезис о материальности мысли как бы подспудно в нем присутствовал.

Премьера была назначена на 14 июля 1912 года, а поскольку 14 мая Август Стриндберг скончался, решено было совместить премьеру с вечером его памяти. Весть о предстоящем событии быстро распространилась среди любителей театра, на премьеру съехались зрители не только из

Петербурга, но даже из Москвы. В зрительном зале было много шведов, финнов, приехала и Карин Стриндберг с мужем. Зрители увидели сцену в широкой черной траурной раме. На просцениуме, за большим, покрытым черной материей столом сидел Владимир Пяст, который подготовил сообщение о творчестве шведского драматурга. Слева у кулисы был помещен большой портрет Стриндберга работы Н.Кульбина.

Премьера пьесы «Виновны — невиновны?» прошла с большим успехом. В роли Генриетты выступила Валентина Веригина, в роли Мориса — Александр Мгебров. Особых похвал удостоилась Любовь Дмитриевна Блок, исполнявшая роль жены Мориса Жанны. Современники отмечали, что ее статная фигура, сильный выразительный голос, простое и вместе с тем милое лицо как нельзя более подходили к этой роли. Она играла не жертву супружеской неверности, но глубоко страдающую мать, потерявшую своего ребенка. Александр Блок, который не слишком высоко ценил актерский талант своей жены, на этот раз в письме к матери признал, что «Люба играла очень сильно». Актриса Виктория Чекан писала об игре Любови Блок в этом спектакле: «До сих пор помню сцену у могилы — поникшую фигурку в черном. Без единого жеста Л.Д.Блок передавала глубокую материнскую скорбь, доходящую до отчаяния». А об исполнении роли Мориса впоследствии писал В.Пяст: «Мгебров был во время спектакля в таком ударе, что поистине превзошел себя. От многих произносимых им слов перехватывало дыхание...» Успех имела также Валентина Веригина в роли Генриетты.

В оформлении спектакля В.Мейерхольд и художник Ю.Бонди использовали цветовую символику. Желтые декорации символизировали коварство и предательство, алое платье Генриетты — роковую страсть. Несколькими умело найденными штрихами создавалась атмосфера богемного Парижа.

После премьеры Блока представили дочери Стриндберга. В письме к матери он описал Карин как высокую, худую пожилую даму, очень напоминающую своего отца. Блок сокрушался, что не имел возможности поговорить с ней лично, так как не знал ни шведского, ни немецкого. Карин с большой похвалой отозвалась об игре Любови Блок и сказала, что она сыграла роль Жанны лучше, чем актриса в Гельсингфорсе. Спектакль очень взволновал родственников Стриндберга, которые высказали надежду, что эту замечательную постановку можно будет показать и на петербургской сцене. А.Мгебров и Виктория Чекан надеялись впоследствии повторить спектакль в Политехническом институте, но из этого ничего не вышло.

А.Стриндберг. «Отец». Сцена из спектакля. Лаура — Е.Попова, Адольф — С.Дрейден. АБДТ. *1998 г.*

В последующие десятилетия пьесы Стриндберга ставили и в Москве, и в других городах России, однако непреложным и знаменательным остается тот факт, что первые их постановки были связаны с Санкт-Петербургом.

Следует отметить, что в послеоктябрьский период отношение к Августу Стриндбергу в России претерпело сложную эволюцию, причем немалую роль в этом сыграла идеологическая политика новой власти. Стриндберг разделил участь многих других «неудобных» авторов, как отечественных, так и зарубежных, которые не могли быть причислены к разряду «прогрессивных» в силу своей неординарности. Для идеологов соцреализма были неприемлемы философия писателя, его интерес к оккультным наукам и астрологии, символика, аллегоричность и натурализм некоторых его пьес. Ярлык писателя «чуждого и непонятного народу» решил дело. Творчеству Стриндберга не нашлось места в «стране победившего социализма», он был изъят из обращения, и голос его на многие годы умолк для русскоязычного читателя. Проще всего было сделать вид, что такого автора не существует вовсе. Произведения его перестали публиковаться, а его пьесы исчезли из репертуара театров. Более того, в статьях о знаменитых русских актерах начала века, таких как Мамонт Дальский, Л.Яворская и других, намеренно обходился молчанием тот факт, что слава их была связана в первую очередь с исполнением ролей в пьесах Стриндберга.

Так продолжалось ряд лет. Перелом наметился в шестидесятые годы, когда советские литературоведы получили возможность обратиться к творчеству Стриндберга. В этот период ленинградский ученый Дмитрий Шарыпкин опубликовал серию статей об отношении к Стриндбергу выдающихся деятелей русской культуры — Чехова, Горького и Блока. В последующие годы выходят из печати новые переводы прозаических произведений Стриндберга, а в русской театральной среде вновь возрождается интерес к его драматургии.

В марте 1999 года в Петербурге прошли дни Стриндберга в связи со 150-летием со дня его рождения. В рамках этого мероприятия состоялась научная конференция на тему «Стриндберг и мировая культура», а на Малой сцене Александринского театра был показан спектакль «Кто сильнее?», поставленный шведским режиссером А.Нордстрёмом и состоящий из трех одноактных пьес, так или иначе связанных с личностью Стриндберга.

Особый интерес вызвала первая пьеса «Ночь трибад», принадлежащая перу известного шведского писателя Пера Улова Энквиста и повествующая о сложных, полных драматизма отношениях Стриндберга и Сири фон Эссен, которая была его первой женой, матерью его детей, и его самой первой любовью. Вместе с тем именно она оказалась первой из женщин, с которой у Стриндберга возник острый, бескомпромиссный конфликт, доставивший ему немало душевных терзаний.

В спектакле «Ночь трибад» роль Сири фон Эссен с успехом исполнила известная петербургская актриса Светлана Смирнова. Еще до премьеры в Петербурге спектакль был показан в Стокгольме и нашел теплый прием у шведской публики.

За последние два года в Петербурге были поставлены спектакли по пьесам Стриндберга «Отец» и «Фрёкен Жюли». Как явствует из сказанного выше, эти две наиболее известные пьесы Стриндберга издавна пользовались особой популярностью и видели свет рампы чаще многих других его драматических произведений. Вместе с тем именно эти

пьесы Стриндберга часто давали повод говорить об антифеминистских настроениях автора. Сам же писатель, однако, неоднократно признавался в том, что его так называемое женоненавистничество является оборотной стороной его внутренней капитуляции перед неотразимым для него женским влиянием. Он, в частности, писал: «Все мое женоненавистничество чисто теоретическое, поскольку я не мыслю жизни без женского общества... Я и дня не мог бы прожить без согревающего душу присутствия женщины». И многочисленные браки писателя являются тому доказательством. Таким образом, экстремизм Стриндберга был не чем иным, как осознанием своего бессилия перед лицом потенциального противника — женщины.

Без учета этого обстоятельства едва ли возможно адекватное прочтение стриндберговских драм. Судя по всему, авторы петербургских постановок отдавали себе в этом отчет, поскольку в своих спектаклях ушли от тезиса «борьбы полов» и сосредоточили внимание на противоборстве двух цельных волевых натур, стремящихся утвердить себя, пусть даже за счет разрушения другой личности. Сложные, мучительные отношения связывают мужчину и женщину в драмах Стриндберга. Это чаще всего любовь-вражда, любовь-ненависть, притяжение-отчуждение, а в пьесе «Фрёкен Жюли» — еще и страсть, сменяющаяся отвращением.

Вся эта гамма чувств отражена в поединке между ротмистром Адольфом в исполнении С. Дрейдена и его женой Лаурой в исполнении Е.Поповой в спектакле, поставленном на Малой сцене АБДТ им. Г.А.Товстоногова режиссером Г.Дитятковским. Появление этого спектакля, отмеченного рядом премий, стало заметным событием в театральной жизни Петербурга. Современное прочтение пьесы создателями спектакля проявилось, в частности, и в том, что здесь образ ротмистра Адольфа лишен налета романтического трагизма, присущего героям Мамонта Дальского и Горева, в постановках начала прошлого века. Ротмистр в исполнении С. Дрейдена приближен к прозе жизни и наделен неврастеническими чертами человека нашего времени.

Не меньшим успехом в Петербурге пользуется и спектакль «Фрёкен Жюли», поставленный на Камерной сцене Малого драматического театра, Театра Европы, прославленного театра Льва Додина. Премьера состоялась 20 июля 2000 года. Поставил его молодой режиссер Игорь Николаев — недавний выпускник мастерской Л.Додина. Вместе с тем, по утверждениям критиков-театроведов, эта его первая работа отмечена отнюдь не ученической зрелостью. В спектакле заняты признанные мастера додинской труппы Анжелика Неволина (Фрёкен Жюли) и Татьяна Рассказова, исполнившая роль Кристины с подлинным блеском. Роль лакея Жана — первая большая роль молодого актера Игоря Черневича.

А.Стриндберг. «Отец». Сцена из спектакля. Иоаннес — В.Дектярь, Адольф — С.Дрейден. АБДТ. *1998 г.*

Интерес театральной общественности вызвал и другой спектакль по пьесе «Фрёкен Жюли» поставленный на Малой сцене театра «Балтийский дом» в сентябре 2000 года. Спектакль был создан в рамках престижного Международного театрального фестиваля, регулярно проходящего в этом театре. Создатель спектакля, режиссер А. Галибин, еще более решительно отошел от мотива о женоненавистничестве Стриндберга. В его постановке Фрёкен Жюли в исполнении Ирины Савицковой — хрупкое, ранимое существо, не лишенное обаяния. В ее поединке с лакеем Жаном и соперницей Кристиной (артистка Регина Лялейкайте) она скорее жертва, обреченная на заклание своими палачами. Актер Дмитрий Воробьев в роли Жана создает узнаваемый и в наше время тип личности. Основной мотив его поступков — грубый прагматизм, граничащий с наглостью и цинизмом. Вырождающийся рафинированный аристократизм Жюли и плебейская беспардонность Жана были в равной степени ненавистны Стриндбергу.

Спектакль был также удостоен ряда премий, а Ирина Савицкова получила приз за лучшее исполнение женской роли. Мастером сценографии стриндберговских пьес показал себя художник Э.Капелюш. Он получил сразу две премии — за оформление спектакля «Отец» в АБДТ им. Г.А.Товстоногова и спектакля «Фрёкен Жюли» на сцене театра «Балтийский дом».

Сегодня, спустя почти сто лет после смерти Стриндберга, его драматургия снова становится востребованной и все чаще привлекает к себе внимание режиссеров-постановщиков. Видимо, обозначилось некое созвучие проблематики стриндберговских пьес нынешней реальности. И вновь оживают на театральных подмостках мятущиеся, не знающие покоя герои Стриндберга, вновь кипят страсти, заставляя зрителей в зале задумываться о том, сколь невероятно трудно складываются взаимоотношения даже самых близких людей, разделенных стеной отчуждения.

Осенью минувшего года мы с моим другом, шведским исследователем творчества Стриндберга, посетили Музей-квартиру писателя в Стокгольме на Дроттнинггатан. Дом, где жил Стриндберг, называется «Синяя башня», но само его жилище отнюдь не напоминает пресловутую башню из слоновой кости. Небольшие, полутемные комнаты, слегка обветшалая мебель, тускло горящие старинные лампы, кровать за ширмами, на которой великий швед провел свои последние земные часы. Все это заставляло думать о бренности человеческого существования и о бессмертии духовных творений художника.

Впрочем, лучше всего сказал об этом сам Стриндберг. В его пьесе «Большой тракт», которую он называл своей последней симфонией, есть такие слова: «Сам я ничто. Существуют только мои творения».

# Семейная драма Стриндберга

## *Взгляд со сцены*

Татьяна ШАХ-АЗИЗОВА

Странно складывается судьба Стриндберга в России. Принятый, признанный в начале века, он затем надолго выпал из ее культурного обихода, чтобы вернуться к концу столетия — не сразу, избирательно, постепенно. Вехи этого расположены недалеко друг от друга, в середине и конце 1990-х годов; путь крутой и короткий.

Началом возвращения стал год 94-й, когда прошли дни Стриндберга в Москве, с научной конференцией,[1] театральной и кинопрограммой. О Стриндберге вспомнили; интерес к нему был разбужен, но развивался медленно, осторожно. В печати порой проскальзывал скепсис — не устарел ли Стриндберг, перешагнул ли из своего времени в наше; театр ощупью искал с ним, как говорят теперь, точки схода.

Эти разрозненные усилия, казалось, не приведут к полноценным, широким контактам, тем более что многое делалось по инициативе шведов, которую не сразу подхватила Россия. Шведского автора-чужака надо было присвоить, как присвоил весь мир Чехова, а мы — Шекспира. Но присвоение уже шло, подспудно, упорно. Две силы участвовали в нем — наука и театр. Наука начинала процесс; театр шел следом и параллельно, эмансипируясь от нее и все больше беря на себя. Ведь в нашу эпоху с ее господством зрелищности и дефицитом живых контактов именно театр — та сила, которая особенно сближает людей и создает единое пространство культуры.

В последний год XX века, когда в Москве и Санкт-Петербурге отмечали 150-летие Стриндберга,[2] стало ясно, что мы можем общаться с ним без посредников; что он нужен сам по себе, а не только как часть культурного наследия; присвоение совершилось.

Мы должны были внутренне измениться, чтобы проникнуть в «природу чувств» Стриндберга, которая долго пугала и отдаляла нас от него. В театре его, разнородном и сложном, надо было освоиться настолько, чтобы свободно выбирать то, что нам близко: натурализм ранних пьес — или сюрреализм поздних; массивные исторические полотна — или интимный театр. Пробовали все, от «Короля Густава Васы» до «Игры снов», но предпочтение отдали иному — столь органичной для нас семейной психологической драме. Пьесам, где действует семейная пара, связанная сложным и нераздельным сочетанием любви и вражды. Где правых нет, но оба страдают; оба отталкивают и притягивают нас в равной мере. Где есть «воздух», свобода для нашего собственного решения — и можно понять что-то важное об авторе и о нас самих.

На первый план здесь вышли две пьесы, разделенные временем, но близкие сюжетно, структурно, типологией героев и их отношений, за которыми просвечивает личная история Стриндберга, — «Отец» и «Пляска смерти». Их ставили в России и на постсоветском пространстве, от Латвии до Грузии. Всего не охватишь; речь пойдет о трех спектаклях: «Отец» в Санкт-Петербурге и Москве; «Пляска смерти» в Москве.[3]

Во всех трех случаях на сцене — отчужденное, нежилое пространство. Скупыми штрихами обозначены место действия или занятия героя — морские мотивы, фигурная вязь канатов в «Пляске смерти», книги ротмистра в петербургском «Отце». Нигде не видно стремления конкретно воссоздать ту среду, о которой некогда пеклись натуралисты, будь то скандинавский интерьер, по-своему экзотичный, или обиход данного дома. Уют если и был, то давно разрушен; быт дан сухими штрихами. Почти пустое пространство в московском «Отце», с подвесными сиденьями на цепях, напоминает камеру пыток.

Все холодно и безжизненно здесь; в сумрачной атмосфере — ощущение неясной угрозы. Протяженные ритмы, длинные паузы; какая-то застывшая жизнь, которая то и дело сотрясается взрывами. Странный, тревожный мир спроецирован откуда-то изнутри, из тайников пьесы, где идет постоянное брожение, борьба невидимых сил. Это и есть «природа чувств» Стриндберга с непрестанным ее беспокойством, концентрацией душевной энергии, с затаенными, стихийно прорывающимися страстями. Место действия превращается в пространство трагедии.

Страсти при этом не есть простой выброс темперамента, нервическая разрядка. Идет ожесточенное сражение, где у каждой стороны своя тактика, своя цель, и никто не собирается отступать. Но это не «война полов», как принято думать о семейных драмах Стриндберга; во всяком случае, не только это. Театром предложен другой вариант, более широкий и современный — война близких людей, страшная сама по себе. Нынешний мир разорванных связей и непрестанных конфликтов, как видно, нуждается в Стриндберге, чтобы выразить себя.

В «Отце» идет схватка не на жизнь, но на смерть, борьба жены и мужа за дочь, за право решать ее судьбу так, как каждый считает верным. Борьба, где каждый прав и неправ. Интересы несовместимы, соглашение невозможно, и каждый воюет своими средствами: муж — жестокостью, деспотизмом, жена — коварством. Она плетет интриги: он попадает во власть идеи, становящейся манией. Коварство сильнее; победа на ее стороне; ротмистр (отец), сведенный с ума, гибнет.

В «Пляске смерти» первопричина конфликта отдалена во времени, покрыта множеством наслоений — лжи, садистического тиранства, глубоких и мелких обид. Эта война супругов длиной в 25 лет стала дурной бесконечностью, где каждый шаг не просто вызывает ответный, но борьба ведется на опережение, на поражение. Борьба за власть, за победу; просто борьба как таковая, ставшая болезненной потребностью. Третий человек, попавший под этот перекрестный огонь, чувствует себя, как в аду.

Эти затяжные конфликты можно было бы рассматривать издали, отстраненно, с холодной аналитичностью. Но русскому театру, как правило, такая позиция не близка; он по

природе своей пристрастен. Привычно (и тщетно порой) он ищет противовесы: в злом, согласно формуле Станиславского, — доброе; в сплошной мгле — просветы; в безысходности — возможность иного. Случается, что находит — или вступает в спор с автором, или привносит свое. Иногда трудно определить, где авторское, где — свое, и нет ли здесь театрального произвола. Но, так или иначе, театр сумел присвоить и Брехта с его рациональной эстетикой, и абсурдистов с их черным юмором и философией тупика. Присвоить, найдя здесь непочатый край человечности — и, может быть, одарив ею от собственных щедрот.

Примерно так произошло и со Стриндбергом. Отсюда, может быть, та избирательность в отношении к нему, которая далеко не все семейные драмы позволяет присвоить и даже ставить. С другой стороны, пьеса из самых известных, идущая чаще других, может остаться внутренне чуждой — и публике и театру.

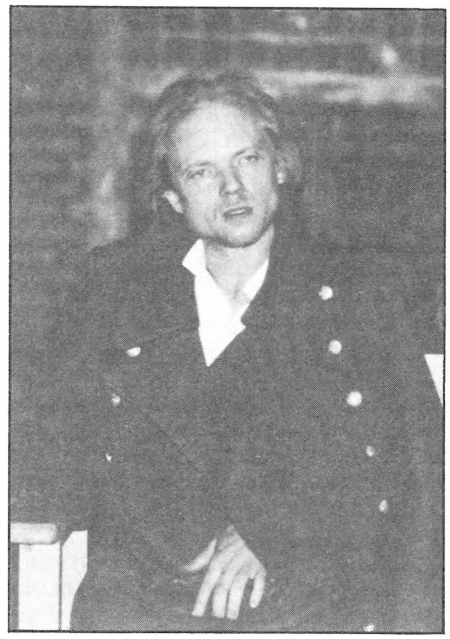
Речь о *«Фрёкен Жюли»*, которую ставят нередко, играют самоотверженно, не щадя ни героев своих, ни себя, но не ломая преграды между пьесой и нами. Что-то не дается нам в этой схватке, где натуралистический девиз «среды и природы» превалирует надо всем остальным; где автор отстранен от обоих и жестокая объективность его такова, что человечности никак (во всяком случае, до сих пор) не пробиться. Где (что немаловажно) не видно собственного авторского лица, нет контакта с самой личностью Стриндберга.

В случае «Отца» и «Пляски смерти» такой контакт неожиданно возникал. Новое, более интимное и подробное знакомство со Стриндбергом позволяло улавливать в этих пьесах его личные интонации, следы его жизненных ситуаций, пережитого им. Главное же: театр находил здесь возможность для нужной себе аранжировки конфликта — *войны близких людей*. Именно близость, иссякшая, но бывшая прежде, или истаивающая на глазах, или возможная, делает эти семейные саги трагичными.

Отсветы близости в спектаклях надо ловить; они вспыхивают и гаснут, могут ускользнуть от небрежного взгляда.

В «Отце» это проще. Здесь жива память о былой близости ротмистра и жены его, Лауры, как бы странны и драматичны ни были их отношения изначально. В спектакле АБДТ это становится лейтмотивом, составив контрапункт, драматичный и сложный, с мотивом жестокой и неизбежной борьбы. В московском спектакле — иное: борьба нелюбви с любовью, свободы и несвободы — с перевесом и победой первой.

Так или иначе, здесь — *человеческое* содержание, много более широкое, чем извечный конфликт полов, хотя и вбирающее его в себя. Герои же — люди как люди, не монстры,



Сцена из спектакля «Отец». Ротмистр — Андрей Смоляков. Театр-студия под руководством О.Табакова.

не демоны; у каждого — своя правда и своя драма.

Ротмистр в АБДТ (Сергей Дрейден) — человек книжный, домашний, семейный, деловито сдержанный до поры. Вспышки гнева, как бы беспричинные поначалу, вскоре становятся понятны: он живет в постоянном предчувствии опасности, затем — во власти ловко пущенной интриги. Ощутима вибрация его душевной жизни, болезненной, напряженной, его погруженность в себя. Парадокс ситуации в том, что он, человек жесткий и сильный, терпит здесь поражение; он обложен; его планомерно сводят с ума.

Противник же его силен своей слабостью. Лаура (Елена Попова) женственна, тиха, молчалива, с печатью страдания и терпения на нежном лице. В ее мастерство интриги веришь с трудом: так опутать мужа, так виртуозно внушить ему — и поддерживать — мысль о сомнительности его отцовства, тем самым неуклонно сводя с ума, могла, казалось бы, хищница иного порядка. Потом понимаешь — нет, именно такая: как будто простодушная; как будто жертва, вводящая в заблуждение, обезоруживающая других.

По сути своей она, однако, не боец, не борец. Интрига, агрессия, видимо, чужды ей; она идет на них, как мать, теряющая дитя, оттого и готовая на все. Война в доме и ей тяжела, что к концу спектакля прорвется в ее отчаянии, гневе — и ее слезах. Все это выходит наружу в последних сценах героев. Тень его неизжитой любви к ней — и ее, почти материнская к нему жалость; понимание друг друга, какая-то последняя человечность. У нее — не торжество победы, но горе; у него — усталость, нежелание дольше жить. Пронзительный, тихий финал, безысходно трагичный; действие замирает и растворяется в неподвижности, в тишине.

В московском «Отце» все более обострено, открыто, жестоко. Ротмистр (Андрей Смоляков) с его приступами то мизантропии, то какой-то детской беззащитности похож на Стриндберга. Похож внешне, со своим напряженным взглядом исподлобья и взъерошенными белокурыми волосами; похож душевно, ибо эти перепады настроений, эта предельность чувств достались ему от автора. Состояние самосжигания, в котором пребывает ротмистр; волна безумия, постепенно накрывающая его, переданы с редкой самоотдачей.

Лаура же (Евгения Симонова), здесь — воительница, гений интриги, не знает жалости и сомнений, упиваясь самой стихией борьбы. Она тверда и спокойна, как люди, уверенные в себе, в противоположность своему мужу с его открытой, а потому безоружной душой, — да и всем остальным, пасующим перед нею. Грозное оружие ее — в женских чарах, что она сознает и использует виртуозно (в том числе, против обессилевшего в борьбе мужа), и, кроме того, в душевном холоде, в нелюбви — даже материнство выглядит у нее поводом для этой борьбы за власть. Слабость же ее противника, ротмистра, — в горячности и любви, к дочери ли, к самой ли Лауре (что ощутимо «болит», не изжито). Она действует, он страдает — в этом движение спектакля, его сюжет и предопределенность развязки.

Два этих спектакля, с разным соотношением сил и разным накалом борьбы, рождают общую невеселую мысль: в подобном сражении любящий несвободен и слаб, а потому обречен. «Пляска смерти», в московском ее прочтении, эту мысль парадоксально и от противного подкрепляет.

В этой непрестанной дуэли близость обнаружить труднее — и не всегда удается, а порой ее и не ищут. В спектакле Театра наций искали, надеясь найти разгадку столь долгого и прочного союза — при торжествующей этой вражде. Нашли — в любви, затаенной, глубоко спрятанной, неосознанной, может быть; перепутанной с ненавистью, жаждой мести, реванша. И дали ощутить — в недомолвках, подтексте, в какой-то странной тональности — что-то неясное, иное, чем действия и слова героев; подспудно готовящее финал, где брезжит надежда на перемену.

Эта странность, это внутреннее брожение свойственны здесь капитану Эдгару (Михаил Янушкевич), в котором нет обычной для этой роли тяжести, грубости, давящей силы. Это отнюдь не солдафон — существо легкое, подвижное, артистичное, с почти танцевальной пластикой. Он непонятен, непредсказуем, неуловим — и тем опасен, ибо невозможно распознать его стимулы, отделить истину от притворства, угадать следующий шаг.

Вместе с тем в непроницаемой душе его чувствуется драматизм, ущемленность аутсайдера, маргинала, выброшенного из жизни (пусть по своей вине и воле); сомнения тайно любящего во взаимности. Отсюда — мстительность, предваряющая события; продуцирование конфликтов везде и со всеми; неспровоцированная жестокость. Рядом с этим человеком все должны чувствовать себя как во взрывоопасной зоне, на заминированном поле, где не избежать катастрофы.

Партнерша, жена Алис (Елена Козелькова) подстать ему. Актриса по профессии в прошлом, а в глубине души, по натуре — и до сих пор, ибо актерство для нее органично, она работает в ином режиме, чем Эдгар, — темпераментно, с вызовом, бурно, открыто. Против его театра психологической изощренности, затаенности и подтекстов она ставит свой театр страстей, героико-романтический по сути, хотя эта героика и романтизм перегорают в семейных скандалах. Ей бы с такими данными Медею играть, а не строить козни Эдгару...

Семейный театр войны, который эта пара создает для себя, втягивая в него других, имеет свою драматургию вспышек и спадов активности; смену ролей — то одна сторона наступает, то другая; свой лейтмотив — череду тех странных и опасных обмороков капитана, его выпадений из реальности, что и дают название истории — «Пляска смерти». Главное в данном случае — *театр*, азарт опасной игры, риска, «упоения в бою». И в подоплеке — с привязанностью более сильной, фатальной, чем игроки хотели бы себе и друг другу признаться. Они равны, сильны, квиты количеством и силой ударов — и могут начать все заново, не оглядываясь, не сводя счетов: «Перечеркнуть — и идти дальше».

Приближение, присвоение Стриндберга может совершаться по-разному. Еще один путь, весьма современный — узнать самого автора, заглянуть в тайники его личности, его частной жизни, увидеть разоруженным. Так, как это предложено в пьесе Пера Улова Энквиста «Ночь трибад», сыгранной в Петербурге.[4] Собственная ситуация Стриндберга — история распада его семьи, его поражения — эхом отзывается в том, что происходит в его семейных драмах. Ни одна из них этой истории не равна, как не равны ротмистр и тем более капитан своему автору, а их своенравные жены — жене Стриндберга Сири, но сходство все-таки есть: в настроениях, в складе конфликта и личности героини. Пьеса Энквиста позволяет это понять, причем не в напряженно трагическом, как в жизни самого Стриндберга, а в трезво аналитическом и ироническом даже плане.

Сцена из спектакля «Пляска смерти». Эдгар — Михаил Янушкевич. Алис — Елена Козелькова. Государственный театр наций.

Спектакль эту интонацию продолжает. Стриндберг (Гелий Сысоев) здесь — фигура почти комическая, из рода тех, что у Чехова называются недотепами. Артист так похож на своего героя и так заразительно искренен, что невольно думаешь: вдруг он и был таким, этот швед, могучий, как викинг, в творчестве — и инфантильный, капризный в жизни? «Малыш Август», как зовет его Сири, исполненная материнского сострадания к недотепе и чисто женской досады.

Сири же (Светлана Смирнова) представлена вне иронии, серьезно и драматично, в том контрасте хрупкой женственности и силы, что был так пленителен и опасен у героинь в петербургском и московском «Отце». В данном случае это — ее история, ее драма; театр (и автор, видимо) на ее стороне. Ей изначально веришь во всем. Веришь в бесповоротность выбора, в жестокую справедливость решений.

Под конец атмосфера понимания и сочувствия заполняет спектакль. Некий перекос исправляется; Стриндбергу дозволено возмужать и из комедии переместиться в жанр драмы.

Так, беря у Стриндберга ситуацию борьбы, разлада, распада, театр проживает ее изнутри и становится как бы над ней. Он ищет у Стриндберга то, о чем в свое время сказал Томас Манн: «...то гротескную, то отталкивающую, а затем вновь и вновь овеянную высокой, трогательной красотой человечность».[5]

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]См.: *Strindberg*. The Moscow Papers / Ed. by Michael Robinson. Stockholm, 1998.

[2]См.: Август Стриндберг и мировая культура: Материалы межвузовской научной конференции. Статьи. Сообщения. СПб., 1999.

[3]«Отец». Постановка Григория Дитятковского. Художник Эмиль Капелюш. АБДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург.

«Отец». Постановка Артака Григоряна (Австрия). Сценография Александра Боровского. Театр-студия под руководством Олега Табакова, Москва.

«Пляска смерти». Постановка Виктора Гульченко. Сценография Игоря Капитанова. Государственный театр наций, Москва. (*Поставлена первая часть дилогии, более известная, внутренне завершенная. Первоначально, с другим составом исполнителей, этот спектакль шел в Московском театре на Малой Бронной*).

[4]Первая часть спектакля-триптиха «Кто сильнее?» («Ночь трибад» Пера Улова Энквиста; «Сильнейшая» Стриндберга и «Игра в дартс» Энтони Сверлинга). Постановка Александра Нордштрема (Швеция). Сценография Натальи Зубович. Академический театр драмы им. А.С.Пушкина, Санкт-Петербург.

[5]*Томас Манн*. Собр. соч.: В 10 т. Т.10. М., 1961. С. 438.

# На берегу лесного озера

## *(О поэзии Эдит Сёдергран)*

Наталия ТОЛСТАЯ

За свою короткую жизнь Эдит Сёдергран (1892—1923) успела стать широко известным поэтом, оказавшим большое влияние на шведскую поэзию. Эдит Сёдергран и Хагар Ульссон — критик, прозаик и драматург — первые шведскоязычные финские экспрессионисты. В силу самой сущности этого литературного течения, в котором доминировали первичные ощущения и инстинкты, эмоции и недоверие к интеллекту, между экспрессионистами не было единства мировосприятия. Сами экспрессионисты свое движение воспринимали как «бунт молодых». Ведь большинство финских поэтов-бунтарей было еще очень молодо. Экспрессионисты легко поддавались утопическим и мистическим учениям. Эдит Сёдергран увлекалась и Фридрихом Ницше, и антропософией Рудольфа Штайнера. Сегодня Эдит Сёдергран — одна из самых читаемых поэтов Финляндии и Швеции.

Родилась и выросла Сёдергран в Петербурге в семье шведскоязычных финнов и ходила в немецкую школу на Невском проспекте. В школьном возрасте начала писать стихи. В знаменитой рукописной «клеенчатой тетради» 230 стихотворений (почти все по-немецки) — больше, чем во всех ее стихотворных сборниках: «Стихотворения» («Dikter», 1916), «Сентябрьская лира» («Septemberlyran», 1918), «Алтарь из роз» («Rosenaltaret», 1919), «Тень будущего» («Framtidens skugga», 1920) и «Страна, которой нет» («Landet som icke är», 1925, посмертно).

В школьной тетради (1907—1909) есть два десятка стихотворений, в которых слышны отзвуки общественных настроений того времени. Эти стихотворения интересны и потому, что в дальнейшем все общественно-политические реальности или исчезают из поэзии Сёдергран, или передаются в образах космических видений и в абстрактных символах. В школьных стихах Эдит мы встречаем контрастную символику настоящего и будущего. В дальнейшем эта тема — из хаотического настоящего должно родиться гармоническое будущее — будет экспрессионистически разрабатываться в лирике Сёдергран. В этой тетради есть единственное стихотворение, написанное на русском языке. Оно датировано 11 июля 1907 года.

Тихо, тихо, тихо
Тайные силы
Скрылись во мгле.

Темная, сочная,
Липко-густая
Кровь полилась.

Тени скользят,
Тени исчезли.
Больше уж нет ничего.

Пусто и мрачно,
В мраке холодном
Нет ничего.

В темной земле,
Напитанной кровью,
Кровью густой,

Жизнь зарождается,
Новая жизнь,
Для разрушенья.

Силы грядущего
В черной земле.

В 16 лет у Эдит открылся туберкулез, болезнь, от которой незадолго до этого умер ее отец. Школу пришлось оставить, и начались годы лечения в санаториях Финляндии и Швейцарии. Первая мировая война и русская революция принесли в семью лишения и нищету. Эдит с матерью окончательно поселились в своем доме в поселке Райвола (ныне Рощино), в уединении. Здесь рождались стихи очень автобиографичные, стихи молодой женщины, мечтающей о счастье, но угасающей от неизлечимой болезни.

В своей первой книге Сёдергран писала о своем любимом доме, о природе. «Лесное озеро» — одно из лучших лирических стихотворений сборника, а тема одиночества, на которое Эдит обрекла судьба, будет сопровождать поэта до самого конца.

Бродила я совсем одна
У озера, между долин,
И облако плыло, совсем одно,
Плыл остров, совсем один.
А сладость лета, как жемчуг, была,
И падала с веток она,
И тихо в раскрытое сердце мое
Упала капля одна.

В этом сборнике есть и любовные стихи, тот их мотив, который проходит через всю ее лирику, — контраст между мужским и женским ощущением любви.

Ты искал цветок
а нашел плод.
Ты искал родник
а нашел море.
Ты искал женщину
а нашел душу —
ты разочарован.

Уже в первом, дебютном сборнике звучит тема ожидания смерти. В стихотворении «Осенние дни» венок у изголовья, который мог стать свадебным венцом или лавровым венком поэта, становится венком смерти — этот венок еще красен, но скоро снег покроет землю белым саваном.

Сёдергран пишет без оглядки на традиции поэтической формы, и это вызывает непонимание и резкую критику со стороны литературных кругов Финляндии. Немногие тогда оценили новаторство Эдит Сёдергран. Мистические пророчества-прозрения, уверенность в том, что ее поэзия — голос будущего, воспринимались многими критиками и публикой как мания величия. В России максималистские манифесты футуристов были уже в моде, но в провинциальной Финляндии это было еще внове.

Я — не женщина. Я — среднего рода.
Я — ребенок, паж и замысел смелый,
я — смеющийся луч ярко-красного
солнца...
Я — сеть для ненасытных рыб,
я — тост за женщин,
я — шаг случайной гибели
навстречу,
я — мой прыжок к свободе и себе...
Я — шёпот крови для мужских ушей,

я — лихорадка духа, я — отказ
желаньям плоти,
я — вывеска у входа в новый рай.
Я — смелый ищущий огонь,
я — дерзкая вода, я поднимаюсь
до колен,
я — вольный, честный союз огня
и воды...

Важным событием в жизни Эдит стало знакомство и дружба с Хагар Ульссон, той «сестрой», в которой так нуждалась Сёдергран, по болезни и отсутствию всяких средств отрезанная от литературного мира, без книг, без общения с единомышленниками. В эссе, написанном в 1940 году, Хагар Ульссон утверждает, что Эдит Сёдергран — единственная из современных ей шведских поэтов, получившая признание и оказавшая огромное влияние на молодых финских поэтов. Конечно, главное было в новом и свежем поэтическом голосе, но, безусловно, способствовали успеху и картины финской природы, одушевленные лирикой Сёдергран. При всем своем космополитизме и планетарности Эдит Сёдергран была внутренне крепко привязана и к Петербургу, и к своей поэтической родине — Райволе. Сама Эдит пророчески писала в стихотворении «Фрагменты».

Петербург, Петербург,
с башен твоих заколдованным
знаменем машет мне детство.
Нет еще ни глубоких ран,
ни громадных шрамов,
ни купания в воспоминаниях.
Петербург, Петербург,
на башнях твоих моей юности жар,
как розовая занавеска, как легкая
увертюра,
как пелена сновидений над сном
титана.

Разве из моря у Хельсингфорса
не встает наша чудесная крепость?
Разве там стражники не стоят
с синими, красными знаменами,
каких еще мир не видел!
Разве они не стоят, опираясь
на копья, вглядываясь в море,
с гранитом судьбы
в окаменевших чертах?

Как отмечают исследователи, первоначально она не осознавала нетрадиционность своих творческих поисков. Ее бунтарство обнаружилось после того, как критика холодно встретила ее первый сборник. В предисловии ко второй книге Сёдергран писала:

«Что моя поэзия является поэзией, этого отрицать никто не может; но что это стихи — утверждать не берусь. Некоторые стихотворения я пыталась вопреки их воле подчинить размеру, но обнаружила, что силой слова и образа я обладаю только при условии полной свободы, то есть свободы от размера. Мои стихотворения надлежит воспринимать как небрежные наброски-эскизы. Что же до их содержания, то я позволяю наитию и инстинкту запечатлевать то, что в возбужденном состоянии видит мой интеллект. Моя уверенность в себе возникает из осознания моих масштабов. Мне не к лицу выдавать себя за меньшее, чем я есть».

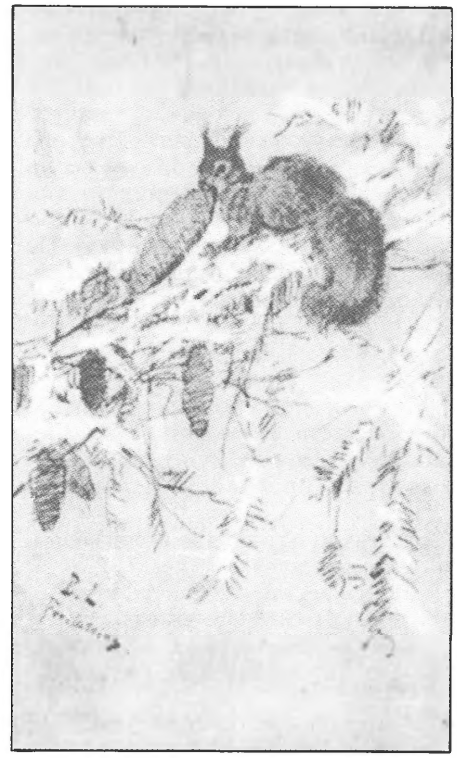
1918 год был тяжелым годом в жизни Эдит Сёдергран. Ее здоровье ухудшилось, она впала в глубокую депрессию. В Финляндии шла гражданская война. После победы белых над красными начались репрессии. Но среди этих драматических событий она находит опору. Это — Ницше, проповедующий способность со смехом подняться над страданиями. В стихотворении «У могилы Ницше» есть такие строки:

С вызовом я на могиле сижу,
как насмешка — прекраснее, чем ты
думал.
Необыкновенный отец!
Твои дети не покидают тебя,
идут по всей земле божественными
шагами,
протирая глаза: где же я?

В последующих сборниках нет больше лирических описаний природы. Поэтическое «я» поднимается в космос, к звездам и солнцу: «Пешком я шла по солнечным системам...» Это своевольное впечатлительное «я» автора становится по существу единственным героем ее лирики. Место объективно отсутствующих социальных связей все больше занимают связи виртуальные, космические. Так преодолевается одиночество. В поэтических образах появляется некоторый эпатаж, и сильнее звучит тема вызова року.

Чего бояться? Я — частица
бесконечности,
великой силы, скрытой во Вселенной,
мир одинокий, лишь один из
миллионов,
из первых величин, последней
я погасну.
И вот он, мой триумф — жить и
дышать!
И ледяное время в жилах ощущать,

и слышать, как струится ночь,
и на горе стоять под солнцем.
Иду по солнцу, стою на солнце
и ничего не знаю, кроме солнца.
Время меняющее, время портящее,
время колдующее,
ты приходишь с тысячью новых
каверз,
чтобы заставить меня жить,
как зерно, как кольцо змеи,
как скалу среди моря?
Время — убийца — прочь!
Солнце наполнило всю меня
до краев сладким медом
и говорит мне: звезды погаснут,
но светят без страха.



Белка на ветке зимой.
Рис.Б.Л.Фрейлассинга.

Эти новые мотивы были встречены финской критикой резко отрицательно: «Бессмысленная, смехотворная поэзия. Автор безумен». Но Сёдергран больше не была одинокой в своих модернистских поисках. В сборнике 1920 года «Тень будущего» она пишет: «Тысячи рук снимают покрывало с лица нового времени».

В первом сборнике есть несколько рифмованных стихотворений. В дальнейшем Сёдергран отдает предпочтение верлибру. Именно благодаря ей верлибр стал полноправной частью финской лирики.

Из переписки Сёдергран с Хагер Ульссон мы знаем, что, переселившись в Райволу, Эдит увлеклась идеей создания союза поэтов-единомышленников. Это были утопические мечтания о братстве поэтов, которые понесли бы по всему миру идеи обновления. Этим мечтаниям, как и многим ее надеждам, сбыться не пришлось.

В последние годы жизни, после продолжительного молчания и депрессии, к Сёдергран вернулось вдохновение. Этому способствовало то, что группа молодых финских писателей, объединившихся вокруг журнала «Ультра», провозгласили ее знаменосцем поэтического модернизма.

Поэт Эльмер Диктониус, навестивший Эдит Сёдергран в Райволе за год до ее смерти, так писал о своих впечатлениях от встречи с поэтом: «Прошло уже два-три дня после моего свидания с нею, но я все еще живу в состоянии какого-то редчайшего трепета. Она — это она, тут ничего больше не скажешь, другого такого человека нет на свете. Несмотря на свою слабость (голод и нищета), она более "сверхчеловек", чем кто-либо другой из всех, виденных мною. Не плоть, а пылающее духовностью прекрасное лицо. Человеческое лицо. А как она улыбается — больная. Лучится светом. Мне все еще тепло, и всегда будет тепло».

В последнем сборнике «Страна, которой нет», в стихотворении «Деревья моего детства» читаем строки, в которых говорят сами деревья:

Ребенком ты с нами вела разговоры,
и взгляд твой был мудрым.
Теперь мы расскажем тебе, в чем
тайный смысл твоей жизни:
ключ ко всем тайнам — в траве,
на пригорке, где малина.

Биографы поэта сообщили нам разгадку этой тайны: кусты малины, о которых писала Эдит Сёдергран, отгораживали ее сад от сельского кладбища.

Мать Эдит нашла после смерти дочери стихотворение, где она прощается с жизнью и переносится в «Страну, которой нет».

Моя жизнь была жаром
заблуждений,
но одно я нашла и завоевала —
дорогу в страну, которой нет.
В стране, которой нет,
там мой любимый в сверкающей
короне.

Эти строки, навеянные чтением Откровения Иоанна Богослова (14:14), — из последнего стихотворения Сёдергран.

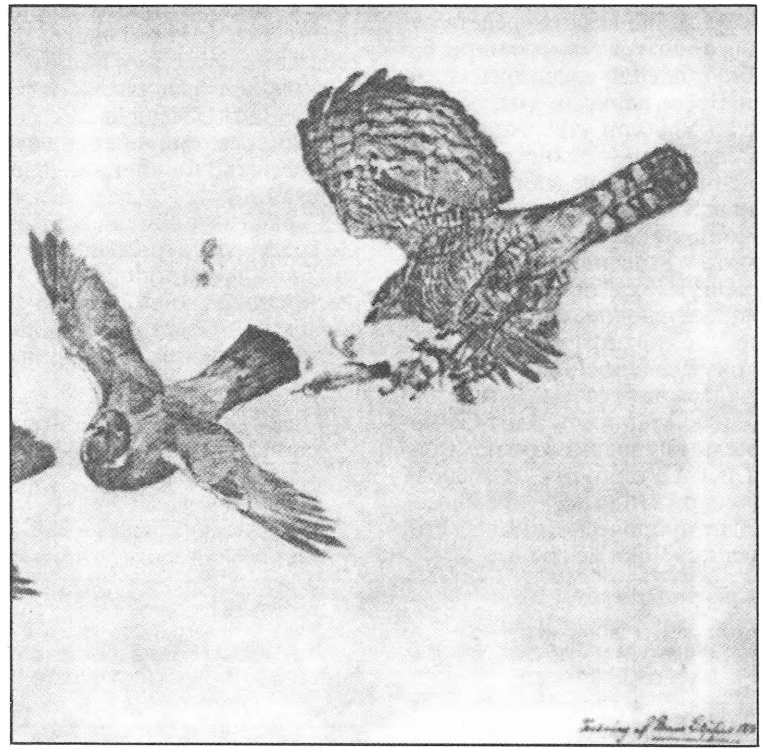
Поэзия Сёдергран принадлежит одновременно и финской, и шведской культуре.

## Эдит СЁДЕРГРАН

### LIVETS SYSTER

Livet liknar döden mest, sin syster.
Döden är icke annorlunda,
du kan smeka henne
och hålla hennes hand
och slåta hennes hår,
hon skall räcka dig en blomma och le.

ты можешь ласкать ее,
держать ее руку,
гладить волосы,
она с улыбкой протянет тебе цветок.
Ты можешь зарыть лицо в ее грудь
и услышать, как она скажет:
пора идти.
Она не скажет тебе, что она другая.
Смерть не лежит ничком,
зелено-белая,
или на спине в белом гробу.



Коршун, преследующий ястреба. Рис.Бруно Лильефорса. *1885 г.*

Du kan borra in ditt ansikte
i hennes bröst
och höra henne sdga: det är tid att gå.
Hon skall icke säga dig att hon är
en annan.
Döden ligger icke grönvit
med ansiktet mot marken
eller på rygg på en vit bår:
döden går omkring med skära kinder
och talar med alla.
Döden har veka drag
och fromma kinder,
på ditt hjärta lägger hon sin mjuka hand.
Den som känt den mjuka handen
på sitt hjärta,
honom värmer icke solen,
han är kall som is och älskar ingen.

Смерть ходит, розовощекая,
и ведет разговоры.
У смерти мягкие черты и благостные
щеки
Кто почувствовал мягкую руку
на сердце,
того не согреет солнце,
он холоден, как лед, и никого
не любит.

*Из сборника «Стихотворения», 1916*

### СЕСТРА ЖИЗНИ

Жизнь больше всего похожа
на смерть, свою сестру.
Смерть не другая,

### DET UNDERLIGA HAVET

Sällsamma fiskar glida i djupen,
okända blommor lysa på stranden;
jag har sett rött och gult
och alla andra färger, —
men det granna, granna havet
är farligast att se,
det gör en törstig och vaken
för väntande äventyr:
vad som har hänt i sagan,
skall hända även mig!

### УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРЕ

Редкие рыбы скользят в глубине,
цветы незнакомые с берега светят;
я видела красное, желтое —
все цвета,
но на пестрое, пестрое море
смотреть опасно,
жаждешь тех приключений,
которых ждешь:
то, что случилось в сказке,
случится со мной!

*Из сборника «Стихотворения», 1916*

### TILL DE STARKA

Flyn i ensamheten! Varen män!
Bliven icke dvärgar
med hopkrympta lemmar.
Bliven icke fångar
med sammanbitna tänder.
Bliven icke örnar sjuka i kedjor
och band.
Lären eder stå som furorna
på klipporna i bränningens brand.
Lären eder följa stjärnornas
oskrivna lag.
Helgon och hjältar, smidiga kroppar,
växen till pelarei sanningens tempel.
Lären eder stiga som vågorna i stormen.
Räcken bröder handen,
världen blir en annan.
Höstsorgedagarna äro för alltid förbi.

### СИЛЬНЫМ

Бегите в одиночество!
Будьте мужчинами!
Не будьте карликами
со сдавленными горбами.
Не будьте пленниками со сжатыми
зубами.
Не будьте больными орлами
в цепях и оковах.
Учитесь стоять, как сосны
на скалах в пожаре
прибоя.
Учитесь следовать неписаным
законам звезд.
Святые, герои, гибкие тела,
вырастайте колоннами
в храме правды.
Учитесь стремиться вперед,
как волны в бурю.
Дайте руки братьям, станет мир
другим.
Осенней горечи дни ушли навсегда.

*Из сборника «Алтарь из роз», 1919*

### MÅNEN

Vad allting som är dött är underbart
och outsägligt:
ett dött blad och en död människa
och månens skiva.
Och alla blommor veta en hemlighet
och skogen den bevarar,
det är att månens kretsgång kring
vår jord är dödens bana.
Och månen spinner sin underbara väv,
den blommor älska,
och månen spinner sitt sagolika nät
kring allt som lever.
Och månens skära mejar blommor av
i senhöstnätter,
och alla blommor vänta på månens kyss
i ändlos längtan.

### ЛУНА

Как мертвое прекрасно, как оно
невыразимо:
лист мертвый, мертвый человек,
лик мертвый лунный.
И втайне знают все цветы,
все ветки леса,
что ход луны вокруг земли —
путь смерти.
И сеть волшебную плетет луна
цветам на радость,
сплетает сказочную сеть
вокруг всего живого.
И серп луны сжинает все цветы
осенними ночами,
и все цветы ждут поцелуя от луны
в томленьи вечном.

*Из сборника «Страна, которой нет», 1925*

### STJÄRNORNA

När natten kommer
står jag på trappan och lyssnar,
stjärnorna svärma i trädgården
och jag står i mörkret.
Hör, en stjärna föll med en klang!
Gå icke ut i gräset med bara fötter;
min trädgård är full av skärvor.

### ЗВЕЗДЫ

Когда приходит ночь,
я на лестнице слушаю,
звезды толпятся в саду,
стою во тьме.
Слышишь, со звоном упала звезда!
Не ходи по траве босиком:
В саду полно осколков.

*Из сборника «Стихотворения», 1916*

***Перевод Наталии Толстой***

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

## Тумас ТРАНСТРЕМЕР

### ТАЙНЫ НА ПУТИ
***(Из сборника «Тайны на пути»)***

Свет дня упал на лицо тому,
кто спал.
Сон стал ярче,
но спящий не проснулся.

Мрак упал на лицо тому, кто шел
среди других под нетерпеливыми
знойными лучами солнца.

Вдруг стало темно как
во время грозы.
Я был в комнате, вмещавшей
все мгновенья —
музей бабочек.

И все же солнце по-прежнему
знойно.
Рисуя мир нетерпеливой кистью.

### ЛИЦОМ К ЛИЦУ
***(Из сборника «Незавершенное небо»)***

В феврале жизнь замерла.
Птицы не желали летать, и душа
скреблась о ландшафт,
как скребется
лодка о причал, к которому она
пришвартована.

Деревья повернулись спиной.
Мертвые соломинки мерили
глубину снега.
Следы старели на снежной
корке.
Под брезентом истончалась
речь.

Как-то однажды что-то
приникло к окну.
Я отложил работу, поднял глаза.
Горели краски. Всё повернулось
лицом.
Мы бросились навстречу
друг другу — я и земля.

***Перевод А.Афиногеновой***

# Романтичный пономарь с острова Ронё*

Август СТРИНДБЕРГ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было в пятидесятые годы. Как-то вечером, когда над улицей Вэстра-Стургатан в городке Труса висела августовская луна, застоявшиеся на дворе лавочника крестьянские телеги с грохотом выкатились из ворот. В лавке старший приказчик спешил угодить покупательницам, которые в последнюю секунду старались припомнить, что им завтра понадобится в хозяйстве. А на чердаке одноэтажного деревянного домика, у открытого окна, выходившего на двор, подперев рукой щеку, сидел младший приказчик и смотрел на луну, которая светила на соседние крыши и превращала флюгарки в фантастические фигуры, менявшие свои очертания, стоило лишь подуть теплому морскому ветру. Порой казалось, что большая флюгарка — это ведьма в черном чепце, иногда из-под колпака высовывалась змеиная голова флюгера, обнажая зубы и длинное жало, а то вдруг круглая пластина наклонялась и делалась похожей на предохранительный клапан паровой машины; из четырехугольной трубы валил дым, как от пасхального костра, а вокруг плясали ведьмы с драконами. Но вскоре мечтательный юноша оторвал очарованный взгляд от мрачных призраков на крыше и стал глядеть на лунный шар со светлой картой мира на светлом фоне. Большое приветливое лицо улыбалось широкой ласковой улыбкой, и юноша успокоился: сегодня он оставлял тихий городок в шхерах, скромное существование в мелкой лавке, с тем чтобы в Стокгольме, в Музыкальной академии и семинарии, выучиться на органиста и школьного учителя.

Молодой человек опустил голову, убрал локоть с подоконника и обратился лицом к комнате, скромное убранство которой составляли три кровати, комод, бритвенный столик и на нем сальная свеча с длинным коптящим фитилем. На одной из кроватей стоял холщовый вещевой мешок. Набитый доверху, он разинул глотку, словно большая жаба, которая подавилась своей добычей: из железной пасти торчала дюжина шерстяных чулок и свиток нот.

В глубоком унынии молодой человек застыл над пустым ящиком комода, дно которого было устлано номерами «Свенска тиднинген», когда из переговорного устройства над дверью раздался вопрошающий голос:

— Лундстедт, ты у себя?

— Да, патрон! — ответил юноша.

— Я освободился!

Внизу, в залавке, сидя на круглом вертящемся стуле, хозяин просматривал бухгалтерскую книгу. Юноша вошел и стал покорно ждать, когда хозяин соизволит заговорить.

— Садись, Лундстедт! — начал патрон.

Испуганный юноша не сразу осмелился сесть: во-первых, это было бы неучтиво, а во-вторых, он опасался выговора за какие-нибудь неведомые ему огрехи в счетах. Но спокойное круглое лицо и доброжелательный взгляд хозяина напоминали в эту минуту лунный лик, и, когда хозяин продолжил, к юноше вернулось самообладание.

— Ты показал себя преданным делу работником и бумаги вел безупречно. Если не свернешь с начатого пути, то будешь удачлив в жизни, а потому я желаю тебе успешной поездки в Стокгольм, где соблазнов куда больше, чем здесь в провинции. Вот твое жалованье — тридцать три риксдалера и шестнадцать скиллингов ассигнациями, к которым от себя добавлю десять риксдалеров кредитками в награду за честность и усердие. Вот, пожалуйста! И счастливого пути!

Растроганный юноша взял красивые зеленые купюры, пожал хозяину руку, желая что-то сказать и не находя слов, а лавочник тем временем потихоньку подталкивал его к двери.

— Не за что, не за что! Ступай попрощайся с хозяйкой и товарищами — надо думать, Свэрдсбру торопится домой!

Лундстедт вышел, поднялся по маленькой деревянной лестнице и постучал в дверь. Ему открыла хозяйка со свечой в руке:

— Ах, Лундстедт, это ты! Какая радость! А я тут маринованный лук чищу. Глаза-то как слезятся, господи! Значит, ты оставляешь нас и едешь в Стокгольм? Чего там только не увидишь! Что ж, Бог в помощь, будь осмотрителен, всего доброго, и храни тебя Господь!

Хозяйка утерла глаза уголком передника, протянула на прощание руку, и Лундстедт стал пятиться вниз по лестнице, все время кланяясь и шевеля губами, правда, ничего вразумительного произнести так и не смог.

В лавке уже стоял Свэрдсбру. Изо рта у него торчала жеваная кубинская сигара, коленями он упирался в стойку, то и дело беспокойно поглядывая на чаши весов, где приказчик взвешивал кофе. Голова крестьянина покачивалась в такт весам, отчего он, в конце концов, потерял равновесие и замахал левой рукой, ища, за что бы схватиться. Согнутым указательным пальцем он уцепился за свисающую бечевку, катушка на потолке размоталась, и Свэрдсбру опустился на колени, положив на прилавок усталую голову с сигарой в зубах.

— Вот это да! Уж, не к причастию ли собрались, папаша? — воскликнул приказчик, увидев, как опала серая фигура. Свэрдсбру, правда, сразу поднялся на ноги, недовольно косясь на потолок.

— Теперь что, и в бакалейных лавках расставляют перемет? — пробурчал он и выпустил бечевку, которая кольцами легла ему на фуражку.

— А ты как думал! Разве не знаешь, милейший, что в лавке нужен глаз да глаз: тут подозрительные типы просто косяками ходят!

Свэрдсбру, озадаченный ответом приказчика, ничего не понял и решил потребовать разъяснения:

---

*С любезного разрешения Московского издательства «Текст». Публикуется в сокращении.

Полный текст будет напечатан в 2-томнике Августа Стриндберга. Издательство «Текст».

— Это ты про меня?

— Держи, милейший! — ответил готовый к бою приказчик и швырнул кулек с кофе крестьянину. Но не успел тот переключиться с одной мысли на другую, как приказчик задал ему новую задачу: — Двадцать четыре скиллинга ассигнациями, точно, как в аптеке; деньги на прилавок, папаша! И давай кисет, насыплю табачку.

Фраза эта оказалсась чересчур мудреной и длинной для ушей крестьянина, который, так и не разгадав загадку о подозрительных типах, сосредоточился на кофе и взвешивал кулек в руке.

— Двадцать четыре скиллинга ассигнациями. Здесь, милейший, в кредит не дают, так что раскошеливайся! И кисет доставай! А не хочешь в кисет, так держи понюшку.

До крестьянина дошло наконец, что надо расплачиваться, и он засунул руку в карман брюк, аккуратно приподняв правую фалду сюртука.

— Двадцать четыре кредитками, говоришь?

— Ассигнациями, дяденька! Кофе-то подорожал!

— Когда я был мальцом... кофе стоил шестнадцать скиллингов.

— Так это когда было, если верить твоей бабе!

— Баба! Что там она ещ-ще сказала?

— Сказала, чтобы ты заплатил за кофе, пока не пропил все деньги!

— Я н-не пью!

— Знаем-знаем! В жизни не видел тебя пьяным! Давай, пошевеливайся, сейчас спустится Лундстедт. Если он поймет, что ты нетрезв, не даст на выпивку. Смотрика, и Блаккен уже беспокоится.

— Лундстедт, Лундстедт! Какое мне дело до Лундстедта... тпруу! Тпруу! Стой, с-скотина!

— Забыл, что везешь его до своей деревни — парню сегодня ехать в Стокгольм!

— В Стокгольм! Тпруу! Тпруу! Да что на тебя нашло, проклятая!

Лошадь нетерпеливо бьет копытом по мостовой. Споткнувшись о вожжи, которые крестьянин привязал к дверному крюку, входит служанка бургомистра.

— Здравствуйте, Лина-раскрасавица! Как поживаете нынешним лунным вечером?

— Никак! И убери руки, — а то... А как поживает господин старший приказчик?

— Спасибо, помаленьку! Чего изволите в такое время?

— Изволю пол-лота кардамона!

— А, значит, завтра гости... а ты, Свэрдсбру, давай расплачивайся и нечего пялиться на девушку — одно искушение.

Свэрдсбру засунул руки в карманы; изо рта, как бушприт, торчит сигара. Он раскачивается на нетвердых ногах, глядя масляными глазами на одетую в ситец девушку.

— Эй-эй! Тпруу! Стой, проклятая!

Тут появляется Лундстедт:

— Дядюшка, не пора ли ехать! Так мы и в десять с места не тронемся!

— В десять?

— Завтра в девять утра из Сёдертэлье уходит пароход!

— Из Сёдертэлье, подумать только!

Лина очаровательно покраснела. Увидев ее, Лундстедт говорит:

— Добрый вечер, Лина! Вы пришли как раз вовремя, чтобы проститься.

— Неужели вы уезжаете?

Лина и Лундстедт выходят из лавки полюбоваться на лунный свет, а Свэрдсбру достает кошелек и отсчитывает деньги.

В лавку входит патрон, Свэрдсбру выпрямляется и протягивает деньги.

— Ну что, Свэрдсбру, ты готов ехать? — спрашивает лавочник.

— Да, патрон, сию секунду!

Сделав над собой усилие, Свэрдсбру вытягивается в струнку, идет к повозке, подбирает вожжи, кнут и залезает на колесо, чтобы осмотреть повозку и проверить, на месте ли Лундстедт.

— Не стой на колесе, глупая твоя башка, — кричит из лавки старший приказчик, — ведь свалишься, если скотина дернет.

— Я с-свалю-юсь?

Блаккен, затосковав по дому, действительно дергает, и Свэрдсбру оказывается на земле с кнутом и вожжами в руках.

— Тпруу! Тпруу! — кричит горемыка. Лундстедт торопится остановить лошадь, но Блаккен бежать никуда не намерена: на шее у нее висит мешок с овсом, да к тому же Свэрдсбру угодил левым плечом под переднее колесо.

— Когда же мы, наконец, тронемся? — с легким нетерпением восклицает Лундстедт. — Поднимайтесь, дядюшка, поехали!

— Ну а выпивка будет?

Лундстедт обещает ему выпивку на первом же постоялом дворе. Но, протрезвев после контузии, Свэрдсбру вспоминает о табаке. Не желая, чтобы приказчик оставался у него в долгу, а также надеясь после ухода патрона еще поторговаться о кофе, он вваливается в лавку с кнутом и вожжами в руках. Вдруг в голове у него всплывают язвительные слова приказчика: там было что-то про сети, но что? Блаккен делает новый рывок в сторону дома, крестьянин дергает вожжи, лошадь тянет повозку к стеклянным дверям лавки, раздается звон, крестьянин кричит «Тпрру!». Ни малейшего действия на лошадь это не оказывает, зато в дело вмешивается приказчик, отвесив Свэрдсбру такую оплеуху, что тот чуть не заглотил сигару. Согнувшись, как ныряльщик перед прыжком в воду, задыхаясь, он вылетает на улицу. Разговор на этом окончен, накренившуюся повозку поправляют, дядюшку водружают на воз, а вожжи передают Лундстедту, который пожимает всем руки и, сопровождаемый благими напутствиями, трогает!

Стуком в дверь разбудив встревоженную супругу Свэрдсбру и не испытывая ни малейшего желания поближе с ней познакомиться, Лундстедт оставил своего возницу. Быстрым шагом он направился к постоялому двору, чтобы взять лошадей до Сёдертэлье. Лошади нашлись, и вскоре юноша уже трясся в маленькой новой коляске, мчась на север, к своей мечте. Луна садилась, путь лежал через темный еловый лес, который глухо шелестел от дуновений ночного ветра, в небе сверкали звезды, и ярче всех — Большая Медведица. Дорога была прямая, как кегельбан, и, когда лунный свет падал на сухой песок, она казалась длинной и светлой, словно простыня, разложенная для беления; иногда вдалеке вставал столб пыли, поднятый встречной повозкой, затем показывалась голова лошади, серебряное облако приближалось, и мимо проносились загадочные темные фигуры, бросавшие на ходу «Добрый вечер» — будто монетку привратнику. Вдоль обочины нескончаемая эскадра телеграфных столбов с поющим такелажем: парусники, готовые к зиме — без стеньг и рей, с оковками на мачтах.

Потом какие-то ворота, сонная избушка, яблони, на них плоды, блестевшие золотым блеском, словно апельсины; потом ворота захлопнулись, коляска покатилась

дальше, и однообразный шум колес погрузил молодого путешественника в сон.

Снилось ему, что верхом на Большой Медведице он едет вверх по небосклону и слышит звуки скрипки. Струны у скрипки длинные, как дорога, дужка высокая, как корабельные сосны, подставка из белого фарфора, а смычок — северный ветер, наканифоленный гололедицей. Скрипка рождала музыку в небывалых тональностях, где вместо полутонов были три четверти тона и где существовали ноты «ми»- и «си-диез» — странно только, что их нет на клавиатуре, которую человек создал по велению Божьему! Но дорога была ухабистая, от тряски у Лундстедта разболелась спина, за воротник задувал холодный ветер, где-то лаяла собака и кричала сова, и, когда молодой человек проснулся, лес уже не звучал, как глухой орган, а гремел, словно скрипки играли шестьдесят четвертые во всех позициях. На минуту коляска остановилась в березовой роще на песчаном пригорке, плавно переходящем в ровную широкую пашню, а потом снова во весь опор покатилась вниз по равнине, где отрядами и колоннами стояли снопы ржи: пехота против кавалерии, батальоны, разделенные окопами. Бесконечная, как поле брани, простиралась пашня. С дороги было видно, что она прорезана речкой, берега которой охраняются стрелками-снопами. Зрелище это напоминало холм, занятый командой особого назначения: вот рядами лежат снопы, поваленные ветром, — это раненые и мертвые, а вот снопы, насаженные на жерди, похожие на пикинеров времен Тридцатилетней войны, их длинные плюмажи из колосьев развевает ветер. Мимо дефилируют все новые и новые войска, прибывают новые подкрепления, а в ложбинах стелется туман, точно пушечный дым после сражения.

Господин Лундстедт, чье мечтательное и игривое настроение мы тут попытались описать, чтобы как-то убить время, забавлялся игрой, будто он Наполеон и в санях несется из горящей Москвы, которую изображала садящаяся за далекой колокольней луна. Иногда мрачный полководец кивком приветствовал живую изгородь своих отважных солдат, что маршировали по обе стороны дороги, но не успевали воины продвинуться и на шаг, как коляска проносилась мимо.

Пока великая армия, которой не было конца, шагала вперед — а господин Лундстедт знал, что в это время года можно доехать до самого Норланда и конца ей так и не будет, — на востоке стало светать, и, устав играть в войну, юноша впал в легкую утреннюю дрему, от которой он скоро пробудился: его знобило, прямо в глаза било солнце, а над головой во всю распевал жаворонок. Поле боя было сплошь усеяно лошадьми и повозками — их сюда доставили крестьяне, чтобы подобрать убитых, а раненых отвезти в большие красные лазареты, раскинутые по всему полю.

Внизу виднелся фьорд: казалось, у него нет берегов и вода бежит под ветками ив и ольхи. Там стоит белый дворец, на окнах его маркизы из тика в красно-белую полоску. Во дворце живет граф, или камергер, или его сиятельство, воображал господин Лундстедт, на стенах висят полотна, писанные маслом, мраморные рельефы, портрет Леннарта Торстенсона и второй супруги Карла IX; а за балконной дверью наверняка стоит рояль, на котором играл сам ван Бом, и арфа, унаследованная графиней от бабушки — фрейлины при дворе Густава III. Во флигеле под лоскутным одеялом из алого шелка спят ангелы Божьи — юные барышни. Проснувшись, они прямо в постели пьют кофе с шафрановыми булками. Ах, как добр Господь, создавший счастливых людей! Перед волшебным дворцом березовая рощица, и перед глазами маячит лишь березовая листва и кора, потом откроется широкая синяя вода, извозчик укажет кнутовищем на колокольню и скажет: Сёдертэлье.

Несколько часов спустя господин Лундстедт стоял на носу пунцово-красного парохода «Хермод». Позади, остались Кунгсхатт и Стура-Эссинген, и, когда проходили Мариеберг, вдалеке показался Стокгольм. Парило, солнце нагрело облака на западе, на небо одна за другой выкатили тучи, замерли и сгрудились, как артиллерия на занятых высотах. Когда собралась вся батарея, скомандовали огонь, над колокольнями и крышами зигзагом взметнулась искра; не успели наблюдатели сосчитать до пяти, как раздался грохот, воздух застонал, поднялись волны, и пароход затрясся. Потом новые гряды туч заняли огневые позиции, дрогнули, и один за другим прогремели новые радостные залпы. Черные небеса разверзлись. Когда пароход взял курс на скалы у Шиннарвика, солнечные лучи вырвали несколько домов из тени грозовых туч. На набережную Риддархольма с ее пароходами, раскрашенными во все цвета радуги, падало круглое, как от абажура, пятно света. Бирюзовые корабли с киноварными ватерлиниями, начищенная до блеска латунь, белый металл, черные дымоходы и медно-красные трубы. Здесь и старый «Грифон», и «Капитан», и длинный «Арос» — такой узкий, что непонятно, где у него нос, а где корма, вот «Принц Густав», вот «Упланд», и у самой Школы плавания малышка «Тессин». Над мачтами, дымоходами и флагштоками зеленые кроны двух столетних лип, в тени которых ищут прохлады посыльные, и в довершение всего за старым фасадом Стокгольмской гимназии — железный купол Риддархольмской церкви. У южного берега бортовые фальконеты доложили о прибытии, пароход подошел к причалу, и господина Лундстедта охватило легкое беспокойство, а когда он сдал билет у трапа и с мешком в руках сошел на берег, то чуть не задохнулся от волнения, будто новичок в Школе плавания от запаха воды. Дома были огромные, людей множество; телеги так грохотали по булыжным мостовым, что голова начинала болеть; лаяли собаки, кудахтали куры в клетках, визжали поросята в телегах, под наблюдением и понуканиями полиции в город торопились деревенские повозки, так как остров и порт собирались оцепить.

Не зная, куда вынесет его людской поток, господин Лундстедт примкнул к толпе. Оказавшись на площади, он увидел громадный, одетый в черное с серебряными коронами амфитеатр; стражники в медвежьих шапках двойной шеренгой охраняли портал Риддархольмской церкви. Народ прибывал. Когда по мосту, выбивая глухую дробь на барабанах в траурном крепе, прошествовали гвардейцы в остроконечных касках и бандалерах, образовалась давка. Лошади вставали на дыбы, кричали разносчицы, под ногами вертелись собаки. Вдруг зазвонили на одной колокольне, потом на другой, и вот уже звонили везде: сегодня хоронили короля.

На площади Риддархюс господину Лундстедту сказали, что перебраться в Клару, где он думал остановиться у одного земляка, можно на весельной лодке, и после долгих ожиданий юноша, наконец, очутился на торговой площади Рёда-Бударна. Товарищ его жил на Норра-Чуркугатан,[1] и, вычислив по расположению алтаря, где восток, молодой человек пересек кладбище, обогнул колокольню и увидел двери, обращенные, судя по всему, на север. Там, в самом деле, начиналась улица, которая далеко внизу замыкалась оградой, из-за которой торчали зеленые деревья.

Приободрившись, Лундстедт зашагал дальше, в сторону дома 43, который находился по левую руку, так

как дома с четными номерами стояли справа, а с нечетными — слева, и, найдя нужный номер, зашел через гремучую калитку во двор. Ему не терпелось поскорее попасть внутрь, и он стал искать звонок или что-нибудь в этом роде. Но он видел перед собой только множество крошечных коричневых дверей с крылечками. Постучав во все, но не дождавшись ответа, Лундстедт вошел в первую попавшуюся. Внутри было еще три двери. Одна, дырявая, как садок для рыбы или решето, вела, вероятно, в кладовку. Он постучал еще раз, потом поднялся на второй этаж и там заколотил так, что по лестнице разнеслось эхо, но ему не открыли. Тогда он поднялся еще на полпролета и уперся в чердачную дверь. Наверно, все обитатели дома ушли на похороны высочайшей особы.

Огорчившись, хотя и не слишком, господин Лундстедт спустился во двор и стал искать, где бы сесть. Посреди двора, в тени пожарной стены с коваными связями в форме букв X и I был садик за зеленым забором, а в ней беседка с крышей, похожей на остроконечную каску, рядом, как стражники,— две коричные груши с плодами цвета солнечного заката в резной листве. На клумбах росли георгины, на грядках — лукпорей и сельдерей. Однако на калитке висел замок, и господин Лундстедт остался на дворе, вымощенном булыжником, который не мог дать отдохновения усталым ногам. Чтобы скоротать время, Лундстедт стал бродить по двору и заглядывать в окна на первом этаже, что оказалось не так-то просто: ревнивые жалюзи не пропускали посторонних взглядов. Но вскоре юноша нашел окно, одна створка которого была приоткрыта и закреплена на крючок, и он смог заглянуть внутрь. В комнате царил уютный беспорядок. Рисунок на коврике, в котором было больше дыр, нежели ниток, изображал выцветшую гондолу и в ней даму и господина из рыцарских времен; чуть глубже, под кроватью, виднелся дворец, вполне возможно, что венецианский. Вокруг него протекали каналы, а сам дворец был зеленых и красных тонов, но вид на мост, вероятно, Мост вздохов, закрывали сапоги и ночной горшок. Над гондольером, будто вальсируя под рыцарскую лютню, растопырился трехногий столик из ольхового корня, на нем лежали помочи, манишка, гитара, а рядом стояло шесть стаканов и пустая бутылка из-под пунша. На кресле-качалке — серые брюки, на подоконнике — чернильница, гусиное перо и обернутая в белую бумагу книга, на которой было написано какое-то имя. Любопытство господина Лундстедта было так раззадорено, что он просунул в оконную щель руку и повернул книгу, чтобы прочитать надпись. Как же велика была его радость, когда на обложке он увидел имя своего старого школьного приятеля Франца Оскара Линдбума, выведенное крупными буквами англосаксонским шрифтом, как печатают название газеты «Дагбладет».

Не задумываясь, он поднял крючок, влез с мешком в комнату, стянул сапоги и сразу же удобно устроился на раскладном диванчике, где после бессонной и беспокойной ночи, проведенной в дороге, вскоре заснул глубоким целительным сном.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На другое утро около половины восьмого господин Лундстедт уже стоял в Кирстейнском саду и с замиранием сердца ждал, когда часы пробьют восемь и академия распахнет свои двери для посетителей. У него еще болела голова после ночных разговоров с приятелем. Тот вернулся домой в десять, и измученному дорогой земляку пришлось рассказать все, что произошло в городке за три года, которые они не виделись: о смерти своей матери, мелких бедах рыбака-отца, годах учения в лавке и, наконец, о непреодолимой тяге к музыке. Теперь юноша будет заниматься в Музыкальной академии и сдаст экзамен, который откроет ему новые горизонты.

Через забор Лундстедт видел, как в здание стали входить люди — почтенные старики с волосами до плеч, по всей видимости, профессора, загорелые юноши, приехавшие, вероятно, из деревни, молодые девушки и пожилые дамочки: сзади подпрыгивают букли, впереди торчат портфели. Как же испугался Лундстедт, когда увидел эти толпы соперников! Прислонясь к забору, он стал настукивать произведение, которое воскресными вечерами репетировал с органистом в церкви, а в будние дни играл на клавикордах в лавке. Его мудрый учитель, сам закончивший академию и знавший пристрастия профессора, настоятельно советовал молодому человеку умерить романтическую склонность к красивой музыке, и клялся спасением собственной души, что Лундстедт блестяще пройдет испытание, если на вступительном прослушивании исполнит фугу Баха, и, хотя в душе ученик восстал было против этой арифметической задачи, он смирился и послушался совета учителя.

Когда часы на колокольне пробили восемь, газовая фабрика протрубила завтрак, свечной завод выпустил пар, а прачки на Кларашё кончили свою стирку, господин Лундстедт решил, что пора, и на подкашивающихся ногах направился через двор к большому парадному. Много званых вошло туда до него, но много ли выйдет избранных? Еще поднимаясь по широкой лестнице, он услышал звуки двух фортепиано и по меньшей мере трех скрипок, а войдя в большую залу, где рядом с органом стоял рояль, увидел, что экзамен начался.

У профессора, сидевшего на стуле перед инструментами, было подвижное, будто управляемое кулиской лицо, которое могло выражать довольство, а через минуту исказиться гневом без какой-либо видимой причины. Когда господин Лундстедт пробирался на последний ряд, за роялем, где играли те, кто еще никогда не прикасался к органу, сидел какой-то юноша и, томно закатывая глаза, наигрывал молитву к Богоматери. Его длинные белые пальцы нежно ласкали клавиши, будто гладили маленьких котят, иногда он откидывал голову и тряс волосами, остриженными каре. Сейчас, взяв ноту в педали, он как раз собирался перекрестить руки на разных мануалах, но профессор, более не находя в себе сил сдерживаться, подбежал к инструменту и с грохотом захлопнул его крышку. Профессор хотел еще что-то сказать, но только шевелил губами и тряс головой, потом сел, прослушал еще «Русалку» Юнгманна, «Вечерние колокола» Абта, сонаты Клементи и Калькбреннера, но лицо его при этом выражало невыносимые страдания. Часы уже давно пробили десять, потом одиннадцать, а Лундстедт еще не играл. Когда он наконец сел за орган, профессор просветлел и отправил длинного юношу с его «молитвой» качать мехи. Лундстедт поставил ноты на пюпитр, выдвинул несколько рукояток регистров, подтянул черные брюки, чтобы удобнее было доставать до педали, и заиграл.

— Wundervoll! Prachtvoll![2] — прозвучал голос профессора, который отечески улыбался Лундстедту. — И как вас зовут, молодой человек?

— Альрик Лундстедт, — застенчиво ответил молодой человек, покраснев за собственное жульничество: ведь он против желания воспользовался известной любовью профессора к фугам, которые считал совершенно невыносимыми.

Записав имя юноши, профессор крепко пожал ему руку и указал комнату секретаря, где можно получить расписание занятий и отметиться в ведомости.

Сделав все это, сияющий Лундстедт вернулся к своему покровителю, который обнял его, откинул ему волосы со лба — посмотреть, достаточно ли высок, положил его кисти на стол — проверить, берет ли юноша октаву, и, наконец, осмотрел его сапоги — хороша ли нога, достает ли ученик до педалей. Оказалось, что нога у Лундстедта большая и красивая, а значит, годится для исполнения фуг.

Лундстедт обещал прийти в следующее воскресенье в церковь святого Иакова, где профессор был органистом, и хотел было откланяться, но профессор, взяв его за руку, потащил к окну, где стоял ректор, и довольно громко прошептал тому на ухо: «Гений!»

Когда Лундстедт, наконец, оказался на улице, ему почудилось, будто на небе светит семь солнц. Он подумал, что жизнь вовсе не так мрачна, как утверждают некоторые скверные люди. Он хотел петь на площади Рёдбуторьет и танцевать на мосту Норрбру — там, где сейчас проходила смена караула, но, успокоившись, свернул в Стурчуркубринкен, зашел в шляпный магазин, чтобы купить синюю шапочку с лирой на замшевой оторочке. Когда продавщица примеряла ему шапочку, то Альрику показалось, что это Красота венчает благородного художника. А выйдя на улицу, он почувствовал, будто от золотой лиры исходит огонь и свет и людям становится теплее оттого, что они видят его, гения, который сделает их добрее и счастливее при помощи волшебного бальзама звуков. Переполненный блаженными чувствами, теснившимися у него в груди, Лундстедт шел и шел по улицам, и все, что он видел и слышал, звучало в унисон с его настроением; в двенадцать часов страж у ратуши взял на караул и отбил в его честь барабанную дробь, колокола своим звоном приветствовали его триумфальное шествие, пушки на острове Шеппсхольмен славили его своими залпами, а прохожие, проходя мимо, приподнимали шляпы. Но скоро он забрел на темную узкую улицу, где дома казались современниками Густава Вазы, над дверями нависали каменные фигуры, а свинцовые оконные переплеты светились, как перламутр; в окнах лежали прекрасные девы — бюргерские дочки и советницы в красных открытых по последней моде платьях из шелка; они милостиво кивали победителю, махали платками, приглашая войти. Господин Лундстедт шествовал гордо, словно маршал, и приподнимал шапочку, отвечая на приветствия дам, которые, как выяснилось позже, всего лишь просили денег. «Двадцать четыре скиллинга, тридцать шесть скиллингов!» — неслось из окон. Тут и там юношу манил начищенный медный кофейник! То была заколдованная улица. Никогда еще прекрасные дамы не уделяли Лундстедту столько внимания. Воображая, что он в Венеции вместе с рыцарем и дамой с ковра, он остановился, чтобы прочитать вывеску на углу, но едва успел разглядеть название «Тюска-Прэстгатан», как из окна на мостовую выплеснули ушат воды прямо ему под ноги. Не дожидаясь, пока разъяснится это досадное недоразумение, господин Лундстедт зашагал дальше, переправился на гондоле к Рёда-Бударна и разыскал бакалейную лавку в Клара-Бергсгрэнден, желая поделиться с товарищем своим счастьем. Но в лавке оказалось полно народу, патрон был на месте, и готовое разорваться от счастья сердце не нашло себе утешения, поэтому господин Лундстедт пошел в ресторан «Сулен» обедать. Сев у стойки, напротив буфетчицы, он заказал жареную свинину с бобами. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться своим счастьем, дать волю чувствам и на груди женщины охладить свой пыл. Помешивая горчицу, Лундстедт раздумывал, что сказать.

Он никак не мог решить, с чего начать: с разговора о погоде, спросить, ходила ли барышня на похороны короля, выяснить, любит ли она музыку, дорога ли жизнь в Стокгольме, или сказать что-нибудь столь же невинное. В конце концов, почти уже решившись на разговор о похоронах, он вздрогнул и, к своему немалому удивлению, голосом таким, словно просил денег, поинтересовался, который час.

Барышня, а она оказалась из тех, кому, как говорится, пальца в рот не клади, ответила, взглянув на внимательного слушателя у окна, что ее часы в ломбарде. Слово это было господину Лундстедту незнакомо, но, будучи уверен, что получил подобающий ответ на свой вопрос и, не желая показать своего невежества, он поблагодарил девушку и слегка поклонился, как принято было в его городке. Посетитель у окна, который ел холодные бараньи ребра с брусникой, поперхнулся, а девушка спросила, почем нынче картошка.

— Когда я уезжал из Трусы, давали восемь скиллингов за каппу,[1] — ответил господин Лундстедт, благодарный, что разговор таки завязался, хотя ему пришлось напрячь все свои знания о гармонии, чтобы постараться перевести его с картошки на Музыкальную академию и «гения».

Бесстыдница, видно, любила повеселиться и потому упрямо настаивала на теме, которая в действительности интересовала ее не больше, чем посетителя с бараньими ребрами.

— Надо думать, это изюм, коли стоит восемь скиллингов? — спросила она.

Господин Лундстедт стал искать в своей памяти, опьяненной утренней славой, возможного разъяснения, что это за неведомый сорт картофеля, и, не найдя подходящего ответа, забеспокоился. К счастью, человек у окна встал и, пожелав расплатиться за бараньи ребра, перегнулся через стойку и расставленные на ней блюда с всевозможными лакомствами — от яиц всмятку до тефтелей и раков.

Предоставленный самому себе и слыша шепот, смысла которого разобрать не мог, господин Лундстедт почувствовал досаду и, выпив пива за свой успех, тоже собрался уходить. Чтобы не показаться невоспитанным, он хотел подыскать на прощание какие-то любезные слова, но, не найдя их, только погладил крысоловку, принадлежавшую посетителю, и так, будто своим любопытством делал ее хозяину одолжение, спросил:

— Что это за порода?

— Это? — откликнулся посетитель. — Это горчичный шнауцер.

— Ах, вот как! Надо же! Сколько на свете неизвестных мне пород! До свидания, сударыня! До свидания, сударь! — сказал Лундстедт и отправился домой.

Но чувства его рвались наружу, и дома он сел у окна писать письмо старику отцу, желая поведать о своем счастье. Крепкое пиво, а также некоторая порывистость нрава сделали свое дело, и склонная к фантазиям натура увлеклась игрой. Он воображал себя человеком могущественным и богатым, который в лучах своей славы не забыл о старом бедном отце, что даровал ему жизнь, а сейчас терпит нужду; помня о долге сына перед родителем, он умолял старика немедленно продать дом, корову, сети, лодки и приехать к нему в Стокгольм. Опасаясь, что его трепетное желание не исполнится, он в ярких красках описал столицу, причудливость ее улиц, площадей, домов, лавок и ресторанов, рассказал о своем

жилье, о венецианском ковре, о саде с беседкой и коричными грушами. В конце письма Лундстедт заклинал отца немедленно бросать все, садиться на пароход и, не скупясь на билет в салон, заказать на ужин портер и жаркое, чтобы добраться до Стокгольма в полном здравии.

Потом он вчетверо сложил листок, запечатал облаткой и отнес в лавку, довольный, словно расправился с долгом или счетом, о котором более беспокоиться не придется.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В первое же воскресное утро господин Лундстедт в толпе других учеников стоял на лестнице в церкви святого Иакова, ожидая прибытия профессора, так как до появления хранителя святая святых музыки на хоры никого не пускали. Колокола зазвонили во второй раз, внизу послышались шаги учителя, и молодежь с благоговением расступилась. Приветственно кивая, профессор добрался до двери, остановился, окинул взглядом толпу, словно Спаситель, велевший утихнуть буре; потом достал расшитый жемчугом мешочек с ключами и, будто Петр у врат Царства небесного, с многозначительным видом вставил ключ в замок, но тут же стремительно обернулся к нетерпеливой, жаждущей милости толпе в поисках недостойных. И действительно, некоторые суетные души рвались внутрь, не дожидаясь снисхождения благодати Божьей, а потому их схватили за воротник и вывели вон. Но вот дверь отворилась, и певчие медленно прошли мимо неусыпного стража, который, воздев палец, строго глядел на входящих и готов был преградить путь непослушным, дабы постигли истину «много званых, а мало избранных». Но, когда мимо профессора проходил Лундстедт, лицо грозного стража просветлело, он остановил юношу и поставил его по правую руку, выказав ему свое расположение.

Прежде господин Лундстедт никогда не бывал в такой большой церкви, и его охватил священный трепет перед огромным пространством, где во весь рост могли расхаживать гиганты, развешивая над капителями номера псалмов, но он недолго наслаждался игрой воображения, так как профессор схватил его за карман и потащил к инструменту. Они прошествовали вверх по маленькой лестнице и остановились только у мехов, похожих на легкие великана. Казалось, стоит надавить на грудную клетку, и легкие тяжело запыхтят. Профессор и ученик прошли мимо розы над порталом, заглянули в дощатую дверь и увидели виндладу, где в ряд стояли трубы принципальных регистров во главе с тридцатидвухфутовой трубой контрфагота. Они забирались все выше и выше, до тех пор пока не открылось органное чрево, вместительное, как грудь кита. Ребра, сухожилия, мышцы, трахея, позвонки, сосуды и нервы были представлены бесчисленными трубами, коппуляциями, абстрактами, рычагами, угольниками, тягами, коромыслами, пульпетами и регистрами. Тысячу лет рос этот гигантский организм, но за столетие вырастал лишь на несколько локтей, как алоэ цвел раз в сто лет, раз в сто лет оставлял семечко, раз в десять лет пускал ветку или листок. У этого творения человеческих рук не было ни изобретателя, ни зодчего, как не было изобретателя у собора и зодчего у пирамид. В его создании принимал участие весь христианский мир, унаследовавший свою главную идею от язычников. Орган возвышался как сталактитовая скала. Когда профессор с учеником вскарабкались на самый верх и их головы почти уперлись в своды, ученик содрогнулся. Вокруг были обнаженные люди с крыльями за плечами, огромные дети дули в трубы, женщины играли на арфах и цимбалах. Наши путешественники протиснулись вперед и глянули вниз. Там крошечные человечки с книжками в руках копошились в проходах между скамейками, и у Лундстедта от этого зрелища так закружилась голова, что он схватил за руку стоявшего рядом херувима, но учитель только улыбнулся, как искуситель, когда показывал прекрасный мир Сыну Человеческому. Они с минуту постояли в полутьме, и едва ученик пришел в себя, как искуситель указал на черные остроконечные своды, где сумрак боролся со светом, исходящим снизу. Казалось, можно различить, как свет и тьма проникают друг в друга, подобно холодному и теплому воздуху над пашней, где жарит весеннее солнце. Когда глаз свыкся, откуда ни возьмись появилось огромное светлое облако, постепенно оно рассеялось, цвета сгустились, обрели плоть и превратились в Христа и двух учеников в минуту Преображения. Они парили в полумраке на лучах света. Ученик чувствовал себя так, словно побывал на небесах среди ангелов.

Теперь он снизу смотрел на это великое музыкальное творение, равных которому не было ни в природе, ни в искусстве. Оно вселяло тревогу, подавляло и подчиняло себе, хотя было создано рукой человека и могло ожить, только руке человека подчинившись. Альрику хотелось понять, что же это такое, отыскать в незнакомых формах знакомые, приблизить к себе это творение, опустить его до себя и успокоиться. Он уже решил, что церковь — это первобытный лес, где язычники приносили людей в жертву, колонны — деревья, а своды — ветви, но орган оставался органом. Это не растение и не животное, но, возможно, коралл; это не здание, но, возможно, выступающие башенки на рыцарских замках, турели фасадных труб, многие из которых потеряли голос, но сохранились, как ненужный атавизм. Каждый ряд маленьких труб был похож на флейту Пана, которая наверняка и была их прообразом, но большие трубы на выступающих боковых башнях выглядели иначе и напоминали скорее коллекцию оружия. Орнамент прошлого столетия из позолоченного дерева с завитками и закрученными на китайский манер цветами мешал связать воедино эту сумятицу форм, хотя ум более просвещенный, чем ум молодого приказчика, прочел бы здесь всю историю инструмента: от тростниковой флейты язычника-римляна, волынки варвара-кельта и водяного органа византийского императора до саксонского фарфора и Первой империи с ее увлечением римским оружием, припоминая эмпоры, трифории, колокольни, алтари и табернакли средневековых соборов.

Профессор сел перед мануалами, расположенными в три уровня, включил «принципал» и указал ученику место рядом. Мехи выдохнули, заскрипели, проспектные трубы начали в унисон выпевать прелюдию, вскоре к принципалу присоединилась флейта, и гармонии расцветились, гнусавая «гамба» подхватила соло баритона, затрещал «тромпет», зарычал «бурдон», потом один за другим они умолкли, и в тишине голос запел «Хвалите Его во струнах и органе». Когда он, вибрируя, протянул последнюю ноту, орган зазвучал в полную мощь и прихожане запели. Богослужение подошло к концу, все псалмы были спеты, и теперь, по собственному выражению профессора, он мог говорить свободно: он заиграл заключительную фугу, велев господину Лундстедту сесть рядом, чтобы переключать регистры. Играл он для единственного слушателя, кроме кальканта, потому что, когда церемония, наконец, кончилась, в церкви не осталось ни души. Профессор все видел в свое зеркало, но он привык, он наслаждался одиночеством и

непременно рассердился бы, если б публика осталась и посмела делать вид, что понимает в вещах, оценить которые мог лишь он один.

Господин Лундстедт покинул церковь с чувством, будто он видел что-то бесконечно великое и слышал неземные звуки. Он был уверен: только собственное невежество мешает ему вполне насладиться полифонической музыкой, но гордился тем, что рано или поздно примкнет к числу избранных знатоков.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Господин Лундстедт прожил в Стокгольме полгода. Дни летели, из огромного множества дел игра на органе стала самым последним: почти все свое время юноша проводил в семинарии, а в Музыкальной академии учили главным образом гармонии и вокалу, так как учеников было много и все хотели попасть на уроки профессора. К тому же денежный запас скоро иссяк, господину Лундстедту, как и многим другим, пришлось устроиться петь в хор Оперы, добывать хлеб, давая уроки пения приказчику.

На фоне будней настоящим праздником было воскресенье, когда Лундстедт находился рядом с профессором у органа и ассистировал ему. В такие минуты юноше казалось, что он чуть ли не самое важное лицо в церкви, превосходство инструмента возвышало его и возвеличивало, оставляя отпечаток в его душе. Он любил прекрасное творение как нечто более могущественное, чем он сам, воображал, как из его собственных легких выходит воздух, из горла звуки и что профессор — это всего лишь деталь механизма, сообщавшая музыкальные желания юноши педалям и мануалам. Он был уверен, что сотни прихожан поют то, что угодно ему, а священник вынужден молчать, когда играет он.

Длинную проповедь Альрик слушал с нетерпением, а то и не слушал вообще. Как-то раз на южных хорах он увидел красиво одетую девушку благородной внешности и с нежной кожей. Он видел ее каждое воскресенье на одном и том же месте и в конце концов стал считать ее своей слушательницей, которая приходит петь под его аккомпанемент (в действительности исполнявшийся профессором). Альрику казалось, что девушка все время смотрит на органные хоры. Узнать ее имя было бы делом несложным, стоило лишь посмотреть табличку на скамье, но юноша решил, что сам даст ей красивое имя, и назвал ее Ангеликой, как звали девушку в стихотворении Мальмстрёма.[4] Оставалось найти ей фамилию, и после долгих размышлений он придумал Делагарди в честь графа, который построил церковь. На Рождество Альрик увидел отца и мать девушки. Отец носил белые усы щеточкой, как у французских маршалов, за что Лундстедт возвел его в генерал-лейтенанты — самое высокое из известных ему титулов. Еще у Ангелики были две младшие сестры, которых он назвал Гурли и Фанни. Вскоре он счел, что знаком с девушкой достаточно долго, и однажды во время праздничной проповеди затеял сватовство: раскрыл наугад псалом в Псалтири, число было четное, а значит, она согласна. Оставалось только узнать ответ отца, и господин Лундстедт стал считать трубы принципальных регистров. Но отец наотрез отказал ему, причем как раз, когда пастор читал «Отче наш» и следовало преклонить голову. Глядя между пальцев, Лундстедт попробовал пересчитать трубы в обратном порядке, но ответ все равно выходил отрицательный.

Прошло еще одно воскресенье, господин Лундстедт распорядился о помолвке, не дожидаясь согласия родителей, но когда священник читал оглашения и вместо имен Ангелики и Альрика назвал два совершенно других имени, господин Лундстедт взял себе и невесте эти имена, которые назвал псевдонимами, и решил, что отныне обручен тайно. В понедельник утром, направляясь из семинарии в академию, он зашел к ювелиру на Дротнинггатан, чтобы выбрать кольца, но раз помолвка была анонимной, то обручальные кольца, подобные тем, что лежали в витрине, не годились, а потому он выбрал два кольца с алмазными розами.Теперь Ангелика принадлежала ему, и он был счастлив. Он пел о ней в академии, пел ей в церкви, в семинарии, воспевал ее в серенадах, но свадьбу решил отложить до тех пор, пока не станет великим и могущественным. Скопив почти сотню риксдалеров, он решил сдать экзамен на звание капельмейстера и стать профессором и рыцарем. Но не успел он и шага ступить на этом славном пути, как в его жизни произошли перемены, превратившие почти все мечты в ничто.

Как-то в апреле, в воскресенье, господин Линдбум устроил у себя на Норра-Гатан пирушку с песнями. Среди гостей был первый тенор, шорник, и первый бас, кондитер — не кто иной, как хозяин крысоловки. Последний неустанно повторял историю о изюме и горчичном шнауцере, вызывавшую всеобщее веселье, а господин Лундстедт смиренно опускал голову и заверял, что никогда в жизни не лгал, а потому был уверен, что и другие говорят правду, ибо так научили его родители.

Пели допоздна, много выпили, а после отправились в «Сулен» ужинать. Вот уже убрано со стола, выпит пунш, товарищи было снова собрались петь, но тут дверь открылась и в залу вошел согбенный старик с мешком и тяжелым посохом.

— Вон отсюда! Ничего не получишь! — встретила его буфетчица, едва тот успел поздороваться и спросить, нет ли здесь Альрика Лундстедта.

Услышав свое имя, молодой человек оставил певческий круг и подошел к старику, правда, не с распростертыми объятьями (что и не принято на Роне, кроме как между людьми высшего сословия), а скорее в замешательстве и смущении, какое обыкновенно испытываешь при виде неимущих родственников.

— Вот я и приехал! — не протягивая руки, обратился старик к сыну. — Дай же мне что-нибудь поесть — у меня с самого Кальмара маковой росинки во рту не было.

— С Кальмара? Что вы делали в Кальмаре? — спросил Альрик, с досадой взглянув на жалкое платье отца.

— Ах, господи, это долгая история, дай я сперва, сяду, — ответил старик.

Их разговор слышал господин Линдбум. Неожиданная встреча отца и сына растрогала его впечатлительную душу, он поспешил дать волю чувствам, которые еще не вылились в песне, и, учтиво поклонившись, приблизился к старику, предложил ему руку и произнес:

— Что я слышу, неужели это сам господин Лундстедт — родной отец моего друга детства, если позволите, родитель нашего несравненного товарища! Не откажите же зеленым юнцам, будьте гостем в нашей веселой компании, высокоуважаемым и почетным гостем! Братья по песне, поднимем бокалы и встретим господина Лундстедта четырехкратным «ура»!

Прозвучали крики «ура», старику пришлось отложить посох с мешком и занять почетное место — так товарищи называли между собой кожаный диван.

— Я имел дерзость подслушать, что господин Лундстедт только что из Кальмара, — вынужден был начать господин Линдбум, так как отец и сын онемели от столь

торжественного приема. — Хорошо ли доехали? Повезло ли с погодой? Никаких приключений?

— Так я еще никогда не катался!

— Да что вы говорите! — прервал его господин Линдбум, который был большой охотник до приключений. — Расскажите, прошу вас! — И он сделал жест, словно приглашал товарищей отведать изысканное блюдо собственного приготовления.

Но старик оказался никудышным рассказчиком и лишь в нескольких словах сообщил, что в Нючёпинге сел не на тот пароход и вместо Стокгольма очутился в Кальмаре. В Стокгольм ему пришлось идти пешком, так как, пока он восемь дней ожидал парохода, все его сбережения кончились.

— Не может быть! — постоянно перебивал старика господин Линдбум и вставлял разные вопросы, чтобы добавить рассказу немного красок, но все впустую, так как, сообщив суть дела, старик замолчал. Он без особого интереса отнесся к предложению выпить пунша, но смотрел по сторонам так, будто чего-то искал. Кондитер по собственному опыту знал, о чем говорят подобные взгляды, и пришел голодному на помощь: он что-то прошептал Лундстедту-младшему, тот поднялся и предложил отцу подойти к стойке и отведать угощения. Оторопев при виде такого разнообразия блюд, старик застыл в долгом раздумье, и Альрику пришлось поставить перед ним большую плоскую тарелку, где лежало понемногу от каждого лакомства, так что все это напоминало огромный винегрет, бутылку с водкой и квас.

Как только старик утолил голод, веселье продолжилось с новой силой; старику спели «Волна — моя жизнь», кивками и голосом выделяя слова «пусть волны шумят и дуют ветра», намекая таким образом на ремесло Альрикова родителя.

Потом пили, и господин Линдбум произнес одну за другой три речи. Первая была о старости, ее неоспоримых достоинствах и преимуществах перед молодостью; вторая о море, этой величественной стихии и сокрытых в ней опасностях, а также о том, как рассказчик впервые плавал под парусом к Блокхюстуллен, потерпел крушение и спасся. Затем господин Линдбум поведал своим слушателям о суровом жребии рыбака, а шорник, которого рассмешили эти слова, закричал «браво!». Линдбум красочно описал, как в Мэларен закидывают и вынимают сети, а в Норрстрёме тащат волокуши и ловят корюшку, потом предложил выпить за сына морей, дух викингов, железную волю и повелителя бурь — тут в виде иллюстрации последовала песня «Как в гневе свирепствует бу-у-у-ря!», и кондитер в честь старика блистательно исполнил соло первого баса. В довершение всего Линдбум продекламировал «Ангелику» Мальмстрёма, тайно обращаясь к господину Альрику, юноша поднял свой бокал и с глазами полными слез и многозначительным выражением на лице произнес одно только слово: «Ангелика!»

Как подействовали эти многократные восхваления на Лундстедта-старшего, было бы непросто определить даже опытному наблюдателю. Старик, казалось, погрузился в думу и только кивал седой головой в такт песне, но никакого участия, благосклонности или признательности не выказывал. Господин Линдбум, однако, во что бы то ни стало хотел добиться от сына моря какого-нибудь рассказа о любопытном случае или приключениях и выжимал его, как лимон, обвивал дружественными речами и доил, как корову, но старик оставался бесчувствен, сворачиваясь, словно еж. Тогда господин Линдбум в осторожных выражениях спросил, не будет ли ему дозволено, в знак глубочайшего почтения называть старика «дядей». Это, мол, возвысит его, Линдбума, простого сына народа, и он сможет с большим правом называться братом такому гению, как Альрик Лундстедт. По окончании церемонии сердечный юноша предложил виновнику незабываемого торжества свой кров и постель.

Все поднялись и с песнями отправились домой. Постепенно певческие ряды поредели, и два товарища ввели почетного гостя с мешком и посохом в свою комнатушку. Господин Линдбум откинул покрывало и указал гостю его постель, сам же взял вещевой мешок, бросил на ковер с гондолой, сорвал с себя куртку, брюки и, пожелав всем спокойной ночи, лег, как отметил сам, рядом с дамой рыцаря.

Старик долго сидел на кровати и думал. Сын, который в течение всего вечера держался крайне сдержанно, словно боялся узнать что-то неприятное, набрался смелости и произнес:

— Ну, отец, удалось ли вам продать дом и имущество?

— Конечно, — ответил отец, — я сделал все так, как ты просил.

— А деньги? — послышался угасающий голос Альрика.

— Деньги все кончились!

Юноше этого удара промеж глаз было вполне достаточно, и он лег, притворясь спящим. Но в ту ночь он не спал, а думал. Думал, что делать с заблудшим, которого он выманил в мир, и как его кормить; думал о капельмейстерском экзамене, о профессуре и Ангелике, той ли, что он видел в церкви святого Иакова, или какой-то другой, — неважно.

В таких размышлениях он проводил ночные часы, тем временем как тишину то и дело нарушал господин Линдбум. На сквозняке горячее сердце несколько поостыло, и в случайно вырывавшихся словах чувствовалась тоска по теплой постели. Около пяти, когда рассвело, добрый самаритянин поднялся, в самом жалком расположении духа натянул брюки, взял особый ключ и выбежал во двор.

Вернувшись, он распахнул окна, уселся в кресло-качалку и принялся сам с собой в темных выражениях рассуждать о государственном попечении, законе о призрении бедных и людской непросвещенности, подразумевая скорее отсутствие здравого смысла, нежели книжных знаний. К счастью, красноречие господина Линдбума было слишком мудреным для полусонных слушателей, и в половине седьмого мрачный оратор ушел, окинув одежду старика взглядом, полным глубочайшего презрения, и так хлопнув дверью, что содрогнулся весь дом.

Отец и сын проснулись и стали обсуждать, что им делать дальше. В конце концов сын отдал отцу свои восемьдесят пять риксдалеров. Ссылаясь на упадок рыбной ловли в столице, он уговаривал отца вернуться домой. Старик, который воображал, что в Стокгольме его ждет приятная жизнь и не слишком вникал в происходящее, взял деньги и обещал уехать, как только осмотрит достопримечательности города. Условившись встретиться в обеденное время в «Сулен», отец и сын расстались.

В назначенный час старика в ресторане не оказалось, зато, вернувшись вечером домой, Альрик обнаружил его спящим в кровати товарища. Около десяти явился сам хозяин постели. Тут-то горячее сердце вспыхнуло, и казалось, дым от пламени вот-вот задушит беднягу: он онемел и даже не ответил на приветствия. Зашвырнув сапожного служку на печку, Линдбум несколько раз сплюнул и только тогда вновь обрел дар речи. Боясь, однако, показаться неучтивым, он выразил свои чувства

на том иностранном языке, которым хоть как-то владел. И, оставшись непонятым своими ближними, он нашел некоторое утешение в беседе с собственным гением.

— Der alte Schlingel stinkt wie ein Aas, und der kleine Bube ist ein blodsinniger Schmarotzer.[5]

— Линдбум, ты что, не в настроении? — спросил Лундстедт-младший, который, сидя за столом, сочинял гармонию.

— Я? Ну что ты! Вовсе нет! Напротив!

— Спи на моей кровати, а я лягу на пол! — предложил Альрик.

— Что ж, если хочешь, пожалуй! Но должен тебе кое-что сказать: предлагать человеку после долгой дороги такую узкую и неудобную постель невежливо. Ведь у тебя есть кое-какие сбережения — мог бы полюбезнее обойтись со стариком и снять ему комнату.

Альрик возразил, что старик скоро уедет и спорить не имеет смысла. На том и порешили.

Честолюбивые мечты Альрика терпели крах: он наспех сдал обычный экзамен на органиста и школьного учителя; старик, обосновавшийся в «Сулен», никуда не уехал, а господин Линдбум, осерчав на сожителя, в один прекрасный день нашел себе другую комнату и порвал с Альриком братские и дружеские отношения.

За восемь дней старик проел и пропил все деньги в компании друзей-сотрапезников, а каждый из них, какому бы классу общества ни принадлежал, обладал волчьим аппетитом и неутолимой жаждой.

В один прекрасный день Альрик оказался в затруднительном положении, словно был отцом шалопая-сына. Старик доставлял ему немало неприятностей: вечно появлялся там, где его не ждали, и совал нос не в свое дело. Стоял ли Альрик в Опере, когда давали «Вильгельма Телля», на самой вершине Альп, ожидая своего выхода, — на противоположной стороне, в облаках, он видел отца наготове с веревкой в руках. Шел ли юноша по Норрбру, где прохожие, свесившись через перила, смотрели на воду, — внизу, в лодке, сидел его старик и с таможенным смотрителем ловил корюшку. А как-то раз на воскресной службе отец заменял кальканта в самой церкви святого Йакова! Старик был везде, он проникал через закрытые двери, тихо, без слов просачивался внутрь, и его никогда не прогоняли. Но чаще всего его можно было застать в «Сулен», где он проводил долгие часы у стойки, плененный разнообразием блюд.

Альрик между тем распрощался со своими мечтами и теперь во время долгих богослужений представлял, будто свадьбу с Ангеликой пришлось отложить, пока девушка не состарится, не подурнеет и никто не захочет брать ее в жены — тогда она, возможно, согласится выйти за него. Он рисовал себе, какой она будет в старости: морщил рот, расставлял на лбу желчные пятна, накладывал под глаза умбру, как его научили в общей гримерке в Опере. Но Ангелика все равно оставалась красивой, и тогда он решил разделаться с ее отцом, как поступала обыкновенно госпожа Шварц,[6] если человек из народа брал себе в жены дворянку. Когда надежды его не оправдались и он увидел прямую, статную фигуру ее отца, графа, в элегантном сюртуке с шелковыми вставками на рукавах, он решил соблазнить ее, как Лассе Люцидор.[7] Но для этого нужно быть величиной и талантом, а он даже ни разу не играл на органе в церкви святого Иакова — все, что ему доверяли, это выдвигать регистры. Поэтому первейшей его целью стало сыграть хотя бы заключительную фугу; вся тоска его и влечение перенеслись на орган, в пылу страсти инструмент приобрел те совершенства, которыми мы обычно наделяем любимое существо. Оловянные трубы стали серебряными, красное дерево палисандром — самой прекрасной из всех известных господину Лундстедту пород, правда, никогда им не виданной; регистр «Vox humana» он называл отныне «Vox angelica» — это был ее голос, звучания которого он никогда не слышал. Рукоятки регистров с названиями на фарфоровых табличках, которые более всего напоминали надписи на аптечной полке, принимали, смотря по настроению пылкого выдумщика, разные таинственные очертания. Иногда они превращались в звонки на дверях большого дома, где жили красавицы, чьи имена были написаны на дощечках; иногда в пуговицы на платье Ледяной королевы. Кто такая эта Ледяная королева, никто, кроме господина Лундстедта, не знал, да и сам он никогда ее не видел. Наверно, она была огромного роста, так как костяные клавиши были ее зубы. Если бы кто-нибудь спросил господина Альрика, как такое возможно — ведь клавиатура на органе располагается в три ряда, то он бы ответил, что у Ледяной королевы три ряда десен, ибо он мог найти объяснение всему. Черные клавиши — это старые гнилые зубы, но, хотя Ледяной королеве исполнилась тысяча лет, она все так же юна, потому что каждый понимает юность по-своему, считал господин Альрик.

Как-то раз у господина Линдбума, когда его любовь к сыну моря еще не остыла, Альрик увидел «Универсум» Мейера,[8] а в нем — базальтовую пещеру на острове Стаффа.[9] С того дня орган превратился для юноши в большую базальтовую пещеру, а калькант[10] — в зачинщика бури Эола. Глубоко в пещере жил тролль, и достаточно было вытащить ручку одного регистра, чтобы тролль вылез из пещеры и она рухнула. Вот что послужило поводом для такой фантазии: однажды профессор показал ученику одну рукоятку, которую нельзя было выдвигать одновременно с некоторыми другими регистрами, так как орган мог сломаться и для починки инструмента пришлось бы взламывать пол. Господин Альрик называл эту рукоятку волшебной и иногда подолгу смотрел на нее. Когда никто не видел, он прикасался к ней, а когда грустил, хотел ее выдвинуть, чтобы немедленно раздался гул и грохот, орган со своими тяжелыми базальтовыми колоннами обрушился на него и он умер бы молодым, прекрасной славной смертью, на глазах Ангелики и самого Господа.

В таких играх и тяжелой работе незаметно пролетело студенческое время, и в один прекрасный день господин Лундстедт был готов к своему экзамену, после которого ему предстояло играть в присутствии профессора на церковном органе, а потом выйти в мир и приступить к обязанностям пономаря в родном приходе на Ронё./.../

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Северная церковная улица.

[2]Великолепно! Замечательно! (нем.)

[3]1 каппа = 4,6 литра.

[4]Известная в то время элегия «Ангелика» (1840) Бернхарда Элиса Мальмстрёма.

[5]Старый жулик — вонючий осел, а мальчишка — умалишенный приживальщик (нем.).

[6]Автор популярных романов Мари Софи Шварц.

[7]Скальда Лассе Люцидора (псевд. Ларса Юхансона, 1638–1674), который вовсе не славился любовными похождениями, часто путают с его тезкой, сыном священника Ларсом Юхансоном, которого обвинили (точно так же, как скальда Ларса Вивалиуса) в совращении благородной девицы. Эта ошибка есть в работе о Люцидорс (1876), написанной упсальским другом Стриндберга Йозефом Линком.

[8]Многотомная немецкая энциклопедия.

[9]Пещера Фингала на острове Стаффа.

[10]Калькант — человек, качающий мехи органа.

МИФЫ И АНТИМИФЫ

# Эллен Кей защищает Горького*

Константин АЗАДОВСКИЙ

Знакомое ныне лишь историкам литературы имя шведской писательницы Эллен Кей (1849—1926) было в свое время хорошо известно в России. Яркая фигура западноевропейского либерализма, Эллен Кей приобрела уже в конце XIX века чрезвычайную популярность как у себя на родине, так и за ее пределами — прежде всего своими педагогическими воззрениями, направленными против косных традиций старой школы, а также — страстными выступлениями в защиту прав женщины и ребенка. Ее очерки, статьи и книги («Век ребенка», «Женское движение», «Личность и красота», «Любовь и брак» и др.) переводились в 1905—1915 годах на русский язык; некоторые из них выдержали по несколько изданий.

До 1898 года Эллен Кей работала учительницей; затем преподавала (до 1903-го) в стокгольмском Рабочем университете. Хорошо ей знакомые проблемы воспитания и образования она рассматривала, как правило, в социальном аспекте. Не менее резко критиковала Э.Кей современное общество, обсуждая нравственные проблемы. Она писала о воспитании молодежи, о любви, свободной от буржуазного эгоизма и расчета, о социальных отношениях в семье, о браке, избавленном от неравенства. Идеальным, «гармоническим» сообществом Эллен Кей представлялось такое, в котором на первый план выдвигаются интересы матери и ребенка. Именно таким хотела она видеть мир уже в XX столетии, которое и назвала «веком ребенка».[1]

По общему характеру своей деятельности Эллен Кей тяготела к социализму. Публицистический пафос и литературное дарование Э.Кей способствовали ее популярности в Европе, хотя утопическая позитивная программа шведской писательницы, критиковавший современный мир с позиций «этического социализма», ее наивные надежды на нравственное обновление мира не раз подвергались оправданной критике.

Эллен Кей сыграла известную роль в культурном сближении Швеции и России. Как и многие западные интеллектуалы в конце XIX века, Эллен Кей была захвачена идеями о «русской душе», о «самобытном» русском характере и т. п. Она интересовалась Л.Толстым, чьи нравственно-религиозные взгляды и педагогические начинания были созвучны ее собственным (современники говорили о ней: «Толстой в юбке»[2]). Упоминания о Толстом и ссылки на его сочинения постоянно встречаются в ее работах. О культурной жизни России Эллен Кей писала в книге «В Финляндии и России» (1900). Многолетние дружеские связи соединяли писательницу с видными шведскими и немецкими пропагандистами и приверженцами русской культуры (среди них — А.-Ш.Леффлер-Эдгрен, Л.Андреас-Саломе, Максимилиан Гарден и др.). Через Леффлер-Эдгрен Э.Кей была знакома с известной писательницей и ученым-математиком Софьей Ковалевской, с которой часто виделась в последние дни ее жизни (русская писательница делилась с Э.Кей своими неосуществленными замыслами, сообщив ей, в частности, содержание повести «Нигилист» — о Чернышевском).[3] В этом плане закономерен и тот интерес, который Э.Кей проявляла в начале века к творчеству и личности М.Горького.

* * *

Имя Горького проникает на Запад в самом конце XIX века. Первый рассказ, опубликованный на немецком языке, был помещен в еженедельном берлинском журнале «Die Zukunft» («Будущее»); это издание, выделявшееся своей критической направленностью, возглавлял М.Гарден. В течение ближайших лет имя нового русского писателя обходит все круги русофильски настроенной западной интеллигенции. Эллен Кей

Эллен Кей.

был, несомненно, известен тот шумный резонанс, который произвело в России появление «Очерков и рассказов» Горького в 1898—1899 годах. В своей книге «В Финляндии и России» она упоминает о Горьком, характеризуя его как талантливого молодого писателя, испытавшего на себе сильное влияние Ницше. (Тем самым Э.Кей оказалась едва ли не первым из западных авторов, затронувших и поныне дискуссионный вопрос о близости раннего творчества Горького к ницшеанской философии.)

Однако наибольшую известность М.Горький получил на Западе как участник революционных событий в России. Неоднократные аресты писателя (в 1898-м и 1901-м), заточение в Петропавловскую крепость (в январе 1905-го) по обвинению в государственном преступлении, протесты писателей Запада (Г.Гауптмана, А.Франса, Т.Гарди и др.) против ареста Горького, его многочисленные общественно-политические выступления — все это создало Горькому ореол борца и мученика, представителя «молодой» России, носителя передовых революционных устремле-

*Данная публикация представляет собой расширенный вариант статей «Gorkij och Ellen Key» (Nyheter från Sovjetunionen. 1969. № 4. S. 28—29) и «О встречах Горького с Эллен Кей» (Русская литература. 1974. № 2. С. 186—189).

ний. Либеральная интеллигенция Германии восторженно встречала и чествовала русского писателя в Берлине, куда он прибыл, покинув Россию, со своей гражданской женой М.Ф.Андреевой[4] в феврале 1906 года. Среди тех, с кем лично общался Горький в Берлине, были Август Бебель, Герхарт Гауптман, Карл Каутский, Карл Либкнехт, Макс Рейнгардт...

Новая волна внимания к Горькому прокатилась по миру в апрелемае 1906 года, когда писатель находился в Америке. Как известно, Горький отправился в США с конкретной целью — найти средства для освободительного движения в России. В Нью-Йорке он встречается с репортерами, писателями, общественными деятелями. С приветственным словом к Горькому обращаются писатели Марк Твен и Уильям Дин Хоуэлс (оба изъявили готовность сотрудничать в «Комитете знаменитых американцев для помощи русской революции»). Однако через несколько дней в американских газетах начинается кампания против Горького. Поводом послужило то обстоятельство, что Горький и М.Ф.Андреева, состоявшие в гражданском браке, проживали в одной гостинице как супруги. Американцы усмотрели в этом дерзостный вызов общественной морали. В результате ожесточенной газетной травли ни один нью-йоркский отель не согласился принять гостей из России, и Горькому пришлось, в конце концов, воспользоваться приглашением супругов Престонии и Джона Мартин и переехать в их дом на Стейтен Айленд. Впрочем, среди американцев оказалось довольно много сочувствующих Горькому и его настроениям; в течение апреля-мая 1906 года М.Горький, покинув Город Желтого Дьявола, разъезжает по стране, выступает с публичными лекциями, зачастую носящими откровенно агитационный характер, пишет и публикует воззвания и памфлеты. Однако денег «на революцию» достать так и не удалось: было собрано лишь около десяти тысяч долларов.[5]

М.Горький с женой Е.П.Пешковой, сыном Максимом и дочерью Катей. Нижний Новгород. *1903 г.*

***

Чем бы ни была вызвана возникшая в Америке шумиха вокруг имени Горького — оскорбленным чувством «буржуазной морали» или желанием «реакционных кругов» дискредитировать писателя-«буревестника» (именно так подавалось это событие в советском горьковедении) — скандал в Нью-Йорке был воистину огромен. Об этом широко писали и русские, и западноевропейские газеты. Одним из откликов была публикуемая ниже статья Эллен Кей «Вопрос о Горьком».[6]

Написанная во второй половине 1906 года, статья Э.Кей затрагивала прежде всего ту сторону вопроса, которая в особенности интересовала шведскую писательницу, — общественную мораль. Громкий скандал, разыгравшийся вокруг Горького в Нью-Йорке писательница переводит в план общесоциальный и нравственный. Касаясь положения матерей-одиночек, воспитания детей, лишенных отцов, и т. д., она в сущности ставит под сомнение устои современного моногамного брака. Важно в этой связи отметить, что Эллен Кей была сторонницей не свободной любви, а любви по свободному выбору. В одной из ее работ читаем: «Вместо того чтобы отстаивать "свободную любовь" — понятие, имеющее различные значения и которым часто злоупотребляют, — следует бороться за свободу любви. Ибо в то время как первая означает свободу для всякой любви, последняя имеет в виду только свободу для такого чувства, которое достойно называться любовью».[7] Примером такого свободного союза любящих ей виделся, вероятно, гражданский брак Горького и М.Ф.Андреевой.

Статья Эллен Кей, написанная в защиту Горького, создала естественный повод для личного их знакомства, тем более что с осени 1906 года шведская писательница как раз находилась в Италии. Приехав на Юг для отдыха и работы, Эллен Кей планирует встречу с Горьким, только что вернувшимся из Америки и поселившимся с ноября 1906 года на Капри. Любопытно, что главным действующим лицом в предварительных сношениях Эллен Кей с Горьким оказался ее добрый знакомый Райнер Мария Рильке, проводивший зиму 1906—1907 годов на Капри на вилле своей приятельницы Алисы Фэндрих. Давний поклонник России и русской литературы, Рильке с вниманием присматривался к русскому писателю и тоже склонен был повидаться с ним. Впрочем, отношение Рильке к Горькому было куда сложнее, чем у Эллен Кей: крупный писатель, «художник» и «русский человек» (смиренный и набожный, по убеждению германского поэта) настолько не уживался в его воображении с «революционером» и «ниспровергателем», что даже саму «русскость» Горького он готов был поставить под сомнение.

«Здесь Горький, — пишет Рильке 14 декабря 1906 года[8] Александру Бенуа. — Я не принадлежу к его поклонникам (кто он такой рядом с вашими великими писателями, например, Достоевским!). Но если он русский человек, мне все же хотелось бы его как-нибудь повидать; потому что я испытываю жажду, голод, словом, тоску по русским людям».[9] «Но Бог знает, — продолжает Рильке по-русски, — кто он, Горкый; он живет богачом, капиталистом, социалистом, великим художником — но ест<ь> ли он русский человек?»[10]

В январе 1907 года Эллен Кей, отдыхавшая в Сиракузах, пишет Рильке: «Сообщи, как долго *ты* пробудешь на Капри. И как долго пробудут там Горький и Л.Андреев?[11] Мне хотелось бы повидать их обоих. Посылаю тебе мою статью о Горьком, которая вызвала в Швеции бурную полемику из-за моей "безнравственности". Передай ее Горькому и помоги с переводом, если он не поймет».[12]

«Твоя статья о *Горьком*, которую я должен был получить, *не* дошла, — отвечает ей Рильке 9 февраля. — Неужели она потерялась? Горький, по-видимому, останется здесь надолго. Я с ним не знаком и стараюсь соблюдать осторожность при каждом новом знакомстве, тем более что и здесь, и в Неаполе он создает себе шумный успех в качестве агитатора,

что вовсе не способствует моему сближению с ним».[13]

11 февраля 1907 года Рильке сообщает жене Кларе Рильке-Вестхоф, что «Эллен Кей, которая еще в Сиракузах, приедет в начале марта в Неаполь, где будет гостить у герцога Кайянелло, мужа Шарлотты Леффлер,[14] приятельницы Сони Ковалевской. Потом она, видимо, приедет и сюда».[15] 27 февраля Рильке информирует Эллен Кей: «Ты в любом случае сможешь увидеть здесь Горького и Леонида Андреева. Слух об отъезде Горького оказался ложным. Говорят, он останется здесь до июня».[16] 9 марта Эллен Кей, предупреждая Рильке о своем приезде «во вторник» (т.е. 12 марта), пишет: «Я уже написала Горькому и получила в ответ любезную телеграмму».[17] 11 марта Рильке передает австрийскому писателю и переводчику Зигфриду Требичу, покидающему Капри, письмо для Э.Кей, в котором желает ей «счастливого пути» (из Неаполя на Капри).

На другой день, 12 марта 1907 года, Эллен Кей приезжает на Капри и сразу же отправляется к Горькому. Подтверждением состоявшейся встречи служит запись от 12 марта в дневнике К.П.Пятницкого (ближайшего в то время сподвижника Горького): «Около трех пришла Эллен Кей. Немного похожа на Засулич.[18] Если б не она, мы должны были уехать сегодня. М<ожет> б<ыть>, отправимся завтра».[19]

К.П.Пятницкий имеет в виду запланированный им и семейством Горького отъезд в Неаполь и Рим (отъезд состоялся 14 марта; путешествие продолжалось до 25 марта). А Эллен Кей задержалась на Капри и покинула остров лишь утром 16 марта.

О чем говорили Горький и Эллен Кей, можно судить лишь весьма приблизительно. Конечно, о статье Эллен Кей и тех проблемах, которые в ней затронуты. Затем — об Италии, итальянской литературе и писателях, находившихся в то время в Италии. 26 апреля 1907 года Эллен Кей пишет М.Ф.Андреевой (из Рима): «Прежде всего мне хотелось бы Вас сердечно поблагодарить за незабываемые часы, проведенные в Вашем доме на Капри. Во-вторых, спросить, как перенес путешествие Ваш муж? <...> Здесь я встречаюсь с очень интересной парой — Джованни Чена[20] и Сибиллой Алерамо (как подписывает свои книги госпожа Фаччо),[21] которая состоит с Чена в гражданском браке. Вы знаете, что он редактор "Нуова Антолоджиа", очень влиятельный и интересный духовно человек. Если прибудете в Рим, не премините их посетить. Они очень просят об этом».[22] В этом же письме упоминаются польский писатель Стефан Жеромский (1864—1925), познакомившийся с Горьким и Л.Андреевым на Капри в феврале 1907 года, и «госпожа Вольская»,[23] чей флорентийский адрес Э.Кей просит ей сообщить.[24]

Можно, однако, с уверенностью утверждать, что во время беседы Эллен Кей упомянула о Р. М. Рильке и заочно рекомендовала его Горькому. 3 апреля она пишет Рильке: «Посылаю тебе открытку для Горьких;[25] не упусти возможности нанести им визит. Он многое тебе даст, и ты можешь спокойно сказать, что не можешь их пригласить *к себе*, поскольку и сам в гостях, не правда ли?»[26]

Закончив 10 апреля большую работу (перевод сонетов Э.Баррет-Броунинг), Рильке, наконец, преодолевает свои сомнения и отваживается навестить русского писателя. Встреча состоялась 12 апреля. «Я должен передать тебе большой привет от Горьких, — рассказывает Рильке Эллен Кей 18 апреля 1907 года. — На днях, в пятницу вечером, я провел у них целый час. Было мило и радостно видеть и слышать его; улыбка с глубокой уверенностью пробивается сквозь всю печаль его лица. Очень просто и верно говорит он о Верхарне и Гофманстале. Но "демократ", который лезет из него наружу, все-таки тягостно стоит между нами. Препятствие это тем более ощутимо в данном случае, поскольку революционер, как мне кажется, вступает в противоречие и с художником, и с русским человеком; в самой сокровенной сути у них обоих так много причин *противиться* революциям, ведь ничто так не существенно для обоих, как терпеливость, и нет ничего более естественного ни для одного, ни для другого».[27] Из письма Рильке к Карлу фон дер Хайдту от 3 мая 1907 года можно дополнительно узнать, что беседа поэта с Горьким протекала за столом, за которым сидели «его теперяшняя жена» и «несколько русских, которые были мрачны и не обращали на меня никакого внимания». При всем этом, пишет далее Рильке, Горький — «человек большой и трогательной доброты (той доброты, которая все время мешает великим русским оставаться только художниками), и воистину трогательно видеть на совершенно неподготовленном лице следы великих мыслей и редкую улыбку, что с усилием проступает из глубины, будто ей приходится пробиваться сквозь твердую невозделанную поверхность. Примечательной была атмосфера безымянного и анонимного равенства, в которую я попал сразу же, как только мы расселись за круглым столом. Каким-то потусторонним кажется мир, где пребывают эти изгнанники, а глаза их как будто устремлены назад к той земле, что зовется Россией и вернуться в кото-

М.Ф.Андреева на вилле «Сеттани». Фотография Ю.А.Желябужского. Капри. *1907 г.*

рую им совсем-совсем невозможно».[28]

Из переписки Рильке и Эллен Кей видно, что шведская писательница ждала новой встречи с Горьким и М.Ф.Андреевой в Риме (о чем, по-видимому, между ними была достигнута предварительная договоренность). «Дорогой Райнер Мария, — пишет Э.Кей Рильке из Рима 30 апреля, — будь любезен и *сейчас же* передай Горьким, что я нахожусь теперь (со 2 по 6 мая) в Сабинских горах. Я вернусь 7 мая на Виа Венето 51, пусть они *тебе* скажут (а ты напиши мне), *когда* они приедут и *где* остановятся, на тот случай, если я могу их навестить. 8 (или 9) я *окончательно* покидаю Рим...».[29] Исполнил ли Рильке эту просьбу — неизвестно. Горький, действительно, предполагал быть в Риме 1 мая 1907 года и уже договаривался о встречах. Однако планы его неожиданно изменились. «В Рим не поехал, — сообщает он Е.П.Пешковой 1 мая 1907 года, — ибо итальянцы, вместо празднования 1-го мая, задумали устроить демонстрацию лично мне, причем пригласили на

нее всяких "демократов", сиречь — буржуа, выступать же пред лицом последних — нет охоты».[30] Вместо Рима Горький отправился 2 мая в Берлин, оттуда (в одном купе с Лениным) — в Лондон на V съезд РСДРП. На Капри он возвратился лишь 1 июня.

Однако запланированная — вторая — встреча Горького с Эллен Кей все-таки состоялась, хотя и не в Риме, а во Флоренции, где Горький, М.Ф.Андреева и Зиновий Пешков, приемный сын Горького, живут с 21—22 октября по 2 декабря 1907 года. Эллен Кей тем временем ждала их в Риме. 13 ноября 1907 года она отправляет Горькому и М.Ф.Андреевой открытку с просьбой о встрече. 14 ноября 1907 года М.Ф.Андреева пишет (из Флоренции) Джованни Чена: «Вчера мы получили открытку от Эллен Кей — мы будем счастливы встретиться с ней в Риме, где мы рассчитываем быть через пять-шесть дней».[31] Однако Горький задержался во Флоренции (простуда и иные обстоятельства) — в Рим он приехал лишь 3 декабря, где и познакомился, наконец, с итальянской парой, также соединенной гражданским браком.[32] Получив известие о задержке, Эллен Кей сама отправилась во Флоренцию, по-видимому, лишь для того, чтобы повидаться с Горьким и М.Ф.Андреевой. В письме к К.П.Пятницкому (около 23 ноября) Горький пишет: «Явилась Эллен Кей, говорит о любви, о женщинах, славная она старуха, но — очень уж наивна».[33]

Впечатление Горького от Эллен Кей, как свидетельствуют эти слова, окрашено было легким разочарованием и без труда уловимой двойственностью. С одной стороны, он отнесся к шведской писательнице, своей почитательнице и «защитнице», с несомненной симпатией и доброжелательностью. Спустя несколько месяцев, беседуя на Капри с петербургским коллекционером и переводчиком Ф.Ф.Фидлером, Горький вспомнил о недавнем визите Рильке и Эллен Кей. «Оба ему очень понравились», — отметил Фидлер в своем дневнике.[34] При этом разговоре присутствовал писатель А.А.Измайлов, который в своей статье, написанной через несколько дней, также упомянул о Рильке и Эллен Кей.[35]

Эллен Кей должна была привлечь к себе внимание Горького еще и потому, что была *шведской* писательницей; Горький же питал к скандинавской литературе особое уважение. В молодости он увлекался произведениями А.Стриндберга, К.Гамсуна; позднее — С.Лагерлёф.[36] Не исключено, что Горький расспрашивал Эллен Кей о ее шведских соотечественниках.

С другой стороны, Горький, в то время ярый сторонник революционной борьбы, мог лишь скептически воспринять «социалистические» теории Э.Кей, пропагандировавшей нравственное усовершенствование жизни и тотальную реконструкцию общества в пользу матери и ребенка. В тот момент, когда писатель встретился на Капри с Эллен Кей, в Америке печаталась (на английском языке) «революционная» повесть «Мать», вскоре запрещенная в России. Мораль Горького сводилась к переустройству общества в пользу пролетариата; мораль Эллен Кей — к преодолению «буржуазных предрассудков». Вполне естественно, что рассуждения Э.Кей «о любви» показались Горькому «наивными». Скрестившись на почве европейского социализма, их пути затем полностью и навсегда разошлись.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Первое русское издание этой книги (*Кей Э.* Век ребенка / Пер. с нем. Е. Залога и В. Шахно. Под ред. и с предисл. Ю.И.Айхенвальда. М., 1905) имелось в библиотеке Горького (см.: Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание в двух книгах. Кн. 1. М., 1981. С. 324).

[2]*Павлов Андрей.* Эллен Кей // Русская школа за рубежом (Прага). 1926. Кн. 21—22. С. 400—403.

[3]См. подробнее: *Ковалевская С.В.* Воспоминания. Повести к 125-летию со дня рождения. М., 1974. С. 521—522.

[4]Мария Федоровна Андреева (урожд. Юрковская; в первом браке Желябужская; 1868—1953) — актриса Московского Художественного театра в 1898—1906 гг. Член Российской социал-демократической партии с 1904 г. (Горький вступил в РСДРП осенью 1905 г.).

Знакомство М. Ф. Андреевой с Горьким состоялось в 1900 г.; в конце 1903 г. она стала его гражданской женой (исполняя в течение ряда лет функции секретаря, переводчика и т. п.).

В 1912 г. возвратилась в Россию. После 1917 г. занимала ряд видных административных должностей.

[5]О пребывании М. Горького в США см. подробнее: *Бродская С.Я.* О деятельности М. Горького в Америке в 1906 году (по материалам американской печати) // М.Горький в эпоху революции 1905—1907 годов: Материалы, воспоминания, исследования. М., 1957. С. 388—408; *Ганелин Р.* М.Горький и американское общество в 1906 году // Русская литература. 1958. № 1. С. 200—222.

[6]Статья Эллен Кей, написанная по-шведски, печаталась в августе 1906 г. в ведущих скандинавских газетах. Первая среди известных публикаций — на датском языке в копенгагенской газете «Politiken» (23 августа); через несколько дней — в ежедневной стокгольмской газете «Dagens Nyheter» (25 августа) под общим заголовком «Gammal och ny sedlhet. Ellen Key om det amerikanska portföbudet mot Gorkij och hans följeslagarinna» («Старая и новая нравственность. Эллен Кей об американском отказе принять Горького и его подругу»); в тот же день (под измененным заглавием) в газете «Arbetet» (Мальмё). Сообщено Магнусом Юнггреном, которому приношу искреннюю благодарность за помощь в работе.

Через несколько месяцев статья Э.Кей появилась в Германии. См.: *Ellen Key.* Die Gorki-Frage // Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik («В защиту матери. Журнал по реформе сексуальной этики»). 1907. Januar. S. 3—8. Перевод, помещенный ниже, сделан с немецкого текста. На русском языке публикуется впервые.

[7]*Эллен Кей.* Любовь и брак: Очерки. Перевод под редакцией В.М.Невежиной. М., 1907. С. 125.

[8]Все даты — по новому стилю.

[9]См.: Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. Издание подготовил К.Азадовский. СПб., 2001. С. 203.

[10]Там же (с сохранением особенностей оригинала).

[11]После смерти своей жены А.М.Велигорской (в ноябре 1906 г.) Леонид Андреев уехал к Горькому на Капри, где прожил с декабря 1906 г. по май 1907 г.

[12]Цит. по: *Rainer Maria Rilke — Ellen Key.* Briefwechsel. Mit Briefen von und an Clara Rilke-Westhoff. Hrsg. von Theodore Fiedler. Frankfurt a. M.; Leipzig, 1993. S. 183.

[13]Ibid. S. 185.

[14]Анна-Шарлотта (Карлотта) Леффлер (Leffler; 1849—1892) — шведская писательница, сестра математика Геста Миттаг-Леффлера, привлекшего С.В.Ковалевскую к профессорской деятельности в Стокгольме. В 1872 г. вышла замуж за советника (начальника округа) Г.Эдгрена; в 1889 г. развелась с ним и вышла замуж за итальянского математика П. дель Пеццо, ставшего после смерти отца герцогом ди Кайянелло.

А.-Ш.Леффлер была близким другом Софьи Ковалевской и оставила воспоминания о ней, переведенные на многие языки. См.: Софья Ковалевская. Воспоминания А.-Ш.Леффлер, герцогини ди Кайянелло. Перевод со шведского М.Лучицкой. С приложением биографии А.-Ш.Леффлер, составленной Эллен Кей и с 2 портретами. Издание редакции журнала «Северный вестник». СПб., 1893.

У герцога ди Кайянелло был свой дом в Неаполе, в котором, видимо, и гостила Э. Кей в 1907 г.

[15]*Rilke R.M.* Briefe aus den Jahren 1906—1907. Leipzig, 1930. S. 188.

[16]*R. M. Rilke — E. Key.* Briefwechsel. S. 186.

[17]Ibid. S. 187.

[18]Имеется в виду известная русская революционерка В.И.Засулич (1849—1919).

[19]Архив А.М.Горького. Фонд Пятницкого. 1237. Д — Пят., 1907. Л. 18.

[20]Джованни Чена (Cena; 1870—1917) — итальянский поэт, журналист.

[21]Сибилла Алерамо (Aleramo; наст. имя и фамилия Рина Фаччо; 1876—1960) — итальянская писательница.

[22]Цит. по: Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Доку-

менты. Воспоминания о М.Ф.Андреевой. Сост., статья и коммент. А.П.Григорьевой и С.В.Шириной. М., 1968. С. 691.

[23]Вероятно, имеется в виду актриса Валентина Николаевна Вольская (урожд. Лукьянова; 1881—1971), жена экономиста, социолога, писателя и журналиста Н.В.Вольского (литературный псевд. — Н.Валентинов; 1879—1964), в начале 1900-х гг. — активного социал-демократа (в 1905—1917 гг. — меньшевика), с 1930 г. — эмигранта, автора известных книг «Встречи с Лениным» (1953), «Два года с символистами» (1969; издана посмертно Г.П.Струве) и др.

[24]Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 2052. Оп. 1. Ед. хр. 32. Оригинал — на немецком языке.

[25]Имеются в виду М.Горький и М.Ф.Андреева.

[26]*R. M. Rilke — Ellen Key*. Briefwechsel. S. 191.

[27]Ibid. S. 194.

[28]*Rilke R.M.* Briefe an Karl und Elisabeth von der Heydt 1905—1922. Hrsg. von Ingeborg Schnack und Renate Scharffenberg. Frankfurt a. M., 1986. S.133.

О встрече Рильке с М. Горьким см. подробнее: *Salgaller E.* Strange Encounter // Monatshefte fur deutschen Unterricht, Sprache und Literatur. Vol. LIX. Nr. 1. 1962. S. 11—21; *Азадовский К., Чертков Л.* Р.М.Рильке и А.М.Горький // Русская литература. 1969. № 4. С. 185—191; B.Lengyel Gorkij über Rilke — Rilke über Gorkij // Studia Slavica (Budapest). 1975. T.XXI. Fasc. 1—2. P. 191—198; *H.Nalewski.* Rainer Maria Rilke und seine Zeit. Leipzig, 1985. S. 110—113; и др.

[29]*R.M.Rilke — Ellen Key*. Briefwechsel. S. 197. После слов «...напиши мне» Э.Кей делает примечание: «Потому что от русских никогда не добьешься ясности».

[30]*Горький М.* Полн. собр. соч. Письма. Т. 6. 1907 — август 1908. М., 2000. С. 45.

[31]Мария Федоровна Андреевна. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. С. 157.

[32]Переписка Горького и М.Ф.Андреевой с Дж. Чена и С.Алерамо, охватывающая 1907—1928 гг., опубликована в кн.: Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами (Архив А.М.Горького. Т. VIII). М., 1960. С. 240—253.

[33]*Горький М.* Полн. собр. соч. Письма. Т. 6. 1907 — август 1908. С. 104.

[34]Запись от 7 июля 1908 г. См.: *Азадовский К.* Ф.Фидлер. Встречи с Горьким // Литературное обозрение. 1984. № 8. С. 106.

[35]*Измайлов А.А.* У М.Горького на о. Капри // Биржевые ведомости (веч. вып.). 1908. № 10593. 8 (21 июля). С. 3.

[36]Вопросу о связях Горького со скандинавским литературным миром посвящены следующие работы: *Михайловский Б.В.* Горький и Ибсен // Вопросы литературы. 1958. № 3. С. 31—62; *Михайловский Б.В.* Горький и скандинавские литераторы // Филологические науки. 1960. № 2 (10). С. 90—98; *Шатков Г.В.* М.Горький и скандинавские писатели // Горький и зарубежная литература. М., 1961. С. 82—107. *Фредериксен Н.* Горький в Норвегии // Горьковские чтения 1961—1963. Драматургия и театр. М., 1964. С. 196—202. (Имя Эллен Кей ни в одной из этих работ не упомянуто.)

# Вопрос о Горьком

## Эллен КЕЙ

Любовные отношения взрослых людей никак не должны волновать общество. В эротической области перед ним лишь две задачи: защищать детей и незрелую молодежь и в этой, как и в любой другой области, карать обман и насилие. Во всем остальном общество не имеет ни права, ни обязанности надзирать за сферой эротической жизни. Долг каждого взрослого человека — заботиться о самом себе, но никто не может быть сто-рожем брату своему.

В течение последних шести месяцев не раз представлялся повод подчеркнуть это обстоятельство — в связи с дискуссией о том, как обошлись с Горьким в Америке.

Горькому надлежало лишь уладить отношения с женой, которую он оставил,[1] а его возлюбленной — со своим оставленным мужем.[2] Насколько мне известен образ мышления молодой России, я считаю вполне вероятным, что все и уладилось, то есть достигнуто взаимное дружеское соглашение. Нынешняя спутница Горького и есть его настоящая жена, тогда как другая, которая до сих пор законно носит его имя, таковой не является. Поэтому — в более глубоком смысле — Горький имеет право называть женой свою нынешнюю спутницу. На этот счет у него есть знаменитые образцы, среди коих хочу напомнить о госпоже Джордж Элиот, именовавшей себя госпожой Льюис, хотя ее мужу не удавалось развестись с первой женой.[3]

Здесь я слышу хор голосов: Ну а дети! Вы забыли о детях!

Вовсе нет! Дети Горького, насколько мне известно, остались с матерью.[4] И я не слышала, чтобы кто-либо упрекал Горького в том, что он не печется о своих детях.

Жить с матерью на содержании у отца — не такой уж несчастный удел для ребенка. Оставить при себе детей и получать от их отца поддержку — вот, собственно, все, что может требовать деликатная женщина от мужчины, который ее больше не любит. И это также все, что может требовать общество от мужчины, бросающего мать своих детей ради другой женщины.

Если, однако, Горький — вопреки моему предположению — уклонился от выполнения всех обязательств по отношению к своим близким, тогда вопрос ставится иначе. Но пока это не подтвердилось, я не вижу серьезного повода для общественного возмущения. Тот факт, что Америка все же возмутилась — во главе со старым насмешником Марком Твеном — доказывает, что этот человек истощил, видимо, весь запас своего остроумия.[5] Иначе он поставил бы перед американцами следующий простой вопрос:

По какой причине считается в Америке нравственным пять-шесть раз подавать в одном месте официальное заявление о регистрации брака, а затем в другом месте — о его расторжении и, напротив, считается безнравственным не утруждать инстанции, как это сделал Горький, подобными заявлениями?

И снова я слышу возглас: что же это за брак, не получивший санкцию со стороны общества?

Этот вопрос для меня не серьезен. Серьезный вопрос звучит так: как нам освободиться от нынешней формы брака и вместе с тем защитить детей, которые явились на свет как плод свободной связи и взаимной любви?

Я уже указывала на единственный путь, ведущий, на мой взгляд, к этой цели: общество должно прийти к пониманию, сколь жизненно важно для него самого — а не только для счастья отдельных личностей! — чтобы мужчины могли как можно раньше и в достаточной степени себя обеспечивать; это дало бы им возможность вносить свою долю в обеспечение своих детей, к чему соответственно их принуждал бы и закон, точно так же, как общество в отдельных случаях выплачивало бы матерям за их воспитательную работу определенное вознаграждение, часть которого они смогут использовать на нужды детей.* Далее: общество должно пересмотреть в своих законах и воззрениях границы нравственности так, чтобы они соответ-

*В связи с этим требованием я выставляю еще одно: женщины должны в том же возрасте, что и мужчины, исполнять воинскую повинность, наподобие мужской! Эта повинность должна включать в себя воспитание детей и уход за ними, общеоздоровительные мероприятия и заботу о больных, а также — ведение *современного* домашнего хозяйства.

Если кто-то, может быть, подумает, что я вижу в этой женской повинности единственно необходимое для женщины высшее образование, хочу напомнить, что везде и всюду, касаясь вопроса о воспитании, я всегда подчеркивала, что как начальная, так и специальная и высшая школа должны иметь совместное обучение детей и юношества обоего пола; что целью учебы для девочек, как и мальчиков, должна быть определенная *профессия*, при помощи которой они смогут зарабатывать свой хлеб насущный. Женская воинская повинность должна стать для каждой здоровой девушки подобием воинской службы, которую несет каждый здоровый юноша.

ствовали не той диковинной форме законности, что достигается ныне через брачный обряд, а высокому и серьезному чувству ответственности за развитие ребенка — ответственности, которая налагает на отца и мать *бóльшие* обязательства, чем просто содержание ребенка. А что Горький намеревается уклониться от *этих* жизненных обязательств — такого рода сведений нет! Глубоко безнравственными должны считаться родители, снимающие с себя ответственность за своих детей или дающие жизнь детям, наследственно отягченным, — вот новая нравственность, для которой требуются общественное здоровье и совершенствование человечества. А вопрос, от кого появились дети, рожденные любящими и жизнедеятельными родителями, — от людей, состоящих в браке или разведенных, — не имеет ни малейшего отношения ни к общественному здоровью, ни к усовершенствованному человечеству. Это доказывают родовые обычаи и законы, принятые как у некоторых современных народов, так и у наших собственных северных отцов.

Не подлежит сомнению, что детям, вырастающим возле одного семейного очага, не приходится страдать от того, что у них разные родители. Недавно я слышала, как одна пышная баварская крестьянка, ничуть не смущаясь, давала пояснения одной моей знакомой даме насчет своих семейных обстоятельств:

«Мальчонка тот — мой, это я еще замужем не была; а другой — мужнин, он тогда еще холостяком ходил; а девчушка от меня и мужа, это мы еще не поженились; а самая маленькая, та после свадьбы родилась».

Отношения, наподобие этих, не идеальны, но, несомненно, более нравственны, нежели уклад, при котором умерщвление младенцев стало в некоторых странах повседневным явлением (в Баварии это — редкость), и равным образом более нравственны — с точки зрения рода, — нежели вечные браки, длящиеся до тех пор, пока мужчина — состарившийся и облысевший — в состоянии «обеспечивать жену и детей». Мы надеемся, что социализм построит новое общество и оно сумеет — означенным мною или же иным, лучшим способом — защитить детей, избавив одновременно и взрослых от насильственных уз брака.

Свободный брак Горького — одна из многих примет нашего времени, свидетельствующих, что чувство совести в новых людях признает лишь любовь как нравственную основу эротического сожительства.

Если этот новый нравственный принцип найдет понимание у большинства, тогда люди приблизятся к истинной моногамии — тому идеалу, к которому род людской пробивался сквозь бесчисленные формы опыта; одной из них является нынешний брак, отслуживший свою службу, но еще сохраняющий — для стоящих на более низком уровне — свое полноценное значение. Но те, что, подобно Горькому, по зрелому размышлению отбрасывают прочь уже ненужные формы, способствуют созданию новой и более совершенной. И они делают это с тем большим успехом, чем более им удается превратить их свободную совместную жизнь с любимым человеком в счастливую, их самих и все вокруг преображающую.

Когда Америка закрыла свои жилища для одного из тех мужчин, что всего щедрей одаривают мир прекрасными творениями, и для женщины, которая, не огражденная законом, делит с ним его бурную жизнь, — в этот момент Америка действовала как страна низкого уровня культуры, так же как и в случае с Уотсом, когда она отказалась принять в дар его великое произведение «Любовь и Жизнь», потому что юношеская фигура Любви и девическая фигура Жизни были обнаженными.[6]

Один грех влечет за собой другой. Если перед взором американцев оставалась бы картина Уотса, то они, возможно, не проявили бы теперь столь глубокое непонимание истины: любовь священна, где и когда ни опиралась бы на нее жизнь в своем мучительном странствии!

### ПРИМЕЧАНИЯ

[1]В 1903 г. М.Горький расстался с Е.П.Пешковой( урожд. Волжиной; 1878—1965) — своей женой с 1896 г.

[2]Андрей Алексеевич Желябужский (1850—1932), первый муж М.Ф.Андреевой, служил контролером Курской и Нижегородской железных дорог; состоял членом Общества искусства и литературы, членом правления Российского театрального общества; в советское время работал в Рабкрине.

[3]Речь идет о писательнице-романистке Джордж Элиот (наст. имя — Мария Анна (Мэри Энн) Ивенс; Evans; 1819—1880). Дочь сельского плотника, ставшая одной из наиболее образованных и блестящих женщин своего времени, она вступила в гражданский брак с философом-позитивистом и писателем Дж.-Г.Льюисом (1817—1878), чем вызвала гнев и негодование своей среды. Джордж Элиот была знакома с Софьей Ковалевской, написавшей впоследствии «Воспоминания о Джордже Эллиоте» (1885).

[4]Максим Пешков (1897—1934), сын М.Горького; после того как родители разошлись, остался с матерью. Катя Пешкова, дочь Горького и Е.П.Пешковой, умерла в пятилетнем возрасте в августе 1906 г.

[5]Известный американский писатель Марк Твен (Twain; наст. имя и фамилия — Самюэль Ленгхорн Клеменс; 1835—1910) вошел в 1906 г. в «Комитет для помощи русской революции» и тепло встречал М.Горького в Нью-Йорке; однако после вспыхнувшего скандала уклонился от общения с русским писателем. «Даже сам Марк Твен, — вспоминал Н.Е.Буренин, — в ответ на наши телефонные звонки к нему вдруг занемог и скрылся из виду, а ведь только накануне он обнимал Горького и уверял его в своей необычайной к нему любви» (*Буренин Н.Е.* Из книги «Памятные годы» // М.Горький в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1981. С. 235). Между прочим, сам Горький не склонен был обвинять маститого писателя. «Не следует также нападать на почтенного Марка Твена, — отметил он в открытом письме в редакцию петербургской газеты "Двадцатый век". — Это превосходный человек, но — он стар, а старики очень часто неясно понимают значение фактов...» (*Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Статьи 1895—1906. М., 1953. С. 393; письмо Горького не было опубликовано).

[6]Имеется в виду английский живописец Джордж Фредерик Уотс (Watts; 1817—1904), автор символической композиции «Любовь и Жизнь» (1885).

*Перевод и примечания К.Азадовского*

---

Не соглашусь с возражением, что ведь многие женщины отнюдь не становятся матерями или домохозяйками! Ибо в любой жизненной ситуации женщине могут быть предъявлены определенные требования, и она, имея за спиной вышеупомянутую воинскую повинность, сможет как *человек* и *гражданин* добиться большего успеха.

Тот же, кто полагает, что подобная повинность слишком дорого обойдется для государства, забывает, сколько миллионов можно было бы сэкономить, если бы женщины *всех сословий* обладали и умели пользоваться вышеназванными навыками! А те, что надеются, будто женщина может быть полностью освобождена от домашней работы и ухода за детьми благодаря коллективным учреждениям, не думают, во-первых, о том, что такой «коллективизм» вряд ли возможен, пока значительная часть населения живет в сельской местности. А во-вторых, они не учитывают, что самое лучшее общественное заведение в состоянии удовлетворить *глубочайшие* потребности ребенка куда менее, нежели самая обыкновенная хорошая семья, и что наилучший воспитатель, опекающий дюжину детей, неизбежно становится *посредственным* воспитателем! Ибо каждое общественное заведение призвано до известной степени нивелировать различия, и *лишь семейный очаг* способен в действительности — а не только в теории — дать ребенку индивидуальное воспитание.

Наконец, совершенно правы те, которые полагают, что некоторые матери плохо воспитывают своих детей. Но и они неправы, заявляя, что в качестве ответной меры следует всех таких детей отдавать в какое-либо учреждение «прирожденным воспитателям». Потому что, во-первых, число «прирожденных воспитателей» значительно ниже, чем число хороших матерей, а во-вторых, именно *благодаря воспитанию* многие учителя и превращаются в *хороших* воспитателей! Разве нельзя *путем воспитания материнства* воспитывать и *матерей*?! Да не только матерей, но и отцов придется со временем воспитывать для *отцовства*! И однажды, когда мы достаточно продвинемся вперед, мы будем считать столь же важным, чтобы мужчина умел воспитывать своих детей людьми, сколь ныне считается важным сделать из него воина и научить его убивать других!

# «Покой мне не в укор, а просто кара...»

## (О Сергее Петрове)

Валерий ШУБИНСКИЙ

### 1

Во многих поэзиях — почему-то чаще всего у англичан и американцев — такое бывало: через тридцать (Эмили Дикинсон, Джеральд Хопкинс), пятьдесят (Блэйк), даже двести лет (преподобный Эдвард Тейлор) из полного небытия, из совершенной безвестности всплывает крупный поэт — и все хрестоматии приходится пересоставлять.

Россию с такой практикой познакомило XX столетие. Речь идет даже не о гениях Серебряного века, «открытых» на рубеже шестидесятых, — существовал, пусть небольшой, слой читателей, которым не нужно было объяснять, кто такие Мандельштам и Цветаева (другое дело, *где* были эти читатели и чем им приходилось заниматься: от рубки леса до сверки рукописей...). Но когда еще десятилетие спустя из архива Якова Друскина извлекли рукописи Хармса и Введенского, перевернувшие историю не только русской, но и мировой литературы XX века — кто, кроме двух-трех-четырех личных знакомых, мог бы предсказать подобное? И когда «Роза мира» Даниила Андреева стала супербестселлером — это тоже, хотя и по другим причинам, стало неожиданностью. Середина XX века еще, судя по всему, предъявит русскому читателю немало неожиданного (могла бы — еще больше, если бы рукописи в самом деле не горели). Одна из таких неожиданностей — поэзия Сергея Петрова (1911—1988).

Впрочем, не очень даже понятно, к какой эпохе отнести его творчество. Ведь лучшие стихи Петрова написаны в 1960—70-ее годы, во времена уже иные — и куда более благополучные. Теоретически его судьба могла сложиться так же, как у его (почти что) сверстника Арсения Тарковского... Но не сложилась. Петров был знаком со многими представителями ленинградской «второй культуры», несколько раз участвовал в домашних поэтических чтениях. Но в самиздате его тексты хождения не имели. Да и слишком уж многое отделяло Петрова от его молодых приятелей — возраст, жизненный опыт, творческий генезис, наконец — какой-никакой «писательский» статус. Лишь в 1983-м хорошая, представительная подборка его стихотворений, увидевшая свет на страницах журнала «Таллин», привлекла внимание любителей поэзии.

Смерть поэта совпала с началом эпохи перемен. Казалось бы, они должны были сказаться и на судьбе поэтического наследия Петрова. Увы, из-за сложного стечения объективных и субъективных обстоятельств процесс его «открытия» затянулся на годы. Единственная книжечка, вышедшая в 1997-м тиражом 500 экземпляров, была раскуплена за считанные недели. Публикации в «Вестнике новой литературы», «Дружбе народов», «Новом мире», «Арионе», альманахе «Камера хранения» и других изданиях, в том числе в известной антологии «Строфы века», дают представление лишь о некоторых сторонах его очень щедрого и многогранного дара. Кроме многих и многих стихотворений, в рукописи остаются огромная поэма «Аз», роман «Ахамия»...

### 2

С учетом эпохи и социального слоя судьбу Петрова можно, наверное, считать благополучной. Он лишь около года провел в тюрьме и никогда не был в лагере. На жизнь зарабатывал профессиональной интеллигентной работой — переводами, преподаванием. Был членом Союза писателей. Умер в преклонном возрасте в своей постели.

Основные вехи биографии: родился в Казани в семье врача, вырос в Петрограде — Ленинграде, окончил Ленинградский университет (отделение германистики), в 1933-м сослан в Сибирь, много лет работал учителем немецкого языка в сельских школах; в дни большого террора вновь арестован, но попал под «бериевскую оттепель» 1939-го — и был освобожден; в 1954-м вернулся в Европейскую Россию, с 1955-го — в Новгороде, где преподавал в пединституте. С 1976-го — вновь в Ленинграде, куда и в предыдущие годы регулярно наезжал.

При жизни Петров печатался почти исключительно как поэт-переводчик. В этой — увы, только в этой — области он снискал если не славу, то прочную и заслуженную известность. «Духовной родиной» его была Скандинавия, ее языки и культура. В 1931—1933-х, после окончания университета, преподавая шведский язык в Военно-морском училище, Петров мечтал съездить в Швецию. Не вышло — а позднее поэт склонен был и в этом видеть удачу: соверши он поездку за границу, его судьба при аресте могла бы сложиться тяжелее. Но уже в университетские годы Петров, наряду с германистикой, проявляет интерес и к совершенно иным областям гуманитарного знания. Так, он с увлечением посещал семинар Ф.И.Щербатского — известного исследователя Тибета. Память об этом и спустя полвека присутствует в его поэзии («Рерих», 1982). Позднее он, полиглот, наряду со скальдами и Бельманом (книга переводов из этого поэта была посмертно издана при поддержке шведского посольства), с увлечением переводит Рильке и Малларме, Бернса и Лесьмяна. В истории русских переложений почти каждого из этих поэтов он сумел открыть новую страницу. Например, любой переводчик, обращающийся к «Часослову» Рильке, оказывается обречен на соперничество с Петровым, который создал, может быть, лучшую русскую версию этой вдохновленной Россией книги.

Однако и переводы Петрова, несмотря на общепризнанно высокие достоинства, временами вызывали к себе сложное отношение. Причина — в несоответствии принципам «ленинградской переводческой школы». Легко заметить отличие между переводами Петрова и таких мастеров, как А.А.Смирнов, Э.Л.Линецкая, Ю.Б.Корнеев. Они стремились к (по возможности!) точному и отстраненному воспроизведению структуры

подлинника, иногда, может быть, ценою поэтической непосредственности и непредсказуемости. Можно сказать, что они сознательно и целенаправленно создавали русские *модели* переводимых стихов — действующие, в своем роде совершенные, но все же модели. Это был важный и высокий труд; но Петров ставил перед собой иные цели. По его переводам не всегда стоит судить о стилистике подлинника — но по ним можно оценить его силу и выразительность. Замечательный пример — «Часослов» Рильке.

Напряженное, внутренне противоречивое религиозное сознание и острое чувство вещественной материальности слова — именно эти, близкие себе, стороны поэзии Рильке Петров передает лучше всего.

Поставь меня, как камень духа,
о Боже, к далям в сторожа,
где одиночествуешь глухо,
морями пенясь и дрожа...

Какая мощь, какой внутренний гул! И в то же время как тонко передана та почти шокирующая, любовная и требовательная интимность, с которой обращается немецкий поэт к Вседержителю:

Не сетуй, Боже, тихий мой сосед,
когда стучусь к тебе во тьме
беззвездной,
ведь редко снится мне, как ты
в трапезной
вздыхаешь, одинок и сед...

В немецком тексте нет «трапезной» (просто — «зала»), нет и «седины» Бога — есть лишь (такое важное!) его одиночество. Нет «беззвездной тьмы» — есть «долгая ночь». Лирическому герою («русскому иноку») не «снится» Бог — он «слышит его дыхание». В сравнении с немецким оригиналом смазана оптика. Отчетливость Рильке — вот та цена, которую заплатил переводчик за точность интонации и глубину дыхания. Конечно, заплатил осознанно.

Другой, не менее характерный пример:

Тебе не в диво гром и град
и рост суровых гроз.
Во весь опор несется сад,
спасаясь, под откос.
Тот, от Кого деревья мчат —
ты знаешь — это Тот,
к Кому стремится каждый взгляд,
о Ком душа поет.

В оригинале: «...Деревья спасаются бегством...Тот, от кого они бегут, есть Тот, к Кому ты идешь...И твоя душа поет, когда ты стоишь у окна». Одно дело — «Тот, к Кому *ты идешь*», другое — «к Кому стремится каждый взгляд». Утрачена простота и конкретность действия. Соразмерная ли это цена за библейскую мощь интонации первого четверостишия, за сад, мчащийся во весь опор? В рамках поэтики Петрова — да.

Нельзя забывать вот что: «Часослов» Рильке — это опыт пути западноевропейского человека в восточнохристианскую культуру. Он заворожен ее иррациональной глубиной, но не может отказаться от собственного четкого зрения, воспитанного масштабами возделанного европейского мира, и аналитического ума, взращенного Аристотелем. Петров в некоторых отношениях полярен Рильке: тяга к «западному» индивидуалистическому сознанию и пластика дальнозоркого, не различающего близлежащих предметов жителя Восточно-Европейской, а в силу обстоятельств — и Западно-Сибирской равнины.

Индивидуальный опыт и индивидуальное существование для Петрова важнее всего. Можно сказать, что он — первый русский поэт, чье становление связано с традицией экзистенциализма, и не русского (Бердяев, Шестов), а североевропейского, укорененного в протестантской традиции. Один из важнейших его собеседников в веках — Кьеркегор, которому в 1975-м он посвящает одну из своих «фуг» ( о жанровой природе поэтических текстов Петрова — ниже) — «Либо-либо». Это далеко не самое удачное из стихотворений Петрова, но оно важно для понимания его мировосприятия:

Я верую и бью поклоны скверам,
где липы встали общею судьбой,
смеюсь и над попом, и над невером
(а еще пуще — над самим собой)...
... Я в нотах жизни только
знак бекара,
но все еще покуда носят ноги.
Покой мне не в укор, а просто кара,
и жить могу я только по тревоге.

Экзистенциалистские настроения сближают Петрова с теми поэтами, кто был моложе его на тридцать-тридцать пять лет — Бродским, Еленой Шварц (с которой он был хорошо знаком), Сергеем Стратановским, Виктором Кривулиным. Но если Бродский (по всей вероятности) воспринял эти умонастроения «из воздуха», стихийно, а более молодые авторы прочли Кьеркегора одновременно с вдохновленными им философами XX века — Бердяевым, Хайдеггером, Бубером, Камю, то встреча Петрова с датским мыслителем состоялась еще до их рождения — в юности, в те же годы, когда Кьеркегора внимательно и пристрастно читал Андрей Платонов. То, что позднее стало поветрием, для него было пронесенным через годы духовного одиночества личным выбором. Его многолетнее творчество где-то в сибирской глуши без всякой надежды на публикацию, без читателей и собеседников было его экзистенциальной практикой, опытом молчаливого противостояния судьбе. Не случайно и в русской традиции Петрову ближе всего фигура одинокого протестанта Аввакума (который воспринимается им не как ревнитель «древлего благочестия», а как бунтарь, противопоставляющий свою истину истине власти и толпы).

Усумнитель, Самсусам, Авось (знак неуверенности, неопределенности, сомнения) — эти образы, эти самоопределения проходят через все его творчество. Даже собственное существование сомнительно и нуждается в непрерывном подтверждении.

Я усомнился. Легкие прозрачные
слова
И призрак вечера, что с звезд летучих
льется,
Как счастье, влажная, бегучая трава
Вот все, что бренным мыслям
остается.

Это написано в начале 1930-х, в Ленинграде. А вот как звучит та же тема в стихотворении 1942 года, написанном в Сибири:

Аз усумняюсь. Есмь сплошной
сумятицы псалом,
горящий глаз старообрядца,
косматей волосом, чем сам
Авессалом,
и в голове моей Ты можешь
затеряться,
как в детских дебрях. Но Тебя пою,
душой рыдаючи до умопомраченья.
Ты ревность зришь великую мою,
мое тысячесердое раченье.

И — тридцать лет спустя:

Я усумняюсь. Стало быть, мое
сомненье есть.
Огромное, как Бог, оно во мне
забилось...

Тяжба с миром и Богом все развивается, становясь все более трагической и конфликтной.

### 3

Напряженному индивидуалистическому сознанию, ищущему истину, противопоставляется безличный ха-

ос физической жизни — соблазнительной и губящей, «лобасты» (русалки), засывающей в омут. «Я» поэта балансирует на грани этой сладкой гибели:

Я с жизнью рядом. Но не вместе
с ней.
(А лишь во сне?) Но как тогда?
Бок о бок?
Разметанное иль тесней?
Измучен? Безразличен? Или робок?
Она ль покойница иль сам я гроб
повапленный? (Повапленный
колодой?)
Она ли дышит изо всех утроб
(и от нее несет дебелою природой)?..

...Я с жизнью рядом — блазнью
или блажью —
благословляя силу вражью,
русалочьи — ничейные — глаза,
лежу, не разумея ни аза.

(«Я с жизнью рядом», 1969)

Мучительная тяга к этой «русалке», к оргиастическому веселью, растворяющему индивидуальность, и столь же мучительное ощущение его чужеродности и враждебности многое объясняет в творчестве Петрова: и частушечную стихию «Танцевальной сюиты», и выбор объектов для перевода — «Веселые нищие» Бернса, застольные песни Бельмана. Кьеркегор и Бельман — таковы границы «скандинавского» локуса Петрова.

Может быть, стоит сравнить некоторые мотивы из переводов Бельмана, над которыми Петров работал в годы сибирской ссылки, с его оригинальными стихами. Причины обращения к шведскому классику были на первый взгляд совершенно случайными: он наткнулся у Бельмана на упоминание своего родного города — Казани. В самом деле, и «столетье безумно и мудро», в котором жил Карл Микаэль Бельман, слишком отлично от двадцатого века, и судьба самого поэта — столичного повесы и мота, придворного поэта и личного приятеля короля (и по совместительству — неплохого драматурга) Густава III мало походила на жизнь Петрова. Но в песнях Бельмана, за их грубоватым бытовым юмором Петров различает мотив гибельного, привлекающего и разрушающего веселья:

Ох, гудит-ревет валторна,
Вьется рой сирен проворно
И тут же оземь бряк!
Улла, шустрая сестрица!
Как тобою не плениться?
Всяк день вступаешь в брак.

Ура! Запой скорее
Под гром во храме Фрейи,
Где пляшут любодеи.
Я хмелен!
Забрал меня Харон.

Ср.:

Полька, полька, поленька!
Долька, долька, доленька!
И чего ты, Поленька,
все еще не голенька?

Уж такая наша доля,
что у нас все впереди.
Выходи скорее, дроля,
Чаще замуж выходи!

(«Танцевальная сюита»)

Ничто не мешает нам услышать в этой «дроле»— «доле»— «доленьке» — «Поленьке» созвучие с именем известной стокгольмской развратницы 1770-х Уллы Виндблад.

Полем любви/битвы с «русалкой-жизнью» становится язык. Язык, воспринимаемый как стихия, находящаяся в непрерывном движении. Клетки языка непрерывно делятся. В этом Петров ближе к Хлебникову и позднему Мандельштаму, чем к Клюеву. Точнее, в период поэтического становления (очень затянувшегося — года до 1964-го) Петров испытал сильное влияние и Клюева и Кузмина («Все те же темы музыки и слова», «Итальянская певица» и др.) Его крупные стихотворения той поры — существующий в четырех вариантах «Псалом» (1942), «Mir zur Feier» (1943) («Себе к празднику») еще построены в основном по традиционному «риторическому» принципу. Но в зрелых стихах его сменяет принцип музыкальный.

Язык, живя собственной жизнью, разбухает как на дрожжах, порождая все новые смыслы и созвучия:

Я есмь помойная великой Яви яма.
Все не по-мосму. Мне воли нет и нет. —
В меня летит с небес помет комет,
И я зияю голым глазом срама,
сияю пустотой как рама
(где не бытийствуя изображен
предмет).

Петрову свойственно было острое чувство параллельности чисто внешних — фонетических, омонимических (Яма — канава и Яма — буддийский бог смерти) — и смысловых ассоциаций. Эти ассоциации и выстраивают текст по принципам, свойственным скорее музыке, чем литературе. Особенно близка Петрову форма «фуги» с ее нагнетающимися повторениями одного и того же мотива; есть у него и «симфонии» и «квартеты». Параллели в поэзии XX века очевидны. Это и «Четыре квартета» Элиота, и «Фуга смерти» Целана. Неизвестно, в какой мере знал Петров творчество этих поэтов — но очевидно, что путь его пролегал в общем русле модернистской поэзии прошедшего века.

Может быть — поскольку мы упомянули Элиота — стоит вспомнить и о его определении метафизической поэзии. Одним из критериев, отличающих ее от поэзии «рефлектирующей», является, по мысли англо-американского классика, физическое, чувственное восприятие абстрактных понятий. Петров часто употребляет в стихах непривычную для русского поэтического языка философскую терминологию, но лишь в немногих стихотворениях (таких как «Либо-либо») это словоупотребление кажется неуместным. Соединение «простонародной» лексики и языка философских абстракций дает неожиданный и гротескный эффект — Abstract Entities, цитируя опять-таки Элиота, обрастают плотью и приобретают грубоватую элементарность:

...долдон Адам и баба Ева —
она круговоротом чрева
а он напыщенным шишом
бытийствуют...

(«Босх», 1970)

Вероятно, если поэтика Сергея Петрова нуждается в каком-то определении, подойдет это: один из интереснейших вариантов русской метафизической поэзии XX столетия.

Петров подписывал стихи псевдонимом *Ярослав Азумлев*. Но в тех двух-трех случаях, когда при жизни удавалось опубликовать их, — он пользовался собственным именем. Не будем и мы отрывать стихи и прозу Ярослава Азумлева от переводов Сергея Петрова, а главное — от его судьбы.

И еще одно замечание. Петров переписывал стихи (древнерусским полууставом!) чернилами самых разных цветов. Слова и строки были «синие», «зеленые», «красные». При первой перепечатке он старался сохранить эту структуру текста, играя (сколько позволяли возможности пишущей машинки) с размерами букв и пробелами между ними. Но читать таким образом записанный текст было почти невозможно, и в беловых перепечатках Петров отказывался от попыток передать многоцветье рукописи. Таких попыток пока что не предпринимали и публикаторы его стихов. Может быть, когда-нибудь, в будущем....

## Сергей ПЕТРОВ

*Из неопубликованных*

### КРУГ
**(Фуга)**

Все уже круг. Живу я посредине.
Утроба, как урочище, урчит.
Уже хожу я в жиденькой редине,
а шуба дыбом все еще торчит.
И в пасти доля чортова горчит.

Все уже круг. Блюю на славу
желчью,
мотаю на кулак себе кишки.
Я чувствую годов облаву
волчью,
и дразнятся багровые флажки.

Все уже круг. Он тесен, как силок,
и все равно меня осилит.
(Последний зуб точу об оселок,
за горло схвачен и пробит
навылет).

На вы ли тут пойдешь?
Или на ты?
Ее встречая — Боже мой! —
все тут же.
И от бестыжей человечьей стужи
в глазах такая уйма темноты!

А круг все туже, туже, туже!

Все уже круг. Он тесен, как закон,
и ни о ком знакомом не радеет.
Звериным пустяком я взят
в загон.
Надежда, как одежда, все редеет.

Все уже круг (мой ненасытный
друг)
и к ужасу, пожалуй, Он приучит,
пока на сотнях престарелых рук
веревку сучка-парка сучит.

Сучи иль не сучи, хоть вейся,
хоть не вейся,
а быть концу. Глядя во все очки!
Живи, живи (и по ветру развейся)
А красные флажки все кажут
язычки!
Пошли боры, бурьяны и яруги
навыворот. (Не вырваться лисе!)
Но как велик бирюк, когда
в огромном круге
Вращаюсь я, как белка в колесе!
И для чего зачем-то что-то для
и ласково меня мантуля,
воркует время, как слепая гуля,
когда само — лишь тлен
и мировая тля?

Все уже круг, как верная петля,
и в сердце входит медленная пуля.

*Май 1971*

### ГРУСТНАЯ ГОЛОВА

В меня вошли слова:
«Ты кончилась сегодня».
По кругу повернулась голова.
Гляжу: судьба — разлучница
и сводня,
а за спиной молва орет,
как татарва.
Сказала «нет», без грусти даже,
просто,
как будто не было двух тел
и двух умов,
друг в друга вхожих ласковых
домов —
и я всем остовом теперь как гость
погоста.
Надолго ли?.. У грусти погощу
да и душой, похожею на птичью,
пущусь опять на всяческую тщу,
чтобы приткнуться к безразличью.
Надолго ли в меня вошли слова?
Как весть от сводни, в черной
рамке сводка.
По кругу повернулась голова —
Гей вы, коняги, сон и водка!
А мертвый глаз вращается
так кротко!
Так кратко-телеграммна
эта весть,
такая кривоглазая уродка —
о том, что я попал из сути в нети,
все — словно пропечатано
в газете.
Но если к чувству мысль возвесть,
то на рожон, на женский,
что же лезть?
И не поможет никакая лесть,
хоть будь во мне поэты на поэте.

Всегда ведь что-то нужно
предпочесть.
Одно скажу: четыре года эти
нам были, может быть,
в большую честь,
как малая победа над охвостьем,
молвой, орущею, как татарва.
Четыре года был тебе я мертвым
гостем —
гость каменный! — а ты теперь
жива!
Как колесо у черной рамы рва,
по кругу повернулась голова, —
но я в своем уме, как при
штурвале, —
и я тебя твоей судьбе отдам.
Пусть робот я. Но руку оторвали —
и боль бежит по проводам.

Сказала, правды не тая,
сказала, как рожая,
что ты уж больше не моя,
хотя и не чужая.
Своей утратою владеть
я буду долго-долго.
В любовь нельзя себя одеть
даже из чувства долга.
И не попишешь ничего, —
да и не надо, ибо
за щедрость сердца твоего,
за все тебе спасибо.

*1972*

### АВГУСТ

Я смерть как не люблю природы
показной,
и не проймут меня ни молнии,
ни громы.
Но я попал под августейший зной
и в рыбьи жидкие хоромы.

И как зеленые воздушные шары,
кусты на берегу раздулись
постепенно,
и от медвежьей лапчатой жары
крушу с размаху водяные стены.

На грудь всей грудью прет
ордастый лес,
и в августе густом я, как букашка
в травах.
Сквозь дебри месяца я вползь
пролез,
но дальше легче ли, о Боже правых!

*8 августа 1971*

### СОБАЧЬЯ ФУГА

Я — старый пес. Но на луну
не вою
и по покойном Боге не скулю,
а припадаю к телу головою,
как к толстому промезлому кулю.
Уже погряз я в разуме, не лаю
и не кусаю хлеба с солью слез.
И под ноги я сразу Менелаю:
Погладь меня! Я — Одиссеев пес.
Тебя надули, батюшка с Еленой,
а мне осторчертели женихи,
которые, сойдясь со всей
вселенной,
гуляют и пируют, как грехи.
Но псу, рабу, илоту иль холопу
на суд привольных женихов
не звать.
И пусть их продолжают
пировать!
На них не лаю. Ну их в Пенелопу!

Я, старый пес, вернее этой бабы:
Я сам себе хозяин, как и был.
Через солено-горькие ухабы
я на Ифаку все-таки приплыл.
Ну а явись нежданно на Ифаку,
я самого себя встречаю, как
собаку.
Хвостом виляет, как софист,
вопрос:
Да кто же я, хозяин или пес?

Грехи пируют. Новый бык
зажарен.
Когда-то будто был я добрый
барин,
а нынче появляюсь, как Улисс,
ко стрекулистам сим из-за кулис.
И даже не устраиваю сцены.
И ухом не веду я. Вот что ценно!

Лежит жена Зевесовой коровой.
И ухом не ведет,
что я как будто вдов.
Хвостом не шевельнет.
А ты, кобель дворовый,
Рычи на женихов и оводов!
(ведь жалят женихи и овода).

А море, как огромная вода,
подсинено лежит в своей лохани.
И рвутся от его волнистых
колыханий
просторы, паруса и невода.

Был не дворец у Кирки, а кабак,
свиней она блюла, а не собак.
Я знаю, что моря широки
и глубоки.
А если б из сего простора вод
восстали бы собаки, руки в боки,
и завертели песий хоровод
да на волшебницу бы закричали:
Эй, матушка! Сама с собою спи!
Но волны, как волы, томятся
на причале,
а бедные собаки на цепи.

Собачья жизнь... Хвостом
облезлым хлопай,
как в ладушки, пред жирной
Пенелопой!
А между прочим, где-то
на полянке
в медведицу сцепились меделянки
и вертятся вокруг, как сатаны,
густые приспустив с нее штаны.

Я — Одиссей
(или Шалтай-Болтай).
Я натрудил глаза. Не лайся,
Менелай,
на то, что крепкочленный Парид
по-своему твою Елену парит.
Пожалуй, ей в отместку пожелай
мужей еще десятка полтора,
но чтобы без кола и без двора!
А кто с колом, так оную дубину
пускай употребит на бабью
спину
и, выгнав Леды дочь с пуста двора,
как грек под Тройей,
заорет «ура!».

Собачья жизнь! И жить-то
недосуг.
(На службе жизни просто
не до сук).
Несешься, воздух на бегу терзая,
как гончая или борзая.

Будь темнота хоть с краешка
белей!
(Какую кралю прикупить
к тузу бы?).
Бежишь и задираешь кобелей,
а сам бежишь, быть может,
к чорту в зубы.

Собачья жизнь у мамы и у папы.
Бежишь по ней во все
четыре лапы,
а тропка, что кишка или кулак,
узка
и некогда нигде урвать куска.

В собачьем беге — слово
в роще ног.
Грохочет сзади каторжная тачка.
(И точка!) Так! И все мое
добро — щенок,
прекрохотная к старости
собачка.
Боится он заезженных путей,
смышленый сын Кутейников
Кутей.

Собачья жизнь у папы и у мамы.
И если набираемся ума мы —
в мирской суме огрызки и куски
великих пирогов насмешки
и тоски.

Когда-то был я добрый лоботряс
(и нынче не берет меня хвороба)
одна беда — я в разуме погряз,
а разум — это род особый гроба,
а гроб — моя огромная утроба.

*1 декабря 1974 — 12 февраля 1975*

## НОВОГОДНЯЯ ФУГА

Все люди бе́гатели суть.

*Г.Державин*

Я нынче в Новый Год спускаюсь,
как в метро,
где люди ездят адские, как тени.
Я вижу времени ползучие
ступени,
и жить — как ехать — вовсе
не хитро.
И под землей три разных
измеренья:
вверх, вниз и с грохотом
куда-то по прямой...

Везя за пазухою теплоту
смиренья,
домыкиваюсь я домой.

А дома время сшито из прорех,
и вижу, как буфет, жену,
ее резную рыжину,
разделанную под орех.

И, как воспоминанье
из Платона, —
подземный грохот и молчанье лиц
мурашье, как цифирь таблиц.

Я стану дома выше на полтона
и позабуду я про поезд-блиц,
про озаренные вагоны цугом,
где каждый — барин
(и себе же тень!)

От ада я отделался испугом,
и дома снова по кругам и фугам
меня прокручивают сон и лень,
как будто я старинная пластинка,
а дом, как древний граммофон
с трубой
(лицо висит, как смертная
холстинка
над музыкою хрипло гробовой).

Иду я вдоль себя, как пересуды
о том, которого по сути дела нет.
Идет жена навстречу, как буфет.
В нем, как в органе, звон и бой
посуды,
и Новый Год мне — словно
марафет.
И я, чтобы хоть как-то доживать,
сажусь за стол губами пожевать.
И выговаривая по складам:
«Я — глина на кирпич,
а не Адам.
Своим судом я пребываю в доме.
Послушай, душенька! Умора —
так умора!
Ну что хорошего ты наживешь
в Содоме,
моя — не очень грешная —
Гоморра?
Я — просто сон, залегший на печи,
откуда скачут кирпичи».

А Новый Год в ответ на это
распахивает существо буфета
и, скуке приведенной потакая,
вытаскивает он бутылочку токая,
как будто он бегун, а я султан.
Чем заплачу ему я за прогоны?

А Дед Мороз закутался в туман,
И под землей опять гремят
вагоны.
И кровь последняя пускается
в бега,
И Бог частичный тоже правит бег.
Бежит по комнате одна моя нога
И только книжный шкаф стоит,
как человек.

*1976*

***Публикация В.Шубинского***

**ШВЕДЫ В РОССИИ**

# Похождения шведского офицера в России (1714 год)

***(Вступительная статья, перевод с шведского и примечания Ю.Н.Беспятых)***

Карл фон РУЛАНД

*Карл фон Руланд (Carl von Roland, 1684—1761) родился в Стокгольме, поступил на военную службу драгуном в конце 1704 года, участвовал в нескольких сражениях Северной войны (1700—1721) и 27 июня 1709 года — в Полтавской баталии, с воспоминаний о которой и начинается его повествование о приключениях в России. Спустя три дня после сражения этот лейтенант оказался в русском плену, разделив судьбу всей армии короля Карла XII...*

*Из местечка Переволочна на Днепре, где капитулировало бежавшее из-под стен Полтавы шведское войско, Руланд с группой других офицеров был отправлен в Чернигов, затем в Москву, где царь провел плененную армию через Первопрестольную, празднуя великий Полтавский триумф. Затем шведские офицеры были расселены по разным городам европейской и азиатской России. Сотню человек, среди которых был и К.Руланд, поселили в городе Галиче. Спустя несколько лет (в начале 1714 года) лейтенант выхлопотал у тамошнего воеводы двухмесячный отпуск и через Вологду отправился в Москву, чтобы получить ожидавшие его деньги, которые пришли из Швеции. А.Ф.Лопухин, стольник Петра I (с 1692 года) и брат его первой жены, предложил шведу перейти к нему на службу и написал галичскому воеводе соответствующее письмо; благодаря этому К.Руланд смог навсегда покинуть провинциальный Галич и вернуться в Москву. Однако там он к А.Ф.Лопухину не пошел, а бежал из России — через Архангельск. Путь на родину оказался долгим и трудным: капитан корабля, направлявшегося в итальянский город Ливорно, тайно вывез лейтенанта из беломорского порта. Оттуда через Геную, Марсель, Гамбург швед в начале 1715 года добрался до Штральзунда и предстал перед Карлом XII, который только что вернулся из турецких владений. Вскоре Руланд был зачислен капитаном в Бендерский драгунский полк. Оправившись от полученного в том же году тяжелого ранения, он через Любек, Гамбург, Амстердам почти уже добрался до Гётеборга, но снова угодил в плен: корабль, на котором плыл К. Руланд, был захвачен датским фрегатом. Шведа привезли в Норвегию, потом в Копенгаген. Оттуда он вновь бежал — в Любек, затем в Данциг и, наконец, в ноябре 1716 года достиг Стокгольма. На этом и завершаются воспоминания, на страницах которых автор рисует себя бесстрашным, на редкость находчивым и ловким человеком.*

*В 1720 году К.Руланд был возведен в дворянское достоинство (как заметил, издавший его воспоминания на языке оригинала (шведском) С.Э.Бринг, у которого я заимствовал биографические сведения об офицере, «для многих воинов Карла дворянский герб стал единственным вознаграждением за перенесенные страдания на войне или в плену...»). В следующем, 1721 году, К. фон Руланд принял новое назначение — комендантом укрепления Шенес (приход Эстра Хюсбю) на Восточном побережье Швеции и получил майорский чин. В этой должности он служил до самой кончины.*

*С.Э.Бринг издал полный шведский текст воспоминаний, хранящийся в Стокгольмской королевской библиотеке (однако не автограф, а список невыясненного происхождения; судьба подлинника неизвестна): Roland C. von. Minnen från fångenskapen i Ryssland och Karl XII:s krig / Utg. af S.E.Bring. Stockholm, 1914. Исследователь сопроводил мемуары биографическим очерком об их авторе, комментарием и указателем имен; воспоминания о России занимают чуть менее половины рукописи.*

*«Воспоминания о российском плене и о войнах Карла XII» составлены через много лет после описываемых событий (по-видимому, в начале 1740-х годов). Предлагаю вниманию читателей заключительный фрагмент русской части мемуаров (приблизительно ее треть) за 1714 год. Повествование начинается с того момента, когда К.Руланд, избавившись от русского солдата-охранника, остается в Москве один, решив, что у него развязаны руки для дальнейших действий.*

*Шведский офицер, взявшийся за перо в весьма зрелом возрасте, отнюдь не скромничает при описании своих похождений. Вместе с тем его сочинение содержит множество уникальных деталей тогдашней русской — московской и провинциальной — жизни. Такие подробности невозможно выдумать, и мы напрасно искали бы их в других дошедших до нас источниках той эпохи, будь то отечественных или иностранных. Как весьма важное и редкое обстоятельство надо отметить тот факт, что К.Руланд без затруднений общался на русском языке (искажения в написании русских слов и выражений, порой существенные, следует в этом случае отнести на счет ошибок или описок переписчика и (или) публикатора мемуаров); Руланд свободно владел также немецким — настолько, что мог при необходимости выдавать себя за немца.*

...Обретя таким образом свободу, я предпринял рискованную затею. Дело в том, что в тот краткий промежуток времени, когда меня не было в Москве, я уезжал в Вологду и Галич, мой бывший господин полковник Нильс Ельм и три других полковника, а именно Рамсверд, Мурат и Лесшерт, по строжайшему царскому приказу были посажены в отвратительную тюрьму, и под страхом смертной казни ни один человек помимо унтер-офицера охраны не имел права войти к ним. Я узнал также от камердинера полковника [Ельма], что у них при себе мало денег, так как они были схвачены внезапно. Кроме того, когда они давали унтер-офицеру или солдату рубль — купить им хлеба и [другой] еды, им приносили лишь на несколько копеек. Следовательно, того немногого, чем они располагали, не

могло хватить. Я спросил слугу, знает ли он, где офицеры сидят или где расположена тюрьма. «Да, хорошо знаю, — сказал он, — но никому не дозволяется туда входить». Мы оба сели в коляску извозчика (isserodsik) и проехали по дороге мимо тюрьмы, так что нас не заметили. Я сделал это с единственной целью — осмотреться на месте и, конечно, определил, что очень трудно проникнуть даже за внешнюю ограду, высокую, как мачтовые деревья. В воротах имелась только одна низкая дверь.

На другой день я пошел к графу Пиперу,[1] у него тогда жил и господин Хамильтон, который тогда был полковником, — он тоже там находился. Я сказал графу, что постараюсь проникнуть к трем пленным офицерам. «Боже вас упаси, — сказал граф, — и не пытайтесь, ибо это будет стоить вам жизни». То же самое сказал и господин полковник Хамильтон, и с тем я покинул их, но все раздумывал, каким образом получше устроить и выполнить это дело. Мне пришло в голову, что можно нарядиться фельдшером, и я отправился к одному шведскому унтер-офицеру, взятому князем Голицыным[2] на службу для исполнения фельдшерских обязанностей. Я попросил уступить мне на один день футляр с бритвенными принадлежностями и несколькими лежавшими в нем бритвами; сверху лежали корпия и два маленьких аптечных пузырька — один с терпентиновым маслом, а другой с венгерской водой. Получив все это, я взял извозчика (iswadzik) и поехал к тюрьме; расплатился с извозчиком и отпустил его. Я постучал в дощатую дверь, запертую изнутри на большой замок, такую низкую, что войти в нее можно было едва ли не ползком, между тем как бревна самого забора были высотой с мачтовые деревья. На мой стук вышел староста (starosten) или сторож и осведомился, что мне нужно. Я ответил, что я лекарь (leckar) и мне губернатор и мой князь приказали сходить сюда, так как здесь находятся несколько больных шведов, просивших губернатора о фельдшере. Староста позвал унтер-офицера, с восемью солдатами охранявшего вырытую в земле пещеру (jordkulan), где содержались господа полковники. Подойдя, тот спросил то же самое, что и староста, и получил от меня тот же ответ. Затем он приказал старосте открыть, я вошел и увидел более двух сотен русских узников, попарно прикованных за ноги к колодкам. Унтер-офицер вновь принялся допрашивать меня и спросил, чей я фельдшер. «Князя Голицына», — ответил я. «Нет, — сказал он, — его фельдшера я знаю». «Какого князя Голицына ты имеешь в виду?» — спросил я. «Князя Федора Алексеевича», — ответил он. «А я служу у Ивана Алексеевича Голицына», — сказал я. «Да, его фельдшера я не знаю», — сказал он. «Я тебя тоже», — сказал я. «Ну ладно, поскольку тебе разрешено войти сюда, то прежде чем пойдешь к шведам, ты должен вылечить одного русского арестанта; у него богатый отец, который через несколько дней приедет сюда и, без сомнения, хорошо тебе заплатит», — сказал унтер-офицер и подозвал узника. Тот сразу подошел вместе с товарищем, к которому был прикован. Я спросил: «Что у тебя болит?» «Покажи-ка», — сказал унтер-офицер, и тот показал мне такое, чего я никогда не видал ни прежде, ни потом. Однако мне не оставалось ничего иного, как заверить, что такая болезнь мне хорошо известна, и добавить: «Этой болезнью ты страдаешь давно». «Ну, ты видел? — сказал унтер-офицер больному и стоявшим вокруг солдатам, старосте и другим арестантам. — Разве он не определил сразу, что эта хворь у тебя давно?» Тогда я сказал: «Хорошо, я тебя вылечу, но того, чего лишится твое тело, ты никогда уж больше не обретешь (men aldrig får du lemmen igen),[3] а мне ты должен заплатить и за труды, и за медикаменты». Затем, взяв фельдшерскую сумку, я раскрыл ее, дабы они вернее убедились в том, что я действительно фельдшер. Потом, достав маленькие пузырьки, открыл тот, в котором была венгерская вода, и дал унтер-офицеру понюхать. «Хе, — сказал он, — хорошие лекарства (carossia lekarswa); среди русских нет таких фельдшеров, как среди иностранцев», и вновь уверил меня в том, что отец больного хорошо заплатит. Затем я взял корпию, смочил ее венгерской водой, велел одному из стоявших вокруг приложить ее к больному месту и перебинтовать связанными шейными платками, взятыми у обоих [скованных друг с другом] арестантов, и сказал: «Завтра я приду снова и принесу другие необходимые лечебные средства». Затем унтер-офицер провел меня в земляную пещеру. Когда мы оба вошли в нее, я сказал, что здесь никого нет, и сделал вид, будто намерен выйти, — мне ни к чему было, чтобы унтер-офицер оставался там вместе со мной. «Нет, — сказал он, — пройди немного вперед и увидишь свет на столе». К великому счастью, в эту минуту унтер-офицера позвали наверх. Обрадованный, я пошел в темноте вперед, пробираясь вдоль лавок (lafwen), пока не наткнулся на стол. Только тогда я заметил проблеск света, прежде незаметный в темноте из-за чада и испарений земли. Я спросил по-шведски: «Есть здесь кто-нибудь?». «Боже милостивый, кто это?» — спросил господин полковник Рамсверд, лежавший на застеленной лавке. Остальные тоже лежали на лавках, по двое с каждой стороны от прохода, посредине которого стоял маленький столик. «Здесь ли господин полковник Ельм?» — спросил я. «Да, — ответил названный полковник. — Кто это?» Представившись, я коротко сообщил: «Господа полковники, я рискнул жизнью, проникнув к вам под видом фельдшера; я убедил охрану, будто бы вы, заболев, просили губернатора о фельдшере, и то, что вы, господа, теперь поручите мне, я исполню и завтра приду снова». Выслушав это, они очень обрадовались, так как поначалу подумали, что меня тоже арестовали и привели в эту яму (hol). Я спешно (ибо опасался появления унтер-офицера) выслушал их поручения — каждый из них дал мне наставления, как получить деньги.

Затем я пошел к его превосходительству графу Пиперу, где также получил [деньги?] для господина полковника Лесшерта; граф подивился тому, что я отважился сходить к ним.

Назавтра с карманами, набитыми деньгами, я вновь отправился в тюрьму, куда меня сразу впустили. Унтер-офицер — с подспудным намерением получить не только вознаграждение от отца больного, но и прибрать к рукам плату за лечение, о которой я вовсе не помышлял, — вызвал больного русского. Когда повязка была снята, я с удивлением обнаружил, что венгерская вода очистила поврежденное место. Я велел наложить на рану пластырь, заранее мною приобретенный, и затем беспрепятственно вошел в пещеру к господам полковникам и передал каждому его деньги.

Офицеры спросили меня, могу ли я найти надежный путь для переправки их писем правительству Швеции. Я ответил, что через восемь дней намерен прийти сюда снова, за это время каждый может написать что хочет, а я заберу письма. Но после этого я сюда уже не вернусь. Здесь следует сказать, что они, опасаясь унтер-офицера, могли писать только ночами и лишь поочередно, так как

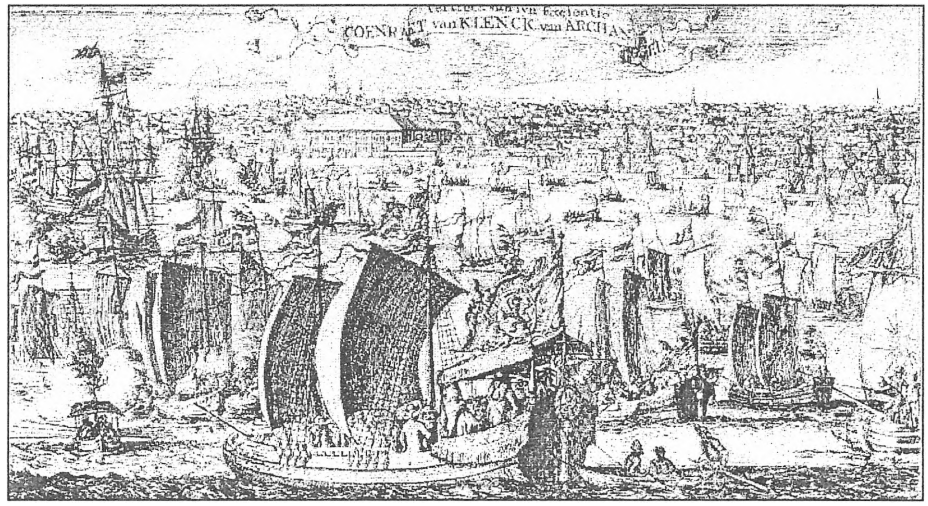
за их столиком было мало места, а поскольку им требовалось много времени, я и положил восьмидневный срок; сразу после этого я должен был отыскать возможность навсегда покинуть Россию.

Через восемь дней я подъехал к тюрьме, постучал, но, поскольку и старосту, и унтер-офицера с солдатами заменили, [новые] не захотели меня впустить. Тогда я довольно грубо крикнул, что я фельдшер и у меня есть приказ войти. Это услышали русские [арестанты] и принялись хором кричать: «Лекарь, лекарь, вели его пустить!» («Leckar, leckar, weli jerwo pustit!»). Когда же я потом вошел, все заключенные подтвердили, что у меня есть приказ пройти в пещеру. Я полагал, что тот больной русский подойдет ко мне, но нет; он, вероятно, опасался, что я потребую денег. Итак, я снова вошел к господам полковникам, и все они передали мне письма в Стокгольм; господин полковник Рамсверд, в частности, клялся всеми святыми, что он, доведись ему когда-либо повстречаться с господином подполковником Бромсом, изрубит его на куски.[4] На этом я и распрощался, вышел и больше туда не возвращался.

* * *

Была середина мая 1714 года, а поскольку в июле [торговые] корабли начинают приходить в Архангельск, купцы к тому времени обычно уже тоже там и, следовательно, в мае месяце готовятся в путь [из Москвы]. От одного доброго приятеля я узнал, что швагер[5] г-на Самюэля Мёкса, работавший также у него приказчиком (precassik), одним из первых отправится в дорогу и охотно бы взял с собой попутчика, так как ни с кем еще не успел познакомиться. Я попросил того же моего приятеля отыскать Йоккомссона[6] (так этого приказчика звали), сказав: «Мне неудобно [встречаться] с ним [у него дома], вы же знаете, что мы с Мёксом в ссоре» (несколько раньше я повздорил с ним в его конторе из-за того, что он не выдал сто риксдалеров по векселю, оплаченному три года тому назад в Стокгольме, хотя я показывал ему письменное свидетельство Граншера и Шаклера, удостоверявшее, что вексель оплачен, хоть Мёкс и солгал, уверяя, будто нет и не получал этих денег). Тогда мой приятель посоветовал мне найти Йоккомссона на бирже, что я и сделал в полдень следующего дня. Я расспросил его, и мы условились о времени и месте встречи — спустя два дня за городом в Извозчичьей слободе (Isvoski slaboda). Здесь нужно заметить, что при моей ссоре с Мёксом Йоккомссона не было в конторе, иначе я не рекомендовался бы ему как знакомый Мёкса.

Будучи в Москве, я заказал много национальных одеяний разных народов, одно из них было совершенно особенным, подобного не доводилось, пожалуй, шить ни одному портному ни в России, ни в Германии. Пока портной шил, я даже и ночевал у него, а его жена за деньги приносила мне еду; из-за меня ей приходилось и ночевать в другой комнате. Я подробно объяснил портному, каким должно быть это платье, и, когда оно было готово, сам отнес его к себе на квартиру. Когда подошло время отъезда, я засунул всю свою остальную одежду в печь в моей комнате в Немецкой слободе (Tyska slaboda), где я жил тогда у одного шляпного мастера; заплатил хозяину, уверив его, что отправляюсь на свое прежнее место жительства. Ведь он знал, кто я такой, поскольку у меня бывали разные офицеры, которые действительно подозревали о моем намерении бежать и попытались бы, если бы смогли, этому воспрепятствовать. Но я хранил свои замыслы в такой тайне, что проведать о них им не удалось. Распрощавшись с хозяином, в полдень, когда, по моим наблюдениям, на улицах меньше всего народу, я пошел к каретному мастеру, у которого стояла моя дорожная коляска, но повстречался с господином капитаном фон Коккеном, направлявшимся ко мне. Мы немного прогулялись, хотя это и было мне тогда некстати, однако нельзя было допустить, чтобы у него зародилось подозрение; и все же избежать этого не удалось. Наконец мы расстались, и я пошел за своей коляской, а поскольку все было уже готово, выехал из Москвы в упомянутую слободу, где вынужден был до самого вечера дожидаться Йоккомссона, прибывшего одновременно с другой коляской, в которой сидел Прокофий Алексеевич, приказчик (prætassick) богатого бонзы, то есть Строганова. И мы поехали через Троицу, Переславль, Ярославль до Вологды. Во время пу-



тешествия, на ночлегах, Йоккомссон все выспрашивал у меня, кто я такой, как дела в Казани, и рассуждал, как бы ловчее уладить несчастливое дело моего патрона с царем и т.д. На все вопросы я давал ему убедительные ответы. Эту неясность мне, пожалуй, следует разъяснить, если только кто-либо из читателей сумеет разобраться в этой истории. Итак, надобно знать, что, будучи в Москве, я часто навещал одного купца, господина Хиндрика Слютера — честного шведа, всеми силами служившего шведам во всем, что не противоречило интересам царя. Однажды, неожиданно войдя в его зал, я увидел там человека, а он испугался и поспешно скрылся во внутренних покоях. Я спросил Слютера, кто этот испугавшийся, и сказал, что меня бояться не стоит. Слютер ответил, что тот просто не понял, кто это так внезапно появился, ибо я против обыкновения вошел без доклада (а в Москве это было широко принято), и сообщил, что здесь был г-н Якоб Рейнхольтс[7] из Казани. Так благодаря случайности я узнал обо всех житейских обстоятельствах упомянутого г-на Якоба Рейнхольтса, принял все их ad notam,[8] и они пришлись мне особенно кстати как во время путешествия, так и в самом Архангельске. В другой раз у Слютера я также услышал об одном мос-

ковском купце по фамилии Луфтус, который через несколько дней намеревался поехать развлечения ради в Иерусалимский монастырь, расположенный в пятнадцати верстах от Москвы,[9] и что у этого купца есть брат, живущий в Архангельске. Это я тоже взял себе на заметку и благодаря этому смог дать Йоккомссону и Прокофию Алексеевичу надлежащий ответ, словно бы на самом деле был приказчиком упомянутого Якоба Рейнхольтса, за какового я себя выдавал под именем Кристиана Робберта, зная, что Якоб Рейнхольтс был корреспондентом и посредником всех богатых купцов до самых Азова и Татарии.

По прибытии в Вологду мы с Йоккомссоном поселились на красивом скромном дворе, а Прокофий уехал к Коссмусу де Бушу, куда его направил его патрон г-н Строганов, поручивший ему раздобыть карбас (carbasshorka) (это небольшое судно на шестерых гребцов, не считая пассажиров, для которых также есть отдельные помещения, где можно укрыться от чужих глаз). Поскольку для подготовки судна к отплытию потре-бовалась целая неделя, мне пришлось скучать дома из опасения столкнуться с кем-нибудь из находившихся в городе шведов, ибо нельзя было допустить, чтобы они меня опознали. Но тем самым я навлек на себя серьезные подозрения со стороны моего товарища, в конце концов настолько усилившиеся, что все письма, полученные от четырех несчастных господ полковников и предназначенные для шведского правительства, мне пришлось спрятать между камнями печи в курной бане. Едва я с этим управился, как вошедший Йоккомссон спросил, чем я тут занят.

Наконец наступил долгожданный день, когда Йоккомссон явился с известием, что карбас (carbassen) готов. Послав свой скромный багаж вместе с его багажом вперед, я около девяти часов последовал за ним вверх по большой улице, а проходя мимо всех наших господ офицеров, стоявших на улице там, где они квартировали, достал носовой платок и сделал вид, будто сморкаюсь, пока не миновал их. Немного дальше мне, прежде чем спуститься к реке, предстояло пересечь большой двор г-на Коссмуса де Буша, так как именно у его двора стоял карбас. Но в ту самую минуту, когда я вошел во двор, Коссмус вышел с Прокофием из конюшни, где показывал ему своих превосходных лошадей. Прокофий сказал г-ну Бушу: «Вот приказчик Якоба Рейнхольтса, о котором ты столько спрашивал и с которым хочешь поговорить». И хотя мне очень хотелось избежать расспросов и пройти мимо, это было уже невозможно, так как господин де Буш, кивнув мне, сказал: «Я слышал, вы приехали из Казани и служите у г-на Якоба Рейнхольтса». «Да», — сказал я. «Ну и как поживает добрый Якоб Рейнхольтс?» — спросил он. «Хорошо», — ответил я. «А что — хорошо, что хорошо?» — спросил он. «Да, мой господин, хорошо», — повторил я. «Порадуйте же меня, расскажите», — сказал он. «Я слышал, — сказал я, — что г-н Буш знает о строгих приказах царя казанскому губернатору,[10] но до того как г-н Рейнхольтс уехал из Москвы, г-н Савва Рагузинский[11] столь многого добился в Петербурге у царя, что [г-н Рейнхольтс] не только получил дозволение беспрепятственно уехать, но и очень разбогател, так что царь позволил ему жениться на молодой вдове, из-за которой он оказался в столь большом затруднении». «Ах-ах, если так оно и есть, то это душевно меня радует, — сказал он. — Но где же теперь находится г-н Рейнхольтс?» «В Петербурге», — ответил я. «Тогда он, вероятно, приедет в Архангельск», — сказал он. «Наверняка не знаю, — ответил я, — но он приказал мне выезжать, с тем чтобы там получить дальнейшие письменные указания о ведении дел». Затем г-н Буш пожелал мне счастливого пути. Эта беседа произвела на Прокофия такое впечатление, что у него в отношении меня развеялись всякие сомнения, о чем он потом рассказал Йоккомссону, которого это тоже убедило. (Сей г-н Буш — тот самый человек, с которым я переписывался из Галича.)

Вечером того же дня мы отбыли и в полдень следующего подошли к острову, на котором стояла караульня. Там все путешественники должны были высаживаться и предъявлять свои паспорта, а поскольку у меня паспорта не было, я сказал Прокофию, что совсем недавно приехал в Москву и не знал, что нужен паспорт, но «ты можешь поручиться за меня, так как повсюду пользуешься уважением». От этой лести его тщеславие так взыграло, что он поручался за меня не только на этой, но и на других заставах (stafnojer). В пути мы играли в карты, и двое моих спутников курили табак, а я нет, и на подобные предложения всегда отвечал, что курить не могу. Но после того как миновали Тотьму, со слов Прокофия я понял, что нам предстоит пристать к берегу в Устюге, поскольку у него есть письма и еще одно дело к воеводе, о котором я выше рассказывал, — это он был прежде воеводой в Галиче и к тому же приходился швагером Строганову, хозяину Прокофия. По моим расчетам, до Устюга нам оставалось плыть по течению реки три дня. Обыкновенно мы сидели и играли в карты. Я как третий уселся на борт у входа в нашу каюту,[12] а те двое, как было сказано, беспрерывно курили. Я сказал: «Дайте и мне трубку табаку. Хочу попробовать, смогу ли курить». Получив трубку и немного покурив, я выронил ее и притворился, будто падаю спиной через борт. Однако загодя хорошо высмотрел, за что можно покрепче ухватиться. Но ошеломленные спутники подхватили меня и уложили в постель как больного. Я притворился заболевшим лихорадкой, попросил Йоккомссона принести мне из моего маленького погребца водки и насыпать в нее пороха, чтобы выпить как средство от жара. Приняв от него заказанное, водку я, разумеется, выпил, а порох незаметно выбросил — сделать это было нетрудно, поскольку оба они постоянно были заняты своими картами. Между тем я не ел и не пил, хотя и был голоден, и похудел так, что уже не походил на себя, когда мы на третий день в десять часов пристали к берегу в Устюге. Прокофий пошел к воеводе, который, в частности, спросил, кто такие его спутники. В половине двенадцатого через дверь, рядом с которой лежал, я увидел, как у кормы появился один из слуг господина, поднялся на карбас, поприветствовал нас от имени воеводы и передал его приглашение на обед. Йоккомссон ответил, что он придет, но его товарищ болен. «Да, — сказал слуга, — Прокофий говорил об этом, а ты должен прийти».

После ухода Йоккомссона к карбасу подошли несколько старых финок со стеганьем в руках. Я спросил, не могут ли они раздобыть мне хорошего питья. Они ответили утвердительно; я дал им денег и пару пустых бутылок, и они принесли питье, которое из-за сильно мучившей жажды показалось мне очень вкусным, хотя и не было особенно хорошим. Я охотно бы и поел, но пока не посмел, да к тому же мешали приходившие наши г-да офицеры, среди которых был Пинелло, прежде, как и я, живший в Галиче, но в качестве гофмейстера воеводского сына последовавший за ним, и теперь жил в Устюге. Офицеров интересовали всякие московские новости, но я не дал им толком увидеть свое лицо и лишь

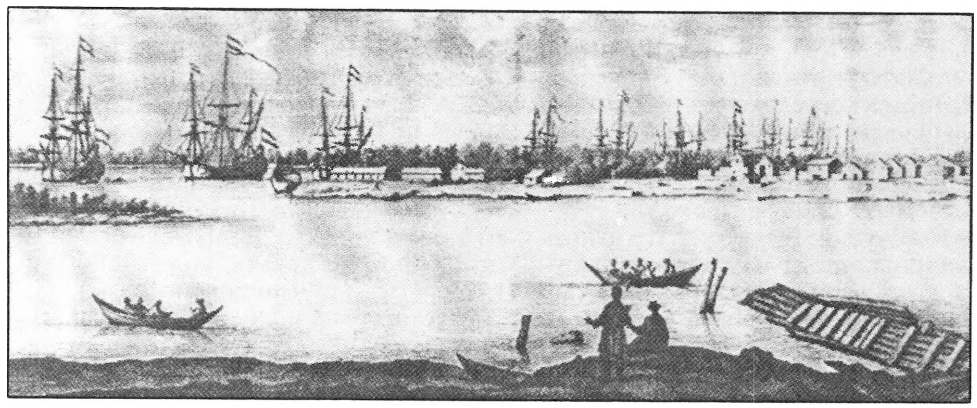
односложно отвечал из-под одеяла и вскоре благополучно отделался от них.

Как только офицеры ушли, я увидел подходивших пятерых слуг воеводы, они принесли всевозможную вареную снедь и стряпню, вино и лед. Слуги, поприветствовав меня от имени своего господина, просили угощаться, коли из-за болезни не смог прийти к обеду. Я, натянув одеяло до самых глаз, просил приветствовать и благодарить господина, а все принесенное поставить на стол. Я охотно дал бы слугам на чай, но, поскольку ясно опознал в них прежних рабов господина, воздержался от этого, дабы сразу не выдать себя.

Мои спутники вернулись лишь поздно вечером, изрядно навеселе. А тем временем я досыта наелся и напился после долгого поста. И мы плыли дальше до самого раннего утра, когда пристали к берегу у одной солеварни, которой владел г-н Строганов, хозяин Прокофия. Там я немножко повздорил с Йоккомссоном из-за мешка с яйцами, выброшенного мною накануне вечером в реку, так как этот Йоккомссон, будучи пьян, раздавил его, пробираясь к своей постели. В мешке было несколько сот яиц, предназначенных для оплаты наших дорожных расходов.

Оттуда мы поплыли прямо в Архангельск, но по пути видели много больших барок, затонувших с полным грузом. Мы и сами едва не погибли: штевень затонувшей барки, находившийся всего на дюйм ниже поверхности воды, грозил нам гибелью.

Прибыв в Архангельск около полудня, мы должны были причалить у таможни для предъявления нашего груза. Оба моих спутника отправились туда, и, пока они были в таможне (tamosen), я нанял одного парня из толпившихся на берегу, дал ему свой скромный багаж и пошел за ним, поинтересовавшись по дороге, знает ли он, где живет г-н Луфтус. Поскольку он ответил утвердительно, я направился прямо туда; в сенях встретил служанку и спросил ее, дома ли господин. Нет, сказала она, но, вероятно, скоро придет. Тогда я попросил показать мне какую-нибудь комнату, где я мог бы положить вещи. Она открыла дверь на чердак и показала мне наверху маленькую уютную комнату. Там я спешно переоделся и вышел, чтобы не встретиться с г-ном Луфтусом, который вынудил бы меня прийти к нему на обед, тем более что, как легко можно было предположить, к нему в это время всегда заходили иноземцы, из которых кто-нибудь мог меня знать. Самыми узкими улочками я пошел вниз к Английскому мосту. Но, дойдя до половины одного из таких переулков, вдруг увидел священника, которого сразу узнал; он намеревался было свернуть в другой переулок, однако, заметив меня, остановился. Поскольку сейчас такая встреча в Архангельске оказалась для меня совершенно неожиданной и совсем некстати, я повернул обратно, а он, видя это, громко закричал: «Руланти! Руланти!» Обернувшись, я спросил по-русски: «Кого ты зовешь?» Он сказал: «Я зову тебя, Руланти, разве ты не Руланти, который был в Галиче?» «Я никогда ни в Галиче не бывал, ни тебя не видал», — сказал я и ушел.



Не могу понять, как этот священник, который был самым благочестивым из всех в Галиче, оказался в Архангельске, разве что после моего отъезда из города умерла его жена и он пожелал жениться снова. Ибо если священник хочет жениться вторично, ему нельзя более оставаться священником. Но об этом священнике я хочу рассказать несколько подробнее, так как мы были хорошо знакомы. Во время моего долгого пребывания в Галиче каждый раз при встрече со мной он желал, чтобы я угощал его водкой. Он желал также как-нибудь прийти ко мне в гости. Вышло так (а я тогда жил у реки, в доме мещанина, о котором говорил выше, и он жаловался на меня воеводе за то, что я причинил его дому ущерб, когда он не желал принять меня на квартиру[13]), что я пригласил священника прийти после полудня. Он явился, а дело было весной, когда на реке был сильный ледоход. Поскольку же я вознамерился раз и навсегда избавиться от его уличного нытья, то, решив принять его наилучшим образом, велел принести из кабака добрую дозу aqua vita,[14] и священник до позднего вечера пил, а выйдя от меня, в потемках свалился в реку неподалеку от квартиры и, лежа там среди льдин, вопил, пока самый старший писарь приказа (precasen), живший в четвертом от меня доме, не услышал и не велел своим людям поднять его. На вопрос, где он был, священник ответил: «У Руланти». — «Ну, если ты пировал у него, то тебя обратно к нему и отведут». Вот они пришли с ним, постучали в ворота, и когда хозяйка открыла, то услышала от людей писаря: мол, где священник напился, там ему и ночевать. Хозяин не хотел пускать его в дом, да и у меня не было для него места. Но в сенях стояла едва покрытая соломой старая кровать, и я велел уложить его на нее. В полночь пришли жена священника с другими бабами, которые его разыскивали, и, найдя в постели, как я уже говорил, полузамерзшим, доставили домой. Назавтра, встретив меня на площади, священник весьма искренне поблагодарил за доброе угощение.

Когда я вернулся в дом г-на Луфтуса, его семья сидела за обедом; я хотел пройти на чердак; он был заперт, но служанка, открыв мне комнату из коридора, сказала: «Здесь вы будете жить». В этой хорошо убранной комнате я увидел и мой скромный багаж. Меня это чрезвычайно смутило, но вошел мальчик-слуга, немец, и от него я узнал то, чего прежде не мог предположить, а именно: хозяин дома принял меня за того самого человека, о котором писал и которого ждал из Москвы, так как, сказал мальчик, «наш приказчик уехал и теперь вы заступите на его место». Я подумал, что при сложившихся обстоятельствах эти ценные сведения для меня очень полезны.

В тот день г-н Луфтус меня не видел — я сразу вышел и вернулся позд-

но. Наутро я ушел рано, и случилось так, что в тот же день публично под барабанный бой объявили о вознаграждении в двести рублей за мою поимку; подробно описали мои одежду, наружность и волосы, каким меня видели в Москве. Что же касается того, что перечислялось в этом описании, то есть одежды и волос, я все изменил, а о волосах могу сказать, что если прежде я носил очень длинные волосы, которые каждый день мог сам причесывать на разные лады, теперь я их обрезал; все платье, которое я прежде носил, осталось в Москве. Кто устроил этот розыск, я из письма узнал только в Гамбурге по возвращении из Италии, однако называть имени этого человека не стану. На третий день после полудня Луфтус зашел в мою комнату и осведомился, почему я не ем дома и так подолгу отсутствую. Мой ответ его более или менее удовлетворил. «Молодой человек, — сказал он, — со временем наверняка сможет здесь хорошо зарабатывать на жизнь, когда освоится в делах торговли». «Не сомневаюсь в этом», — сказал я и поблагодарил его за хорошее жилье, а также поинтересовался, не получал ли он недавно из Москвы письма относительно меня. «Нет», — сказал он. «Должно быть, причиной тому, — сказал я, — то, что мой брат отправился в Иерусалимский монастырь». Я прожил там еще два почтовых дня, но старался не быть дома в обеденное время и питался где придется. Тем временем я присмотрел для себя другое жилье, отвечавшее моим планам, а также искал возможности уехать.

Пока я жил у г-на Луфтуса, Йоккомссон часто присылал ко мне человека с приглашением посетить его. Сам он не решался ко мне зайти, будучи в плохих отношениях с Луфтусом, о чем я узнал еще во время путешествия, и это также оказалось для меня небесполезным. Однажды мне пришлось сопровождать Йоккомссона к немецкому пастору в Архангельске, так как он будто бы весьма просил привести меня. Надо сказать, что этот пастор был швагером Йоккомссона. Когда я пришел туда, пастор сказал: «Вы представить себе не можете, до чего я рад видеть служащего Якоба Рейнхольтса и говорить с ним; как мне стало известно от моего швагера, вы приехали из Казани. Вы ведь, вероятно, знаете, что я долго был домашним учителем у детей господина Рейнхольтса, но уже несколько лет не имею о нем никаких известий. Поэтому мне очень хотелось бы узнать, как он поживает, от его служащего, только что прибывшего оттуда, тем более что мне всегда был очень дорог его дом». (Всякому ясно, какой неожиданностью это для меня стало). Он задал мне много вопросов, на которые я был вынужден отвечать как мог, но наконец оказался в таком затруднении, что едва удерживался от признания, а про себя думал: «Ведь ты пастор, которому надлежит помалкивать о том, что доверяется тебе в тайне. Но я хорошо осознаю, что если откроюсь, ты непременно меня выдашь, тем более что двести рублей, которые за это получишь, наверняка тебе желанны». Итак, я продолжал таиться и на некоторые вопросы отвечал, что, мол, при том или ином случае отсутствовал, ведь я не всегда нахожусь дома в конторе, а, будучи экспедиционным приказчиком, почти беспрерывно езжу в Татарию, Азов и многие другие места. Он удовлетворился тем, что я сумел сообщить, а особенно известием о хорошем теперешнем отношении царя к г-ну Якобу Рейнхольтсу, и это более всего укрепило пастора во мнении, что я действительно у него служу.

Йоккомссон, который продолжал докучать мне, спросил, почему по воскресеньям я не хожу в церковь, а поскольку уже миновали два воскресенья и опять была суббота, он сказал: «Приходи завтра в церковь, и мы там встретимся». Из опасения навлечь на себя подозрения я не отважился уклониться. [В церкви] я сел на скамью и забился как можно глубже, и поскольку сидевшие впереди оглядывались, постоянно держал наготове носовой платок, чтобы притворяться, будто сморкаюсь, когда люди с передних скамей оглядывались. Ведь очень многих я знал, как и они меня. После благословения я сразу вышел, намереваясь поспешно уйти, но вопреки всем ожиданиям один приказчик датского консула узнал меня. Его звали Кантслер, он был шведом из Лифляндии. Он сразу пошел за мной, догнал и поприветствовал, совершенно правильно назвав мой чин. Я ответил: «Господин, вероятно, обознался». «Нет, — ответил он, — как же, разве мы не виделись весьма часто в Москве у моего патрона и английского консула, у господ Слютера, Мелленгревена и у других; я не могу обознаться». «Конечно, вы правы, — сказал я, — но сочту вас последним канальей, если выдадите меня». «И это будет справедливо, — сказал он, но продолжил. — Хорошо понимаю ваши планы, но не стану вам помогать в их осуществлении». «Об этом и не прошу, — ответил я. — Скажите, что за дела здесь, в Архангельске, у Йоккомссона?» Я задал такой вопрос, поскольку понял, что Йоккомссон посещает [датского] консула. «Да, этим я могу служить вам, — сказал он. — Стало известно, что царь приказал конфисковать все имущество Мёксена за то, что он не смог достать шведскую медь, о [поставке] которой договорился с царем. Вот царь и велел ему вместо этого поставить 40 пудов серебряных риксдалеров,[15] и теперь Йоккомссон здесь старается скупить все серебряные риксдалеры, привезенные отовсюду на кораблях. Поэтому-то он часто ходит и к консулу». Эти сведения были мне очень на руку. Ведь и прежде Йоккомссон частенько спрашивал меня, не получил ли я письма с указаниями, чем мне заниматься в Архангельске, а я был вынужден отвечать отрицательно. Как раз на следующий день он вновь прислал мне приглашение к завтраку. Когда я пришел, на столе стояли вино, английский сыр и прочее. Мы наилучшим образом сидели за столом, и он опять спросил, не получил ли я письма. «Да, — ответил я, — и если бы вы не послали за мной, я теперь сам пришел бы к вам с просьбой об услуге, которую вы, без сомнения, можете оказать лучше, нежели кто бы то ни было другой». «О чем же идет речь?» — спросил он. «Я скажу вам, — ответил я, — но прежде, пожалуйста, определенно обещайте мне выполнить мою просьбу». Он пообещал, если просьба окажется выполнимой. «Итак, — сказал я, — дело в том, что я получил письмо из Петербурга от г-на Рейнхольтса с распоряжением скупить два пуда серебряных риксдалеров». Йоккомссон, удобнейшим образом расположившийся в халате за столом, поднялся, попросил извинения, сославшись на то, что позабыл о крайне важном деле, которое должен уладить с утра, оделся, и мы тотчас же вышли. Прощаясь, он попросил меня зайти в другой раз. Но я был рад, что таким способом отделался от него, и с того дня мы больше не виделись.

Присмотрев удобное жилье, где можно было входить и выходить, не открывая никаких ворот и так, чтобы люди хозяина не знали, дома ли я, я к вечеру пришел в мою комнату у господина Луфтуса, велел узнать, дома ли он, тем более что знал уже, что в доме нет никого постороннего. Я вошел к нему и спросил, не получил ли он письма из Москвы относительно меня. «Нет, — ответил он, —

правда, с последней почтой я получил оттуда письмо от моего брата, но он ни словом не упоминает о вас». — «То, что господин брат не упоминает обо мне, — неудивительно, ведь я не имел случая поговорить с ним перед отъездом, поскольку сам он тогда был в отъезде, но я полагал, что вы получите письмо от г-на Слютера». «Г-н Слютер — мой добрый приятель, — сказал он. — Вероятно, он запамятовал об этом деле, и поэтому я намерен с ближайшей почтой написать ему». «Я сделаю то же самое, — сказал я. — Между тем не нахожу более возможным доставлять моему господину неудобства и весьма благодарен за столь долговременный приют. Я должен, покуда не придет ответ, присмотреть себе другую квартиру». «Нет, — сказал он, — вам не следует этого делать, оставайтесь здесь». Затем он пригласил меня в другую комнату откушать. За обедом он поинтересовался между прочим, какой страны я уроженец. Я ответил: «Я из Данцига». «Schade, schade», — сказала жена хозяина. «Worumb dass?» — спросил он. «Ich dackte, dass ehr eine Schwede war»,[16] — ответила хозяйка, достойнейшая женщина, дочь бургомистра Нарвы. Хозяина же, немца, эти слова несколько огорчили: «Так ты считаешь, что никакой другой народ не может быть столь же честным, как шведы?» «Не в этом дело, — ответила она, — а поскольку я сама шведка, очень желала бы хоть иногда видеть шведов», и т.п. Поскольку мне не терпелось уйти, время за столом тянулось для меня очень медленно. Покончив с обедом, мы прошли в зал, где я попрощался и еще раз поблагодарил хозяина за благосклонность и удовольствие, доставленное мне, чужому человеку, а также за долго выказываемое гостеприимство. В ответ он совершенно серьезно сказал, что мне не следует переезжать от него. Однако я распрощался и вышел. Ранним утром, забрав вещи, я велел какому-то парню отнести их на квартиру, где уже договорился о постое, и впоследствии старался не попадаться Луфтусу на глаза; в гавань на поиски матросов я выходил преимущественно в обеденное время. Я встретил их и узнал об одном корабле, готовом, по их словам, к отходу; он зимовал в Архангельске. Велев отвезти меня [в шлюпке] на этот корабль, я потолковал о моем деле со старшим штурманом, и тот показал меня капитану, жившему в Английской слободе (Engelske slaboden). Однажды утром, когда капитан только-только встал, я пришел и спросил, не возьмет ли он меня на борт. Он осведомился, есть ли у меня паспорт. «Нет», — сказал я. — «Без паспорта я не смею брать кого-либо на борт». Он спросил далее, из какой я страны и как попал в Россию. Я ответил, что из Данцига и три года тому назад приехал сюда приказчиком, «а что сюда легко въехать, но трудно выехать, наверняка хорошо известно и самому господину капитану», — сказал я. С этими словами я вынул и дал ему пять серебряных риксдалеров. «Завтра приходите снова, — сказал он, — тогда здесь будет мой штурман, и я прикажу ему взять вас на борт». Я так и поступил, встретился там со старшим штурманом, уже получившим соответствующее распоряжение, и обговорил с ним, как мне лучше незаметно пробраться на корабль, стоявший у Соломбалы.[17] Штурман отправил со мной одного матроса посмотреть, где моя квартира, и решил в тот же день послать за мной шлюпку, что и было сделано. А пока я расплатился с хозяином квартиры за срок, который ее занимал, не сказав, сохраняю ли ее за собой и впредь.

В полдень штурман прислал за мной шлюпку, и я поднялся на борт корабля. Там уговорился с несколькими матросами о том, что с наступлением ночи они пойдут со мной в город на мою квартиру за вещами, так как днем это было опасно.

Ночью я, взяв с собой только трех человек, подошел в шлюпке к высокому берегу прямо за Английской слободой. С двумя матросами пошел на квартиру, и матросы тихо, чтобы никто в доме не услышал, взяли с двух сторон за ручки мой чемодан, а я пошел сзади с палкой в руке. Мы прошли примерно половину пути, до большого моста было уже недалеко, когда появились два досмотрщика и вознамерились схватить этих двоих, несших чемодан, но тут я встал между ними и, подняв палку, велел матросам бежать, а сам фехтовал ею до тех пор, пока не увидел, что матросы вне опасности. А когда на крики досмотрщиков толпой сбежались их товарищи, я дал деру, одним прыжком сиганул с высокого берега и оказался в шлюпке, которую удерживали на месте только багром и тут же оттолкнулись от берега. Досмотрщики кричали вслед, но мы тоже не мешкали, а дабы они не заметили, к какому кораблю мы гребем, я велел провести шлюпку между всеми кораблями, пришедшими в эти дни. Мы пристали к одному голландскому судну, где пару часов переждали, и там я купил пол-анкера[18] джина, головку голландского сыра и сколько-то масла (все эти продукты позднее очень мне пригодились в долгом плавании), и затем мы так и не замеченными пошли на веслах к нашему кораблю.

Наутро вышло много ботов с досмотрщиками, но все направились туда, где было скопление кораблей, и ни один не подошел к нашему, одиноко стоявшему поодаль. Джин я отдал матросам в награду, и они за это были очень мне признательны, так как на корабле не имелось джина и вообще кормили плохо...

Капитан, уладив все дела на берегу, поднялся на борт и приказал готовиться к отходу. Его приказание было выполнено, но, как я уже хорошо знал, нам предстояло бросить якорь у крепости,[19] прежде чем получим разрешение пройти. Я проинструктировал матросов и расставил их так, чтобы на борту невозможно было произвести тщательный досмотр. Наш 48-пушечный фрегат имел два больших люка с отличными трапами на нижнюю палубу. Около них наверху и внизу я поставил по два человека и сказал, что ни один русский не должен быть пропущен наверх, пока те матросы, которые прогуливаются по верхней палубе, не дадут знак, что капитан с русским офицером поднимаются из каюты. Кок и старший боцман должны были сидеть у камбуза, около которого находился кабельгат.[20] Нескольким матросам надлежало прохаживаться по нижней палубе, и когда русские придут с досмотром, предоставить им полную свободу действий, покуда они не вознамерятся войти в кабельгат, и тогда старший боцман и кок должны затеять с ними ссору. Также они условились с остальными находившимися под палубой матросами, что те прибегут бить русских, чтобы не дать им подняться по трапам, чему будут препятствовать и специально поставленные матросы. А после того как русских хорошенько поколотят, несколько матросов, тоже прогуливающихся по палубе, пойдут к обоим капитанам и убедительно пожалуются на то, что русские бьют матросов.

И вот когда корабль подошел к крепости, на борт поднялся, как выше было сказано, русский капитан с шестью солдатами, и поскольку имелся приказ губернатора коменданту тщательно проверять уходящие суда, дабы никто сверх того числа, какое было при приходе корабля, не выехал, теперь надлежало весьма внимательно смотреть за этим (сле-

дует знать, что люди на каждом приходящем корабле тщательно пересчитываются). По этой причине меня и спрятали в кабельгате.

Мои наставления были исполнены тем более точно, что в Архангельске, где корабль простоял одиннадцать месяцев, матросы за зиму уже натерпелись от русских много обид. Как только матросы пожаловались, наш капитан, весьма этим рассерженный, что-то жестко сказал русскому капитану, и оба поднялись из каюты наверх. Когда русские солдаты вышли на палубу, их капитан сразу стал грозить им палкой и тут же, не позволив сказать ни слова в свое оправдание, спешно погнал в шлюпку да еще пообещал дать батогов (podogg) тотчас по возвращении в крепость. (Следует знать, что тогда в России бытовал такой порядок, о чем я в моем повествовании прежде уже говорил, да и сам применил на практике: правым признается тот, кто успел пожаловаться первым).

Едва русская шлюпка отвалила от корабля, старший боцман, открыв дверь, поведал мне о происшедшем, и я снова поднялся на палубу, но, поскольку еще миновало некоторое время, прежде чем в крепости подняли флаг, означавший, что кораблю разрешено пройти, я опасался возвращения русских, чего, однако, не случилось, и 24 июня 1714 года мы покинули Архангельск...

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Пипер (Piper) Карл (1647—1716), граф, шведский государственный деятель и дипломат. Государственный секретарь (с 1689), королевский и государственный советник (с 1697). В 1700—1709 гг. руководил полевой канцелярией Карла XII. Взят в плен после Полтавского сражения; умер в плену. Находясь в заключении, К. Пипер вел дневник: *Piper C.* Grefve Carl Pipers dagbok hållen under hans fångenskap i Ryssland 1709—1714 / Utg. genom E.Carlson (Historiska Handlingar; D. 21. № 1). Stockholm, 1906. О К. Пипере в плену см.: *Sörensson P.* Grefve Carl Piper och svenskarna i rysk fångenskap // Karolinska Förbundets Årsbok. Lund, 1912. S. 1—52; *Åberg A.* Fångars elände: Karolinerna i Ryssland 1700—1723. Stockholm, 1991. S. 41—55 o.a.

[2]Из текста К. фон Руланда невозможно выяснить, кто именно из многочисленного рода Голицыных имеется здесь в виду.

[3]В тексте глухо: «...men aldrig får du lemmen igen». По-шведски «lem» (с суффигированным артиклем: «lemmen») — это любой член тела либо член мужской, и что здесь имеется в виду, неизвестно.

[4]Подполковник Бромс нигде более в мемуарах не упомянут, и неясно, в чем состояла его вина перед полковником Рамсвердом.

[5]Немецкое «Schwager», шведское «svåger». Обычно передаваемое по-русски как «швагер» — это деверь (брат мужа); шурин (брат жены); зять (муж дочери или сестры); свояк (муж сестры жены). Для более точного перевода надо знать степень родства Мёкса и Йоккомссона, а она в тексте не разъяснена.

[6]Эта фамилия отсутствует в специальном исследовании, см.: *Захаров В.Н.* Западноевропейские купцы в России: Эпоха Петра I. М., 1996. Однако о деятельности в нашей стране родственника Йоккомссона — английского купца С.Мёкса (Мюкса, Мекса) сведений много (см., напр.: *Захаров В.Н.* Западноевропейские купцы в России... С. 53, 114, 117, 119, 125, 165, 209, 211, 213, 214, 251, 254, 255, 265, 312).

[7]Рейнхольтс (Reinholts) Якоб (в русской традиции: Рейнгольд Яков) в промежутке между 1698 и 1721 гг. встречается в документах как «свейской земли торговый иноземец». С началом Северной войны 1700—1721 гг. он с прочими находившимися на территории нашей страны шведами был интернирован и должен был оставаться в России до заключения мира. Однако Я. Рейнхольтс, как и некоторые другие шведские коммерсанты, «продолжал заниматься кое-какой торговлей или иными операциями на внутреннем рынке» (*Захаров В.Н.* Западноевропейские купцы в России... С. 37, 317).

[8]Ad notam (*лат.*) — к сведению.

[9]Вернее, Новоиерусалимский.

[10]Апраксин Петр Матвеевич (1659—1728), российский государственный и военный деятель. Стольник (с 1677), окольничий (с 1689), новгородский воевода (с 1698). В первые годы Северной войны командовал русскими отрядами у северо-западных рубежей России. Астраханский воевода (с 1705), казанский губернатор (1708—1713). Граф (с 1710), сенатор (1717—1718). В 1718 г. был арестован по делу царевича Алексея Петровича, но оправдан и, участвуя в суде над ним, подписал смертный приговор. Президент Юстиц-коллегии (с 1722), действительный тайный советник (с 1725) (Собрание собственноручных писем государя императора Петра Великого к Апраксиным. М., 1811. Ч. 1—2).

[11]Владиславич-Рагузинский Савва (Сава) Лукич (1668–1738), сербский граф, российский государственный деятель, дипломат, богатый финансовый агент и купец. С 1702 или 1703 г. жил в Москве, потом в Петербурге. В 1710 г. произведен Петром I в надворные советники. В 1711—1722 гг. представлял интересы России в Черногории, Венеции и Риме, в 1725—1728 гг. возглавлял русское посольство в Китай. Выполнял также личные поручения царя (*Павленко Н.И.* 1) Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Сибирские огни. 1978. № 3; 2) Птенцы гнезда Петрова. М., 1994. С.331—366; *Станишич Й.Я.* Деятельность Савы Владиславича в России // Петербургские чтения: Научная конференция, посвященная 290-летию Санкт-Петербурга. 24—28 мая 1993 года: Тезисы докладов. СПб., 1993. Вып. 2. С. 71—72).

[12]Неясно, о какой карточной игре идет речь.

[13]Выше в тексте К. Руланда изложен эпизод о том, как швед был вынужден взломать ворота и двери в доме, хозяин которого не желал пускать его к себе на постой.

[14]Aqua vita (*лат.*) — водка.

[15]Риксдалер (riksdaler) — шведский талер, введенный по образцу немецкого рейхсталера (Reichstaler); в 1664—1776 гг. равнялся 52 эре (öre).

[16]«Жаль, жаль», — сказала жена хозяина. «Почему же?» — спросил он. «Я думала, что он швед» (*нем.*).

[17]Соломбала — остров в дельте Северной Двины на территории Архангельска.

[18]Анкер (*швед.* ankare) — старинная мера вина, равная 39,26 л.

[19]Имеется в виду Новодвинская крепость, заложенная весной 1701 г. на острове Линском близ устья Северной Двины для защиты Архангельска от нападения с моря. Гарнизон крепости осуществлял таможенный досмотр прибывавших к городу и покидавших его судов (*Беспятых Ю.Н.* История знаменитого сражения: Шведская экспедиция на Архангельск в 1701 году. Архангельск, 1990; Тревожные годы Архангельска. 1700—1721: Документы по истории Беломорья в эпоху Петра Великого / Изд. подготовили Ю.Н.Беспятых, В.В.Брызгалов, П.А.Кротов; отв. ред. Ю.Н. Беспятых. Архангельск, 1993).

[20]Кабельгат (гол. kabelgat)— канатное, тросовое отделение, такелажная на судне.

# «Храм для поклонения Господу всего мира»

## (Из книги «Шведские пути в Санкт-Петербург. Главы из истории о шведах на невских берегах»)

Бенгт ЯНГФЕЛЬДТ

*Предлагаю вниманию читателей главу из книги Бенгта Янгфельдта «Шведские пути в С.-Петербург. Главы из истории о шведах на невских берегах» (Bengt Jangfeldt. «Svenska vägar till St.Petersburg. Kapitel ur histotien om svenskarna vid Nevans stränder»), вышедшей на языке оригинала в 1998 году и удостоенной весьма престижной премии имени Августа Стриндберга. Бенгт Янгфельдт (род. в 1948 году) — доцент кафедры славянских языков Стокгольмского университета, писатель, историк и литературовед, издавший в Швеции и за ее пределами несколько книг по истории русской литературы. Кроме того, он является почетным членом Шведского общества в Петербурге (основано в 1910 году). Публикуемая здесь с любезного согласия автора в сокращении глава — небольшая часть чрезвычайно содержательного капитального труда о жизни и деятельности шведов в Петербурге на протяжении его трехсотлетней истории. Полный перевод книги готовится к изданию в Издательстве БЛИЦ и выйдет в этом году.*

Царь Петр был известен своей веротерпимостью, и поэтому неудивительно, что он немедленно разрешил действовать в новом городе двум шведско-финским приходам: традиционному евангелическо-лютеранскому и приходу военнопленных. Последний обслуживали пленные пасторы, и он был упразднен после заключения Ништадтского мира 1721 года, когда солдатам позволили вернуться в Швецию.

Традиционный приход стал прямым преемником существовавшего с 1632 года шведско-финского прихода в Ниене и подчиненной ему административной территории. Согласно изданному ингерманландским генерал-губернатором Бенгтом Уксеншерной церковному уставу, «в княжестве Ингерманландия» следовало быть «двум пасторам — одному в Ниеншанце и другому в Ивангороде». Это постановление датировано 1639 годом, но к тому времени в Ниене уже семь лет был пастор, и, следовательно, данный документ надо рассматривать прежде всего как попытку упорядочить религиозную жизнь Ингерманландии.

Наши сведения о ниенском приходе ограничиваются, к сожалению, лишь голыми фактами — размерами жалованья пасторов, назначениями на должность и т.п. Так, например, генерал-губернатор Юхан Шютте наделил первого пастора Хенрикуса Мартини Фаттебююра поместьем площадью в три обжи для пасторского двора, когда он в 1632 году приступил к исполнению обязанностей. Главный пастор прихода был также «педагогом и наставником», обязанным преподавать в ниенской школе, в частности, немецкий язык. На протяжении семидесятилетней истории прихода там служили всего двенадцать главных пасторов; последним был Сакариас Литовиус, назначенный в марте 1702 года, но прослуживший всего полгода — уже в октябре он из-за тревожной обстановки сбежал в Борго. Последним же пастором в Ниене, прослужившим в приходе более или менее долгое время, был Эрикус Альбогиус, работавший там в 1697—1701 годах.

### ОТ ФИНСКИХ ШХЕР ДО КОНЮШЕН

Ниенский приход пребывал под шведским скипетром, между тем как петербургский подчинялся русскому государю. Однако последний сохранил свой старый устав, согласно которому «наши единоверцы в этих краях уже издавна отправляли свои духовные потребности», как высказался пастор Эрик Густаф Эрстрём, написавший краткую историю шведского прихода в Петербурге, которую впредь будем здесь частенько цитировать. Пока приход не вмешивался в мирские дела, он занимался главным образом своими собственными, но существовало одно ограничение, которое, разумеется, касалось не только шведского прихода.

Вероятно, шведско-финский являлся старейшим в Петербурге евангелическо-лютеранским приходом. Правда, эти сведения ненадежны и, должно быть, опираются на тот факт, что швед Якоб Майделин уже в 1703 году в качестве первого лютеранского пастора в Ингерманландии присягнул на верность русскому ца-рю и в июне того же года получил от Петра охранную грамоту, предоставлявшую священнику право исполнять свои обязанности. Многое указывает на то, что шведско-финский приход именно в Петербурге возник лишь несколькими годами позднее.

В таком случае старейшим евангелическо-лютеранским приходом в городе надо признать немецкий, образованный спустя год после основания Петербурга — в 1704 году. Численность немцев быстро возрастала, и в отличие от шведов многие немцы были людьми состоятельными; уже в 1708 году на Адмиралтейской стороне стояла полностью выстроенная первая немецкая церковь. Через двадцать лет на Невской першпективе была возведена церковь Св.Петра, где ее и сейчас можно увидеть — в том виде, в каком ее изобразил в XIX веке Александр Брюллов. В 1710-е годы возникло еще несколько иностранных приходов, в том числе голландский реформатский (1717) и английский (1718).

Поначалу шведско-финский приход вынужден был принимать лишь временные решения о помещении для богослужений. Они на протяжении первых десятилетий отправлялись в частном доме в так называемых Финских шхерах, получивших это наименование потому, что там жили многие финны и шведы. Дом стоял на улице, расположенной между Летним садом и Зимним дворцом; когда в начале 1730-х годов городские улицы получили названия, эта стала Немецкой, а позже ей присвоили название Миллионной.

Шведский приход составляли преимущественно беженцы из Ниена и других завоеванных русскими частей Ингерманландии. Прихожане

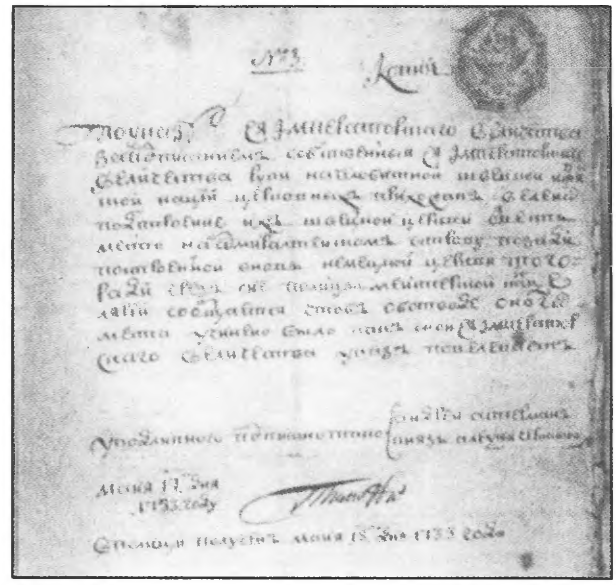
шведы работали прежде всего при дворе либо в других придворных службах, но среди шведов, как и среди финнов, были также бюргеры и ремесленники. Кроме того, многие финны работали слугами, и многие из них имели жилища в финских деревнях, расположенных в окрестностях города. Дом, служивший приходу церковью, принадлежал Якобу Майделину, рукоположенному в пасторский сан в Ниене в 1699 году. Во время войны русские взяли Майделина в плен и привели в Петербург, где сначала заключили в крепость, но потом выпустили. Где-то между 1710 и 1713 годами он, по-видимому, сменил Отто Бергмана в должности пастора шведско-финского прихода и в 1724 году императорским указом был назначен пробстом (старшим пастором) всех евангелическо-лютеранских приходов Ингерманландии. Это свидетельствует о том, что Майделин пользовался доверием царя.

Деятельность Майделина на посту старшего пастора омрачалась раздорами, возникавшими, по-видимому, отчасти из-за внутренних противоречий между шведскоязычными и финскоязычными группами в приходе, а отчасти из-за того, что глава прихода имел обыкновение «немножко слишком глубоко заглядывать в стакан» — он, как деликатно выражается по этому поводу Эрстрём, «поддался слабости, предосудительной прежде всего в человеке, коему надлежит являть христианскому приходу пример своими наставлениями и образом жизни». Майделин скончался в 1729 году от последствий драки с конкурентом из духовного сословия, который ударил пробста по голове молотком, «отчего спустя недолгое время после этого Майделин умер, и если удар не был непосредственной причиной смерти, то во всяком случае приблизил ее».

В 1720-х годах усилился приток людей в Петербург из Финляндии. В начале 1730-х годов приход насчитывал 1500–1600 человек, и это составляло около трех процентов от всего населения города. Большинство финляндцев* приехали после Ништадтского мира.

Несмотря на численное увеличение прихода, он еще не имел собственного административного устройства. Преемник Якоба Майделина скончался, прослужив всего несколько месяцев, и претворить в жизнь мечты прихожан о собственной церкви выпало на долю Густава Левануса. Он появился в приходе в 1729 году и спустя четыре года возглавил его. 17 мая того же года, почти день в день с тридцатилетней годовщиной основания города, приходу по его «всеподданнейшему прошению» был выделен участок для строительства церковного здания. Вот как звучит императорский указ об этом:

«По указу Ея императорскаго величества за подписанием собственныя Ея императорскаго величества руки на челобитной швецкой и финской наций церковных прихожан велено под устроение их швецкой церкви отвесть место на Адмиралтейском острову позади построенной вновь немецкой церкви. Того ради чрез сие Полицмейстерской канцелярии сообщается, чтоб об отводе оного места учинено было, как оной Ея императорскаго величества указ повелевает».



Эта утвержденная копия, снятая в 1762 г. с императорского указа, которым в 1733 г. шведско-финскому приходу предоставлялся участок у Невского проспекта, найдена в архиве прихода Св. Екатерины.
*Государственный архив Швеции.*

О церковном здании давно мечтали, и прихожане были обрадованы милостивым дозволением его построить, что видно, в частности, из письма шведского чрезвычайного и полномочного посланника в Петербурге Иоахима фон Дитмера от 1 июня 1733 года, отправленного «могущественнейшему, всемилостивейшему королю» Фредрику I: шведский и финский приход, который до сих пор «должен был в достойном жалости положении отправлять богослужения в одном доме», получил, сообщает посланник, от императрицы Анны Иоанновны не только участок, но еще и 500 рублей на «возведение церкви».

Участок, имевший 215 локтей в длину и 180 локтей в ширину, находился у самого Невского проспекта. На юго-западе он граничил с участком немецкой церкви Св.Петра; на северо-востоке — с участком, принадлежавшим императорским конюшням; на северо-западе — с Бóльшей Конюшенной улицей и на юго-востоке — с Рождественской улицей, которая впоследствии получила название Меньшей Конюшенной. Позднее названия изменили соответственно на Большую и Малую Конюшенные улицы.

Средства на строительство церкви собирали не только в Петербурге, но и среди единоверцев в Риге, Ревеле и Нарве. 19 мая 1734 года храм был готов. В том же году на этом участке возвели и дом для пастора.

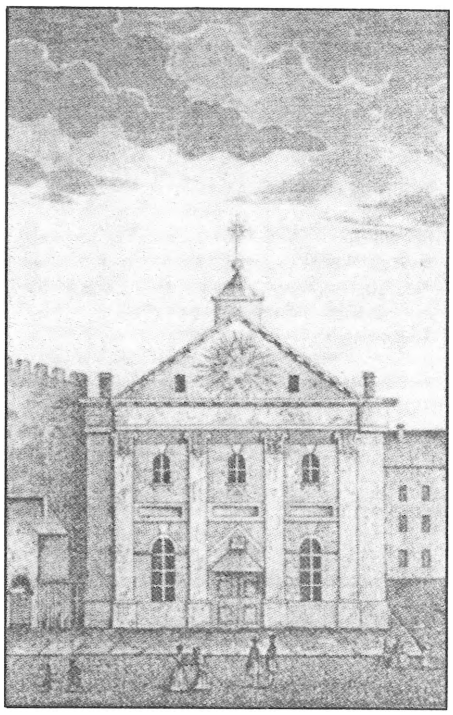
Церковь Св.Анны была простым деревянным зданием, в плане имевшим вид креста, и поначалу в ней не было почти никаких украшений. «Внутри этой церкви нет почти ничего, что можно было бы назвать нарядным», — сообщает Эрстрём. В качестве алтаря использовали обычный стол, а ризница вообще не была отделена от церкви. Лишь спустя десять лет получили средства на алтарь и на запрестольный образ.

Российское правительство решило снести все стоявшие по Немецкой улице деревянные хижины, где находился дом Майделина, и вместо них выстроить каменные здания. Это способствовало тому, что приход получил участок. Таким образом, решение императрицы было обусловлено отчасти практическими соображениями. То же можно сказать и о выборе места — Невского проспекта, который в ту пору был оживленной улицей для прогулок, а не тем элегантным бульваром, какой в 1860-х годах Александр Дюма предложил переименовать в «улицу веротерпимости» (впрочем, это выражение было в ходу еще в 1790-х годах).

Густаф Леванус, происходивший из Нюланда, стал первым в череде выдающихся пасторов; он был ода-

*Житель Финлядии, но не обязательно финн.

ренным организатором, введшим церковные книги и создавшим настоящий орган управления, состоявший из церковных старост и церковных советов. Произошли важные изменения и в отношении проведения богослужений. Прежде шведская литургия начиналась рано утром, а финская — сразу после нее, в обычное для проведения литургий время, однако это было сопряжено с неудоб-



Освященная в 1769 г. церковь Св. Екатерины, изображенная, вероятно, архитектором немецкого происхождения Юрием Фельтеном (Георгом фон Фельдтеном, 1730—1801 гг.).

ствами для шведскоязычных людей, живших за пределами города. После реформы Левануса финские и шведские богослужения стали проводиться попеременно до и после полудня.

Споры вокруг времени проведения богослужений усилил всегда существовавшие противоречия между шведско- и финскоязычными прихожанами. Довольно скоро разрыв принял всеобщий характер. В 1745 году финны, возглавляемые Эсайасом Аароном Нурденбергом, вышли из прихода и образовали свой собственный — приход Св.Марии. 20 января 1745 года Леванус, как он сам записал в требнике, «в последний раз на финском языке причастил святых тайн и исповедал, поскольку произошел раскол из-за посягновений Нурденберга на приходы». Шведскоязычные прихожане из Швеции и Финляндии остались только в приходе Св. Анны. Что касается «пастора» Нурденберга, то он вскоре был разоблачен как самозванец, «спившийся абоский моряк» и уже через год отстранен от пасторской должности.

Противоречия между шведско- и финскоязычной группами были глубоки, но порой принимали трагикомический оттенок, как, например, в случае с надписью на люстре, подаренной шведской церкви за год до окончательного раскола: «Эту люстру Андреас Дейкман подарил шведскому приходу, но не финскому. Год 1744, 1 октября». Однако мало-помалу прихожане одумались и пришли к согласию в том, что будут совместно пользоваться церковным зданием.

Человеком, окончательно расколовшим приход, был преемник Левануса Исаак Хоугберг. После продолжительных споров было решено разделить церковный участок по продольной линии: шведскому приходу досталась часть, выходившая на Малую Конюшенную улицу, а финскому — выходившая на Большую Конюшенную.

Этот финско-шведский конфликт, имевший место еще при Майделине и приведший к разделу прихода, в действительности тлел на протяжении всей его истории. Отныне его естественная причина заключалась не в языке, а в противоречиях между шведами из собственно Швеции и шведами из Финляндии. Жизнь прихода обычно текла мирно, но несколько раз, как мы увидим ниже, противоречия накалялись настолько, что возникали открытые распри.

В 1757 году был возведен новый жилой дом для пастора, а старый, выстроенный в 1734 году, отремонтировали и сдали внаем. Это оказалось хорошей сделкой, и приход, по словам Эрстрёма, «впервые получил на церковные нужды надежный источник финансовых поступлений, которые в последующие времена лягут в основу... экономического благополучия церкви».

Другим источником дохода были так называемые корабельные деньги. В 1680-е годы немецкие купцы выстроили в Архангельске церковь, и шкиперы немецких торговых судов стали добровольно жертвовать ей по пять рублей. Эта традиция постепенно распространилась и на Петербург, где такие взносы поступали в кассу немецкого прихода, хотя делались они всеми иностранными кораблями. Дабы изменить подобное положение дел, шведский приход испросил разрешения получать эту дань со всех шведских кораблей, а также с норвежских и датских, поскольку датчане и норвежцы часто посещали шведскую церковь. Совет церкви Св.Петра добровольно отказался от этих средств, однако вскоре возник новый конфликт, когда финский приход потребовал себе половину доставшихся шведам корабельных денег. С этим спором покончил король Адольф Фредрик, в 1759 году постановивший, что получать взносы с кораблей имеет право только шведский приход. Другие разногласия привели к тому, что традиция уплаты корабельных денег мало-помалу совершенно сошла на нет.

## Св. ЕКАТЕРИНА

На протяжении двух десятилетий шведский и финский приходы совместно владели одним и тем же святым местом, однако это было компромиссом, не устраивавшим ни ту, ни другую сторону. Поэтому шведский приход принял решение возвести собственный храм.

17 мая 1767 года, в день Вознесения Христова, был заложен камень в основание церкви, в которой приход будет «поклоняться Господу». Церковная казна была небогата, в ней хранились всего 782 рубля, и их хватило ненадолго. От петербургских прихожан-благотворителей поступили почти 1700 рублей, от частных лиц несколько сотен, от управляющего торговым двором Карла Кристиана Багге поступил вспомогательный сбор в 550 рублей, московские шведы подарили 455 рублей; всего набралось добрых семь тысяч рублей.

Поговаривали, будто Екатерина II оказала строительству церкви финансовую поддержку, однако на сей счет нет никаких надежных свидетельств. И все же в декабрьском письме 1767 года шведского посланника барона Риббинга к главному пастору прихода Хоугбергу содержится намек на то, что слухи могли быть справедливыми. Риббинг пишет, что «ему самому была оказана милость иметь возможность на последнем куртаге... умолять Ее величество императрицу о какой-либо поддержке начатого церковного строительства, кое было предпринято с милостивого изволения Ее величества... Ее величество весьма милостиво уверила, что она как ради прихода, так и принимая во внимание мою просьбу с великим удовольствием поможет завершению строительства церкви... Таким образом, я совершенно уверен в щедром пожертвовании на нашу лютеранскую

церковь и при первом же удобном случае постараюсь, чтобы данное Ее величеством доброе обещание было исполнено».

Освящение храма состоялось через два года — в 1769 году в день Вознесения Христова: «Благодарное песнопение прихожан вознеслось под звуки музыки к небесам», и Хоугберг держал «волнующую речь по случаю освящения», в которой призвал своих «радостных слушателей» к «христианскому веселью и выражениям благодарности Господу нашему Саваофу». Церковь была поставлена в Шведском переулке, соединяющем обе Конюшенные улицы. Одновременно с освящением нового храма старый был передан финскому приходу. Шведские церковь и приход были названы во имя св.Екатерины — по святой и ее тезке российской императрице. Это имя вносило, как отмечает Эрстрём, некоторую путаницу, поскольку уже имелись немецкий, католический и еще русский приходы с таким же названием.

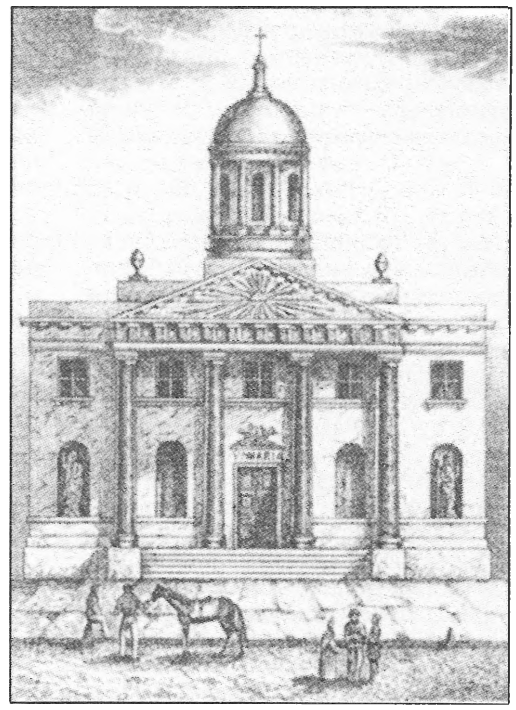
Исаак Хоугберг был зятем Левануса и подобно ему являлся яркой личностью с большими организационными талантами. То же можно сказать и о его преемнике Эманюэле Индрениусе, вызванном в приход Св.Екатерины после кончины Хоугберга в 1782 году. При пасторате Хоугберга и Индрениуса на церковном участке были построены несколько жилых домов, в частности, возвели главное здание, в котором жил глава прихода, — на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка (1781). Индрениус также стал одним из тех пасторов, кто внес свой вклад в обзор истории прихода.

Среди самых предприимчивых и деятельных членов прихода был в ту пору слесарь Филипп Бёве, который, согласно некоторым сведениям, был потомком гугенотов, настоящая его фамилия Буавьер, и он родился в Лёфстабрюк в Упланде. Бёве вызвался сносить деревянные дома на территории двора и вместо них возводить «дорогие каменные здания в четыре этажа». Он заручился поддержкой Индрениуса, а после его отъезда в 1792 году — поддержкой нового пробста Юхана Хенрика Сигнеуса. Спустя год был возведен еще один большой каменный дом на Малой Конюшенной улице, рядом с построенным в 1781 году. Приходские доходы от сдачи внаем помещений еще более возросли, а после кончины Бёве в 1801 году вестеръётландский живописец Эманюэль Тельнинг создал его портрет (тот самый художник, который позднее увековечит церемонию в Борго 1809 года, когда финляндский ландтаг «преклонился» перед императором Александром I, и он в ответ на это возвел Финляндию «в число наций».

В 1803—1804 годах финский приход на Большой Конюшенной улице поставил собственную церковь во имя Св.Марии, а стоявшая с 1734 года старая деревянная была снесена. Окончательное разъединение шведского и финского приходов ознаменовалось строительством между их участками «разделяющей стены»; в первые годы после этого существовали ворота, через которые можно было пройти с одного участка на другой, но в 1810 году их заложили кирпичом. Едва ли было случайностью, что это произошло спустя год после того, как оборвались связи Финляндии с Швецией.

С возведением церкви Св.Марии подаренный в 1733 году императрицей Анной Иоанновной участок был в общем полностью застроен. Поскольку шведский и финский приходы владели частью квартала, которая выходила на Шведский переулок, а немецкий приход обладал частью, выходившей на Невский проспект, весь квартал, расположенный в одном из лучших мест Петербурга, оказался в распоряжении трех протестантских приходов.

Доннера сменил Карл Таваст, священник, дворянин по происхождению и житель Выборга. Таваст оказался достойным последователем Левануса, Хоугберга и Индрениуса — хорошим хозяйственником и умелым администратором. Сданные внаем принадлежавшие приходу дома приносили тогда настолько большие средства, что приход смог вернуть заимствованные деньги. При Тавасте в приходе была также организована церковная школа.



Финский приход св.Марии, возникший в результате борьбы между шведско- и финскоязычными прихожанами церкви Св. Анны. Архитектор Кристиан Готлиб Паульсен. *1803–1804 гг.*

## ШВЕДСКИЙ ДРУГ РУССКИХ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Поскольку ни в Петербурге, ни в Старой Финляндии (то есть в той части Великого княжества, которая отошла к России по условиям Ништадтского 1721 года и Абоского 1743 года мирных договоров) не существовало лютеранского теологического образования, главы прихода приезжали, за единственным исключением, из Финляндии. Упомянутым исключением стал Нильс Адольф Доннер, приехавший из Швеции и получивший в Або степень магистра. Должность главного пастора в приходе Св.Екатерины он получил, женившись на одной из дочерей Исаака Хоугберга. Доннер прибыл в приход в 1798 году, и его самым достопримечательным деянием здесь стало, кажется, то, что уже через два года он покинул Петербург.

Важнейшим событием, происшедшим за двадцатипятилетний срок пастората Таваста явилась русско-шведская война, завершившаяся мирным договором 1809 года, по условиям которого Финляндия стала российским Великим княжеством. Страна сохранила шведское законодательство и уставы, но отныне взоры ее граждан, и это вполне понятно, все чаще и чаще обращались не на запад, а на восток. Многие финляндцы отправлялись в Петербург в поисках работы и образования, и финляндская колония в городе росла. Естественным местом сосредоточения для вновь приезжавших были приходы Св.Марии и Св.Екатерины. Последний до 1809 года состоял главным образом из шведских подданных, но с этого времени подавляющее большинство находилось под

властью российского императора: в 1828 году из 3607 прихожан 75 % являлись российскими подданными и 15% — шведскими.

На новый 1826 год должность главного пастора в приходе Св.Екатерины занял Эрик Густаф Эрстрём; приход в его лице обрел одаренного и сильного руководителя, способного соответствовать требованиям, которые предъявляла к нему новая ситуация. Заслуги Эрстрёма перед приходом невозможно переоценить. Он был яркой личностью, обладавшей талантами и интересами, простиравшимися далеко за пределы чисто профессиональной теологической сферы.

Эрик Густаф Эрстрём родился в 1791 году в Эстерботтене. Его отец, Андерс Эрстрём, учился на врача, но вместо этого стал пастором. Семья священника жила бедно, в ней было десятеро детей, однако ценой великих лишений родители смогли дать сыновьям университетское образование. Эрик Густаф был зачислен в Абоскую академию, где начал изучать русский язык и в 1812 году получил стипендию на учебу в Московском университете. Отец когда-то изучал естественную историю в Упсале у Карла Линнея, а сын занимался русским языком в Москве; трудно себе представить более наглядный пример изменившегося геополитического положения Финляндии...

В Москве способный и любознательный юноша вел дневник, в котором со знанием дела и юмором описывал не только повседневную жизнь русских, но также и войну, которая вспыхнула во время его пребывания там, — вскоре после приезда Эрстрёма в Москву Наполеон пошел на город, и Эрстрём со всеми остальными эвакуировался. (Его дневник, долго остававшийся неизвестным, был опубликован только в 1984 году дальним потомком автора Кристманом Эрстрёмом.)

По окончании войны Эрик Густаф Эрстрём вернулся в Або, где возобновил свои занятия русским языком. Тогда он уже был хорошо знаком с Россией и бегло говорил по-русски. В 1814 году он издал двухтомный «Rysk Språklära för Begynnare» («Учебник русского языка для начинающих»). Спустя четыре года за ним последовали «Grammatikaliskt-praktiska öfningar i Ryska språket» («Практические упражнения по грамматике русского языка»), а в 1821 году «Rysk läsebok med lexicon» («Книга для чтения по русскому языку, со словарем») в трех частях. Наряду с подготовкой учебных пособий энергичный пасторский сын сумел в 1815 году защитить диссертацию по языкознанию на тему «Öfversigt af Ryska språkets bildning» («Обзор строя русского языка»); через год он в возрасте двадцати пяти лет был назначен доцентом русского языка и литературы в Абоской академии.

Эрик Густаф Эрстрём быстро стал центральной фигурой в тех академических кругах, которые представляли так называемую Абоскую романтическую школу. Шведскоязычный, получивший образование в Москве, доцент русского языка, он стал одним из ведущих поборников финского как национального языка Финляндии. Он писал одну за другой статьи, направленные против того возмутительного обстоятельства, что страной руководят люди, не владеющие языком ее народа — миллионного народа, не имеющего собственной литературы. «Финская нация, — писал Эрстрём, — которая должна являть собой одно неразрывное целое, подвергается опасности постепенно разделиться на две части, все более отдаляющиеся друг от друга». Поэтому финский язык должен «стать и языком образованных классов», и Эрстрём предлагает грандиозную программу мер, включающую в себя введение преподавания финского языка в школах и университетах, где «обучение все большему ряду предметов... должно вестись на финском языке, чтобы, наконец, оно велось исключительно на нем». Как известно, со временем идеи Эрстрёма были претворены в жизнь; но сам он, как это ни парадоксально, обладал лишь крайне скудными познаниями в языке, за который ратовал.

Однако Эрстрём не только боролся за статус финского языка, но и настаивал на том, что официальные лица, представляющие Финляндию, должны владеть русским. Это мнение отражает его научные интересы, но также и свидетельствует о трезвом понимании новой политической ситуации в Финляндии.

У Эрика Густафа и его жены Ловисы родились семеро детей. Многое говорит за то, что наличие оравы детишек при низком доцентском жалованье побудило Эрстрёма подобно его отцу сменить род занятий и стать священником. Он был рукоположен в сан в 1824 году и назначен принять пасторат Тенала в Юго-Западной Финляндии. Пасторат считался доходным, но когда с кончиной Таваста освободилось место главы прихода Св.Екатерины, Эрстрём попросился туда и получил эту вакантную должность. Тем самым открылась новая глава в жизни и священника и прихода.

Эрик Густаф Эрстрём обладал внушавшей уважение работоспособностью, которую и употребил в своей приходской деятельности. Он осуществил масштабные перемены в финансовых делах — в частности, ввел правильные реестры. Он осовременил и упорядочил записи о рождениях, смертях, конфирмациях, приезжавших и уезжавших прихожанах, ввел журналы входящей и исходящей корреспонденции, заложив таким образом основы целесообразного управления делами. Кроме того, пастор в «Памятной и цензурной книге» записывал сведения о частной жизни прихожан, и эти заметки дают живые картинки об образе жизни и нравах того времени. О подмастерье сапожника Габриэле Лиде сказано, например, что он «выглядит несколько унылым», а о свадьбе подмастерья столяра Густафа Викстрёма пастор записывает: ее «прекрасному празднованию» помешало то, что «Викстрём перегрузился крепкими напитками». К сожалению, преемники Эрстрёма не поддержали заложенную было традицию ведения таких записей, а ведь они со временем могли бы стать ценным материалом для социологического исследования.

Склонность Эрика Густафа Эрстрёма к порядку и систематичности наверняка в значительной степени была связана с его научными склонностями. Это касается и его интереса к истории прихода. Некоторые его предшественники — Хоугберг и Индрениус — составили более или менее краткие обзоры на эту тему, но Эрстрём стал первым, кто методически трудился над историей прихода Св.Екатерины с самого его основания. Книга вышла в Або в 1829 году под названием «Historisk Beskrifning öfver S:t Catharina och S:t Maria Församlingar, eller Swenska och Finska Församlingarna i S.Petersburg» («Историческое описание приходов Св.Екатерины и Св.Марии, или Шведского и Финского приходов в С.-Петербурге»). Это систематическое и последовательное изложение жизни шведов и финнов в Петербурге XVIII — начала XIX веков в сочетании с фактическими данными, статистикой, а также личными комментариями автора является уникальным источником сведений по теме. Тонкий, но одновременно пылкий интеллект Эрстрёма пронизывает каждую страницу книги.

Эрик Густаф Эрстрём внес эпо-

хальный вклад в жизнь прихода св.Екатерины, хотя его пасторство оказалось непродолжительным. В 1831 году скончалась жена Эрстрёма, и он остался один с семью малолетними детьми. Где-то через год священник снова женился — на молодой женщине из Борго, которая в 1835 году родила ему дочь. Через пять недель сам Эрстрём умер от тифа в возрасте всего сорока четырех лет. Выходившая в Петербурге на немецком языке газета «St. Petersburger Zeitung» «с болью» констатировала, что петербургская евангелическо-лютеранская консистория потеряла «одного из своих уважаемых за человеческие достоинства, неутомимых и просвещенных членов».

По церковному уставу 1833 года евангелическо-лютеранские приходы в России получили дозволение назначать попечителя, который бы осуществлял связь общины с властями. По предложению Эрстрёма в 1834 году первым попечителем прихода был избран Роберт Хенрик Ребиндер. Он был министром статс-секретарем по делам Великого княжества Финляндского, то есть его официальным представителем в российской государственной администрации. Министр статс-секретарь имел резиденцию в Петербурге и докладывал императору по делам Финляндии. Благодаря этому связи прихода с Финляндией укрепились. Отныне аппарат министра статс-секретаря взял на себя роль, которую на протяжении первого столетия играло для прихода шведское дипломатическое представительство.

## ШКОЛА КОРОЛЯ КАРЛА ЮХАНА

Церковная школа была учреждена в 1824 году при Тавасте, и ее деятельность приобрела больший размах благодаря Эрстрёму, который как главный пастор прихода являлся также и директором школы. В 1827 году она была разделена на две школы — для девочек и для мальчиков. В 1827 году в обеих школах насчитывались 53 ученика и ученицы, но их число быстро возрастало, и в 1835 году был учрежден элементарный класс, получавший из собственных средств императора ежегодные ассигнования в размере двух тысяч рублей. Ассигнования выделялись при условии, что учебная программа будет включать в себя родной язык учеников, русский и немецкий, каллиграфию, арифметику и Закон Божий.

Основным языком в школе был шведский. Это может показаться само собой разумеющимся, однако, принимая во внимание опасения Эрстрёма относительно положения шведского языка, заслуживает быть отмеченным решение школьного совета о том, что «шведский язык станет, насколько это возможно, занимать главное место и учеников будут ему усердно обучать, особенно потому, что эта школа — единственное учебное заведение в столице, где наличествует возможность для полноценного обучения шведскому языку». Вопрос этот обретет особую остроту на переломе веков.

Пасторат Эрстрёма продолжался добрых девять лет. Его преемник, Густаф Фредрик Сандт, пребывал на этом посту 46 лет. К числу наиболее значительных достижений Сандта относится осуществленное им расширение школьной деятельности. Объединенная школа для мальчиков и девочек обходилась слишком дорого, и классы для девочек были упразднены. Однако это решение оказалось неудовлетворительным, и одним из первых проведенных Сандтом мероприятий явилось поэтому открытие в 1838 году новой школы для девочек.

Церковные школы существовали в значительной мере на взносы и пожертвования. Одним из крупнейших благотворителей был фонд шведского купца Габриэля Кристофа Лембке; средства фонда предназначались для обучавшихся в петербургской школе детей бедняков. Условие, при котором приход тоже мог пользоваться этими деньгами, состояло в том, что его школа станет именоваться «Школой короля Карла Юхана». Шведский монарх не возражал против этого, но церковный совет долго сомневался относительно целесообразности такого соглашения. Лишь в 1856 году пожертвование от фонда поступило в распоряжение совета.

В 1849 году шведская школа по императорскому указу получила те же права, что и российские «окружные училища». Это означало, что все выпускники учебного заведения прихода Св.Екатерины могли «повышаться до первого класса Табели о рангах наравне с теми, кто получил образование в окружных училищах страны под ведомством Министерства народного просвещения», то есть имели право поступления на государственную службу. Вследствие этого указа приходская школа для мальчиков расширилась, образовали четвертый параллельный класс. С 1864 года в школу принимались также дети из других приходов, и пришлось организовать еще три параллельных класса с обучением на немецком и русском языках. Это решение подорвало положение шведского языка в школе и явилось, по выражению преемника Сандта, «роковым».

При Сандте были проведены также крупные реформы в области благотворительности. Касса для бедных была учреждена уже в 1832 году, а в 1847-м пасторша Сандт основала приют для «девочек, лишенных защиты и средств» с целью «обеспечить своим подопечным бесплатное жилье, где они получат возможность обучиться всем существующим в домашнем хозяйстве граждан делам и рукоделию». Кроме того, девочки могли получать бесплатное образование в приходской школе.

Приют имел бесплатное помещение в принадлежавшем церкви доме, а также дрова, освещение и воду. Денежные средства поступали от церкви, Его величества короля Швеции и финской паспортной экспедиции, которая взамен получила право занять в приюте несколько мест. Дабы обеспечить надежность существования приюта, пасторша в 1859 году основала так называемое женское общество, задачей которого было споспешествовать воспитанию не имеющих защиты и бедных детей. Общество действовало под надзором графа Александера Армфельта, который в 1842 году сменил Ребиндера на посту министра статс-секретаря и попечителя церкви. В 1860 году женское общество основало богадельню для «бедных пожилых и престарелых женщин», обычно называемую «старушечьим домом». Старушки должны были в меру своих сил помогать в «уходе за домом» и по хозяйству; в прочем же могли проводить время по своему усмотрению. Старушечий дом тоже получил бесплатное помещение в принадлежавшем церкви доме, дрова, освещение и воду, а также ежегодное пособие из церковной кассы.

## НОВАЯ ЦЕРКОВЬ

Вопрос о постройке нового церковного здания обсуждался еще в 1830-е годы в связи с празднованием 200-летнего юбилея шведской церкви (со времени ее основания в Ниене). Однако эти планы удалось осуществить лишь гораздо позже. В 1861 году графу Армфельту сумел добиться от русских властей займа в 150 тысяч рублей серебром на усло-

вии погашения его частями в течение тридцати семи лет. Проектирование здания было возложено на тридцатипятилетнего архитектора Карла Андерсона, родившегося в Стокгольме, но выросшего и получившего образование в Петербурге.

Закладной камень в основание церкви был положен в воскресенье 28 июля 1863 года по завершении литургии. Текст на медной табличке, опущенной вместе с закладным камнем, гласил:

Закладной камень
Евангелическо-Лютеранской церкви
шведского прихода
во имя Св.Екатерины
заложен под почетным наблюдением
Его Императорского Величества
Александра II
28 июля / 9 августа 1863 г.

II
Книга паралипоменон. Гл. 2 ст. 4.
Патрон церкви: Министр Статс-
секретарь по делам
Великого Княжества Финляндского
Действительный Тайный Советник
Граф Александер Армфельт.
Главный пастор прихода
Консисториальный советник
Доктор Густаф Фредрик Сандт.

*Архитектор Карл Андерсон.*

Старое церковное здание постройки 1769 года стояло в Шведском переулке, а новое возвели на Малой Конюшенной улице, и строительство было завершено в конце 1865 года. Одновременно и тоже по чертежам Андерсона на углу Малой Конюшенной и Шведского переулка возвели новый приходской дом.

Поскольку внутреннее убранство (и частично также фасад) церкви подверглось разрушениям с тех пор как в 1930-х годах здание было переоборудовано под спортивные залы, приходится обратиться к свидетельствам современников-очевидцев, чтобы составить представление о том, как церковь выглядела в день ее освящения. Вот описание церкви Св.Екатерины, помещенное в 1871 году стокгольмской газетой «Förr och nu» («Прежде и теперь»):

«Церковь выстроена вплотную между такими же большими, как она сама, принадлежащими приходу домами (это школы, приюты и т.д.), по обе стороны стоящими в одну линию с рядами домов по улице, и лишь когда окажешься напротив нее, сможешь охватить всю ее взглядом и осознать, насколько же она действительно прекрасна...

Интерьер церкви, начиная от порога, истине великолепного вестибюля, выдержан в строгом византийском стиле. Он повсюду прост и чист, лишен всяких излишеств и вычурности, однако и не создает ощущения пустоты. Все деревянные части окрашены под дуб. Колонны по обе стороны широкого, выстланного коврами прохода, ведущего от входных дверей прямо к алтарю, отлиты из железа, но покрыты составом, удивительно напоминающим гранит. Запрестольный образ изображает Христа на кресте и плачущих у его ног женщин...»

Запрестольный образ, выполненный эстонским художником Иоганном Кёлером (1826—1899), являлся авторской копией запрестольного образа, написанного для эстонской дворцовой церкви. Оригинал, сразу прославивший художника, был куплен для петербургского Музея Александра III (ныне Государственный Русский музей).

Через десять лет после освящения церкви на средства женского общества был куплен новый орган, а в 1890 году в церкви произвели ремонт. Прежнее внутреннее убранство сохранили, но и внесли нечто новое: над алтарем и хорами поместили «утешающие и ободряющие слова Божии», а в ризнице повесили начищенные памятные доски о посещениях церкви шведскими королями.

В том же году, когда шведская общественность смогла прочесть в газете «Прежде и теперь» о церкви Св.Екатерины, ее и школы посетил император Александр II. Пока церковные школы работали, то есть до весны 1918 года, одна стена там была украшена следующей надписью на шведском языке: «3 декабря 1871 года. Его Величество император Александр II осчастливил шведскую школу Св.Екатерины своим Высоким посещением». Спустя несколько лет, в 1875 году, в церковь и школы нанес визит король Швеции и Норвегии Оскар II. И это посещение было отмечено памятной доской.

Густаф Сандт скончался в конце января 1881 года, пробыв главным пастором прихода почти полвека. Через месяц с небольшим на Екатерининском канале в каких-нибудь нескольких сотнях метров от шведской церкви был убит Александр II; это событие обозначило начало новой эпохи в истории как России, так и прихода.

***Перевод со шведского Ю.Н. Беспятых***

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

## Тумас ТРАНСТРЕМЕР

### ОСТИНАТО
***(из сборника «17 стихотворений»)***

Ищет, кружась, сарыч покоя точку,
море под ним с гулом катится
к свету,
слепо фукус жует, как конь, фыркая
пеной на берег.

Мрак на земле пеленгуют летучие
мыши. Сарыч — он в звезду
превратился.
Море с гулом катит вперед,
фыркает
пеной на берег.

### ЗИМНЯЯ НОЧЬ
***(Из сборника «Незавершенное небо»)***

Буря прижимается ртом к дому
и дует, чтобы извлечь звук.
Я сплю беспокойно, ворочаюсь,
не открывая глаз
читаю текст бури.

Но у ребенка во мраке большие
глаза,
и буря скулит для ребенка.
Обоим нравится, когда
качаются лампы.
Оба скоро заговорят.

У бури детские руки и крылья.
Караван несется в Лапландию.
И дом ощущает созвездие
из гвоздей,
которые удерживают его стены.

Ночь тиха над нашим полом
(где все отзвучавшие шаги
отдыхают словно опавшие
листья в пруду),
а ночь за окном — дикий зверь!

Над миром бушует буря сильнее.
Она прижимается ртом к нашим
душам
и дует, чтобы извлечь звук.
Нам страшно,
что буря выдует из нас все.

***Перевод А.Афиногеновой***

# Несостоявшееся обручение

Фаина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

В истории русско-шведских отношений периода царствования Екатерины II привлекает к себе внимание один, полный драматизма эпизод, сыгравший трагическую роль в судьбах вовлеченных в него лиц. Это история о несостоявшемся обручении внучки императрицы Екатерины, великой княжны Александры и шведского кронпринца Густава Адольфа.

Упоминание о расторгнутой помолвке между княжной Александрой и шведским кронпринцем Густавом Адольфом можно встретить в отдельных русских исторических источниках. Однако не столь давно появились публикации скандинавских исследователей, в которых рассказ об этом событии дополнен целым рядом подробностей, многое в нем проясняющих. Речь идет о книге шведского историка Карла Хенрика фон Платена «Стединг», посвященной дипломату, который долгие годы пробыл послом Швеции в России, а также о монографии «Екатерина Великая», принадлежащей перу датского автора Марии Тетцлаф. Первая из вышеназванных книг имеется в русском переводе, а вот труд Марии Тетцлаф, к сожалению, так и не был переведен на русский язык. Между тем эта книга о Екатерине II получила высокую оценку специалистов за рубежом. В результате многолетних изысканий в исторических архивах США, Швеции, Дании и России автору удалось осветить некоторые малоизвестные факты из биографии русской императрицы. Достаточно полно и обстоятельно изложена в этом издании также история неудавшегося сватовства. Указаны причины, помешавшие шведскому кронпринцу вступить в брак с полюбившейся ему девушкой, отмечена роль русских царедворцев и шведских дипломатов, не сумевших или не пожелавших устранить разногласия, возникшие при составлении брачного контракта, в результате чего было принесено в жертву едва зародившееся чувство двух юных сердец. Вот как, в свете новых подробностей, выглядит рассказ о том, как шведский кронпринц Густав Адольф не явился на собственную помолвку.

Отношения России и Швеции в годы царствования Екатерины II, как, впрочем, и в последующие годы, были отнюдь не безоблачными. Однако Екатерина и король Швеции Густав III состояли в родстве, и это не могло не наложить отпечаток на личные отношения двух монархов. Густав III питал самые почтительные чувства к своей царственной кузине, которая к тому же была старше его на 17 лет. Екатерина же относилась к Густаву III куда более прохладно и даже несколько пренебрежительно, что, однако, не помешало ей принять шведского короля со всеми подобающими почестями во время его визита в Россию летом 1777 года. Густав III пробыл в Санкт-Петербурге месяц как частное лицо, скрываясь под именем «графа Готландского». Екатерина почти никогда не покидала пределов России и изменила этому своему правилу только ради встреч со шведским королем. Они встречались в Финляндии, во Фридрихсгаме, а однажды русская императрица даже побывала в Швеции.

Во время этих встреч и возник замысел сочетать браком внучку Екатерины Александру и сына Густава III, наследного принца Густава Адольфа. Екатерина желала этого союза, так как рассчитывала, что это поможет смягчить политические разногласия и предотвратить назревающий серьезный кризис в отношениях между обоими государствами. Но неожиданно планы Екатерины оказались под угрозой. 16 марта 1792 года король Швеции Густав III был смертельно ранен заговорщиками на костюмированном балу в опере.

До совершеннолетия кронпринца страной стал править регент, родной брат погибшего короля Карл. При шведском дворе одержала верх партия, враждебная России. Стремясь помешать браку будущего короля Швеции с представительницей русского дома Романовых, ему стали усиленно подыскивать другую невесту. На смотрины в Швецию была привезена принцесса Мекленбургская, которая оказалась вовсе

Портрет Екатерины II.
Лампи Иоганн-Баптист Старший.
*1794 г.*

не такой, какой ее изобразили на представленных ранее и явно приукрашенных портретах. Маленькая принцесса была коротконога, толста и уродлива, и Густав Адольф наотрез отказался жениться на ней.

Узнав о том, что сватовство расстроилось, Екатерина тотчас же пригласила Густава Адольфа и регента Карла в Санкт-Петербург, желая познакомить их со своей внучкой Александрой.

К этому времени пребывание Екатерины на русском престоле уже подходило к концу. Императрице исполнилось 67 лет, и от ее былой величавой красоты не осталось и следа. Она одряхлела, стала тучной и с трудом передвигалась на отечных, покрытых язвами ногах. Сознавая, что времени ей отпущено совсем немного, Екатерина торопила события.

В конце августа 1796 года Густав Адольф и регент Карл, в сопровождении многочисленной свиты, прибыли в Санкт-Петербург и остановились в резиденции шведского посла Курта Стединга.

К счастью, шведский кронпринц

и русская княжна приглянулись друг другу при первом же знакомстве. Александра была умненькая, прекрасно воспитанная, нежная и хрупкая девочка редкой красоты, а семнадцатилетний Густав Адольф, статный юноша с благородной осанкой, выглядел истинным королевичем.

Маленькая княжна Александра смотрела на своего будущего жениха сияющими от счастья глазами. Тринадцатилетняя девочка переживала первое большое чувство. Она призналась своей фрейлине, что едва не лишилась чувств от смущения и восторга, когда шведский принц однажды во время танца украдкой пожал ее тонкие пальчики. Густав Адольф также был пленен юной русской красавицей и без долгих раздумий попросил у Екатерины руки ее внучки. Та дала согласие.

При русском дворе начались всевозможные увеселения, балы, маскарады, фейерверки. Сама императрица по причине нездоровья редко появлялась на этих празднествах, но зато будущие жених и невеста веселились от души. Все вокруг любовались этой прекрасной юной парой, и никто не сомневался в том, что сватовство завершится бракосочетанием и маленькая русская княжна в самом скором времени будет увезена в Швецию, чтобы стать королевой этой страны.

Между тем во время переговоров о предстоящем бракосочетании возник один спорный и весьма щекотливый вопрос. Императрица Екатерина непременно желала, чтобы ее внучка оставалась православной христианкой, между тем как в Швеции исповедовали лютеранство. Более того, императрица требовала, чтобы для Александры при шведском дворе была выстроена часовня, где она могла бы исполнять обряды, предписываемые православием. С этой же целью вместе с нею в Швецию должны были отправиться православные священники.

Это условие ставило Густава Адольфа в крайне трудное положение. Согласно шведскому закону, женитьба на девушке иной веры грозила ему отлучением от престола. И потому шведы настаивали, чтобы княжна Александра сразу же приняла лютеранство.

Спор зашел в тупик, и Екатерина поручила своему последнему фавориту Платону Зубову каким-нибудь образом уладить это разногласие. Тот, однако, не придавал ему особого значения, будучи уверен в том, что семнадцатилетний шведский юнец не посмеет перечить воле могущественной русской императрицы.

Назначили день обручения. 11 сентября, к шести часам, в Таврическом дворце собрались приглашенные. Поскольку после обручения ожидался грандиозный бал, дамы были в бальных нарядах, мужчины — при орденах и лентах. Наконец появилась императрица Екатерина в окружении семьи и своих приближенных. Рядом с ней находилась прелестная княжна Александра, вся в белом, как и подобало невесте. Сама императрица была в таком же одеянии, в каком ее изображали на парадных портретах. На плечах ее была горностаевая мантия, на голове — корона, а в руке — скипетр. Ходить ей было трудно, но, опершись на руку Зубова, она сумела величественно, как в былые годы, прошествовать к своему трону.

Все были в сборе, не хватало только шведского жениха и его свиты. Шведы запаздывали. Минул уже час с лишком, а их все не было.

Ожидание становилось томительным. Княжна Александра то и дело с немым вопросом обращала к Екатерине свое напуганное, помертвелое личико, но царственная бабка отвечала ей успокоительным кивком и взглядом приказывала сохранять спокойствие.

В резиденцию шведского посла был отправлен Зубов. А там в это время назревали поистине драматические события. Представители русского и шведского двора перед церемонией обручения так и не удосужились окончательно разрешить разногласие, связанное с исповеданием веры. И теперь, узнав об этом, Густав Адольф соглашался ехать на обручение только в том случае, если ему будет обещано, что его невеста сразу же примет лютеранство. И русские, и даже шведы напрасно старались образумить его, говоря, что теперь уже поздно что-либо менять, что все уже собрались на церемонию и своим отказом он нанесет Екатерине смертельное оскорбление.

Но все уговоры оказались напрасны. Шведский кронпринц проявил удивительную в его возрасте непреклонность. В конце концов, выведенный из себя, он удалился в свои покои и приказал никого к нему не пускать. Ни Зубов, ни явившийся к нему на помощь гофмаршал Безбородко ничего не смогли изменить.

Между тем в зале Таврического дворца шел третий час ожидания. Гости перешептывались в тревоге, Александра была ни жива ни мертва, а на щеках Екатерины горели красные пятна, которые появлялись у нее в минуты сильного душевного волнения.

Всем, кто находился в посольстве Швеции, стало ясно, что церемония обручения не состоится и что об этом надо немедля уведомить императрицу. Посланный от Зубова предстал пред грозными очами государыни и разделил участь всех гонцов, приносящих недобрые вести. В ярости Екатерина обрушила на его голову скипетр. «Щенок», — процедила она сквозь зубы, явно имея в виду шведского кронпринца.

Приглашенным было объявлено, что церемония обручения откладывается, но все поняли, что в ближайшее время она навряд ли состоится. В начале десятого императрица удалилась в сопровождении свиты. Вслед за ней разошлись гости, и зал опустел.

Никогда еще за время своего царствования всемогущая императрица не испытывала подобного позора и унижения. Возмущенные придворные советовали ей примерно наказать дерзких шведов, коль скоро они у нее в руках. Но Екатерина не вняла этим советам и, сумев обуздать свой гнев, не поддалась чувству мщения. Шведы были отпущены с миром и даже одарены подарками, хотя, разумеется, не столь дорогими и роскошными, какие они получили бы, если бы сватовство завершилось благополучно.

Некоторое время переговоры о возможном бракосочетании еще велись, и прекратились лишь в 1797 году, когда в Россию пришла весть о том, что Густав IV Адольф, теперь уже король Швеции, обручился с принцессой Баденской.

Главной жертвой дворцового скандала оказалась бедняжка Александра. Девочка не вынесла потрясения и надолго слегла в нервной горячке. Потом она выздоровела, вышла замуж, но век ее оказался недолог. В возрасте восемнадцати лет она умерла от родов.

Императрица Екатерина так и не смогла окончательно оправиться от перенесенного потрясения. Два месяца спустя, 5 ноября 1796 года, ее нашли в туалетном покое распростертой на полу без чувств. Екатерину поразил апоплексический удар. Грузную императрицу не сумели сразу поднять на кровать и уложили на сафьяновый матрас на полу опочивальни. Больше ее не решались тревожить. Через сутки с лишком ее подданным было объявлено, что матушка государыня скончалась. На российский престол вступил ее сын Павел. Блистательный век Екатерины II в России завершился.

НОРМАНСКАЯ ТЕОРИЯ

# Вверх и вниз по реке времени...

## *(Страны и народы на путях из «Варяг в Греки»)*

Александр МУСИН

Путь из «Варяг в Греки» вошел в сознание человека, живущего на советском пространстве Восточно-Европейской равнины, едва ли не одновременно с хрущевской оттепелью. Ветер общественных перемен принес весть о том, «откуду есть пошла земля Рускаа». Он разгонял ледяные осколки прошлого, словно «находник-варяг», врубавшийся на своей ладье в подтаявший лед Нерли и Которосли. Сквозь Ростово-Суздальские земли варяги стремились в Оку и через нее — обратно — в Волгу. Всего лишь на несколько дней позже, чем водные артерии Суздальского ополья, «Русский Нил» в Ярославском Поволжье освобождался от весеннего льда. Но и этих дней хватало, чтобы первыми прорваться на богатые рынки арабского Халифата и христианской Византии, первыми продать столь ценимые на Востоке меха и принести в «полуночные страны» серебряные арабские дирхемы...

Не существует истории вне сознания и души исследователя, что ничуть не умаляет ее научных достоинств. Там, где родилась история, на Библейском Востоке, познание мыслилось как слияние: чтобы узнать, необходимо прочувствовать и пропустить через себя. Отсюда и настоящее значение слова «история» — свидетельство. Историк обязан быть не сторонним наблюдателем, а честным свидетелем, своеобразным «соучастником» изучаемых им событий. Прошедшие века, оставляя память о себе, будь то останки или предания, и не думали предоставлять в наше распоряжение исторические источники. Единственным желанием тех, кто мог сказать о себе: «недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил», была бесхитростная надежда на будущее: «Когда-нибудь монах трудолюбивый / Найдет мой труд усердный, безымянный, /.../ И, пыль веков от хартий отряхнув, / Правдивые сказанья перепишет, / Да ведают потомки православных / Земли родной минувшую судьбу...»

Эпоха викингов VIII—XI веков явилась кадансом, завершающим великое европейское переселение народов. Собственно, и ее увертюра была написана теми же скандинавами, когда племена готов из Южной Швеции — Скандзы, переселились в низовья Вислы. Этногеографическое равновесие Европы было нарушено: людские потоки, еще не обретшие контуров современных народов, сдвинулись с мест обитания. Общественные деформации, вызванные вторжением готов в Восточную Европу разделили некогда единую группу балто-славянских племен, одних оттеснив на север, других вовлекая в поход на юг. Здесь в южно-русских степях не позднее III века по Р.Х. возникает «держава Германариха», описанная около 550 года историком Готии Иорданом.[1] Вместе с Готской державой появляется и «готская проблема», подобно тому как в более поздние времена возникает «проблема норманская», связанная с участием норманнов в истории Древней Руси. Присутствие древних германцев в Южной России, равно как и сама мысль о том, что славяне могли не быть исконными обитателями этих пространств, представлялась советской идеологии кощунственной. За ней маячило оправдание нацистской агрессии на Восток: действительно, национал-социалистическая пропаганда активно использовала археологию для доказательства прав нордической расы на южно-русские степи. Лишь в 1960-е годы история германцев в Северном Причерноморье перестала быть запретной областью для науки.[2]

Вовлеченные в политическую и социальную орбиту варварского королевства Германариха, праславяне испытали на себе все превратности судьбы завоевателей и мигрантов. В 375 году гунны переходят Дон, и теперь готы — под натиском азиатских стрел — вынуждены отступать на запад. Вместе с ними на Дунай вытесняются и те, кому судьба предназначила стать славянами. «По мнозех же временех сели суть славяне по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска», — напишет преподобный Нестор в конце XI столетия. Именно здесь, вблизи Римского лимеса, в противостоянии с Византией и происходит становление славянского этноса, запечатлевшего себя в зримых формах археологических культур, данных глотогенеза и свидетельствах письменных источников. Подобно тому как лишь в Египте, когда перед лицом более высокой цивилизации разрозненные племена-колена сплотились в народ Божий, ветхозаветный Израиль стал хранителем Откровения, славяне осознали свое единство в противостоянии высокой византийской культуре, наследниками которой они должны были стать. 512 год — время, когда едва ли не впервые славяне, как самостоятельный народ, упоминаются византийскими наблюдателями. Дунайская эпоха славянской истории стала своеобразным «осевым временем», когда сформировались многие явные и не явные черты славянского сознания. Лишь те племена, которые пришли с Дуная, Нестор в «Повести временных лет» причислит к славянам.

Именно из германского окружения в славянский язык и сознание вошли первые понятия, ставшие залогом воцерковления славянства. Романские народы сохранили в своих языках греческое наименование Церкви εκκλησια, сохраняющее ее изначальный смысл — *собрание верных*, будь то итальянское chiesa, французское eglise или испанское iglesia. То же самое — в грузинском и армянском языках. Народы же германские восприняли другое греческое слово — τό κυριακόν, обозначавшее Церковь как *место собрания верных* — Дом Господень. Отсюда немецкое kirche и английское church. Посредниками здесь выступили именно готы, которые оставили это слово в наследство и языкам славянским. В остальном память о дунайской прародине запечатлена в былинах и песнях, в неизбывной тоске России по вселенской культуре, в приоритетах российской внешней политики, сохранявшихся от Святослава до Сталина.

Возвращение восточных славян с «дунайской прародины» на свою родину относится уже к VIII—IX векам. Оно вновь было связано с военным насилием. «Волохом бо нашедшем на словени дунайские и седшем в них и насилящем им» — этими словами Нестор пространно предварит картину славянского переселения с Дуная в пределы Древней Руси: на Днепр, Припять, Двину, Полоту, Сейм, Сулу, и севернее — на берега озера Ильмень. Трагедия нашествия, которое традиционно сравнивают с натиском на славянские племена романоязычной армии Каролингской империи, основанной франками, запечатлелась в славянской памяти. И позднее, под 898 годом, описывая «завоевание родины» венгерскими племенами, летописец посетует: «Седяху бо тут преже словени, и волохове прияша землю словенскую». В широкой панораме расселения древнерусских племен, которую летописец дает на фоне географии Восточно-Европейской равнины, «земля» как территориально-политическая единица уже не фигурирует. В ней присутствует место как топос обитания, град как его средоточие и форма политической организации общества, род как форма социальной организации, княжение как структура организации власти, язык как символ этнического единства и средство самоидентификации. Оглядывая с севера на юг это «особное жительство по местам», летописец отмечает путь, который он и назовет путем из «Варяг в Греки». Проделав с готами путь на юг, славяне вернулись на север, чтобы здесь, вновь столкнувшись со скандинавами, обрести новый Путь.

«Повесть временных лет» (ПВЛ), причисляя варягов к «*Афетову* колену», поселяет их на берегах моря, которому они и дали свое имя — Варяжское. В представлении средневекового географа Балтийское море огибало Евразию не только с запада, где «варязи» соседствовали с землей Агнянской и Волошской, но и с востока, достигая части *Симовой*, у пределов которой также жили варяги. Возможно, за этими представлениями скрываются известия о далеких походах норманнов на Русский Север, в Беломорье и Пермь, которые в скандинавской литературе предположительно отождествляются с Бьярмией, или Бьярмландом. Изначальный список народов вроде бы называет варягов в числе других племен «циркумбалтийской цивилизации», отличая их от соседей: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне и прочие. Однако описывая «зачало» древнерусской государственности, летопись под 862 годом упоминает «всю русь», которую Рюрик «пояша по себе», как одно из варяжских племен: «сице бо звахуся тии варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же урмане, анъгляне, друзии готе, тако и си». Но «варяги» — это не просто племя или собирательное имя для целой россыпи племен, это направление движения, особый мир, в который можно войти и из которого возможно выйти: «из Руси может ити... в Варяги, из Варяг в Рим...» Этот мир и есть цивилизация викингов.

Середина первого тысячелетия по Р.Х. дала Европе иллюзию покоя. В 451 году битва на Каталонских полях остановила гуннскую угрозу, орос* Халкидонского собора — угрозу монофизитства. Народы Европы по-разному использовали передышку. Славяне создавали свою идентичность, скандинавы — аристократическую роскошь «цивилизации Вендель» (550—800): своеобразной эпохи первоначального накопления сил и капитала. Общество, основанное на принципах рода, перестраивало свою политическую, экономическую и идеологическую структуру. Новый обряд — погребение в ладье с богатым набором оружия и парадной посудой, позднеримскими импортами, роднившими эту культуру с Европой эпохи Меровингов, — ясно указывал на новые приоритеты в жизни общества. Море как основной жизненный партнер, движение как основной стимул, оружие как основной инструмент, сакральные и материальные ценности как основные цели, личность как основная жизненная ценность. Эта личность еще не отделилась от родовой организации общества, но уже выступала вперед на ее потускневшем фоне. Усадебный двор — gardr — и наследственный надел — odal — были тесны для ладьи-драккара, неизменность окружающего их ландшафта невыгодно контрастировала с подвижной изменчивостью морской волны. Участь прикрепленного к земле свободного общинника — бонда была связана с системой объединения местных земель — хундаров и фюльков, основой вооруженных сил которого было народное ополчение — ледунг. Им на смену пришла новая иерархия ценностей: викинг — дружина — конунг, которая легла в основу христианско-феодальных королевств Северной Европы, сложившихся на рубеже тысячелетий. Эпоху викингов, взорвавшую стабильность предшествующего времени, пытались определять как демографическую (Й.Стенструп) или раннефеодальную революцию, основанную на взлете местной экономики, который позволил высвободить людские силы для дальних походов (Х.Арбман). Однако в основе такого социального взрыва лежал протест личности против традиции, превратившейся из движителя общества в его путы. Это не просто движение младших сыновей, правом рождения лишенных наследственного земельного надела и в силу этого ставших изгоями. Духу человеческому потребовались широкие горизонты как видимого мира, так и мира потустороннего. Доблесть эпохи викингов сродни русской удали, которая, по тонкому наблюдению Д.С.Лихачева, заключается в покорении и преодолении пространства, его далей. Для новой эпохи тесным оказалось и пространство мифа. Миры скандинавской мифологии, соединенные мировым ясенем — Иггдрасилем и населенные асами и дисами, предлагали герою лишь Вальхаллу и вечный пир, полный земных условностей. Само мифологическое время, вернее, отсутствие времени в мифологии вступило в противоречие с новыми потребностями покорения пространства. Времени не хватало, чтобы успеть все увидеть, везде побывать, все привезти с собой. Отсюда и напряженная жажда жизни героев скандинавских саг, требование ее полноты. Трагическое несоответствие между только что осознанным предназначением личности и ее возможностями, ограниченными рамками бытийного и религиозного пространства, порождают тему конца истории и гибели богов, как она раскрывается в «Прорицании Вельвы». Эсхатология распространяется не только на слова, но и на образы эпохи. «Звериный стиль», зародившийся еще в эпоху Вендель, лишь при викингах достиг своего расцвета в его трех основных модусах: стиль Борре (840—980), стиль Еллинг (870—100), стиль «Большого Зверя», известный в своих местных разновидностях (в Дании — Маммен, 960—1020, в Норвегии — Рингерике, 980—1090) и «стиль рунических камней» в Швеции XI века. Основной общий мотив — эсхатологический дракон, терзающий самого себя и при-

*Орос — от греческого «клятва», в данном случае — вероопределение, принятое высшим органом церковной власти и носящее обязательный характер.

водящий в трепет зрителя. Именно бегство от этой безысходности, поход за совершенной идеей, которую и принесло с собою христианство, несомненно повлиявшее на новые скандинавские мифы о конце истории, и составляли суть той духовной революции, которую принесла с собой эпоха викингов. Уже в самом начале эпохи викингов становится очевидной духовная составляющая ее исканий. Древнейший поселенческий центр в Средней Швеции III—VIII/IX веков — это Хельге на озере Меларен, предшественник будущих столиц Бирки, Сигтуны и Стокгольма. Его культурный слой преподнес археологам уникальные находки: почти синхронно здесь встречается статуэтка Будды, сидящего на черепахе, и навершие епископского посоха англосаксонской работы.

В Венеции и поныне стоит статуя льва, некогда украшавшая гавань Афин, — Пирей. На его правой лапе — резная руническая надпись, оставленная викингами, посетившими Византию в XI столетии. Надпись можно понять как: «Мы — из Рослагена». Так называлось Восточное побережье Средней Швеции. Таким образом, раскрывается цель долгого и опасного похода через Европу в Средиземноморский мир: дойти, увидеть, засвидетельствовать...

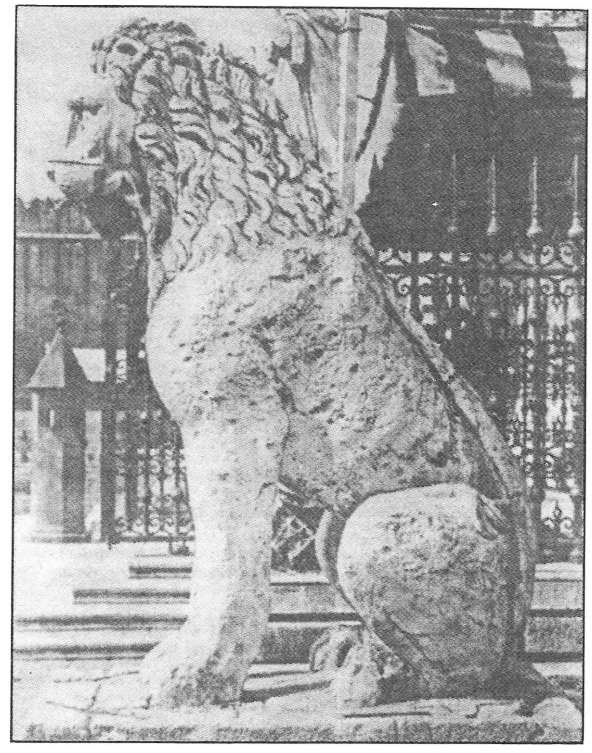
Эпоха викингов оставила нам удивительную поэзию скальдов, запечатлевшую литературный портрет времени, его героев, их устремления и жизненные ценности. Ощутите напряженный пульс бытия:

Шумели весла,
железо звенело,
гремели щиты,
викинги плыли.
Мчалась стремительно
стая ладей,
несла дружину
в открытое море

*Первая песня о Хельги, убившем Худинга, 27.*

Новая эпоха, — эпоха изучения викингов, — породила свою поэзию. Одним из ценностных отличий археологии от истории является феномен причастности, проникновения в смысл свершившихся событий, запечатлевших себя в культурном слое древних городищ и селищ, историческом ландшафте, оплывших от времени курганах. Археологический памятник, будучи местом пересечения природы и культуры, навечно локализован в пространстве, как бы концентрируя в себе историческое время. Это свойство памятника делает его «топохроном» исторической и современной культуры (находка Г.Лебедева, очевидно, по аналогии с литературным «хронотопом» М.Бахтина). В этом смысле археолог находится ближе к происходившим некогда событиям, чем историк: чтобы их изучить, археолог обязан постоять на этом месте, обследовать, раскопать, приобщиться. Отсюда и формирование уникальной микрокультуры археологических экспедиций со своими традициями, этикетом, поэзией. Разбирая по слоям то, что когда-то много веков назад собирали другие, археолог как бы знакомится, сближается и сдруживается с давно ушедшими людьми.

Выражения «эти ребята», «те парни» по отношению к тем, кто оставил нам свои курганы и городища, в процессе длительных раскопок становятся обычными. В этой связи родилась особая традиция: накануне того дня, когда, уже сняв насыпь кургана, экспедиция примется за расчистку самого погребения, во время ужина произносят особый тост — за «родственников покойного». Желательно, чтобы они оказались достойными людьми и, не пожадничав, положили в погребение все те предметы, которые так жаждет найти археолог.



Мраморная статуя льва из Афинского порта Перей со скандинавской рунической надписью. Перенесена в Венецию в 1687 г. *Фото около 1854 г.*

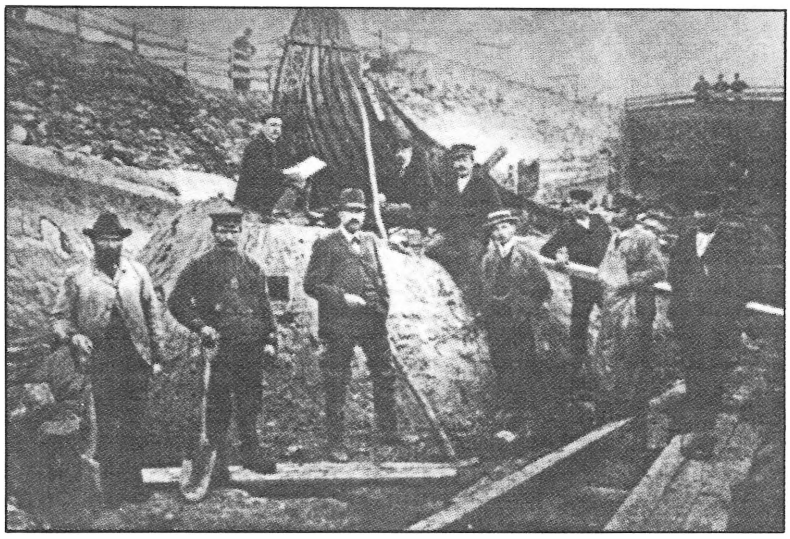
В середине 1960-х годов, когда археологи впервые занялись изучением пути из «Варяг в Греки» и решением «норманской проблемы», одним из первых их достижений стало понимание мотивации поступков героев той далекой эпохи. Проблемный семинар кафедры археологии ЛГУ породил не только «старшую и младшую дружину» исследователей, занимавшихся историей варягов на Руси, но и своих скальдов. Новые скальды восприняли эпоху поэтически, и лишь потом лирическая атмосфера экспедиций отлилась в тяжеловесные научные формулировки. Пусть строгие критики сочтут далекими от поэзии написанные тогда строки. Романтика эпохи постижения викингов, унаследованная от самого викингского времени, — это своего рода историческое свидетельство, исполняемое a capella у ночного костра:

Пусть не спорят потомки,
Отчего и зачем,
Дом покинув свой отчий,
Уходили совсем
Мы к неведомым странам
Вдаль на утлых ладьях,
К неизведанным странам
В неизвестных морях.

Отчего променяли
Дома теплый уют
На бряцание стали,
И сверканье кольчуг.
И творили такое,
Что приснится в бреду,
Чтоб погибнуть со славой
На чужом берегу.
.....
Для чего осквернили
Мы Пирейского льва?
Отчего обогнали
Мы Колумба шутя?
Для чего захватили
Ладоги берега?
Разве можно ответить?
Нет, конечно, нельзя!

Просто с бурей поспорить
И врага победить,
Злому змею Фафниру
В глотку меч свой вонзить...
И увидеть за морем
Удивительный свет,
Чтобы скальд мог об этом
После песню пропеть.

Это песня Валерия Петренко (1943—1991), ее размер точно ложится на ритм гребли большой многовесельной ладьи. Она была написана в 1968 году в Старой Ладоге с посвящением Г.Ф.Корзухиной, знаменитой питерской археологине. В том же году был раскопан один из самых репрезентативных курганов староладожского могильника, расположенного на правом берегу Волхова, как раз напротив каменной крепости, в урочище с романтичным названием Плакун. Пожалуй, это единственный некрополь на территории Древней Руси, который однозначно и определенно можно связать с этническими скандинавами, причем именно с теми варягами, которые были приглашены на Русь вместе с Рюриком и его братьями Синеусом и Трувором в 862 году. Хронологические рамки могильника вполне укладывались во вторую половину IX века. Раскопки могильника были начаты еще перед второй мировой войной В.И.Равдоникасом, что и позволило указать на характерную для викингов черту обряда — сожжение в ладье, унаследованную еще от эпохи Вендель. Но курган, исследованный в 1968 году, преподнес новую неожиданность. Пожилой викинг был погребен в камере — деревянном срубе, впущенном в погребальную яму — на небольшом возвышении. Камерный обряд станет характерным для Древней Руси несколько позже, начиная с 920—930 годов. Этот обряд воспримет христианизируемая элита древнерусского общества, своеобразного раннефеодального рыцарства, который, при значительной территории распространения (Гнездово на Днепре, Удрай на Луге, Тимерево на Волге, Шестовицы на Десне), все дальше и дальше уходил от своих европейских истоков. В Европе эпохи Меровингов, в Дании и Швеции времен викингов этот обряд был также присущ конунгам и социальной верхушке, которая уже подверглась влиянию христианской Европы. Высокий социальный ранг погребенного в Плакунской



Раскопки королевского кургана первой половины IX в. в Осберге (Осло-Фьорд. Норвегия. *1904 г.*).

камере, его возраст — около 70 лет, и главное — дата погребения, определимая по годичным кольцам древесных спилов — 879 год, позволили — на какое-то время и в качестве рабочей гипотезы — назвать имя похороненного здесь человека: князь Рюрик. Конунг, которого несколько поколений советских историков считали скорее мифом, чем легендой, вдруг обрел свое место упокоения. Совпадало место, возраст и социальное положение. В середине IX века в истоках Волхова на месте будущего Новгорода не было сколько-нибудь значительного поселения, что заставило князя, приглашенного триумвиратом племен: славянами, кривичами и мерей, сделать первой своей столицей Ладогу, как повествует об этом Ипатьевская летопись. Согласно поздним русским летописям, годом смерти Рюрика как раз и был 879-й, его крещение в Реймсе в отроческом возрасте относится к 829 году. Престижное погребение в камере вполне соответствовало общественному статусу конунга и религиозному статусу христианина. Впоследствии, когда эмоции сменил холодный методологический расчет, всплыло множество обстоятельств, не позволяющих согласиться с этим отождествлением. Но и теперь очевидно, что статус похороненного здесь человека сравним со статусом конунга варяжской дружины. В этой истории важно не то, сколь бесспорными оказались выводы. Главное — напряженные ожидания археологов, их готовность увидеть за безликими артефактами живых людей прошлого. Ибо предстояли бои за историю.

Осмысление проблемы пути из «Варяг в Греки» началось с археологии. Это было связано с целым рядом причин. В СССР история изучалась как смена общественно-экономических формаций, и следствием такого подхода явилась ее деперсонификация, замена живого исторического полотна со сложным переплетением личностных интересов идеологизированными схемами. Люди превратились в «надстройку», подлежащую согласованию с «базисом». Идеологический диктат не обошел стороной и российскую археологию, однако не смог уничтожить потенциальных возможностей этой науки, проистекающих из ее специфики.

В 1918 году Императорская Археологическая комиссия была превращена в Российскую Государственную археологическую комиссию. На следующий год председатель Совнаркома В.Ульянов подписал декрет о создании Российской академии материальной культуры. Рука председателя самолично изменила название задуманного учреждения — возникла Академия истории материальной культуры.[3] Акцент на материальной стороне бытия был не только данью историческому материализму. В те же годы в Москве Н.А.Бердяев создает свою знаменитую Академию духовной культуры. Учреждение Академии истории материальной культуры обозначило общее направление государственной науки: она находилась в оппозиции к любому проявлению духовности.

Переименование науки о древностях в историю материальной культуры, как археология официально именовалась в 1930—1940 годы, в представлениях «вождей мирового пролетариата» делало ее не только квинтэссенцией «исторического материализма», но и основной исторической наукой, в приоритетные задачи которой входило бы изучение материальной стороны жизни обществ прошлого. Утверждение «теории стадиальности» в науке 1930-х годов, рассматриваемое иногда как реализация «сталинизма в археологии», повернуло исследователей вещест-

венных древностей к социально-исторической проблематике и проблемам древних технологий.

Однако археология в советскую эпоху так и не стала лидером в семье исторических наук. Это было связано не только с особенностями ее полевой методики или с внутренней оппозицией исследователей правящему режиму, но в значительной степени с онтологическим статусом археологии как науки о *всей совокупности* вещественных древностей. В отличие от историка, привыкшего работать с письменными памятниками и способного избирательно подходить к различным видам источников, археолог сталкивается в своей практике с комплексом археологических находок, естественным образом сформированным ходом истории. Волей-неволей он обязан рассматривать этот археологический комплекс в его целостности, то есть не может вычеркнуть из полевого дневника те факты и артефакты, которые цензура или самоцензура могли счесть «идеологически вредными», в данном случае свидетельства о роли варягов в истории Киевской Руси. Таким образом, археология была потенциально опасна для режима, провозгласившего своей идеологией антинорманизм.

В декабре 1965 года на истфаке ЛГУ бурно обсуждали книгу И.П.Шаскольского «Норманская теория в современной буржуазной науке».[4] Археологи решили разрубить узел «варяжского вопроса» на месте, то есть на пути из «Варяг в Греки». Уже следующим летом состоялась знаменитая «Касплянская разведка», целью которой было выявление древнерусских археологических памятников вдоль системы малых рек Каспли и Усвячи и сухопутных волоков, соединявших воды основных магистралей пути, — Ловати, Двины и Днепра.[5] В первые же годы было не только подтверждено присутствие здесь «археологии», связанной с норманнами, но и родился «Гимн оголтелого норманизма» — любимая песня многих экспедиций Русского Северо-Запада:

Мы по речке по Касплс идем,
Мы лапши в рюкзаки напихали,
Мы для бедных славистов песем
Норманизма седого скрижали.

В деканат, в партбюро, в деканат
Археологи тащатся в ряд.
Это кто-то из наших, наверно,
Языком трепанул чрезмерно.
.....
.....
.....
Мы храним свои мысли в ларе
За семью пребольшими замками
И лишь только на смертном одре
Сможем крикнуть:
«Победа за нами!»

И снова — в деканат, в партбюро, в деканат... Уже со времен М.В.Ломоносова, для которого «академические немцы» были теми же находниками-варягами, признание ведущей роли норманнов в создании Древнерусского государства было мнением если и вполне научным, то не вполне патриотичным. Сам Михайло Ломоносов пытался увидеть в варягах дальних собратьев западных славян: получать государственность из рук «своих» было как-то приятнее. Но научное мышление явно одерживало верх над пристрастиями. Первоначально даже «историк-марксист» М.Н.Покровский признавал основные положения норманской теории, прежде всего образование государства в процессе скандинавского завоевания и колонизации. Только со второй половины 1930-х годов в науке стали появляться суждения «антинорманистского» характера (Б.Д.Греков, В.В.Мавродин, С.В.Юшков, М.Н.Тихомиров), которые в условиях «горячей» и «холодной войны» получили идеологическую поддержку. Отечественная наука не могла отрицать упоминаний письменных источников об участии норманнов в процессе формирования государства на Руси, однако она стремилась подчеркнуть ограниченный характер этого участия, скорое и бесследное растворение варягов в массе восточного славянства, служебное и подчиненное положение варягов на службе у русских князей. Изначально археологам также приходилось действовать в рамках идеологизированных схем, и, обобщая вещественные древности эпохи IX—X веков, исследователи постоянно подчеркивали процентное соотношение вещей, которые можно считать скандинавскими, и изделий общерусских типов. Одной из главных тем становился вопрос о месте изготовления средневекового оружия, прежде всего мечей (А.Н.Кирпичников), которые ковались в Каролингской Европе, откуда и попадали на Русь и в Скандинавию. Однако расширение географии и масштабов раскопок и как следствие — увеличение информации о скандинавских вещах в древнерусском материале сопутствовало становлению более широкого взгляда на роль варягов в социально-политических процессах Древней Руси. Несмотря на все более весомые и зримые свидетельства участия скандинавов в деятельности социальной верхушки на Руси и в формировании древнерусской культуры, эти данные все же не укладывались в прокрустово ложе «норманской теории» с ее завоеванием и колонизацией. Образование государства и становление древнерусской народности представлялись все более сложным процессом, состоявшимся в результате переплетения многих сил и разнонаправленных интересов. Варяги здесь выступали не как культурные герои, а как соработники славян на ниве местной культуры. Варяжское присутствие стало не причиной, а катализатором социально-политических процессов в Древней Руси.[6]

Но и эти выводы казались тогда революционными не только идеологам развитого социализма, но и коллегам-археологам. Складывалось несколько научных центров, так или иначе занимавшихся изучением археологического наследия варягов на Руси: памятники Северной Руси изучались Ленинградским отделением Института археологии и университетской кафедрой (Вас.А.Булкин, Г.С.Лебедев, И.В.Дубов, А.Н.Кирпичников, В.А.Назаренко, Е.Н.Носов, В.П.Петренко), уникальный комплекс Гнездово под Смоленском, состоящий из многочисленных курганов, городища и селища, раскапывался силами кафедры археологии Московского университета (Д.А.Авдусин, Т.А.Пушкина), киевские археологи занимались древностями Среднего Поднепровья (В.Н.Зоценко, А.П.Моця, П.П.Толочко). Отношения этих центров складывались не просто: *произведения эпистолярного жанра* заставляли «топать в партбюро, в деканат и обратно», как это пророчески предвидел автор «Гимна оголтелого норманизма». Возможно, в конечном итоге легализации скандинавов в русской истории по иронии судьбы способствовал тот же партком ЛГУ, секретарем которого долгое время был человек, много сделавший для решения «норманской проблемы», — недавно скончавшийся профессор И.В.Дубов. Его археологические исследования в Ярославском Поволжье и Ростовской земле продемонстрировали роль и участие варягов в товарном обмене и процессе урбанизации региона.[7] Исследователя такого уровня трудно было обвинить в идеологической близорукости. Так варяги вновь вернулись на Русь.

Само слово «варяг» по своей этимологии является дискуссионным.

Очевидно, в основе этого термина лежит древнесеверное слова «waer» — присяга, клятва. Однако конкретные обстоятельства принесения этой клятвы остаются неясными. Клятвой скрепляли свой союз-складничество купцы, отправлявшиеся в совместные торговые предприятия, отсюда и их скандинавское название «waeringi» — торговцы. Однако в скандинавских языках есть еще и «varringar» — северные дружины, находившиеся на службе у византийского императора и скреплявшие такую службу присягой. Возможно, именно отсюда происходят варанги — βαρραγοι византийских источников и варяги русской летописи. В любом случае варяг — человек, принесший клятву. На Руси слово «варяг» стало собирательным названием скандинавских племен. Западный аналог термина «vikingr» скорее всего связан с военным ремеслом (ср. английское и фризское vicing, viting — воин, воитель), хотя дискуссионным остается и семантическое соотношение этого термина с виками (wik, vicus) — протогородскими центрами ремесла и торговли в раннесредневековой Скандинавии, которые, собственно говоря, и были главными опорными базами движения викингов и местами их концентрации.[8]

Русская летопись, рассказывая о пути из «Варяг в Греки», удивляет нас своим почти необъяснимым «северо» или даже «варягоцентризмом»: путь, описываемый с юга на север, характеризуется направлением движения с севера на юг: «Бе путь из варяг в греки и из грек по Днепру и верх Днепра Волок до Ловати и по Ловати внити в Ылмер озеро великое, из него же озера потечет Волхов и втечет в озеро великое Нево и того озера внидет устье в море Варяжское». Но на этом путь не кончается: «И по тому морю ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю к Царюгороду, а от Царюгорода в Понт море, в не же втечет Днепр река». И это не все: «Тем же из Руси может ити по Волзе в Болгары и в Хвалисы и на восток доити в жребий Симов». Это еще один путь, получивший, по аналогии с первым, кабинетное название путь из «Варяг в Арабы». Как и первый, он лежал через Русь.

Такой географический «варягоцентризм» вполне объясним. Славяне, только что закончившие мигрировать на север Восточно-Европейской равнины, переходили к оседлому земледелию. В новый поход на Византию их увлекли варяги-находники, двигавшиеся навстречу восточно-славянским племенам. Это был их путь. Но ценность этого пути заключалась в его обратной связи — в том, чего он позволял достичь в «Греках и в Арабах». Поэтому глаза, глядящие с севера, видят поток, идущий с юга. Такой путь действительно знают скандинавские саги: Austrvegr, Восточный путь. Этот термин встречается в рунических надписях и скальдической поэзии IX—XI веков, где он отражает начальные этапы проникновения скандинавов в Восточную Европу, хронологически связанные с VIII—IX веками. И лишь в ранних королевских сагах, записанных в XII—XIII веках, но сложившихся в IX—X веках и зафиксировавших общественные отношения и восприятие географического пространства того времени, Austrvegr отражает существование Волховско-Днепровского пути из «Варяг в Греки», а также роль Древней Руси в сложении и функционировании этого пути.[9] Мотивы саг и переживания их героев, отправившихся Austr i Gordum — «на восток в Гарды», через века стали вновь понятны современным скальдам из «младшей дружины» археологов, которые словами Сергея Кузьмина так видят этот путь:

Восточный путь, Восточный путь
идет от края и за край,
Пересекая лик земли ведет он нас
в какой-то рай,
О том, что греки нам поют, но мы
не верим их словам,
Сереброносный этот путь ведет
к арабским берегам.

Нелегкий путь, опасный путь,
вернется лишь один из ста,
Но мы уходим, чтоб сомкнуть края
земли как два крыла.
Нет передышки на пути, она для нас
как дар богов,
И мы торопимся на юг, к богатствам
теплых берегов.

Наш путь лежит через моря,
где по волнам летит драккар,
По страшным рекам и лесам подобен
Утгарду кошмар.
А кто погибнет на пути, того мы
в висах воспоем,
В Валгалле Один встретит их,
и будет вечный пир потом.

Сквозь злобный Финланд
мы прошли, остались Гарды позади,
Видали мы страну булгар,
Итиля воды нас несли,
Вот миновали мы хазар и череду
степных племен,
И вот в Багдаде оказал халиф нам
дружеский прием.

Страшнее места нет в пути,
чем на реке большой порог,
А сколько было их таких, где враг
недремлющий стерег.
Платили мы не серебром — платили
кровью за проход,
Тащили мы свои суда,
мешая с кровью вод поток.

Я вспоминаю эти дни,
они так врезались в мой мозг,
Моих друзей уж не вернуть,
как не пройти горящий мост.
От них остался только прах,
да руны на камнях поют,
Их поглотил Восточный путь,
и девы их напрасно ждут.

Не менее опасными были и другие пути, в частности на запад — «Westvegr», ведущий в Каролингскую Европу и на Британские острова и дальше — в Исландию, Гренландию и Северную Америку — Винланд скандинавских саг, где в Анс-о-Медоу (Канада) было впервые раскопано полноценное поселение викингов. Северный путь — Nordvegr — стал собственным именем Норвегии. Эти пути, наметившиеся еще в предшествующую эпоху, стали полноценно функционировать лишь с началом походов викингов.

Сегодня присутствие скандинавов в Восточной Европе уже не воспринимается как однозначное и одностороннее влияние норманской культуры. Варяги-находники стали главными агентами трансевразийских торговых путей. Многовековые контакты на этих путях обеспечили многоуровневый обмен между народами и культурами.[10] Собственно говоря, еще в V веке до Р.Х. греческому ученому Геродоту был известен сорокадневный путь вверх по Днепру, а в начале I тысячелетия по Р.Х. импорт античной керамики в Среднее Поднепровье стал настолько интенсивным, что именно он задал хронологическую шкалу для некоторых поселений так называемой Зарубинецкой археологической культуры. Тогда же, не позднее 60—80 годов по Р.Х. начал действовать трансконтинетальный «Янтарный путь», соединивший Римскую империю с Южным побережьем Балтийского моря, которое Тацит именует mare Svebicum по имени единственно известного ему скандинавского племени свионов — предков современных шведов. Однако этот путь проходил по водоразделу Вислы и Дуная. В какой-то мере частью этого пути воспользовались готы в своем движении в Восточную Европу. Однако, если южная часть пути из «Ва-

ряг в Греки» была освоена еще в эпоху античности, то его северные этапы стали функционировать лишь с началом эпохи викингов, замкнув круговорот мирового обмена.

Материально-ценностный уровень такого взаимодействия, наиболее доступный для археологического изучения, стал фундаментом для остальных форм обмена. Для обеспечения обращения товаров и услуг развивающейся экономике балтийской цивилизации требовалась серебряная монета. Ею стал арабский дирхем — монета мусульманских теократических государств Передней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Заимствовав свое имя у денежной единицы греческих полисов — драхмы, серебряный кружок, несущий на себе благопожелательную надпись с упоминанием Аллаха, а также год чеканки в летосчислении хиджры[11] и имя правителя, весил всего 2,73 г. Но именно дирхем стал основой для главной денежной единицы Древней Руси — гривны, состоящей из 25 дирхемов или такого же количества кун. Дирхем и стал древнерусской куной, сопоставляемой с ценностью шкурки куницы. Торговля мехами, почти не фиксируемая археологически, стала одним из основных направлений товарного обмена между Европейским Севером и Азиатским Востоком. В результате этой торговли общее количество денежных средств VIII—XI веков, если судить по доступным археологическому изучению кладам куфического монетного серебра, в Северной Европе составила почти 1 млрд дирхемов, при этом не менее 600 млн осталось в обращении на территории Древней Руси. В современном эквиваленте эту сумму можно приблизительно оценить в 5 млрд долларов.[12]

Монета и приобретаемый на нее товар стали главным стимулом развития местного ремесла, которое оказалось интернациональным: об этом свидетельствуют как образы и мотивы, так и круг заказчиков. Полиэтничный мир, сложившийся на пути из «Варяг в Греки», породил — особенно в 900—1000 годах под влиянием скандинавов — удивительную синкретическую культуру ювелирных украшений и погребальной обрядности. В результате возникали так называемые «вещи-гибриды». Формы и техника их исполнения были присущи одним регионам, а художественная стилистика изделия и его орнаментальные мотивы заимствовались совсем из другой традиции. Такое переплетение основ различных материальных культур не оставило без влияния и культуру духовную.

Благодаря дирхему так же хорошо прочитываются и два других уровня обмена — семантико-знаковый и идеологический. Арабское монетное серебро предназначалось не только для обмена, но и для теократического посвящения и религиозной жертвы. Прежняя историографическая традиция утверждала, что клады, будь то клады монет или драгоценностей, зарываются в минуты опасности с тем, чтобы впоследствии воспользоваться тезаврированным капиталом. Согласно этой традиции, обилие кладов отражает периоды нестабильности и военных угроз в жизни общества, отсутствие кладов свидетельствует о его благоденствии. С течением времени выяснилось, что значительная серия скандинавских кладов сокрыта в таких местах, откуда добыть сокровище уже не представлялось возможным: на дне болот и водоемов, в труднодоступных горных расщелинах и прочих подобных местах. Такие клады, весьма характерные для эпохи викингов, определенно имели значение сакральной жертвы, посвященной Божеству. Монетное серебро стало субъектом религиозной жизни. Это подтверждается наблюдением еще за одним из новых исторических источников эпохи викингов — graffiti на арабских монетах. Лишь недавно исследователи обратили внимание на то, что некоторые монеты, дошедшие до нас в составе кладов или погребального инвентаря, имеют процарапанные знаки и надписи.[13] Среди них — греческие и скандинавские имена, символы креста, знаки княжеской собственности, изображения оружия и характерного символа скандинавской мифологии — «молота Тора», в одном, исключительном, случае — целый текст из Евангелия, записанный северными рунами (так называемый «Бронхольмский амулет»). Особо выделяется серия монет с прочерченной на них руной gud — Бог, причем в значении Бога христианского. Очевидно, что наиболее характерными знаками как раз и являются: символы христианства, образы язычества и княжеские знаки. Эти метки на монетах могли быть знаками распределения добытого серебра: иллюстрация известной евангельской заповеди: «Богу Богово, а кесарю кесарево», дошедшая до нас из древности.

Идеологический обмен стал причиной сложного переплетения языческих и христианских представлений как в повседневной мифологии, так и в погребальной обрядности. Уже с началом проникновения скандинавов на Русь возникает новая погребальная традиция, представленная сопками волховского типа, курганами Юго-Восточного Приладожья и большими дружинными курганами, составляющими главную особенность некрополей торгово-ремесленных поселений, появляющихся на трансевразийских путях. Эти погребения, где главенствует культ войны и оружия, представляют нам сложное переплетение славянской, финской, балтской и скандинавской обрядности, иллюстрирующее уровень идеологического обмена. В дальнейшем, на первых этапах христианизации Древней Руси и Скандинавии в период 920—1050 годов, погребения представителей знати, уже оглашенных (primo signatio), но некрещеных, поражают своей пышностью и внешним несоответствием христианским канонам. Для ингумации в камере характерно вложение парадного оружия, конской упряжи, богатой посуды, а иногда и погребение коня. Встречается и парное погребение женщины. Особенно часто такие погребения встречаются в Среднем Поднепровье. Вместе с тем здесь присутствуют христианские символы — кресты, вырезанные из листового серебра, погасшие свечи по краям камеры, а однажды — даже печать с образом Христа. Перед нами — обряд эпохи перехода общества из одного религиозного состояния в другое, от язычества к христианству, обряд христианизации. Серьезной победой христианства в Древней Руси можно считать саму ингумацию-трупоположение: отказ от сожжения усопших, за которым просматривается свойственная христианскому вероучению «индивидуальная эсхатология». Все остальные атрибуты прежнего обряда новое религиозное сознание допускает лишь постольку, поскольку они сопровождают в последний путь умершего христианина, принадлежавшего к дружинной культуре и живущего в среде своих некрещеных собратьев. Однако эта традиция помещения оружия в погребение, где оно освящалось присутствием христианских символов, сохраняется и в более позднее время. За этим стоит не столько наследие дохристианской культуры, сколько формирование новой обрядности и идеологии феодально-христианского рыцарства, которое осознавало себя «дружиной Господней».

Новое самосознание элиты ново-

крещенных народов хорошо прослеживается в англосаксонском эпосе, скандинавских сагах и русских летописях. В 1030 году в дружине норвежского конунга Олава Святого, совершавшей своеобразный крестовый поход по своей стране, родился боевой клич: «Вперед, вперед, люди Христа, люди креста, люди конунга»; позже, около 1070 года новгородский князь Глеб Святославович боевым топором поражал противников Церкви. Христианство привнесло в скандинавскую мифологию и эсхатологические мотивы — тему гибели богов и крушения мифов.

Социально-политический уровень обмена заключался во вхождении в местную элиту пришлых иноэтничных элементов, в формировании новой этносоциальной общности Русь — истока древнерусской народности. В глазах летописца, «вся русь» была племенем «из варягов». В результате пристального изучения она обрела черты княжеской дружины, постепенно трансформировавшейся в верхушечный слой древнерусского общества, его военно-торговую и дружинно-административную элиту, населявшую города Древней Руси и защищенную княжеской «Правдой Росской». Гипотезы В.Бримма и В.Томпсена, разнящиеся в своих истоках, одинаково объясняют становление термина «русь» на Руси. Восточнославянское *русь* связано своим происхождением с финским ruotsi, которое в свою очередь происходит от древнесеверного rotaz — гребцы или rus/drots — морской дружины, объединяющей воинов-гребцов. Именно в виде «руси» варяги представали перед славянами и их северными соседями — финно-угорскими племенами.[14] Собственно, именно финское этническое окружение и давало тот языковой контекст, который позволил славянскому языку заимствовать скандинавское слово именно в такой огласовке. В отличие от своего истока — «варяжского» племени, княжеская «русь» становится полиэтничной. Нет сомнения в том, что новая этническая картина характерна уже для времени правления второго поколения династии Рюриковичей. Под 882 годом ПВЛ свидетельствует, что у князя Олега «беша... варяги и словени и прочи, прозвашеся русью». Летопись фиксирует: «суть людие новгородци от рода варяжска»; в договоре Руси и Византии 944 года сказано: послы, носящие скандинавские имена — Искусеви, Либиар, Грим, Алвад и другие — «от рода руского слы и гости». Эти источники не погрешают против истины. Род в понимание летописца — синоним социально-политической организации общества.

Если изначально община Северной Руси — новгородцы — перестраивалась в соответствии с принципами организации варяжской династии, то через сто лет, по мере формирования новой, уже местной Руси, новые находники варяги стали ее представителями. В событиях 950—1030 годов варяги, некогда способствовавшие образованию Древнерусского государства и становлению его общества, теперь стали наемниками этой власти, целыми дружинами нанимаясь на службу к русским князьям и с их помощью к византийским императорам, как это было в 980 и 988 годах. Происходил обмен правовыми нормами, формами социальной организации и соответствующей терминологией.

Исторически сложилось так: ютландские и норвежские викинги ориентировались на Запад, их собратья из Швеции обратились к Востоку. Не позднее начала IX века на территории Упланда[15] с центром в районе озера Меларен происходит объединение северных и южных племен, населявших будущую Швецию. Именно здесь в это время возникает древняя Бирка — открытое торговое поселение и огромный некрополь рядом с ним. Археологическая культура этой общины, достаточно хорошо исследованная, дает наибольшее количество параллелей с памятниками Древней Руси. Очевидно, именно здесь в IX — X веках существовал центр славяно-скандинавских контактов.

Основные этапы взаимоотношений можно представить следующим образом. Уже после 750 года, с началом экспансии первые группы викингов проникают в Приладожье. Именно в это время возникает поселение на месте Старой Ладоги (ранняя дата 753 г.) — Aldeigjuborg скандинавских саг, которое становится одним из главных центров на пути из «Варяг в Греки» и первой ареной славяно-скандинавских контактов. В древнейших слоях поселения присутствует североевропейский набор ювелирных инструментов, весьма схожих с теми, что были найдены в составе клада у озера Меларен, а также украшения общеславянских типов. Однако эти контакты происходят в финно-угорском окружении. Кроме выходов на юг по Волховско-Днепровскому и Волховско-Волжскому пути варяги искали проходы на Волгу и восточнее — по водным системам рек Сясь — Молога и Свирь — Шексна. Именно здесь в Юго-Восточном Приладожье возникает уникальная курганная культура IX—XI веков, отражающая существование местного общества с центром в Алаборге (Alaborg) — ныне безымянном городище у соименного села на реке Сясь, погибшем еще в 930-е годы. Погребения этой культуры, сохраняя черты, присущие финскому погребальному обряду — идею «домика мертвых», вместе с тем воспринимают от скандинавов идею кургана. В погребальном инвентаре этих могил значительное место занимают скандинавские вещи и восточные импорты — местное население жило за счет активного участия в мировой торговле. Возможно, именно эти люди получили наименование «колбяги», сохранившееся в Русской правде и других источниках.

Постепенное продвижение скандинавов на юг за духовными благами эллинско-христианской культуры и материальными дарами арабо-исламского мира вовлекало в этот процесс восточных славян, выпавших из общинной патронимии. Превращение этого пути в стабильную коммуникацию повлекло за собой организацию контроля за водной магистралью и обеспечение ее безопасности. Возникает система «градков», упомянутых в ПВЛ, которая особенно активно стала формироваться после 882 года — времени объединения Северной и Южной Руси под властью князя Олега. Некоторые из них, особенно на северных участках пути, закончили свое существование вместе с упадком этой магистрали. В Южной Руси, где традиция возобновления поселений на прежнем месте была достаточно сильна, «градки» со временем превратились в древнерусские города XI—XIII веков. Знакомство скандинавов с системой «градков», которая особенно интенсивно развивалось в Приильменье, где, как показал анализ монетных кладов VIII—X веков, сделанный Е.Н.Носовым,[16] пересекались два основных торговых пути этого времени — из «Варяг в Греки» и из «Варяг в Арабы» — не прошло бесследно. Оно сформировало в варяжском сознании представление о Древней Руси как о «стране укреплений» — Gardariki, которое уже к XI столетию трансформировалось в представление о государстве — Стране городов — Gardar.[17]

Однако на Ловати уже к X веку сложилась иная система контроля и обеспечения пути, связанная уже не

столько в князем и его дружиной, сколько с местными славянскими общинами. Система поселений в излучинах реки, так называемые *луки*, была ориентирована на местное пашенное земледелие, которое дополнялось местными промыслами и ремеслом. Вместе с тем местный экономический и социальный потенциал активно использовался для поддержания самого пути. Местное население, участвующее в товарообмене, было в этом прямо заинтересовано.[18]

Уже не позднее середины 830 годов вдоль всего пути из «Варяг в Греки» сложился каганат росов, противостоящий Хазарии и стремившийся к установлению контактов с Византией и Каролингской империей. Бертинские анналы под 839 годом упоминают о послах каганата росов, посетивших императора Феофила, в которых император франков Людовик Благочестивый узнал представителей народа свеонов. Очевидно, именно варяги-свеи сыграли активную роль в становлении того государства, к которому их далекие потомки уже нанимались на службу.

К середине X века восточное славянство на территории Древней Руси стояло на пороге образования собственного государства. Для завершения его строительства нужна была новая власть — надсоциальная и надэтническая по своей природе, способная осуществлять функции социального контроля и справедливого суда. Именно такой властью сумела стать династия Рюриковичей, приглашенная северным альянсом племен «княжить и володеть» ради устроения «наряда» в «великой и обильной земле». Первоначальная столица державы Рюриковичей в Альдегюборге—Ладоге уже вскоре была перемещена южнее к истокам Волхова. Ею стал не Новгород — скандинавский Holmgardr, а укрепленное поселение почти на берегу Ильменя — Городище, которому краеведы XIX века дали романтическое название — Рюриково Городище. Очевидно, именно оно изначально и называлось Хольмгард. Впоследствии, после образования Новгорода в 940—970 годах, это название закрепилось за новой столицей Северной Руси.[19] Уже с самых ранних слоев своего существования Городище демонстрирует «насыщенность» скандинавскими вещами, включая и подвески-амулеты с руническими надписями. Культурный слой Новгорода содержит более поздние находки вещей, помеченные рунами или обладающие иными признаками скандинавской культуры. В жизни этого города варяги выполняли совсем другую роль — служилых наемников. Ко времени образования города русь уже начала утрачивать значение этносоциальной общности, передавая свое имя и самосознание древнерусской народности. Вновь приходящие Восточным путем варяги подчинялись новому порядку вещей. Новой династии они служили на равных правах с другими. Если в списке русских дипломатов 944 года славянин Борич скромно занимает последнее место после явных скандинавов Вуефаста, Шихберна, Сфандра, Прастена, Грима и других, то в конце XI века средневековый горожанин, забыв имена «гордых врягов», помнит лишь Борича: городская топонимика Киева знает Боричев увоз, рядом с которым находилась Старокиевская гора. И последние стали первыми...

Держава Рюриковичей постепенно замещала каганат росов в Южной Руси. Уже освоены излучины Ловати и следующие за ней волоки, где владеющие своими патронимиями предки новгородского боярства пристально следят за жизнью пути из «Варяг в Греки», извлекая из него наибольшую выгоду для своей власти. В 882 году регент второго поколения династии князь Олег Вещий объединяет две части единого государства — Киевскую и Новгородскую (о двучастности Русского государства помнили еще во времена создания Остромирова евангелия 1056 г.), захватив ключевой пункт на пути из «Варяг в Греки» — Смоленск —Smaleskia северной традиции. Однако в то время Смоленска еще не было. Но в двенадцати километрах от него до сих пор существует крупнейшее археологически известное поселение и могильник древнерусского времени — Гнездово, еще один опорный пункт на пути, наиболее близкий в социальном и топографическом отношении главнейшим балтийским викам — Бирке и Хедебю. Древнейшие погребения Гнездова как раз и относятся к концу IX века или, по крайней мере, к началу X века. Именно это открытое торгово-ремесленное поселение (в скандинавских сагах, предположительно, Syrnes — Свиной мыс), очевидно, названное по имени небольшой речушки Свинец, и стало предшественником древнерусского Смоленска.[20]

Приильменье было первым перекрестием, откуда путь из «Варяг в Арабы» шел по Мсте, далее на Волгу мимо Ярославля, где раскопано крупнейшее поселение и могильник того времени — Тимерево, а затем через Владимиро-Суздальское ополье вновь на Волгу: в сагах упоминается Суздаль — Surdalar, Муром — Moramar и Ростов — Rostofa. Тимеревский могильник и здешнее поселение преподносят нам удивительное сочетание христианской и мусульманской символики, словно иллюстрирующее летописный рассказ о выборе веры князем Владимиром и косвенно подтверждающее свидетельство арабских авторов о посольстве русов в Халифат в 912 году — прощупать почву для возможного принятия ислама.

Но стык трех великих европейских рек — Волги, Днепра и Западной Двины предполагал возможность движения скандинавов еще и вдоль самой Двины. Очевидно, этот путь был освоен последним, по крайней мере, археология скандинавского присутствия на территории Белоруссии свидетельствует скорее о X—XI столетиях. Саги знают древнерусский Полоцк — Palteskja, а также местность в районе реки Drofn, где существовал монастырь св. Иоанна Предтечи. Предположительно, это — городище Масковичи, известное археологам, которое находится у системы Браславских озер, где есть озера Дривяты и Дрисвяты. Артефакты свидетельствуют о том, что в XI—XII веках здесь стоял варяжский гарнизон, выполнявший таможенно-пограничные функции и оставивший многочисленные рунические надписи на бытовых предметах.[21]

Южнее Гнездова-Свинческа система контроля пути вновь строилась на основе летописных «градков» по Днепру, которые в будущем были использованы князьями Владимиром Святым и Ярославом Мудрым для создания инфраструктуры собственного государства. Возможно, один из них и был загадочным Danparstadir. Киев — исконный центр Среднего Поднепровья, Kaenugardr саг — с конца IX века окончательно становится столицей объединенной державы Рюриковичей. В этом городе причудливо сочетаются функции «города старшего типа», бывшего торгово-ремесленным поселением на пути, и «города младшего типа» — классического города — источника политической власти, княжеской резиденции и крепости. В археологии этого города в самых причудливых формах переплетается славянское и варяжское, языческое и христианское, родовое и индивидуальное. Здесь князь Владимир, в те времена еще не святой, проводит в 980 году свою «языче-

скую реформу», и летопись, описывая в 945 году первую христианскую общину на Руси, говорит: «мнози бо беша варязи хрестиане». Варяги не только способствовали сложению государства на Руси, изначально они слагали ее Церковь.

Путь из «Варяг в Греки», соединяя миры, способствовал не только политическому и духовному обмену — феодализации и христианизации, но и формированию нового качества общественной жизни — урбанизации. Полис — главная ценность античной культуры в ее византийском и римском варианте становится неотъемлемой формой жизни раннесредневековых обществ Руси и Балтики. Главной причиной образования городов становятся транзитная торговля и рожденное ею ремесло, город возникает как центр притяжения всех общественных сил, ориентированных на создание новых отношений в окружающем мире. В социальном и политическом отношении именно эти открытые для всех протогорода являются важнейшими жизненными центрами. Не власть рождает город, а город рождает власть. Он становится объектом желаний и стремлений, обрастает городским правом, рождавшимся из обычая, но и заимствованным из Corpus jurius civilis.[22] Роль древнерусского города во многом ассоциируется с ролью полиса средиземноморских цивилизаций. Не случайно во времена Владимира Святого и его предков, когда Русь будет перестраиваться по новым принципам — «старейшинства в роду», породившим княжескую автократию, возникнет феномен «переноса города». Гнездово станет Смоленском, Тимирево — Ярославлем, Городище — Новгородом, Сарское городище — Ростовом. Поставив под свой контроль новое урбанистическое образование, древнерусское княжье все-таки не забывало о том ярком и привлекательном ореоле, которым общественное сознание наделяло города эпохи пути из «Варяг в Греки».

На восток от Киева, по Десне складывалось то пространство, которое со временем получит название собственно «Русская земля» с двумя городскими центрами в Переяславле и Чернигове. Возможным предшественником Чернигова было местечко Шестовицы, где найден крупный дружинный могильник с многочисленными скандинавскими вещами и христианскими древностями. Прекрасно исследованный, он стал еще одним свидетельством участия варягов в русской истории. Антропологические изыскания определенно указывают на то, что погребенные здесь люди по своему расовому типу были выходцами из Северной Европы.

«Страшнее места нет пути, где на реке большой порог...» Днепровские пороги, где когда-то погиб Святослав Игоревич, а много позже встала стена Днепрогэса, действительно были испытанием для путешественника. Особые лоцманы, чья профессия дожила до XX века, обеспечивали проводку судов. Пороги были известны и византийцам, но узнали они об их существовании непосредственно от варягов. Император Константин Багрянородный в своем сочинении «De administrando imperio» перечисляет названия порогов — все они заимствованы из скандинавского языка — при этом император отмечает различие славянских и «росских», собственно варяжских, названий: Эссупи, Улворси, Геландри, Аифор, Варуфорос, Леанди, Струкун.[23] Вслед за летописями и сагами император описывает путь: этим путем росы на своих моноксилах — лодках-однодревках отправляются из «внешней Росии», очевидно Северной Руси, в Константинополь — Miklagardr. Миновав пороги, росы оказываются в безопасности и, минуя остров Св.Георгия — Хортицу, и остров Св.Евферия — Березань, направляются в Византию. Там, в Пирее, их ждет мраморный лев, послушно предоставивший свою лапу резчику скандинавских рун. Но даже здесь, у желанного выхода в Эвксинский Понт — Черное море может поджидать опасность. На острове Березань найден надгробный рунический камень, подобных ему много в Средней Швеции. Руны гласят: «Грани поставил этот холм по Карлу, товарище своем». Желанная Византия уже казалось такой близкой...

Археология, подтвердившая истину саги и летописи, замкнула круг земной. У жерл Днепра, втекающих в Понтийское море, камень с острова Березань засвидетельствовал присутствие скандинавов. Своего рода аллегорией стали и клады арабских дирхемов в «устье Варяжского моря»: два клада куфического серебра — в Петергофе и на Васильевском острове как бы предвосхитили открытие «окна в Европу».

Оскудение серебряных рудников, источника арабских дирхем, привело к порче монеты: к XI веку она перестала цениться на европейских рынках. В этом же столетии крестовые походы проложили новый путь из Европы на Ближний Восток. Путь из «Варяг в Греки», хребет Древнерусского государства, утратил былую роль. Однако он сохранил свое значение via sacra, которая утоляла духовную жажду народов Северной Европы. Этим путем христианство не только пришло на Русь, но и придало новый импульс религиозной жизни Скандинавии: и здесь археологи нашли сакральные предметы византийского происхождения и отметили влияние имперского искусства. Не случайно апостол Андрей не только прошел по пути из «Грек в Варяги» как бы предосвящая Русскую Церковь, но последовал и далее, в Варяги и Рим, вновь замыкая «круг земной» и единство христианского мира. Сложившийся к XI веку Pax Baltica Christiana лишь после крестовых походов XIII века раскололся на Pax Baltica Romana и Pax Baltica Orthodoxa. Обратно, по пути апостола Андрея, варяги вновь шли через Русь в XI столетии, на сей раз не за арабским серебром и византийским золотом. В поисках нравственной чистоты они шли в Иерусалим — Jorsalair скандинавских саг — ко Гробу Господню.

Эпоха викингов ушла в прошлое, как и отошли в прошлое ожесточенные «бои за историю» — за право скандинавов жить и участвовать в русской истории. А.Ф.Лосев как-то сказал, что сущность чистой науки и заключается в том, чтобы поставить гипотезу и заменить ее другой, более совершенной, если на то есть основания. На новом уровне развития науки и накопления археологических знаний наши сегодняшние представления о роли варягов в жизни Древней Руси уточнятся и станут более полными. Вряд ли они изменятся кардинально. Уже сейчас, в 1985—1995 годах, экспедиция «Нево» под руководством Г.Лебедева и Ю.Звиташвили экспериментально доказала, что 2720 км пути от Балтики до Черного моря можно пройти за 85—95 дней, при этом на волоки тратится не более двух недель. Результатом похода стало обследование более чем 320 археологических памятников, свидетельствующих об этом пути. В древности многие из них выполняли не только функцию контроля и обслуживания магистрали, но и служили навигационными знаками, облегчавшими хождение по русским рекам и озерам.[24] Новые формы и методы исследования приходят на смену традиционной археологии. Но вместе с эпохой «великих археологических открытий» уходит и ее романтика и юношеское воодушевление. На их место приходит

легкая грусть по ушедшему времени, которое вновь прессуется в толщу археологических памятников. И вместо напористых песен времен научной юности на память приходят другие строки, навеянные песнями Александра Городницкого и переложенные на язык археологических скальдов:

По звездам млечного пути
легла моя дорога.
По звездам млечного пути
драккар в морях летит
Туда, где нежный юг уснул,
не чувствуя тревоги,
Где тускло золото блестит,
где смерть мужей косит.
Здесь на земле чужих богов
не властен грозный Один.
Здесь Тор меня не защитит,
и Фрея спрячет лик.
И только старый добрый меч
да щит из бычьей кожи
Отважных викингов хранит
от сотен вражьих пик.

*В.Петренко, 1966 г.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]*Iordanis Getica.* Иордан. О происхождении и деяних гетов. Текст, перевод и примечания Е.Ч.Скржинской.М., 1960.

[2]*Топоров В.Н.* Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы // Балто-славянские исследования.1982. М., 1983.

[3]*Лебедев Г.С.* История отечественной археологии. 1700—1917 гг. СПб., 1992. С. 421.

[4]*Шаскольский И.П.* Норманская теория в современной буржуазной науке. Л., 1965.

[5]*Лебедев Г.С, Булкин Вас.А., Назаренко В.А.* Древнерусские памятники бассейна р.Каспли и «Путь из варяг в греки» // Вестник ЛГУ. 1975. № 14. С. 166—170.

[6]*Кирпичников А.Н., Дубов И.В., Лебедев Г.С.* Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 189—297.

[7]*Дубов И.В.* Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л., 1982; Он же.Великий Волжский путь. Л., 1989. Он же. Варяги на Руси. «От тех варяг провзася русская земля...» СПб., 2001.

[8]*Петрухин В.Я.* Комментарии // *Ловмяньский Х.* Русь и норманны. М., 1985.

[9]*Джаксон Т.Н., Austr i Gordum.* Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М., 2001. С. 39—48.

[10]*Лебедев Г.С.* Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 258—259.

[11]Год 622-й по Рождестве Христовом, когда пророк Магомед переселился из Мекки в Ястриб-Медину, стал для последователей ислама точкой отсчета нового времени.

[12]*Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.* Дракон «Нево» на пути из варяг в греки. Археолого-навигационные исследования древних водных коммуникаций между Балтикой и Средиземноморьем. СПб., 1999. С. 44.

[13]*Добровольский И.Г, Дубов И.В., Кузьменко Ю.К.* Граффити на восточных монетах. Л., 1991.

[14]*Брим В.А.* Происхождение термина «Русь» //Россия и Запад. Ч. 1. Пг., 1923.

[15]*Мюссе Л.* Варварские нашествия на Западную Европу. Вторая волна. СПб., 2001.

[16]*Носов Е.Н.* Волховский водный путь и поселения конца I тысячелетия н.э.// Краткие сообщения Института археологии. М., 1981. Вып. 164. С. 18—24.

[17]*Джаксон Т.Н. Austr i Gordum.* Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. С. 59.

[18]*Конецкий В.Я.* Население долины реки Ловать в процессе сложения первоначальной территории Новгородской земли // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород, 1989.

[19]*Джаксон Т.Н. Austr i Gordum.* Древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. С. 91—92.

[20]Там же. С. 74—76.

[21]Там же. С. 137—149.

[22]Кодекс гражданского права, составленный в Византии в эпоху императора Юстиниана (526—565).

[23]Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст. Перевод. Комментарий. М., 1989. С. 45—51, 291—332.

[24]*Лебедев Г.С., Жвиташвили Ю.* Дракон «Нево» на пути из варяг в греки. С. 86.

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

# Тумас ТРАНСТРЕМЕР

### ВОСПОМИНАНИЯ ВИДЯТ МЕНЯ
***(Из сборника «Дикая площадь»)***

Июньское утро, рано еще
просыпаться, но поздно уже
засыпать.

Я должен на волю, в зелень,
полную
воспоминаний, и они
провожают меня взглядом.

Их не видно, они слились
воедино
с фоном, идеальные хамелеоны.

Они так близко, что я слышу,
как они дышат,
хотя пение птиц оглушает.

### POSTLUDIUM
***(Из сборника «Дикая площадь»)***

Меня тащит как якорь по дну
вселенной.
Застревает все то, что мне
не нужно.
Усталое негодование,
пылающее смирение.
Палачи собирают камни, Бог
пишет на песке.

Тихие комнаты.
Мебель в лунном свете готова
к полету.
Я медленно бреду в самого себя
по лесу пустых доспехов.

*Перевод А.Афиногеновой*

# Киевская весна

## В конце одного столетия

### *Отрывок из повести*

Ларс АНДЕРССОН

Если вас удивит написание имен, сообщаем: автор пошел на это совершенно сознательно.

Комната. Движения священника, ее освящающего. Он взмахивает кадилом, его тень поворачивается и качается в слабом желтоватом свете восковых свечек, поставленных в ряд. Покачиваются и огоньки свечей, вспыхивающих на сквозняке, превращаются в маленькие, пылающие крылья.

Все остальное — покой.

Сквозь окно в комнату проникает свет, приглушенно- синий. Он вливается очень тихо, этот свет весеннего вечера, вечерний свет созерцания, чтобы так же тихо исчезнуть.

В комнате двое.

Дворец с его множеством палат и горящих свеч надежен. Он стоит несокрушимо, и бревна его похожи на два огромных сцепленных кулака. В плавно текущих голубоватых весенних сумерках он устойчив и надежен, словно ковчег на горе Арарат. Птицы, вьющие гнезда под чердачными крышами, теперь затихли, потому что настал вечер. Среди узоров и резных украшений замерли, задумавшись, кобчики. У дворцовых дверей часовые. За воротами собаки. Время от времени с улицы раздаются крики и голоса, топот копыт и шум колесных повозок, чьи-то приказы, пьяная ругань, но, в общем, все спокойно. Под откосом — широкий изгиб большой, молчаливой реки.

Отец Николай все еще освящает комнату. Он кадит над столом, над лавкой, над висящей одеждой мальчика. На священнике черная риза, но облачение не полное, одна епитрахиль. Он читает из Псалтири о страхе ночном и стрелах, летящих днем.

Они, разодетые, стоят недвижно и слушают. Молодая княгиня. Анна, молодая княгиня-христианка, восемнадцати лет. Дочь императора, сестра императора, она явилась сюда издалека, но здесь ее величают княгиней Киевской и всея Руси. В сердце и теле своем она несет спасение Руси. Однако находит время и для того, чтобы освятить маленькую дворцовую комнату, о которой вспомнила. Она следит за голосом священника, там, где положено, произносит «Аминь». Все известно и верно, она выучила слова славянской службы, но теперь захотела, чтобы этот обряд совершил на ее родном языке ее собственный духовный отец, приехавший с ней из имперского города.

Здесь ее подопечный, мальчик, почти чужой, подкидыш. Тот, кого на их языке зовут Улафом. Тот, кто останется здесь жить. В общем-то он уже не мальчик, с княгиней они ровесники. Но сейчас он выглядит мальчиком. Словно пытаясь следить за происходящим, он произносит «Аминь» — каждый раз за нею вслед. Высокий и сильный, с коротко стриженными светлыми волосами, он выглядит совсем невзрачным. Его руки плотно прижаты к бедрам. Он сжимает и разжимает большие кулаки.

Отец Николай оглядывается, ищет сосуд со святой водой, княгиня наклоняется за ним и передает.

Кроме этих троих в комнате только я, служанка княгини. Однако для истории, о которой идет речь, моя жизнь не имеет значения. Здесь я лишь для того, чтобы видеть и слышать. Я тоже приехала с княгиней из Константинополя.

Отец Николай поет: «Тако да погибнут все обидящие мя...» Он отложил кадило, теперь окунает кропило в святую воду и окропляет стены. Пока он движется от стены к стене, остальные двое стоят тихо и повторяют «Аминь». Вот он тянется за иконой, лежащей на столе. Вешает на гвоздь. Богоматерь с младенцем на руках. Молча, затаив дыхание, стоят все трое перед образом.

Вот отец обращается к Улафу:

— Не впусти греха в эту комнату!

Улаф:

— Не впущу, отец.

Отец Николай вновь поворачивается к иконе. Он начинает молитву, и княгиня подхватывает. В ее голосе слышны низкие нотки, которые появляются так неожиданно, когда она растягивает слова на своем языке. Улаф пытается уловить мелодию. Будто примериваясь, он вступает низким неровным голосом.

Они поют: «Услыши и помилуй!»

Кто-то приподнимает меня за локти. Сигурд, дружинник, опекун и родственник мальчика. По старой дружбе толкнул меня в дверях, отодвинул в сторону и вошел. Встал позади поющих и говорит:

— Прошу простить меня, не знал...

Они все поют. Улаф подходит к Сигурду, обнимает за плечи, ведет к остальным.

На стене, над их головами — отблеск свечей, как трепетание крыльев. Сигурд молчит, терпеливо выжидает. Обряд закончен, их окропляют святой водой, они прикладываются к кресту, священник начинает собираться.

— Не знал, что так делается, — говорит Сигурд. — Освящают комнаты, в которых — жить. Да, Улаф, знатных покоев тебя удостоили! Отрадно видеть, княгиня! Знать, это ваша забота.

Княгиня тоже собирается. Она говорит:

— Отец Николай соблаговолил освятить комнату, прежде чем юноша поселится здесь.

Сигурд:

— В таком случае все пойдет чинно и ладно.

Священник говорит:

— Мне незачем больше оставаться, — кивает мне, направляется к двери.

А княгиня медлит. Она слегка касается локтя Сигурда:

— Вы ведь этого хотели?

Затем выходит вслед за священником, они удаляются, беседуя по-гречески.

Она благодарит за то, что он пришел так спешно. Говорит, эта мысль пришла ей в голову лишь вчера, бессонной ночью.

Закрывая дверь, Сигурд подает мне знак, чтобы подождала снаружи. И я сажусь, прижимаюсь ухом к стене и жду.

Слышу их шаги. Их голоса изнутри. Словно я вижу: Сигурд передо мной, движется. Он высок, но не так силен, как Улаф, он рос из года в год, и теперь его тело стало твердым, как корабельная древесина. В его лице что-то неуловимое, ускользающее, словно зверек — внезапно выскочил на яркий свет. Скоро это лицо станет старым. Он ловок и всем недоволен. Руки изуродованы шрамами.

— Надо же! Не хватает только, чтобы сам великий князь пришел и запел по-гречески... запинаясь. Все ради тебя, мальчик! Ну, положим, он-то, конечно, не ради тебя — ради нее. Я его понимаю. Но она-то — ради тебя. Я и ее понимаю!

Я слышу, как он напевает, пытается вспомнить молитву, которую пел священник.

— Прав я был! Как только увидел ее, сразу понял — здесь твое место, здесь ты под защитой. Да, да, Улаф. Мог ли я знать? Я думал, она лишь залог, похожий на маленькую хрупкую... куклу, спеленутую — от чужих глаз — в чудные покрывала, куклу, которую сделали залогом соглашения — между князьями. Но нет, никогда она не была беспомощной и хрупкой, это я сразу разглядел. А теперь ты входишь в дом княгини, как в свой, и ради тебя курят по стенам ладан, чтобы дать тебе собственную...

Голос Улафа:

— Читальню. Она хочет. Чтобы я научился читать.

— Вот как. Может, тебе это и не повредит. А тот, что был здесь, духовный отец... Думаю, в один прекрасный день князь потребует, чтобы его — митрополитом! Митрополит Киевский! Не меньше. И пусть кто хочет, тот плюнет, а я скажу: возблагодарим нашего князя Владимира, того, кто, воистину, велик. Ненасытен! А уж теперь, когда больше не рыщет по сторонам, не подминает царства и царевен, повинуясь страстям низменным... Он — в руках молодой княгини, она же правит и повелевает.

Может быть, хочет Сигурд, чтобы я услышала, как говорит он о князе и княгине? Дразнит ли меня, знает ли, что докладываю царским братьям обо всем, что происходит в доме? А может, он сам — царский соглядатай? Или хочет им стать?

Нет, похоже, сейчас он — сам по себе, тот, кто он есть, родственник этого, молодого, о котором так заботится. Забыл обо мне. Хотел, чтобы я дождалась его, а сам забыл. Служанка с красивыми маленькими ушками, говорил, твое ушко похоже на редкий гриб, что водится в северных землях, растет на лесных пригорках.

Улаф храбрится, говорит:

— Разве ты был не на войне? Или нет, на войнах.

— Войны нет. В мире больше нет войн. После болгар и Варды Фоки никто не шевелится. Все притихли.

Но сам-то он вовсе не притих, ходит по комнате, я слышу, как стучат его сапоги, взад и вперед.

— Да, мир воцарился в землях — так он говорит. — С тех пор, как мы покрестились. Если воцарился. Один Святополк свирепствует, но кому до этого дело. Новое тысячелетие будет иным, не похожим на прежнее, как я погляжу. Нет, я просто охотился. На медведя, с сетью и рогатиной. Здесь и охотятся по-другому. Совсем по-другому, Улаф. В это время года я скучаю по Новгороду. По подснежникам на равнинных лугах. По трясогузкам, что радуются молодой зеленой траве.

— Темнеет, — говорит Улаф. — Скоро ударят в колокола. Да, и вечерний свет. Он с детских лет в моей памяти. Я помню его давно, раньше, чем помню тебя или Новгород. Помню. Но я не знаю... что именно я помню!

Сигурд:

— Ясное дело, ты помнишь свет, это просто!

Улаф молчит. Сигурд снова ходит, напевая, пытается вспомнить какие-то слова из Псалтири, но на губах его они — как охотничья песня, как песнь воина. Вдруг стук каблуков смолкает, и он начинает рассказ о том, как пел князь Владимир, когда изволил петь. Он говорит, на второй день вечером, после того как проникли в город Владимир со своими воинами (да, Сигурд тоже был среди них), когда они выгнали из домов последних жителей, приволокли к костру...

Князь Владимир. Бодрствовал всю ночь, спал весь день, едва держался на ногах, когда ехал по главной улице в полном облачении. Вдоль дороги на подъездах к костру — сидящие на кольях, подергал их за ноги, словно это — веревки колоколов, из которых он желает извлечь последний звук. Вот тогда он и запел. Взялся их всех переорать.

— И тут он видит пленников, — говорит Сигурд. — Владимир увидел, их несколько, передовые, из войска его брата, когда тот напал на Новгород, его, Владимирово, княжество. Он велит, и их тащат к нему. Многих из них он знает по именам, еще с юных дней, и он обращается к ним по имени. Когда их схватили, некоторых даже не ранили, их следовало бы пощадить, взять клятву верности, но нет — князь желает петь! Берет одного за голову, прижимает к своей груди, достает охотничий ножик и отрезает уши, нос и губы, будто брюкву чистит. А сам поет. Рвет волосы и бороду, словно чистит рыбью чешую, а сам поет. Мощным голосом, так, что слышно каждое слово. Огонь трещит, гудит, а князь Владимир поет. Следующий пленник...

Улаф говорит:

— Ты часто рассказываешь такое. Я знал князя в прежние годы, во времена Аллогии...

Аллогия? Кажется, я расслышала правильно. Раньше я не слышала этого имени.

— В ту пору, когда я видел князя, — говорит Улаф, — он еще не пел. Мрачный, чаще всего пьяный, и говорил мало. Один раз подозвал меня, я плохо знал его язык, он быстро понял это и заскучал.

— Значит, ты не видел его на войне.

Это говорит Сигурд. Он-то видел и теперь рассказывает об этом тепло и живо, словно речь — о шустром ребенке с богатым воображением: гениальном и чудном. Еще одна байка: когда князь с дружиной одолели вятичей, разбили лагерь в лесу, явился странный человек. Он закричал, что он — здешний леший, лесной бог, а они подняли руку на его дочерей, русалок. Ужо, теперь он поймает князя и всех, кто нарушил его покой, втопчет в землю. Сигурд рассказывает, князь повеселел, кричит старику, чтобы тот сел рядом, на почетное место, угощает его, надевает на него свою меховую шапку. Потом раздевается. Под проливным дождем стоит, обнаженный, клянется безумцу, что заплатит ему за себя и за войско. Потом одевается, все — наизнанку, левый сапог — на правую ногу, другой — на левую, ведет коня, кидает на седло мешки полные мехов и золота, приказывает привести рабыню, наложницу, что делила с ним последние ночи, дочь старейшины-вятича, наряженную, сажает на коня, а старика сажает напротив, задом наперед, и велит ехать в лес. И вот лесной бог и пленница исчезают за пеленой дождя, а князь и воины встают и начинают петь...

Улаф:

— Меня ты никогда не пускал воевать.

—Тогда тебе было всего двенадцать, ты только приехал в Киев!

— Но там уже знали, что я, девяти лет от роду, убил взрослого мужчину!

Кажется, он говорит с горечью и обидой. А потом говорит: «Ни с ляхами, ни с болгарами», и голос его — недовольный, но уже ровный.

— Я не хотел тебя потерять! — говорит Сигурд.

Там, за стеной, его взволнованные шаги, но голос удивительно мягкий: неужто, Улаф не понимает — сейчас наступает его время. Разве он не видит, как все сложилось, невероятно, лучше не бывает! Он — в доме великой княгини, в своей собственной комнате...

Улаф говорит:

—Я сильный. Все это знают. Я — победитель во всех состязаниях. Все хотят заполучить меня. Вот бы они увидели меня в битве.

— Тебя лучше поберечь, — говорит Сигурд, — к тому же сейчас мир. Может быть, на тысячу лет.

Но Улаф, неблагодарный, упрямится:

— Когда ты сказал князю, что — я королевского рода, он подошел ко мне, чтобы поглядеть еще раз. Спросил, хочу ли я последовать за войском, на мордву. Но тут между нами встала Аллогия. Сказала, что я — ее дружинник!

Аллогия, случайно не имя матери князя? Кажется, это было гораздо раньше, задолго до Улафа.

Ну, теперь-то, наконец, терпение Сигурда иссякло:

— Ты что, совсем лишился разума?

— Может и так!

— Ты — у великой княгини, у великой княгини Киевской! В ее дворце! Тебе нет и восемнадцати, ты жив и полон сил, все любят тебя! Это княжество равно царству самого греческого императора! Я сразу понял: только сюда нам и надо. Я сам рассказал князю, что видел в Константинополе своими глазами... Я сам сидел на княжеском совете, когда император просил помочь ему войском, я заставил его увидеть... Неужто ты не понимаешь, почему ты так дорог мне?

Улаф говорит:

— Я знаю, что дорог княгине. Ей нравится говорить со мной. Наверное, потому, что на этом языке мы оба говорим с трудом.

Сигурд продолжает, словно говорит со стенкой:

— Вот, вот. Видно, так оно и есть.

Улаф:

— Одно я хочу знать наверняка: был ли я крещен по христианскому обряду, когда родился?

— Да. А что?

— Ничего. Я уже сказал об этом ей, княгине.

— В этом я не сомневаюсь! — говорит Сигурд.

— Но откуда тебе знать?

— Я узнал... от твоей матери, конечно! Получил от нее весточку, дескать, направляется в Новгород, с сыном, чтобы я ждал ее там. Такое было послание. И потом... ты ведь и сам знал об этом, когда я нашел тебя, ты же сумел рассказать, кто ты такой, кем были твой отец и твоя мать. И о том, что крещен, ты тоже знал. Но тогда я запретил тебе рассказывать об этом. Ты же норовил разболтать все, что мать вдолбила в твою голову.

Дальше он говорит шепотом, в его голосе любовь, а может быть, угроза, я не знаю.

— Разве ты не помнишь, как я однажды спас тебе жизнь?

Улаф в ответ:

— А ты разве ты не помнишь, как я спас твою?

Сапоги Сигурда стучат, когда он идет к окну. Говорит:

— Да, скоро услышим колокольный звон. Уже стемнело. Утренняя Заря: Она открывает ворота своему отцу — Солнцу. А Вечерняя Заря закрывает. Ты помнишь?

Молитва купца — «руса». *Реконструкция по описанию Ибн Фадлана.*

Улаф:

— Открывает. Закрывает. Но есть ведь и третья?

— Полночная Заря.

— Да. А что делает она?

— Все три сторожат собаку. Прикованную цепью к звездам Малой Медведицы. Пока цепь крепка, держится и мир. Как только цепь порвется, мир погибнет. Пойду к себе. Ты где ночуешь?

— На эту ночь останусь здесь.

Сигурд:

— Потуши свечи, чтобы не загорелся образ.

— Спокойной ночи.

Сигурд выходит, закрывает за собой дверь, он уже здесь, я вскакиваю, движением бровей он показывает, что сейчас не намерен со мной разговаривать, но сразу же улыбается и ласково берет меня под руку.

Вот еще что. То, что, по слухам, случилось этой ночью в наших местах: Святополк, князь Турова, старший сын Владимира, видно, вновь встречался с верными воинами. Эта встреча — неподалеку от Киева, так что весть о ней дошла до меня еще до утренней молитвы. Были и местные крестьяне, даже женщины. К тому времени, как он пришел, выпили половину запасов меда, костер горел вовсю, он пришел, когда смеркалось. Говорят, он был в полном облачении, как перед войной. Они раздобыли что-то, похожее на идола Перуна. Вызывали дождь.

Если посмотреть на эти лесные дела со стороны, они похожи на игру. Но игру опасную. Святополк удивляет меня. Не знаю, довольно ли в нем могущества и силы, чтобы играть в такие игры.

Его ожидают во дворце, в один из ближайших дней.

Те, кто собрался в лесу, кричали: слава тебе, Святополк, слава тебе, будущий князь! Он спросил, не гас ли костер, пока его не было. Схватил одного из самых родовитых и говорит: если кто посмел потушить костер, убью его. А тот и все остальные отвечают, нет, костер горел непрестанно, все ждали его, будущего князя.

Потом спросил, не было ли здесь кого из дружинников великого князя, не выдал ли кто-нибудь это место? Нет, они закричали хором. Приди и пей с нами! Пошли нам дождь! Он спросил, на месте ли жертвенные животные. Нужен черный козел и черная телка. И черный петух, он забыл спросить про петуха, но они напомнили.

Тогда каждый поднял свой рог, и все пошли вокруг костра с пламенными криками, брызгая на пламя, а он заклинал: пошли нам дождь, о, Перун, пошли нам грозу! Пусть бегут ручьи и наливается колос! А ты, Велес, бог скота, помоги телятам встать на ноги! Потом спросил, правильно ли он все сказал. А они закричали: спляши! И он начал плясать в полном облачении, и все пили и плясали, а затем принесли жертвы.

Я, Николай, в меру моих скромных сил, раб Божий. Киев, год 990.

Сие написано мною лишь для того, чтобы самому хорошо запомнить события, оставившие неизгладимый след в душе княгини, коей я, божьей милостью, являюсь духовным отцом.

Я посетил ее сегодня, чтобы самому освободиться от одной гнетущей мысли, сущего пустяка, которому я, по слабости своей, позволил омрачить мой день. Разумеется, это опять он, зодчий Анастасиос, мое несмиримое высокомерие понуждает меня писать о нем так жестко. Но — ни слова больше об этом слабоумном. Господи, усмири мое желание делать все по правилам, пусть эта церковь будет наконец возведена!

У нее была женщина, они стояли, держась за руки. Женщина преклонных лет, с редкой внешностью, странно одетая, очень красивая — по-своему. На ней были крестьянские сапоги и большой поношенный платок. Облако светлых волос вокруг толстой косы. Черты лица одновременно и грубые, и прекрасные. Глаза — светло-голубые. Колдунья, подумал я, но совсем не злая колдунья. У меня сразу же появилось чувство, что она пришла с вестью, по какому-то важному, но неведомому мне делу. И все как-то связано с тем, что княгиня носит под сердцем дитя.

Я оставался недолго. Потом, позднее, когда княгиня рассказывала об их разговоре, я узнал имя женщины — Аллогия. Она была княгиней новгородского Владимира, задолго до того, как он принял христианство. После нее было еще много княгинь, но она была первой.

Пробралась в княгинины покои, вдруг явилась та, сперва молчаливая, суровая и молчаливая, потом говорит: почему вы отняли у меня мальчика? А княгиня, Анна, тут же восклицает: вы мать его? Первое, что у нее вырвалось.

Со своей стороны Аллогия в первую очередь сообщила следующее: она княгиня Новгородская, но теперь ей нет до этого дела. Живет в доме у реки. Остальных, то есть других княгинь, Владимир отправил в разные места вместе с их сыновьями, но сама она живет в этом доме. Она никому не мешает, никто не зарится на ее дом, который, правда, стоит невдалеке отсюда. Анна, княгиня, даже не поняла, говорит ли она о большой реке, о той, что славяне зовут Днепром.

Далее (Аллогия): много слышала о княгине (Анне). Обо всех этих чудных событиях, случившихся в последние годы, о византийском договоре, о том, что князь должен принять крещение, а вместе с ним и все старейшины и весь народ, а также об этом браке. Сестра императора. Говорили: к тому же она красива. Молодая девушка, но не слишком юная, и вдобавок ко всему — красавица. Она сказала, об этом ей рассказывал Сигурд. Он рассказывал и о свадьбе в Херсонесе, он ведь тоже был там. Он говорил правду, теперь она в этом убедилась.

Тогда княгиня спросила, откуда она знает Сигурда Эйрикссона. Ведь это он попросил, чтобы Улаф, его племянник, остался жить здесь, под покровительством княгини.

А дело вот в чем: Сигурд — возлюбленный этой Аллогии. Все началось здесь, близ Киева, когда они перебрались сюда ради мальчика. Но раньше, в Новгороде, он был всего лишь начальник ее дружины.

А Владимир? Великий князь?

В ту пору она его не интересовала, сказала Аллогия. Да и княгине, заверила она, в дальнейшем не должно быть никакого дела до нее. Она просто живет в своем доме у реки. А теперь ей надо идти. Однако она тоже хочет спросить: с чего это княгиня решила, что она — мать Улафа? Разве княгиня не знает, что Улаф — сын короля северной страны, какой-то из варяжских?

А княгиня ответила: вы похожи на варяжскую женщину. Именно такими я их себе и представляю. А потом добавила: почему вас зовут Аллогией? Это же греческое имя. Тут они взялись за руки. И стояли так, и Аллогия спросила удивленно: вы правда ласкали Владимира этими руками? И тут княгиня ощутила ужасную слабость и сказала: я уже ношу его дитя.

Так они стояли когда я постучал, и меня пригласили войти. Позднее княгиня рассказала, что ослабла, начала задыхаться. Она наклонилась и, ловя воздух ртом, оперлась о стул, а Аллогия снова взяла ее за руки и помогла распрямиться, чтобы вдохнуть.

Я оставался недолго. Пока я был там, Аллогия не вымолвила ни слова. Это я записываю себе для памяти: ее строгое лицо излучало особое, пронзающее спокойствие. Тяжелая, полная нижняя губа. А Анна, княгиня, напротив, весела и словоохотлива, шутила со мной по поводу Анастасиоса, как она отбивается от его капризных требований и придирок, сказала, что он глуп как пробка (я так доволен ее последним высказыванием о несчастном Анастасиосе, что не могу не привести здесь ее слов). Но я-то видел, что ей не по себе, и я пришел некстати.

Потом она рассказывала мне что, когда я ушел, она разъяснила Аллогии: я — будущий учитель Улафа. Когда я ушел, она разъяснила Аллогии, что я — ее духовный отец, единственный человек, оставшийся при ней со времен ее юности.

Вот почему Аллогия начала свой долгий рассказ. Об Улафе.

Нет, сначала они немного поговорили о юных годах. Наверное, о Владимире.

Аллогия спрашивала о самой Анне, о ее детстве.

— Я рассказала о сокольничем,— призналась она мне. — Вы помните его? Он был единственным, кому разрешалось вывозить меня из дворца. Ему разрешали брать меня кататься верхом. Тогда я и увидела море. Оно сверкало так, что мне казалось, мои глаза уже никогда не смогут видеть. Я мечтала увидеть его снова и снова, радовалась всякий раз, когда смотрела на него, и потом, ночами, оно так сверкало для меня, когда я не могла заснуть. А еще я рассказала о вас, о том, что, когда мои братья пообещали отдать меня в жены Киевскому князю, а я не хотела этого, вы сказали мне: через тебя Христос пошлет спасение Руси. Через тебя свершится чудо. Вот оно и свершилось.

Дитя мое. Много думал я над словами, что сказал тебе тогда. Может быть, нас обоих я связал этими сильными и важными словами, потому что надеялся, что ты возьмешь меня с собой. Ты всегда мечтала принять монашество. Но мне так хотелось увидеть тебя невестой. Тогда мы и заговорили о церкви, которую ты велишь построить.

Эти строки я пишу с тем, чтобы, однажды перечитав, вычеркнуть.

Об Улафе, в дополнение к тому, что известно княгине:

Сигурд приехал с мальчиком на княжеский двор Аллогии. Вы знаете, сказал он, это я выкупил двух мальчиков из рабства, этот мальчик — мой родственник, сын родной сестры, он очень мне дорог. В той стране, откуда он прибыл, его род высок. Приведи его, сказала Аллогия. Тяготы и опасности не миновали его, сказал Сигурд. Ему лишь девять лет, а он уже убил взрослого мужчину, своими руками, собственным топором. Не иначе — раба, сказала Аллогия. Нет, свободного человека. Она поглядела в ясные глаза мальчика. Дотронулась до его руки. У него сильные руки, сказал Сигурд, быстрый ум, и он не из пугливых. Но люди убитого жаждали кровной мести, таковы новгородские законы — в те времена.

И вот еще, что узнала Аллогия об Улафе из уст Сигурда: ему было три года, когда он прибыл с матерью из Швеции на корабле, с ними был старик и еще один — мальчик, сын старика. Им всем пришлось бежать из родной страны. Вопрос жизни и смерти. Они жили под защитой шведского короля, а потом задумали переехать к Сигурду в Новгород, Сигурду они доверяли больше, чем всем остальным родственникам. Мать Улафа была Сигурду сестрой. Но на их корабль напали эсты, чудь. Отобрали дитя у матери. Дитя и старик попали к одному человеку, к нему же попал и другой мальчик, Торгиль, сын старика. Мать никто больше не видел. Старика убили сразу, слишком стар, никто бы не купил. Мальчиков продали чудскому крестьянину. Многое они вытерпели прежде, чем их выкупил другой крестьянин. У этого, другого, жилось получше. В рабстве они прожили шесть лет.

Вот скачет по земле Сигурд, собирает для князя дань. В те времена князь только что завоевал всю Русь, не один Новгород. В одной деревне его взгляд упал на мальчика. Кто ты? — спрашивает Сигурд, сперва по-чудски, затем по-свейски. Я Улаф, отвечает мальчик, мать моя звалась Астрид, дочь Эрика. Ты — сын моей сестры, говорит Сигурд, я выкуплю тебя. А Торгиля, моего сводного брата? — спрашивает мальчик. Его, отвечает Сигурд, я тоже выкуплю, ради тебя.

Так они оказались под защитой Сигурда. Старший, Торгиль, стал совсем взрослым и исчез. Как-то раз стоит Улаф в толпе на рыночной площади и вдруг видит человека, который когда-то поймал его и убил старика, отца Торгиля. С топором он крадется за этим человеком, бросается на него из-за угла и убивает. Посмотри на этого мальчика, сказал тогда Сигурд Аллогии на ее княжеском дворе. Разве можно допустить, чтобы он лишился жизни потому, что отомстил за несправедливость, теперь, когда Торгиля нет здесь и сам он не может отомстить за отца своего?

Аллогия взяла его под свою защиту. Все уладила с чудью — деньгами. Улаф живет при ее дворе.

Она расспрашивает: не знает ли он, кто увез его мать? Нет, отвечает он, этого он не видел. А Торгиль, где он теперь? Его нет, отвечает Улаф, наверное, вырос и стал чьим-то дружинником. О том, кого звали Торгилем, он, бывало, плакал.

Улаф подрастал. Уже тогда он был сильным и крепким. Над многим смеялся, но знал мало. Мало что мог рассказать и о самом себе. Аллогия часто гуляла с ним по берегу, ходила на луг: действительно ничего не знал, ничего не помнил.

Сигурд ходил в поход на Киев, но вернулся в Новгород, чтобы возглавить дружину Аллогии. В те годы ее дружина воевала часто, Сигурд рассказывал о праздниках в честь побед, о том, как здесь, на киевских холмах, они приносили жертвы Симарглу и Мокоши, так звались идолы. По словам княгини, князь был дик нравом — так сказала Аллогия — неутомим и ненасытен, его гнали собственные боги. А все потому, сказала Аллогия, что он разучился слушать богов, и они являлись, словно призраки, подначивали его, но и давали все, что пожелает. Рогнеду из Полоцка — он ведь и ее заполучил — посадил на берегу Лыбеди, другую, богемку, как там ее зовут, посадил на севере, и еще одну, гречанку...

— Вы же знаете, — говорит мне Анна, молодая княгиня, — до этого была еще одна гречанка?

Знал ли я об этом? Не помню.

—Теперь ее нет в живых, — сказала княгиня. — Но это ничего не меняет.

— Кажется, о ней я что-то слышал, — сказал я.

— Великий Бергсбон, отец Владимира, нашел греческую девочку, все говорили, необычайно красивую, и отдал ее Ярополку, брату Владимира, тому, что был Киевским князем. Бергсбон нашел ее в монастыре.

Я промолчал. Княгиня сама знает, что это была за страна. Но почему эта Аллогия столько ей всего рассказала?

— Когда Владимир взял Киев, — сказала княгиня, — а Ярополка убили, Владимир взял гречанку себе.

— Понимаю, — ответил я, — она-то и родила Святополка.

— Да, Святополк. Жестокий. Если, конечно, его отец — Владимир. Поговаривают, она была на сносях, когда попала к Владимиру. Так что он двурожденный, этот Святополк, и в этом его беда. В том, что у него два отца.

Сигурд был в походе, состоял при воеводе, которого звали Волчий Хвост. Приехал к Аллогии через год и говорит: я узнал, что ни один королевский сын из чужих земель впредь не останется на Киевской Руси без позволения князя, так что теперь я снова опасаюсь за Улафа, а потому должен рассказать тебе: в той стране, откуда он прибыл, он — королевского рода. Как бы то ни было, это может открыться. Отца убили еще до его рождения, отец был королем, мать родила его, когда бежала из страны, где им грозила опасность. Теперь я должен просить тебя, говорит Сигурд, надо предотвратить несчастье, не допустить, чтобы здесь его начали преследовать за то, что в нем течет королевская кровь. Мы должны сообщить великому князю, кто этот мальчик, и просить княжеского разрешения, чтобы он мог остаться здесь.

Аллогия: а Улаф знает об этом? Сигурд: раньше — нет, теперь знает. Когда Аллогия спрашивает его, Улаф отвечает: да. Он смотрит на нее светлыми глазами. Теперь я тоже знаю об этом, мое полное имя — Улаф Трюггвасон. Мать родила меня на маленьком острове, а в это время злые люди рыскали вокруг, пытались найти нас. Что еще ты знаешь об этом? — спрашивает Аллогия, а он отвечает: ничего. И рука его дрожит. Но Сигурд опять приходит к ней: мы должны просить князя за мальчика, чтобы он забрал его к себе и оставил в Киеве, под своим присмотром. Тогда ему было двенадцать. Надлежало научиться всему, что следует знать королевскому сыну, получить должное воспитание. Сигурд сказал, она, Аллогия, должна сопровождать мальчика в Киев. Хотя к тому времени она прервала всяческие от-

ношения с князем. Лишь она, говорит Сигурд, может заменить ему мать. Лишь она может сделать так, чтобы Улаф помнил мать-королеву.

И Аллогия сделала это. Так говорит мне Анна, княгиня, как будто хочет, чтобы я понял, чтобы я подтвердил, что так могло быть. Или не могло. Аллогия сказала, это она родила его, пеленала в слова. Благодаря ей он родился заново, потому что тогда, когда ему было двенадцать, и потом, позже, она рассказывала ему обо всем. Словно он вновь становился ребенком, вновь попадал в те земли, о которых она рассказывала. Убийцы короля,

Варяжский всадник
в восточноевропейском вооружении.
*Реконструкция по материалам могильника Бирки.*

мать, остров, старик, который был приемным отцом его матери, Торгиль — другой мальчик. Рассказы будили его воспоминания, а в самой их глубине пребывала мать.

Теперь, сказала Аллогия, теперь она, Аллогия, может уйти, теперь она убедилась, что здесь, во дворце, Улаф под надежной защитой.

Именно в этот миг молодая княгиня ощутила приступ тошноты. Аллогия помогла ей подняться, отвела ее волосы и одежды, чтобы не запачкала. Прижала ладонь ко лбу княгини, а другую — к груди, помогла прийти в себя.

Не могу сказать точно, что это был за приступ. Может, причина в том, что молодая княгиня была на сносях. Так или иначе, именно он удержал Аллогию. Княгиня рассказывала так, что мне показалось, будто я слышу голос Аллогии, словно для меня это важно — услышать ее голос, которого сам я никогда раньше не слышал.

О Владимире, об Аллогии. Именно об этом княгиня хотела услышать от Аллогии.

Самое главное, о его отрочестве я знал и раньше. Он пережил осаду Киева, когда ели летучих мышей и белок. Даже на княжеском дворе. Его братья тоже жили при дворе. Он был ниже их по рождению и боялся братьев. Одна лишь мать князя оберегала его, все повторяла, что и он — княжеский сын.

Когда мать князя умерла, Вышегор разделил имущество между сыновьями и отправился походом на Западную Болгарию. Тогда Владимиру было почти десять лет, и он был сильным мальчиком. Именно тогда новгородцы пригласили его к себе княжить.

Далее, по словам Аллогии:

Жил человек по имени Добрыня, был он братом Малуши-ключницы, матери Владимира, той, что прислуживала матери князя.

Добрыня воспитал Владимира воином. Он взял его с собой в Новгород (там его сделали первейшим правителем). В те годы Владимир был юн. Благодаря Добрыне, брату его матери, новгородская знать приняла Владимира с уважением и окружила заботой.

И вот однажды Добрыня увидел ее. Аллогию. На берегу озера, на лугу. Она танцевала. Был праздник Ивана Купалы. Они спустили чучело Купалы на воду. Обмыли и благословили ее. Он проезжал верхом совсем близко, поглядел на нее. Тогда она была молода, как сейчас княгиня Анна.

Отблеск костра освещал половину его лица. А на другой, темной половине горел один глаз. Словно демон, охраняющий ночной цветок. Так говорит Аллогия, когда рассказывает о нем много лет спустя. В тот день она поняла, он жаждет ее. Но тогда он уехал, так ничего и не сказав, а потом расспрашивал всех — кто такая?

И правда, кто она такая — Аллогия? Дочь простого человека, который бродил по свету, чинил рыболовные снасти и мельницы. Ее отец и братья канули в разных сражениях. Какое-то время она жила у одного человека, но сбежала.

Потом жила у женщины, которая знала толк в знахарстве и травах. Добрыне рассказали, что она много знает. Знает все о богах и лесных духах. Говорили, что и о любви она многое знает, об этом он тоже спросил.

Одно она знала точно — перед Добрыней ей не устоять.

Но, когда ее привели к нему, он сказал: тебя я выбрал не для себя. Я выбрал тебя для молодого князя.

Вот таким странным образом все и решилось, его волей и властью. Она пробудила в нем вожделение, и оно обернулось желанием сделать ее невестой Владимира. Невестой князя Киевского. Так она и попала к Владимиру.

Вот что говорит Аллогия о Владимире, рассказывает молодой княгине: его голос был совсем юношеский, надтреснутый. И взгляд его блуждал, когда он начинал говорить. Голос надколотый, как хрупкий камушек. Она научила его любви, так она говорит.

— Можно сказать, она показала ему, как распускается грех в женских руках, как он пронзает женское тело, свиваясь и извиваясь. Она рассказала ему о богах, — говорит княгиня. — То, чего он еще не знал. Ведь Добрыня поведал ему лишь о воинственных богах, тех, кому он сам приносил жертвы.

Да, я слыхал их имена, богов, под личиной которых — Лукавый. Принуждал славян поклоняться себе, молить его о чуде. Даждьбог, Стрибог, Мокошь...

Княгиня слушала внимательно, запоминала детские сказки и страшные предания, которыми Аллогия когда-то наполнила сердце князя. Тогда он был молод и только учился любви.

Смею напомнить, когда душа Владимира закружилась в вихре злых деяний, все эти истории потеряли для него всякий смысл. Ничто, чему учила Аллогия, не сумело его удержать. Только ты, дитя мое, открыла ему истину.

Только ты — его законная княгиня.

Вошла служанка княгини и, перебивая разговор, доложила: стол накрыт, князь ждет.

— Я должна говорить с ней еще, во что бы то ни стало, — сказала княгиня. — Я попросила ее встретиться со мною снова, пока она здесь, в городе. Вы ведь позволите, отец?

Аллогия предложила встретиться на том месте, где строится церковь, потому что теперь она узнала: это место существует и княгиня собирается туда не позже завтрашнего дня. (Вероятно, по моему делу, которое касается зодчего). Они могли бы свидеться в сумерках, княгиня непременно ее узнает, хотя, может быть, и не сразу.

Против этой встречи мне нечего возразить.

Мне кажется, я слышу все, что так хорошо запомнила княгиня, обрывки магических обрядов и небылиц, которые ей снова предстоит услышать. Словно слышу голос самой Аллогии.

Мать Сыра Земля. Как, призывая Мать Сыру Землю, поливают ее маслом, чтобы злые силы исчезли в кипящем масле. Словно пальцем открывают рот земли и припадают ухом — расслышать будущее.

Как прячутся в лесу малютки кикиморы, подрастают и меняют цвет. Как водные божества, покорные лику луны, то стареют, то молодеют вновь. Как их невольники, утопленники, с круглым блестящим камнем на шее...

Нет, сам я никогда не слышал голоса Аллогии.

Чародейка, но, нет, не злая.

Княгиня — дитя.

Господи, позволь их душам ближе узнать друг друга.

Если я иду по ложной дороге — прочь от Тебя — и веду за собой княгиню, направь меня на путь истинный.

Я искала ее, удивительную женщину, которая однажды вошла в мои покои. Я не могла дождаться, когда стемнеет. После полудня отправилась туда, где строили. Я задумала показать ей, как строится церковь, какой она будет, уж если она оказалась поблизости. Но ее все не было видно. Прежде чем выйти, я переоделась. Пусть примут меня за кого-то с княжеского двора, кого мастера не знают. Эта мысль пришла мне в голову ни с того ни с сего, и я взяла у служанки ее уличное платье. Ветер трепал красный платок, покрывший мою голову. Склон, ведущий к недостроенной церкви, был усыпан цветами. Желтые цветы, я забыла спросить, как они называются, помню лишь, что они быстро вянут.

Крики и стук молотков. Все здание в лесах, а на них люди. Поднимают бревна. Смолокуры и столяры снуют то туда, то сюда, каждый в своем углу будущей церкви. Я стояла, вслушиваясь в слова, которые долетали до меня, и вдруг осознала, что церковь строят и словами. Там были еще и женщины, они держали в руках корзины с едой и бочонки с питьем. И тут я услышала за спиной голос Сигурда:

— Глядите, кого я привел!

Я вздрогнула и обернулась. Сигурд ехал верхом, он ехал и смотрел совсем в другую сторону, рядом с ним шагал его оруженосец, а впереди прыгал человек со связанными ногами. То двигаясь мелкими шажками, то прыгая двумя ногами разом, а они подгоняли и толкали того, чья жалкая одежда совсем прохудилась, но черты лица сохраняли надменность и радость духа.

Мое лицо скрывал платок, Сигурд прошел совсем рядом и задержал на мне вопрошающий взгляд.

— Это еще что такое? — выкрикнул кто-то.

— Да, — сказал Сигурд. — Да, вчера был медведь, а сегодня — этот. Зовите Анастасиоса.

— Анастасиос! — послышались крики из подвала.

— Может, ему пригодится кудесник, — сказал Сигурд.

— Анастасиос! Нужен тебе кудесник?

И кто-то из смолокуров воскликнул:

— Неужто и вправду кудесник? А поглядишь, простой оборванец!

Грубые слова. Слова, которые словно втаптывают тебя в землю, в чужую землю!

Я почувствовала: так бывает порой, когда приближаешься к правде и правда эта наполняется делами и голосами, которые трудно понять, но они создают наш мир. Мне захотелось смеяться, ни с того ни с сего я ощутила необъяснимое счастье. Здесь строилась моя церковь. Порывы ветра доносили резкие запахи. Шелест высокой травы под ногами походил на шум крыльев.

Оруженосец сказал:

—Чудной человек! Послушать его, лет через десять Днепр потечет вспять, а женщины станут рожать горлом.

— Да, в этой голове полно чудных мыслей, — подтвердил Сигурд и ударил кудесника по спине рукояткой меча.

Тот заголосил:

— Это я-то, оборванец? Ха-ха-ха!!! Слушай, ты, пердун, я — истинный древлянин и не хуже тебя говорю по-славянски!

— А ты-то сам как родился? — гаркнул кто-то со стропил. — Небось, тоже через горло?

А другой прибавил:

— Мать, небось, изо всех сил крепилась, когда увидела твое рыло.

— Ага, старалась зажать тебя в горле!

— Но ты — настырный!

Руки связанного оставались свободными, он показал на одного из них пальцем и провозгласил:

— Тебя-то я узнал!

— Кого это, меня? Быть не может.

— Узнал, узнал, видал твое лицо в медвежьей заднице! Ох, и вкусное было зрелище, когда медведь танцевал на развилке возле Печер. Ну-ка, постой! — взревел я, — Дай-ка заглянуть в твои глаза! Ха-ха! И вот тогда он развернулся так, что я тебя увидел. Рад опять повидаться. Ну, теперь держись, ты у меня попляшешь, а то, гляди, медведь как завалится на спину, аккурат на твое чудное личико, размозжит его о камень...

Я видела, человек, в которого тыкал кудесник, держится за стропила. Приятель тянул его — оторвать и помочь слезть. А тот вцепился в самые верхние колья, дальше — только небо. Глумившийся пролетел сквозь все леса, почти до земли, но перед самым ударом рванулся всем телом вверх — это его и спасло.

А связанный пленник стоял, кланяясь и улыбаясь, как будто благодарил благосклонно.

Из глубины недостроенной церкви вышел Анастасиос. Словно на всех — ни на кого в отдельности — прикрикнул: «Недосуг теперь лясы точить, ротозейничать, мешкать с работой». Заметил кудесника.

— Вор, что ли? Уж если суждено, наказания не минешь, пошел вон!

— Кто этот большой человек? — спросил пленник у Сигурда.

— Городской зодчий, сам Бог послал его нам, — ответил Сигурд. Потом, обращаясь к Анастасиосу: — Он, понимаешь, проповедует. Говорит, скоро Днепр потечет вспять. Уж не туда ли, куда ты хочешь поставить купель?

Анастасиос — изменник из Херсонеса, давно спорит с отцом Николаем, где должен быть алтарь.

— Сперва все было просто, — молвил Сигурд. Приводим народ к реке, им ничего не остается, как туда прыгнуть.

—Только не в тех местах, откуда я родом, — возразил

кудесник. — Хотя и там народ тянули в этот грязный источник. Но грязь эта смоется, стоит явиться моему господину.

— Вот как, — воскликнул Анастасиос, — и кто же он, твой господин?

— Мой господин — антихрист, — кудесник ответил спокойно и дружелюбно. — Сейчас он лишил меня власти, чтобы я прошел вслед за ним — путем страдания.

Анастасиос бросился к нему, вцепился в волосы и рванул вниз — на колени:

— Вот оно что! Значит, антихрист — твой господин! Ну-ка, отвечай, знаешь ты, что есть истинная вера?

— Знаю, но сам в это не верую, — ответил пленник. — В своей вере я тверд и кроток!

—Это хорошо, — сказал Сигурд. — Нашему священнику так даже спокойнее. Вон, — указал он, — там, справа от рощи, останки твоих предков, княгиня-мать приказала зарыть их в землю живьем. Но тебя-то зароют в освященной земле — такова уж наша нынешняя княгиня.

— Ну уж нет, сперва священник предаст тебя в руки Христа! — Анастасиос кричал, пиная поверженного кудесника. — А потом мы его отпустим! Ну, признавай спасителя своего!

— Как паду в освященную землю, тотчас же выползу оттуда! — Кудесник ответил с трудом и выплюнул траву, забившую рот. — Есть еще хитрости у меня на уме!

Тут все обратились в другую сторону. Кудесник приподнялся на руках. Один воскликнул:

— Это кто?

Другой ответил:

— Молодой князь, Святополк, неужто не видишь?

Человек в длинной красной рубахе приближался широким шагом. Он был безоружен. Я видела его однажды. Теперь его лицо было скрыто от меня тенью. Медленно, словно против воли, он приближался к толпе. Будто шел по своим делам и теперь жалел, что помешали. Я подумала: я-то знаю, зачем он здесь на самом деле. Пришел о себе напомнить!

С Сигурдом они встретились глазами, и я подумала, такими неприступными бывают две скалы в океане, когда меж ними лежит полоса света.

— Поглядите на этого убогого, князь, — сказал Анастасиос. — Хулитель Евангелия, сам начальник дружины и тот не мог совладать...

Кудесник, обращаясь к Анастасиосу:

— Вот сейчас ты как вылетишь задом в окно! Где мучительно палит солнце, как тысячи муравьев, разъедающих кожу змеи.

Святополк, обращаясь ко всем:

— Разве начальник дружины не Добрыня?

Сигурд, обращаясь к Святополку:

— Уж слишком сомневался, когда принимал крещение.

Анастасиос:

— А этому что в лоб, что по лбу, помилуют, нет ли...

Святополк:

— Так убейте его.

Кудесник, обращаясь к Сигурду:

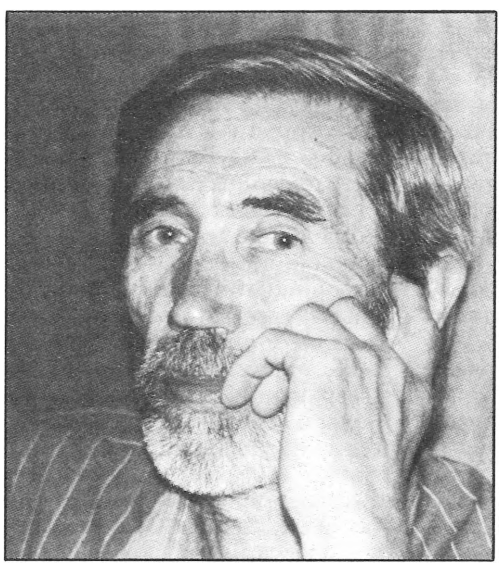
— Я — твой слуга, отныне и вовеки.— И сразу — Святополку: — А твою судьбу я вижу ясно! Будешь мчаться вперед и вперед, пока не лишишься сил, замертво падешь посреди леса, а врагов твоих и нету — тени врагов ходят вокруг тебя, а ты совсем, совсем одинок...

Я заметила, Святополк смотрит на меня. Разглядывает с интересом. Платок скрывает мое лицо.

Уходя, я слышала, Сигурд вновь взялся за пленника: «Ну что, язык еще не проглотил? Тогда пойдем!» Слышала, как Анастасиос велел мастерам вновь приниматься за работу. Медленно я уходила вниз по склону. Я должна была вмешаться, что-то сказать. Открыться им, кто я такая. Освободить несчастного пленника. Но я не сумела выбрать момент, не нашла подходящих слов.

Под тяжестью слов и дел согнулся мир.

*Перевод Ольги Макаровой*



7 января 2002 года Валерию Бабанову, первому художественному редактору журнала «Всемирное слово», исполнилось 60 лет.

Валерий Бабанов принимал участие в международных выставках в Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Испании, Канаде, Латвии, Нидерландах, Польше, России, США, Японии. Его монотипии, офорты, экслибрисы хранятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом. Весной 2002 года за работу, представленную на первой Международной биеннале графики в Санкт-Петербурге, Валерий Бабанов был удостоен премии имени академика Владимира Ветрогонского.

Редакция и редколлегия журнала поздравляет Валерия Бабанова с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов.

КАНВА ИСТОРИИ

# Александр I и шведский наследный принц Карл Юхан (Бернадот)

Вадим РОГИНСКИЙ

В истории многовековых отношений между Россией и Швецией краткий, шестилетний период после окончания русско-шведской войны 1808—1809 годов занимает особое место. Эта война стала последней, и после 1809 года никогда уже наши страны не воевали. Была как бы подведена черта под долгой чередой русско-шведских войн, которые с XIII века оказались вписаны в исторические анналы и часто создавали в менталитете наших народов представление друг о друге как о традиционных противниках. В шведском языке есть даже относящееся к России выражение «arvfiende» — наследственный, традиционный враг. При этом сразу же оговоримся, что, хотя эти войны и запечатлелись в исторической памяти русского и шведского народов, все же отношения между нашими странами и народами и до 1809 года отнюдь не сводились к конфликтам и войнам.

Вернемся к периоду 1809—1815 годов.[1] Что же произошло? Почему после самой тяжелой для шведов войны с Россией, когда Швеция уступила принадлежавшую ей с XIII века Финляндию, то есть треть территории и четверть населения, через три года, когда в июне 1812 года Наполеон вторгся в Россию, Швеция, на которую он рассчитывал, не выступила против России. Через год, в 1813 года, русские и шведы бок о бок сражались на полях Германии против французов. Короче говоря, в отношениях между Россией и Швецией произошел качественный перелом.[2] Наши страны из противников превратились в союзников на заключительном этапе наполеоновских войн, и огромный вклад в это внесли два человека, которые в ту эпоху стояли во главе наших стран. Это были император всероссийский Александр I и шведский наследный принц Карл Юхан, еще несколько лет назад маршал Французской империи Жан-Батист Бернадот, владетельный князь Понтекорво, которого хитросплетения судьбы поставили у руля шведского королевства.

В отношении российского императора дело обстояло гораздо проще. Его путь был предначертан заранее. Родившийся 12 декабря 1777 года, сын великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, любимый внук императрицы Екатерины Великой, Александр с детства был предназначен вступить на российский трон, что и произошло 12 (24) марта 1801 года, правда, как известно, при весьма драматических обстоятельствах.

Жизненный путь другого действующего лица — шведского наследного принца Карла Юхана, Жана-Батиста Бернадота[3] был необычен и стал возможен лишь благодаря потрясениям Великой французской революции. Бернадот родился в 1763 году в южнофранцузском городе По, административном центре провинции Беарн, в семье мелкого чиновника суда самой низшей инстанции, причем дед Бернадота был сапожником. Начал он свой трудовой путь писарем. В 1780 году после смерти отца семнадцатилетний Жан-Батист завербовался в армию. Здесь после девяти лет службы он стал фельдфебелем, высший чин, на который мог рассчитывать в королевской армии разночинец. Революция сняла для Бернадота, как для многих других, преграды в военной карьере: в 1791 году он уже лейтенант, в 1793 — капитан, в 1794 — полковник. В том же году в сражении при Флерюсе он получил звание бригадного генерала и вскоре стал дивизионным генералом. В 1795—1796 годах Бернадот воевал в Германии, а в январе 1797 года был отправлен на помощь генералу Наполеону Бонапарту в Италию. Здесь впервые пересеклись пути этих двух выдающихся людей.

В 1798 году Бернадот попробовал себя, правда, не очень удачно, на дипломатическом поприще: Директория отправила его послом Французской республики в Вену. В 1799 году, в самый разгар серьезных поражений французских армий в Италии, он стал военным министром и сделал многое для того, чтобы поправить тяжелое положение. Однако внутренние интриги заставили Бернадота уйти в отставку как раз накануне возвращения из Египта Наполеона Бонапарта, с которым теперь его связывали и родственные узы. В августе 1798 года тридцатипятилетний генерал женился на двадцатилетней Дезире Клари, дочери богатого марсельского судовладельца и купца. Всего несколько лет назад Дезире Клари была невестой молодого генерала Наполеона Бонапарта, который уехал в Париж и оставил юную Дезире ради прекрасной креолки Жозефины Богарне. Сестра Дезире — Жюли вышла замуж за другого представителя клана Бонапартов — Жозефа. Именно Жозеф Бонапарт, а не Наполеон стал крестником их — родившегося в 1799 году — сына, которого назвали необычным для Франции скандинавским именем Оскар, навеянным модными тогда балладами Оссиана.

Несмотря на то что Бернадот и Наполеон никогда не испытывали друг к другу особенно теплых чувств — Жан-Батист не принял участие в перевороте 18—19 брюмера, а затем вплоть до 1804 года его имя всплывало в связи с антинаполеоновскими заговорами — карьера его продолжала развиваться успешно. Наполеон доверял Бернадоту важные командные посты, в мае 1804 году Бернадот стал маршалом, а в июне 1806 года владетельным князем Понтекорво в Италии. В 1810 году судьба Жана-Батиста Бернадота круто повернулась. По воле представителей шведского народа, собравшихся 21 августа на риксдаг в Эребру, старинном городе в Центральной Швеции километрах в ста от Стокгольма, он был избран шведским наследным принцем.

История этого избрания даже по тем временам, когда рушились одни троны и воздвигались другие, была весьма необычной. Дело в том, что в начале 1809 года под впечатлением тяжелых поражений в войне против России, в военных и чиновничьих кругах созрела идея свержения короля Густава Адольфа, которого обвиняли в несчастьях страны. 7 марта 1809 года восстала воевавшая на норвеж-

ской границе Западная армия и под командованием подполковника Георга Адлерспарре двинулась на Стокгольм. Когда сюда докатилась весть о мятеже, то командующий столичным гарнизоном генерал Карл Юхан Адлеркрейц со своими помощниками арестовал короля, который был низложен и заключен в крепость. Регентом страны восставшие провозгласили дядю свергнутого короля герцога Карла Сёдерманландского. Собравшийся вскоре шведский парламент — риксдаг принял 6 июня 1809 года новую конституцию страны и избрал регента королем под именем Карл XIII, и из-за этого Швеция оказалась перед сложной проблемой. Дело в том, что новому королю пошел шестьдесят второй год, а его брак с Хедвиги Элизабет Шарлоттой Гольштейн-Готторпской не дал наследника, что при монархической форме правления очень важно (точнее, их сын, родившийся в 1798 году скончался сразу же после рождения). По шведским законам дело было поправимое: риксдаг мог избрать престолонаследника, которого король должен был усыновить. Сам Карл XIII был склонен сделать своим наследником юного сына свергнутого короля — принца Густава, которому в 1809 году исполнилось десять лет, но творцы революции 1809 года, в чьих руках фактически была власть в стране, этому резко воспротивились. Один из них, влиятельный Георг Адлерспарре мечтал о присоединении к Швеции Норвегии, принадлежавшей с XIV века датской короне, но на которую уже давно зарились шведские короли. По его предложению риксдаг избрал в шведские престолонаследники, наследные принцы, командующего воевавшей против шведов норвежской армией герцога Кристиана Августа Августенбургского, представителя младшей ветви Гольштейн-Готторпского дома и родственника короля Дании Фредерика VI. Шведы надеялись, что в качестве «приданого» герцог принесет Норвегию, где он был очень популярен. Однако личной популярности Кристиана Августа оказалось недостаточно. Когда в январе 1810 года новый наследный принц, сменивший свое первое имя с датского «Кристиан» на шведское «Карл», прибыл в Стокгольм, то, к разочарованию шведов, ничего в Норвегии не произошло.[4] Вряд ли норвежцев могла соблазнить мысль о присоединении к Швеции, которая только что проиграла войну и потеряла Финляндию. Но, тем не менее, казалось, что внутренний кризис в Швеции преодолен.

И тут, через несколько месяцев, произошло событие, которое снова приковало внимание всех к Швеции. В конце мая 1810 года, находясь на маневрах, наследный принц Карл Август, которому едва перевалило за сорок лет, внезапно скончался от удара. Страна оказалась снова перед проблемой выбора наследника. На заседании Государственного совета Адлерспарре предложил кандидатуру старшего брата покойного, герцога Фридриха Христиана Августенбургского. С ним согласились, но предварительно решили посоветоваться с императором Наполеоном, который, правда, подумывал об объединении всех скандинавских государств в новую унию под эгидой датского короля Фредерика VI, своего верного союзника, однако, узнав, что шведы не хотят и слышать о Фредерике, он предоставил все на их усмотрение. В самой Швеции появилась кандидатура герцога Петра Ольденбургского, но из-за его близости с российским императорским домом у него не было шансов, как и у датского короля, который мечтал о воссоздании скандинавской унии. Тут-то совершенно неожиданно, как казалось, и появилась кандидатура Бернадота.

Несмотря на то что написано немало исторических работ, посвященных избранию Бернадота шведским престолонаследником, многое продолжает оставаться неясным. Известна внешняя сторона этого события.[5] Молодой шведский офицер Карл Отто Мёрнер, узнав о кончине Карла Августа, по собственной инициативе и при помощи родственных связей добился того, что его отправили в Париж с дубликатом письма Карла XIII Наполеону. Приехав во французскую столицу и передав послание, он счел свое поручение выполненным и отправился к своему давнему приятелю французу картографу Пьеру Лапи, которому изложил свой план: избрать шведским престолонаследником какого-либо французского полководца. Приятели, перебрав всех маршалов и генералов, остановили свой выбор на Бернадоте, князе Понтекорво, после чего Мёрнер добился аудиенции у Бернадота и сделал изумившее маршала предложение. До сих пор неизвестно, сделал ли все это Мёрнер по собственной инициативе или за ним стояли более влиятельные силы в Швеции. Сделав свое предложение Бернадоту, Мёрнер вернулся в Швецию, где за свой поступок был посажен под домашний арест.

Тем временем в шведском городе Эребру собрался сословный риксдаг специально для обсуждения кандидатур и избрания престолонаследника. Фаворитом сначала был герцог Фридрих Христиан Августенбургский. За него были и король, и Государственный совет, и назначенный риксдагом для подготовки вопроса специальный Секретный комитет. На его заседании 8 августа Фридрих получил одиннадцать голосов из двенадцати. Лишь вечный резонер генерал граф Фабиан Вреде проголосовал за принца Петра Ольденбургского. Однако 10 августа в небольшой деревушке около Эребру объявился французский купец и дипломат Ж.А.Фурнье, когда-то бывший вице-консулом Франции в Гётеборге. Он представил шведскому министру иностранных дел свои рекомендательные письма, паспорт, подписанный министром иностранных дел Франции Шампаньи, что свидетельствовало об официальном характере его миссии (частные паспорта подписывал министр внутренних дел), а также табакерку с портретом супруги Бернадота и его сына Оскара. Он заявил, что император Франции негласно поддерживает кандидатуру своего маршала, хотя не может заявить об этом открыто. Фурнье пе-

Карл XIV Юхан в качестве наполеоновского маршала Жана-Батиста Бернадота. Гравюра на меди. П.М.Аликс. *1810 г.*

редал обещания Бернадота оказать Швеции значительную финансовую помощь, а также обеспечить другие выгоды. Это заявление произвело на риксдаге сенсацию. Настроения в Секретном комитете совершенно поменялись, в пользу кандидатуры Бернадота стал активно агитировать министр иностранных дел Ларе фон Энгестрём. Не без труда, правда, удалось убедить и короля, которому не

Портрет Карла XIV Юхана. Ф.Вестин.

хотелось видеть своим преемником сына стряпчего и бывшего генерала французской революции. В конце концов, в итоге решающего голосования 21 августа маршал Франции Жан-Батист Бернадот, князь Понтекорво был избран всеми сословиями наследником трона Швеции.

Какова же была позиция российского императора? В начале июля, после того как в Санкт-Петербург пришли известия о смерти Карла Августа и стала вырисовываться расстановка сил внутри Швеции, российскому послу в Стокгольме генералу П.К.Сухтелену были отправлены четкие указания: «Его Величество ожидает, что Вы продолжите в соответствии с Вашими инструкциями следовать предписанному Вами образу действий, не принимая никакого участия в делах, касающихся внутренней жизни Швеции, и что во время заседаний риксдага, которые должны открыться, Вы будете особенно внимательны, дабы не было ничего похожего на стремление повлиять на него каким-либо образом».[6]

Сухтелен должен был лишь внимательно наблюдать за развитием событий, посылая в С.-Петербург обстоятельную информацию. В конце июля Румянцев снова повторил в своей депеше эти инструкции: «Его Величество будет доволен Вами, генерал, если Вы будете обрисовывать картину постепенно и с точностью, но он повелел мне напомнить Вам, что интересы его дела требуют, чтобы он был осведомлен и ознакомлен со всем, однако же без малейшего прямого или косвенного участия Вашего Превосходительства в том, что должно произойти»[7] Донесения Сухтелена из Стокгольма обстоятельно излагали развитие событий, но какого-либо прогноза об итогах выборной кампании в них нельзя обнаружить. Тем интереснее было тайное донесение чиновника надворного суда в Або (Турку) Юхана Петтера Винтера, по поручению российского генерал-губернатора Финляндии Ф.Ф.Штейнгеля собиравшего сведения о происходящем в Швеции. Так, 23 июня по старому стилю (5 июля) он сообщал: «Все в Стокгольме заявляют о своей принадлежности к профранцузской партии и считают почти уже решенным делом, что Бернадот будет престолонаследником».[8]

Не менее важными были для Александра I сведения, поступавшие из Парижа. Ему было известно, что Ж.-Б.Бернадот поддерживал дружеские отношения с полковником Александром Ивановичем Чернышевым, личным представителем Александра I при Наполеоне. Ныне широко известно, что Чернышев «по совместительству» был организатором российской разведки во Франции. О Бернадоте он сообщал в Петербург канцлеру Н.П.Румянцеву: «Мне всегда казалось, что он чрезвычайно хорошо расположен к России, постоянно отзывается о ней очень похвально». В том же донесении Чернышев воспроизвел весьма интересное заявление маршала, сделанное им в приватной беседе сразу же после того, как в Париже было получено известие о смерти принца Карла Августа: «Я буду говорить с Вами не как французский генерал, а как друг России и Ваш друг. Ваше правительство должно всеми возможными средствами постараться воспользоваться этими обстоятельствами, чтобы возвести на шведский престол того, на кого оно могло бы рассчитывать. Такая политика правительства тем более для него необходима и важна, что, если предположить, что России придется вести войну либо с Францией, либо с Австрией, она могла бы быть уверенной в Швеции и совершенно не опасаться, что та предпримет диверсию в пользу державы, с которой России придется сражаться. Она извлечет неизмеримую выгоду от того, что сможет сосредоточить все свои силы в одном месте».[9]

Российский император, сам ничего не предпринимая, внимательно следил за происходящим в Швеции и во Франции. Он знал об оппозиционных Наполеону настроениях Бернадота и предпочел не вмешиваться. И это на фоне чрезвычайной обеспокоенности высшего света Санкт-Петербурга, который был уверен, что за спиной Бернадота стоит Наполеон. Эту странность заметил посол в России маркиз Арман де Коленкур. Избрание Бернадота еще более взбудоражило общественное мнение российской столицы, а Александр продолжал вести себя так, будто ничего существенного не произошло, заявив французскому послу, что желает Швеции счастья и мира. Сбитый с толку Коленкур писал в Париж: «Представляется, что российское правительство знало заранее через Париж, что князь Понтекорво претендует на шведскую корону и что он надеется на свое избрание, в то время, как Стединг (шведский посол в Санкт-Петербурге. — *В.Р.*) и Стокгольмский двор на это мало рассчитывали».[10] Полное спокойствие российского императора отражала инструкция генерал-губернатору Финляндии Ф.Ф.Штейнгелю от 26 сентября (8 октября) 1810 года: «Настоящее положение в Швеции с политической точки зрения не дает поводу к какому-либо чрезвычайному беспокойству...»[11]

Сам Карл Юхан понимал прекрасно, какую роль сыграл в его избрании российский император. В одном из своих первых писем Александру I он написал: «...Ваше Величество особенно ярко доказали мне свое уважение тем, что ни в чем не помешали моему избранию в Швеции».[12]

Дальновидный расчет Александра I в отношении Бернадота оправдался. Новый шведский наследный принц прибыл в Швецию в конце

октября 1810 года, по дороге сменив католическое вероисповедание на лютеранство. 2 ноября состоялся его торжественный въезд в Стокгольм, где с 3 по 5 ноября проходили различные праздничные мероприятия, связанные с приездом нового кронпринца и процедурой его усыновления королем Карлом XIII. Фактически он стал главой государства, так как Карл XIII был тяжело болен и не мог уже управлять королевством. Естественно, происходящие в Швеции перемены были в центре самого пристального внимания Санкт-Петербурга.

21 октября (2 ноября) 1810 года канцлер Н.П.Румянцев по поручению императора Александра направил предписание П.К.Сухтелену, чтобы тот от его имени засвидетельствовал принцу, что «своим военным искусством и личными достоинствами он уже давно снискал уважение Его Величества». «Это соображение, — писал далее российский министр иностранных дел, — равно как и географическое положение обоих государств и искренний интерес, проявляемый Его Величеством к Королевству Шведскому, внушают ему желание жить в полном согласии с королем и принцем, которого тот избрал своим наследником».[13]

Впервые Сухтелен был представлен шведскому наследному принцу 6 ноября 1810 года. Встреча была краткой и носила протокольный характер, но в своем донесении о ней Сухтелен сообщил следующее. Когда он спросил Карла Юхана, встречался ли тот с императором Александром в Тильзите, то принц ответил: «Я не имел такого счастья, поскольку, когда Его императорское величество находился там, я был на излечении от ранения. Но я знаю, что император соизволил осведомиться о состоянии моего здоровья, и я всегда вспоминал с глубокой признательностью об этом участии, высказанном Его величеством по отношению ко мне».[14]

23 ноября 1810 года российскому дипломату была предоставлена личная аудиенция шведского наследного принца, и между ними состоялась продолжительная беседа. После заверений Сухтелена, что Александр I «стремится все больше укреплять мир и доброе согласие между Россией и Швецией», Карл Юхан заявил, что и он хочет прочного мира между обоими государствами, что он отнюдь не является ставленником Наполеона. Он подчеркнул: «Я верю, что счастье Швеции неотделимо от мира с Россией». Далее в беседе речь зашла о результатах последней, русско-шведской войны, об утрате Швецией Финляндии, которая, как сказал Сухтелен, «еще сто лет назад стала необходимой для России... и всегда была яблоком раздора между двумя государствами». Теперь эта причина устранена, и России больше нечего желать от Швеции. Карл Юхан с этим согласился, добавив, что «по своему географическому положению Финляндия должна принадлежать России».[15] 28 ноября 1810 года Карл Юхан отправил Александру I краткое письмо, выдержанное в самых общих выражениях, с благодарностью за переданные через Сухтелена поздравления.[16]

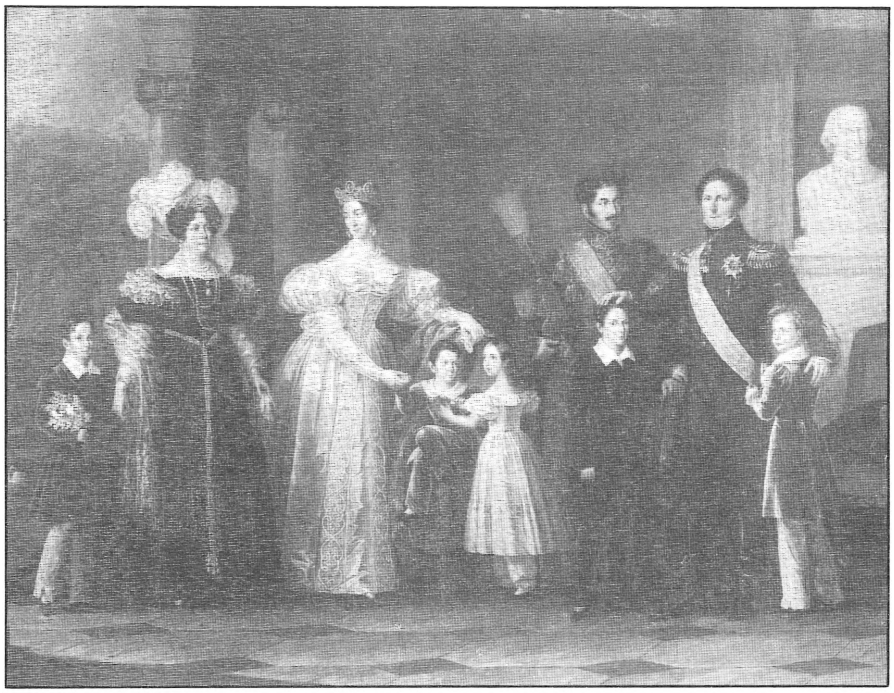
Еще больше Карл Юхан заверял в своем стремлении укреплять дружеские отношения с Россией и ее императором в беседах с А.И.Чернышевым, который в начале декабря был отправлен курьером с письмом российского императора Наполеону из Санкт-Петербурга в Париж через Стокгольм. Но на деле полковнику было дано поручение встретиться со своим давним знакомым и выяснить его настроение. В инструкции Румянцева подчеркивалось, что «после Фридрихсгамского мира в отношениях между двумя странами все переменилось; было покончено с длительной враждой, нередко разделявшей их; оба государства заинтересованы во взаимной дружбе, и Россия особенно должна желать, чтобы никакая внутренняя распря не помешала процветанию Швеции».[17] Чернышев прибыл в Стокгольм 14 декабря. Здесь у него состоялось несколько продолжительных дружеских бесед с Карлом Юханом, который не намекнул на желательность присоединения Норвегии к Швеции в качестве компенсации за Финляндию.[18]

Для того чтобы закрепить благоприятные отношения с новым шведским наследным принцем, Александр I сделал шаг, который не совсем вписывался в протокольные рамки тогдашней дипломатии. Он ответил на письмо Карла Юхана весьма лестным для того посланием. Интересно, что Наполеон, к которому его бывший маршал неоднократно обращался по различным поводам после своего приезда в Швецию, не только не ответил на его письма, но довольно резко повелел по обычным дипломатическим каналам, через французского посланника Шарля Алькье, сообщить Карлу Юхану, что император французов переписывается лишь с коронованными главами государств.[19]

Письмо российского императора, датированное 19 (31) декабря 1810 года, представляет собой весьма примечательный документ. Оно состояло из двух частей: первой — официальной, и второй — личной. В первой части письма Александр I благодарил Карла Юхана за его письмо и «сердечный прием» Чернышева. Он заверял, что желает и дальше крепить союз между Швецией и Россией, что «благоденствие и счастье Швеции более всего отвечают моим политическим интересам», что Карл Юхан всегда найдет в его лице «верного союзника». Неофициальная часть, предназначенная Карлу Юхану «лично», начиналась так: «Теперь, когда я исполнил свой долг по отношению к наследному принцу, да будет мне позволено обратиться к человеку, обладающему выдающимися талантами, характером и принципами. Я искренне желаю Вашей дружбы, Вашего доверия и даже домогаюсь их, ибо мое уважение к Вам возникло давно, когда Вы были еще простым генералом». Напоминая, что его воспитывал республиканец, имея в виду своего наставника Ф.Ц.Лагарпа, Александр I подчеркивал: «...я с юных лет научился ценить более человека, а не титулы, поэтому мне будет более лестно, если отношения, которые установятся между нами, будут носить характер отношений человека с человеком, а не монархов», и повторял свои заверения: «Рассчитывайте на меня всегда и во всем и ни в коем случае не давайте запугать себя сомнениями в отношении России, которые попытаются вселить в Вас. В ее интересах видеть благоденствие Швеции».[20]

Карл Юхан оценил поданные ему российским императором знаки: в ответ он послал два письма, датированных 12 января. Первое было как бы ответом на первую часть письма Александра, а второе — на вторую его часть, личную. В первом письме он подчеркивал, что разделяет выраженное Александром «пожелание еще более укреплять союз между Россией и Швецией», и заверял, что приложит все силы для достижения благополучия Швеции и мира для нее, гарантию чего он видел в мирном и благосклонном расположении» Александра. Второе письмо носило личный характер. Карл Юхан мимоходом напоминал Александру его лестные слова в свой адрес, сказанные еще в Тильзите, в 1807 году, а также с благодарностью подчеркивал, что император не помешал его избранию в Швеции, называя это поведение бескорыстным «в обстоятельствах, когда европейская политика могла бы оправдать и противополож-

ные действия». Он высоко оценивал свои беседы с Чернышевым, предлагая теперь свою дружбу в ответ на заверения Александра. «Отныне я особенно полагаюсь на Вашу дружбу, а Вы можете неизменно рассчитывать на мою. Между Россией и Швецией существовали длительные и кровавые распри, и возможно, были причины разрешать взаимные притязания силой оружия. Отныне их



Семейный портрет Бернадотов. *Ф.Вестин.*

нет, и мир должен стать общей целью обеих наций».[21]

Таким образом, уже в первые месяцы пребывания Карла Юхана в Швеции между ним и императором Александром завязались особые отношения, началась конфиденциальная переписка. Однако на протяжении почти всего 1811 года отношения поддерживались в основном через российских представителей в Стокгольме П.К.Сухтелена, К.Д.Сиверса, П.А.Николаи, шведского посла в Санкт-Петербурге К. фон Стединга и поверенного в делах Балтазара Шенбума, причем эти отношения Карл Юхан старался не афишировать в Швеции. Здесь были еще очень сильны антирусские, реваншистские настроения, и Карл Юхан часто отправлял с конфиденциальными поручениями в российскую миссию своего адъютанта полковника Г.Юлленшёльда. Европа жила в ожидании нового конфликта между Наполеоном и Александром, и Карл Юхан занимал осторожную позицию, стараясь ни с кем не ссориться. Он дал четко понять российской стороне, что не будет стремиться к возвращению Финляндии, а в качестве компенсации хотел бы получить Норвегию, принадлежавшую с XIV века датской короне. Это встретило благожелательный отклик в Санкт-Петербурге. Осенью 1811 года между Александром и Карлом Юханом возобновилась переписка, причем российский император сделал новый шаг с целью расположить к себе шведского наследного принца. Когда он узнал, что Карл Юхан попросил уехавшего в Россию Сухтелена приобрести здесь для него шубу, то император тут же поспешил подарить русские меха теплолюбивому южанину. В Архиве внешней политики России сохранились сопроводительные документы к подарку: «В сем ящике уложено: шуба медвежья, покрытая синим бархатом; мех лисий черный завойчетой, и мех соболий якутский пластинчатой».[22]

Тем временем положение в Европе обострялось, причем назревал конфликт не только между Россией и Францией. На протяжении 1811 года ухудшались отношения Франции со Швецией: шведы всячески саботировали выполнение навязанной им Наполеоном Континентальной системы, продолжали поддерживать торговлю с Великобританией несмотря на то, что в конце 1810 года после французского ультиматума Швеция объявила Великобритании войну, впрочем так и не начавшуюся. Шведские владения на Балтийском побережье Северной Германии в Померании стали брешью в Континентальной блокаде. На протяжении 1810 и 1811 годов шведы испытывали терпение Наполеона. В январе 1812 года император приказал маршалу Даву оккупировать Шведскую Померанию. Это было первым раскатом грома надвигающейся бури, Карл Юхан поспешил воспользоваться тем, что шведское общественное мнение было шокировано и Наполеон потерял прежние симпатии шведов. Был открыт путь русско-шведскому союзу, тайный договор о чем был подписан в Санкт-Петербурге 24 марта (5 апреля) 1812 года. Продолжилась интенсивная переписка между Александром и Карлом Юханом, которая продолжалась вплоть до 1815 года. Россия соглашалась на присоединение Норвегии к Швеции, союзники договорились организовать совместную диверсию в тылах наполеоновских армий, осуществить которую не удалось в силу целого ряда причин: нехватка средств, отказ Великобритании их предоставить. Уже после вторжения Наполеона в Россию и начала Отечественной войны, когда наполеоновские армии двигались на Москву, Александр I впервые встретился с Карлом Юханом в Або (Финляндия). Союз между Россией и Швецией был упрочен, прежние договоренности были подтверждены. Россия предоставила Швеции заем в полтора миллиона рублей, а отдельной и секретной статьей русско-шведскому союзу было придано значение фамильного пакта, то есть союза между династиями.

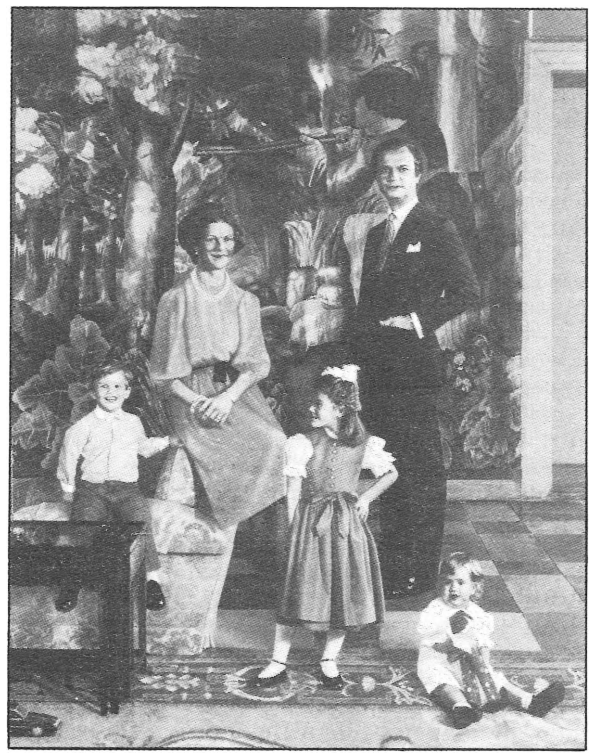
Это условие имело очень большое значение для Александра I. Он пошел на установление дружеских связей с новым шведским наследным принцем вопреки своим родственным связям — с Гольштейн-Готторпской династией и свергнутым королем Густавом IV Адольфом. Ведь сам Александр был внуком Петра III, Карла Петера Ульриха, герцога Гольштейн-Готторпского. В Швеции с 1751 года королем был Адольф Фредрик, дед Густава IV Адольфа, представитель Гольштейн-Готторпского дома, который к тому же был родным братом Иоанны Елизаветы — матери Екатерины II, то есть дядей российской императрицы. Таким образом, отец свергнутого короля Густав III был двоюродным братом Екатерины II и, следовательно, двоюродным дедом Александра. К тому

же сам Густав IV Адольф был женат на Фредерике Доротее Вильгельмине Баденской, сестре супруги императора Александра — российской императрицы Елизаветы Алексеевны (Луизы Августы Баденской).

Одним из условий конвенции, заключенной в Або, было подтверждение планов совместного десанта в Северной Германии, но уже после того, как соглашение было подписано, в Або пришло сообщение о падении Смоленска, и тогда Александр I и Карл Юхан устно договорились перебросить подготавливаемый в Финляндии русский корпус под Ригу, где также складывалось сложное положение. Предполагалось, что, после того как наступление наполеоновских войск будет остановлено, войска будут возвращены. Однако, как известно, переломить обстановку в ходе войны удалось не сразу, и после падения Москвы Карлу Юхану стало ясно, что в 1812 году русские войска не смогут прибыть в Швецию, и подготовка к экспедиции в Северную Германию была приостановлена. Во время всей кампании 1812 года Карл Юхан, внимательно следивший за ходом военных действий, в своих письмах поддерживал Александра I морально и постоянно высказывал уверенность в окончательной победе России. Так, в письме от 13 сентября он писал: «Государь, события развиваются столь стремительно, что за ними пристально следит вся встревоженная Европа. Трусы в отчаянии, но смелые люди, и таких много, все больше убеждаются, что именно Ваша империя создаст основу политического равновесия сил или по меньшей мере систему противоборства, которая кладет предел господству державы, стремящейся уничтожить Россию. Ваше Величество располагаете огромными ресурсами, обученными и закаленными армиями, которые Вы можете использовать в этой кампании. Вы боретесь за правое дело, Вы убеждены, что сейчас речь идет не только о судьбе Вашей империи, но и о Вашей личной чести, безопасности и славе, которые навсегда останутся в памяти всех. В этом, государь, залог спокойствия за будущее, и в глубине души Вы всегда найдете внутреннее удовлетворение — высшую награду справедливых государей».[23] Узнав о взятии Наполеоном Москвы, в письме Александру I от 6 октября 1812 года Карл Юхан высказал свое огорчение, но все же прозорливо предрек исход войны: «Император Наполеон достиг своей цели, он поразил Европу и верит, что этим захватом испугает Ваше императорское величество и вынудит Вас подписать условия, которые он продиктует. Но если армия его противника станет сильнее его собственной, то взятие Москвы принесет ему, я считаю, мимолетную славу, которая померкнет уже на следующий день».[24] В письме от 10 октября шведский наследный принц заверял в своей уверенности в окончательной победе России.[25]

Несмотря на то что Швеция в 1812 году в войну не вступила, а сделано это было по обоюдной договоренности Александра I и Карла Юхана, ее позиция невоюющего союзника оказала России неоценимую поддержку. Не случайно уже на острове Святой Елены Наполеон высказывался, что если бы знал, что Швеция не нападет на Россию, как он рассчитывал, то не начал бы кампанию 1812 года. Зимой-весной 1813 года, когда ситуация в войне совершенно изменилась, между Александром I и Карлом Юханом возникли трения, вызванные прежде всего разногласиями в стратегических вопросах. Российский император считал, что нужно сосредоточить все силы для борьбы с Наполеоном, а шведский наследный принц настаивал на первоочередном присоединении Норвегии, что автоматически ставило невоевавшую Данию на сторону Наполеона. Попытка Александра I отложить решение норвежского вопроса и привлечь датского короля Фредерика VI на сторону коалиции не удалась.

Шведы появились на театре военных действий только весной 1813 года, а в июле 1813 года на совещании руководителей антинаполеоновской коалиции в замке Трахенберг (Тшебница, Чехия), где второй раз встретились Александр I и Карл Юхан, в распоряжение шведского наследного принца была предоставлена 150-тысячная Северная армия союзников. Здесь же Карлом Юханом был разработан план предстоящей кампании. Все прежние разногласия были улажены. Швеция получила новые заверения в том, что Норвегия перейдет к ней. В августе начались военные действия, и разработанная Карлом Юханом стратегия принесла свои плоды. Уже 23 августа Северная армия под командованием Карла Юхана нанесла под Гросс-Бееренем поражение 70-тысячной группировке маршала Удино, пытавшейся прорваться к Берлину, а 6 сентября он одержал новую победу над наполеоновскими войсками



Карл XVI Густав с семьей. *Й-Э.Франзен.*

под Денневицем, где отличился и русский корпус под командованием М.С.Воронцова. За эту победу Александр I удостоил Карла Юхана высшей российской воинской награды — ордена Святого Георгия Победоносца I степени.[26]

Вновь Александр I и Карл Юхан встретились 19 октября в пылающем Лейпциге, где в «битве народов» союзники нанесли Наполеону решающее поражение. Теперь речь зашла об окончании войны. Прежде чем направиться к Франции, Карл Юхан повернул на север, где нанес поражение датчанам, последним союзникам Наполеона, и заставил их подписать 14 января 1814 года в северогерманском городе Киль мирный договор, по которому Норвегия перешла к Швеции. 15 января Карл Юхан отправил Александру I восторженное письмо, в котором просил российского императора принять выс-

шую шведскую военную награду — орден Меча. Он писал: «Норвегия присоединена к Швеции. Скандинавский полуостров обязан Вашему Императорскому Величеству своей безопасностью и независимостью. Великое событие произошло на равнинах Лейпцига, под стенами этого города, где собрались народы Европы, и Ваше Величество были Агамемноном достопамятной битвы».[27] На некоторых портретах Александра I мы можем видеть знак этого ордена — маленький серебряный меч.

В первые месяцы 1814 года, когда после вторжения во Францию встал вопрос о том, кто сменит Наполеона, всплыла кандидатура шведского наследного принца. Несколько раз о ней вскользь говорил и сам Александр I. Есть косвенные свидетельства, что вопрос о возможности того, что Карл Юхан в случае гибели или свержения Наполеона сможет встать у руля французского государства, обсуждался между ним и российским императором еще в Або в конце августа 1812 года. Не исключено, что этот вопрос затрагивался и на встрече в Лейпциге в октябре 1813 года. Однако во всей обильной переписке двух государственных деятелей не удалось найти никаких прямых свидетельств даже обсуждения такой возможности. Как бы там ни было, Наполеон потерпел поражение и во Франции была восстановлена власть Бурбонов — на французском троне оказался король Людовик XVIII. Карл Юхан поспешил в Париж, но не для того, чтобы претендовать на власть во Франции, а чтобы побудить союзников помочь ему осуществить постановления Кильского мирного договора о присоединении Норвегии, поскольку строптивые норвежцы отказались признать власть шведского короля и провозгласили независимость. Александр I содействовал этому, но когда летом 1814 года шведский наследный принц стал зондировать возможность раздела Дании, стремясь заполучить Зеландию, то натолкнулся на твердый отказ России.

Во время Венского конгресса некоторые ультралегитимистские круги в Европе стали поговаривать о том, что было бы справедливо восстановить на престоле легитимного короля Швеции Густава IV Адольфа, который не потерял надежды вернуть власть, или его сына принца Густава Вазу, который жил в Австрии. Однако здесь император Александр, несмотря на все свои теплые чувства к племяннику своей супруги, остался непреклонен. 30 декабря 1814 года он писал Карлу Юхану из Вены:

«Вам известна моя искренняя и живая привязанность к Вам, которая не подвержена времени и событиям, и я прошу Ваше королевское высочество верить, что Вы всегда найдете во мне друга и верного союзника. Наша политика, наши интересы, наши чувства — все призывает нас оставаться в самом тесном союзе, и Ваше королевское высочество увидите, что именно этой линии я неизменно буду следовать».[28]

После 1815 года отношения между Россией и Швецией, между Александром I и Карлом Юханом, который после кончины в 1818 году своего приемного отца Карла XIII вступил на трон Швеции и Норвегии, оставались ровными и дружественными, хотя порой и возникали разногласия. Русско-шведские войны во многом благодаря этим двум государственным деятелям стали достоянием истории, и между нашими странами наладилось добрососедство, которое, несмотря на возникавшие порой сложности, сохраняется и поныне.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1]В 1985 г. у нас и в Швеции был выпущен подготовленный российскими и шведскими историками и архивистами сборник документов об отношениях между двумя нашими государствами в 1809—1818 гг. (Россия и Швеция: Документы и материалы 1809—1818 // Сост. В.В.Дубин, В.В.Рогинский, Севед Юнсон. М.: Междунар. отношения, 1985. В Швеции документы были изданы на языке оригинала, как правило, на французском: La Suède et la Russie. Documents et matériaux 1809—1818. Upsal; Stockholm. Almqvist & Wiksell International, 1985). Вместе с соответствующими томами отечественной публикации документов Российского МИД, изданными в конце 1960—1970-х гг. (Внешняя политика России в XIX — начале XX века. Серия первая. Т.V—VIII. М., 1968—1972), это представляет собой серьезную документальную основу для изучения российско-шведских взаимоотношений в тот период.

[2]Подробнее об этом см.: *Рогинский В.В.* Швеция и Россия: союз 1812 года. М.: Наука, 1978; Tommila, Päiviö. La Finlande dans la politique européenne en 1809—1815. Helsinki, 1962.

[3]Имеется несколько вполне добротных биографий Жана Батиста-Бернадота. Наиболее обстоятельными являются трехтомный труд шведского историка Турвальда Хейера (Höjer Torvald T: son. Carl XIV Johan. D. I—3. Stockholm, 1939—1960. Перевод на французский язык: Höjer, Torvald T:son. Bernadotte. Maréchal de France. Roi de Suède. T. I—II. Paris:Plon, 1971) и француза Жиро Делена (Girod de l'Ain, Gabriel. Bernadotte. Chef de guerre et Chef d'État. Paris, Librairie Académique Perrin, 1968). Биография Бернадота, выпущенная британским историком сэром Данбером Планкетом Бартоном в 1920-х гг., несколько раз переиздававшаяся и переведенная на ряд других языков и часто до сих пор используемая историками, устарела и иногда содержит недостоверные сведения (Barton, Dunbar Plunkett. Bernadotte. Prince and King. 1810—1844. London, 1925; Idem. The Amazing Career of Bernadotte 1763—1844; 2.ed. Boston; New York, 1930, Idem. Bernadotte, französischer Grenadier und König von Schweden, 1763—1844. Leipzich, 1936). На русском языке биографии Бернадота Карла Юхана пока нет. Небольшие очерки о жизни этого государственного деятеля и полководца, появившиеся в последнее время в ряде изданий, содержат иногда недостоверные сведения.

[4]*Sjövall, Birger.* Georg Adlersparre och tronfrågan, 1809. Lund: Gleerupska univ.-bokhandeln, 1917.

[5]Подробнее см.: Weibull, Jörgen. Carl Johan och Norge 1810—1814. Unionsplanerna och deras förvekligande. Lund; Oslo: Gleerups-Universitetsforlaget, 1957; Tommila P. Op. cit.

[6]Россия и Швеция. Док. 7.

[7]Архив внешней политики Российской империи (Москва) (АВПРИ). Ф. Канцелярия. Оп. 468. Д. 10811. Л. 76.

[8]Российский государственный военно-исторический архив (Москва) (РГВИА). Ф. 474. Оп. 1. Д. 142. Л. 189—191.

[9]Чернышев—Румянцеву. 13 (25 июля) 1810 г. // Сборник Императорского Российского исторического общества (СИРИО). Т. 121. СПб., 1906. С. 77—78.

[10]*Николай Михайлович.* Россия и Франция. Т. V. С. 127.

[11]Сборник исторических материалов, извлеченных из архива собственной Его Императорского Величества канцелярии // Под ред. Н.Дубровина. Т. III. СПб., 1890. С. 298—302.

[12]Карл Юхан Александру I 12 января 1811 г. // Россия и Швеция. Док. 21.

[13]Румянцев—Сухтелену. 21 октября (2 ноября) 1810 г. // Там же. Док. 13.

[14]Сухтелен — Румянцеву. № 205/312. 25 октября (6 ноября) 1810 г. // АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 468. Д. 10813. Л. 276—277. Подлинник. Фр. яз.

[15]Россия и Швеция. Док. 14. Эту мысль Карл Юхан повторял затем неоднократно.

[16]Россия и Швеция. Док. 15.

[17]Там же. Док. 16.

[18]Чернышев—Александру I. 7 (19 декабря) 1810 г. // СИРИО. Т.21. С.22—48.

[19]Министр иностранных дел Франции Шампаньи — Алькье. 22 декабря 1810 г. // Correspondance de Napoléon. T. XXI. N 17229. P. 328—329.

[20]Россия и Швеция. Док. 20.

[21]Там же. Док. 21.

[22]АВПРИ. Ф. Канцелярия. Оп. 468. Д. 10820. Л. 17.

[23]Россия и Швеция. Док. 91.

[24]Там же. Док. 100.

[25]Там же. Док. 102.

[26]Там же. Док. 189.

[27]Там же. Док. 233.

[28]Там же. Док. 263.

# Новгородцы и шведы в начале XVII века

## *Разыскания в Государственном архиве (Стокгольм)*

Адриан СЕЛИН

В Смутные эпохи, когда взаимоотношения государства и личности так сложны и неоднозначны, порой трудно разобраться, какую власть народ считает «истинной и правой». В этих обстоятельствах вопрос о том, как следует относиться к изменам и сотрудничеству с врагами, становится крайне запутанным. Этот вопрос характерен и для русской культуры, в которой идея служения государю, заимствованная от татар и Византии, тесно переплелась с понятием о «праве отъезда», связанным скорее всего с литовским и польским феодальным правом и шире с восточноевропейской государственно-правовой этикой средневековья.

История России знает, пожалуй, три периода, когда население становилось перед выбором — оставаться верным национальному, легитимному правительству или строить новые отношения с оккупантами. Впервые такая ситуация возникла в годы Смутного времени, затем летом — поздней осенью 1812 года,[1] а в последний раз — в 1941—1944 годах В данной статье речь пойдет о самом раннем из этих периодов.

В 1611—1617 годах большая часть Новгородской земли была занята армией 27-летнего (в 1611-м) шведского генерала французского происхождения Якова Делагарди. По соглашению с новгородцами, заключенному после взятия Новгорода войсками Делагарди летом 1611 года, в Новгороде была образована временная администрация. Высшая власть принадлежала «*боярам и воеводам Якову Пунтусовичу Делагарду и князю Ивану Никитичу Большому Одоевскому*». Первоначально часть, а затем и вся документация временной администрации велась на русском языке и в московских традициях, укоренившихся в Новгороде за время более чем столетнего московского владычества. При этом порядок обеспечивали шведские военные отряды, стоявшие в крупнейших населенных пунктах. Поначалу такой режим воспринимался позитивно: в 1608—1610 годах Новгородская земля пострадала от событий гражданской войны и Смуты. Простой новгородец в эти годы не мог разобраться, который царь истинный: тот, что сидит в Москве — Василий Шуйский, или тот, что сидит в Тушине — «царь и великий князь Дмитрий Иванович», а может быть, другой, сидящий во Пскове «царь Дмитрий Иванович» или же «царь и великий князь Владислав Жигимонтович», в июле 1610 года призванный несколькими боярами в Москву.

Многие связывали установление порядка с приходом шведских войск. Это способствовало широкому сотрудничеству новгородцев (приказной бюрократии, военных — дворян и детей боярских, то есть помещиков, Церкви, части государственных крестьян) с администрацией Делагарди и Одоевского. Немалую роль сыграли и личные качества Якова Делагарди — умелого военачальника и сравнительно мягкого правителя. Избранный же на Москве в феврале 1613 года царь Михаил Романов казался еще одним самозванцем, «казачьим» царем (и не случайно: первоначально его власть ограничивалась сравнительно небольшой территорией).

Однако примерно с 1614 года удача отвернулась от шведов и они все чаще стали применять силу для обеспечения армии. Вскоре и лояльного к новгородцам Делагарди сменил более жесткий Эверт Горн, а в нарушение обещания призвать на русский (как вариант, новгородский) престол шведского принца Карла Филиппа, его брат, король Густав II Адольф стал приводить новгородцев к присяге лично себе. На этом этапе начались массовые отъезды новгородцев в Псков и на Москву. Церковь также перестала поддерживать администрацию, стараясь всемерно облегчить участь новгородцев. При этом крестьянское население разорялось и ему было уже не под силу содержать шведский корпус.

Как известно, в 1617 году в деревне Столбово на реке Сясь был заключен мир, согласно которому шведы покидали Новгород и Ладогу (а через несколько лет и Гдов), удерживая за собой только Корелу (согласно Выборгскому договору, заключенному еще в 1609 году), Ивангород, Орешек (Нотебург), Ям и Копорье.

В течение 1611—1617 годов в Новгороде скопился обширный фонд документов, относящихся к различным сторонам повседневной жизни. По какой-то причине, связанной не с государственными, а с частными нуждами, уходя из Новгорода, шведы вывезли этот архив в Стокгольм. Ни российские, ни шведские ученые пока не дали внятного ответа на вопрос о том, что побудило шведов это сделать. Всего было вывезено около 30000 листов документов.

* * *

В конце XV века в результате реформ Ивана III в России сложилась система поместного войска, основанная на условном землевладении, когда основным жалованьем за службу была земля и доходы с нее. При этом владение землей было сопряжено с несением службы: дезертир или лицо, не явившееся на военный смотр, поместий лишались. Но если в начале XVI века правительство обладало достаточно обширным земельным фондом для наделения всех (или почти всех) воинов, то к концу столетия ситуация переменилась. Земли стало мало, армия была большой, а значительная часть территории лишилась работников в ходе политического и экономического кризиса 1570-х годов (связанного с введением опричнины).

С другой стороны, у помещика, делающего карьеру, оставался важнейший стимул: высокое качество службы, преданность и верность при следующем верстании (военном смотре) обеспечивали рост поместного оклада. Но чаще всего оклад (число четвертей земли, полагавшихся конкретному помещику, одна четверть равнялась 2 десятинам) был номинальным: он записывался против имени каждого дворянина и сына боярского, но на самом деле по-

местье было меньше. Для увеличения размеров поместья дворянин и сын боярский должен был самостоятельно найти вымороченное поместье и подать о нем челобитную, а уж потом Поместный приказ (или Поместная изба в Новгороде) решал вопрос о том, наделять его этим поместьем или нет. В годы Смуты, особенно при участившихся перебежках помещиков из одного лагеря в другой, стало возможным претендовать не только на вымороченное поместье, но и на «изменничье».

Такая система, конечно же, порождала недоверие и доносы, а также позволяла приписывать себе несуществующие земельные оклады. Все делопроизводство по новгородским поместьям хранилось в Новгороде. Но из Пскова — в Новгород к шведам, к примеру, — отъезжали псковские помещики и просили себе новых поместий. Причем такой помещик мог приехать и сказать, что его поместный оклад, скажем, 900 четвертей (для сравнения: поместье, полагавшееся вдове после смерти мужа, составляло, как правило, 100, а то и менее четвертей земли; более или менее сносно можно было прожить, начиная со 150—200 четвертей). Приглядев где-нибудь «изменничье» поместье, где жили, например, мать такого изменника и его жена с малолетними детьми, претендент подавал челобитную с просьбой «отписать» имение на себя, ссылаясь на то, что в Пскове он был верстан окладом в 900 четвертей. К псковской же документации в Новгороде, понятно, доступа не было, и можно было либо поверить челобитчику, либо не поверить (в упомянутом случае ему не поверили).

В русских документах, буквально с первого дня шведского военного присутствия, появляется именование самых низших должностных лиц Новгорода, включая подьячих, помещиков и так далее по отчеству, как говорили тогда: «с вичем». Москвич не мог и представить, чтобы кого-то, кроме, может быть, воеводы и боярина величали таким образом. Именование по отчеству только в начале XVIII века стало входить в повседневный обиход, но и тогда чрезвычайно сложно усваивалось даже в дворянской среде.

С другой стороны, мы наблюдаем новый процесс: среди помещиков появляются не только профессиональные военные (для обеспечения которых и была учреждена поместная система), но и подьячие — чиновники самого разного уровня. Вообще, по всей вероятности, 1611—1617 годы — это время достаточно привольной жизни для новгородского чиновничества, и объяснять одной лишь неразвитостью финансовой системы замену традиционных денежных окладов подьячих окладами поместными, пожалуй, неосмотрительно. Думается, что главная причина здесь та, что чиновники по социальному статусу были приравнены к помещикам, то есть военным.

* * *

Среди сообщений о положении самих шведов в Новгороде особый интерес вызывают сведения об их повседневной жизни. Нам удалось обнаружить некоторые примечательные свидетельства о самом генерале Делагарди. В 1612 году суд разбирал спор двух священников о том, кто из них в ходе суматохи, возникшей в Новгороде после взятия его шведами, присвоил казну одной из пригородных церквей (в селе Поозерье). В свидетельских показаниях одного из священников говорится о том, «*как Яков Пунтосович на поле гулять ездил и к нам в село заехал. А меня, попа Филипа, в те поры дома не <было>. И в церковь к Троицы на Паозерье отдал*» (имеется в виду, что Делагарди лично завез в церковь ценности, взятые его солдатами при штурме города. Другой источник того же 1612 года предписывает доставить в Новгород любимую собаку генерала: «*как был боярин и большой ратной воевода Яков Пунтосович Делегард в Коростынском погосте и отдал кобел свой Юрьева монастыря слушке Мурату, а ныне деи тот слушка в монастырьской вотчине на Ловоти, и вы б, господине, тот кобел взяд, ныне отдали Анцы Брякилева*[2] *прикащику Мокею, да о том ко мне б писали, что мне бы то ведать да то бояром сказати*». Возможно, кстати, что речь идет об одной и той же поездке Делагарди — путь в Коростынь идет как раз мимо Поозерья, а оба этих села в то время были дворцовыми пригородными угодьями (в Коростыни, к примеру, рос государев вишневый сад, в котором еще в 1616 году собирали вишни «*на обиход государя короля Густава Адолфа Карлусовича*».

Однако гораздо больше сведений сохранилось о контактах новгородских служилых людей и шведских офицеров, а также горожан и солдат.

Наибольший интерес представляют контакты шведов, «немцев», стоявших в сельских гарнизонах, с новгородскими дворянами и детьми боярскими, служившими в тех же острожках. По всей вероятности, здесь большую роль играли переводчики, но знание новгородскими детьми боярскими основ шведского языка, способность объясняться со шведами, нельзя недооценивать. Их общение было ежедневным и требовало точной передачи информации.

Лучше всего сохранился материал, относящийся к трем острожкам — Тесовский, Зарецкий и Ивинский, — располагавшимся на сухопутной и водной дорогах, соединявших Новгород с базами шведов в Ливонии. Кроме шведских воинских контингентов, сменявшихся каждые 20 дней, во всех трех острожках находились также специально назначенные русские дворяне, занимавшиеся обеспечением шведских войск кормами и фуражом; кроме того, для сбора кормов с окрестных, приписанных к острожкам погостов привлекались местные помещики. Именно назначенным в острожки дворянам приходилось непосредственно общаться не только со шведскими офицерами, но и с солдатами. Регулярное обеспечение шведских войск, казалось бы, вполне налаженное в 1611—1612 годы, начало давать сбои, что, как мы полагаем, и привело к краху политического альянса. Только после полного провала обеспечения, в котором принимала участие русская администрации, шведы стали широко прибегать к реквизициям. Но первые признаки кризиса обнаружились уже в 1612 году.

Далеко не все новгородские дворяне несли «государеву службу» добросовестно. Возможно, это было связано с характерным для всей Смуты явлением — формальные поместные и денежные оклады, когда-то отражавшие реальные карьерные успехи дворянина, постоянно росли, однако правительство не имело возможности эти свои обязательства выполнять. Высокие оклады тешили тщеславие дворян и особенно подьячих, чей статус, как мы уже говорили, при новой администрации существенно вырос. Так, один из видных и наиболее порядочных новгородских деятелей Григорий Никитич Муравьев отписывал в Новгород уже в начале 1612 года на своего подчиненного: «*...и посылал в село в Тесово к зборщику к Ондрею к Боркову с товарыщи дворян и детей Тимофея Вильяшова с товарыщи о немецких кормех, говорити, чтоб ко мне из села ис Тесова и с погостев корм присылали для немецких людей. И Ондрей Борков с товарыщи дворяном отказал, я де прислан из Новагорода, а не от Григория, и Григорьева указу не слушаю, и корму ни-*

*какова ко мне по 30 число* (декабря 1611 г. — *А.С.*) *не присылывал, и стоя в государеве в селе в Тесове пьет и бражничает, а корму ко мне не присылывает и старосту и крестьян держит у себя*». Сам Муравьев был поставлен в довольно сложные условия, так как именно ему приходилось общаться с солдатами: «*а немецкие люди корму просят у меня не отъезжая с великим шумом и мне говорят с кручиною и о том: корм велено давати и денгами, сказывают, что им за корм денгами не имывати для того, что взять де нам денги, да корму добыти негде и купити зде ни у кого, с торгом из Новагорода нету никого, а в Новгород нас рохмистры корму покупати не пустят, и нам де взять денег да помереть над денгами голодом...*» Почти то же самое писал в Новгород уже через 2 месяца сменивший Г.Н.Муравьева Ф.М.Муравьев: «*...велено мне быти на заставе в Тесове на Григорьево место Муравьева з дворяны и з детми боярскими и с неметцкими ратными людми, и здеся, государь, осталось немец Анц Боева полку сорок человек да Степан Барбелса шесть, и те, государь, неметцкие люди Анцы Боева полку приходя ко мне просят корму недоплатного на другой месяц... А кормовые зборщики Федор Одинцов стоит в Тесове, нигде в погостех не бывал и кормов не збирает...*»

Возникает вопрос: каким образом немецкие ратные люди «просили» кормов у Муравьевых, как осуществлялось общение. О существовании толмачей в Новгороде того времени нам достаточно хорошо известно, некоторые из них (Т.Хахин, Г.Андерс — Ирик Ондреев) занимали видное положение в правительстве 1611—1617 годов, более того, известно даже, что услугами толмачей в том же Тесове пользовались «немецкие торговые люди», порой насильно. Интересно бы послушать, как такая яркая и сочная речь звучала по-немецки (по-шведски). Упомянутый Андрей Борков однажды встретился с таким толмачом: «толмач Тимоха», по наущению сына боярского Степана Лаптева, не дал Боркову собирать корма в деревне Заполье, что вынудило Г.Н.Муравьева еще раз написать в Новгород, что «*немецким людем корму в привозе ни денег в собранье ниотколе нету ж, и немецким людем корму дати нечего*».

Жесткость и даже жестокость шведов по отношению к новгородцам следует рассматривать как следствие общего ожесточения, характерного для новгородского общества 1614—1616 годов. Так, крестьяне Королевской дворцовой волости разбежались, услышав о том, что к ним для *доправки хлеба на немецких ратных людей* направляется пристав Иван Трубица, о котором было известно, что он «*бьет на правеже насмерть*». Боялись крестьяне и печально известного приказчика села Голина Лучанина Еремеева: «*...а что вы о хлебе пишете мимо Лучанина, и то знато, что с Лучанином зговоряясь, и то переимаете, и у Лучанина насилья мимо дела*».

Рассмотрим положение шведских солдат. Отсутствие достаточного обеспечения вынуждало их пускаться в крайности: они не только грабили, но порой занимались и крестьянским трудом — молотили хлеб, варили пиво и тому подобное. Надо сказать, что на самом деле запросы шведских военных были невелики. Так, в ноябре 1613 года стоявшие в Тесовском остроге «немецкие люди» вытравили и свезли в острог сено, заготовленное «на государя». В 1614 году активизация боевых действий и бесконечные постои «немецких ратных людей» почти что полностью сохранили округу этого острога. А осенью этого же года было проведено обстоятельное расследование: какая именно шведская воинская часть и по чьей небрежности «*из государева десятинного хлеба в селе в Королеве из середней скирды омолотили в ночи украткою немецкие люди государевы ржы*». В апреле 1615 года стоявшие у одного из новгородских посадских шведские солдаты принесли ночью, украдкой «*осьмину жита нероценого*», чтобы ставить солод для пива, и три курицы, которые тут же продали хозяину.

* * *

Наиболее часто в челобитных новгородских помещиков встречается фраза о том, что прежний помещик «отъехал во Псков» (вариант: «к Московским людям», «в Осташков»). «Измена» вменяется отъехавшим в вину и дает право другим претендовать на их поместье, как земельное владение, приравненное к вымороченному. Обычно претенденты ставили себе в заслугу верность (в противовес измене) и неустроенность: «*служу 15 лет безпоместно*» и так далее. В то же время изменой назывался не только отъезд во Псков, к московским людям, но и просто из Новгорода, к себе в поместье.

Характерен спор из-за усадища Иккуево в Ижерском погосте между сыном боярским Дмитрием Ивановым, сыном Тырковым, и Маврой, вдовой Антония Чортова. Вдову поддерживал ее зять, помещик Деревской пятины Артемий Пуляев, муж Натальи, дочери Мавры и Антония. Спор из-за поместья возник еще в 1611 году, когда Артемий только что женился на Наталье «*и женяся о том их прожиточном поместье бил челом под Ладогою Ивану Салтыкову...*» Свадьбу сыграли в великий мясоед 7119 года, то есть после Рождества, значит, челобитная Ивану Салтыкову была подана скорее всего до весны 1611 года, когда в Новгородской земле Салтыков и Плещеев были еще в силе. Посмотрим, как оспаривал Дмитрий Тырков челобитную Мавры и ее зятя Пуляева: во-первых, Наталья умерла в Ильин день (то есть 20 июля) 1611 года, пробыв замужем 3—4 месяца, и ее муж Артемий Пуляев более не имеет прав на ее прожиточное поместье, а, во-вторых, вдова Мавра, мать Натальи, ни в чем не нуждается, так как живет в Орешке. Но Орешек в первой половине 1611 года еще не был занят шведами и не подчинялся администрации Новгорода; указание на то, что вдова живет в Орешке было своего рода доносом об измене. При этом Тырков уверяет руководителей Новгорода в своей верности и беззаветной службе: «*а я, государи, пять лет живу з женишкою и с людишками, волочюся меж двор, а поместье, государи, мое пусто в Копорском уезде, а тем, государи, завладели воры Иваногородцкие и Копорские, а о Тесовском, государи, кругу мы били челом вам, государи, на пристани*[3]*, и вы, государи, отказали, не дали, а велели приискивати, а мне, государи, головы приклонити негде...*» В то же время выясняется, что Мавра Чортова, и находясь в стане политических противников Новгородской администрации, била челом в Новгород. Занятно, что, споря с Тырковым уже в 1613 году, Пуляев своеобразно апеллирует к принимавшему решение боярину Одоевскому: «*а что Иван Салтыков дал мне грамоту о поместье, о том ведомо князю Ивану Большому Одоевскому ...и грамота моя у подьячих утерялась*». Дополнительным аргументом, приведенным Дмитрием Тырковым в свою пользу, было то, что он выехал на государеву сторону из Пскова, из враждебного лагеря. Характерен и боярский приговор по этому делу: не давать это поместье никому из названных челобитчиков, фактически приравнять его к вымороченным и дать беспоместному новику Даниле Скрипицыну.[4]

Взаимные обвинения друг друга в измене новгородскими дворянами и детьми боярскими возникали в зависимости от конкретной политической конъюнктуры — победы того или иного политического лагеря. Так, в 1610—1611 годах, когда в новгородской округе шла борьба между сторонниками «царя Владислава Жигимонтовича» и шведами, оставшимися верными договору с правительством Шуйского, крупнейшими фигурами среди сторонников Владислава Сигизмундовича являлись Иван Салтыков и Лев Плещеев. После установления в Новгороде администрации Делагарди — Одоевского оба этих деятеля были признаны изменниками. Это обстоятельство использовали в борьбе за поместья новгородские дети боярские, обвиняя друг друга в связи с изменниками.

Рассмотрим дело о выморочном поместье Ильи Плещеева, разбиравшееся в 1611—1613 годах. Помещик Пятый Ратаев сын Мусин бил челом о поместье Ильи Плещеева, утверждая, что в 1610 году «*завладел тем Ильинским поместьем Плещеева без дачи* (то есть без отдела государственным чиновником) *сын его Артемей*», в то время как уже существовало решение об отделе этого поместья Пятому Ратаеву сыну Мусину, но «*тот Артемей Плещеев приехал в Великий Новгород с Ываном с Салтыковым да со Львом Плещеевым и его де ис того поместья выслал вон насилством, не бив челом бояром и без указу то поместье у нас отнял*». При этом жалобы Пятого Мусина администрации Ивана Салтыкова ни к чему не привели: «*И он де того Ортемья в том его насилстве о том своем поместье бил челом Ивану Салтыкову, и его де Максима*[5] *Иван Салтыков бил и в тюрму сажал, а тот деи Ортемей со Львом Плещеевым в ызмене и в воровстве с литовскими людми, а мать его Олена и брат де его Матвей в том поместье живут насилством*».

Известно, что особая роль в истории Новгорода времен оккупации принадлежит митрополиту Новгородскому и Великих Лук Исидору. Этот человек все годы Смуты был для новгородцев неким стабилизатором, ходатаем перед светскими властями за свою паству, как шведскими, так и московскими. В один из критических для Новгорода дней, 16 мая 1611 года, когда Салтыковы были уже признаны изменниками, именно митрополит вступился за упомянутую вдову Ильи Плещеева, Елену, Матфееву дочь, когда светская администрация В.Бутурлина и И.Одоевского уже велела «*Ортемьеву мать Плещеева и сына ее Матвея Плещеева и их людей выслати вон со всем их животом и крестьяном их ни в чем слушати не велено*». Видимо, митрополит был последней надеждой вдовы Елены, в своей челобитной она отходит от привычного формуляра: «*Била челом Московского государства бояром вдова Олена Ильинская жена Плещеева с своею дочерью с Марьею, как де мужа ее в животе не стало, и после деи мужа ее тем мужа ее поместьем пожаловал царь и великий князь Василей Иванович всея Русии, ее вдову з детми. И во 119 году на зиме из Великого Новагорода сын ее Ортемей послан к Москве, и про то де она не сведает, что сын ее на Москве жив или мертв, другой де ее сын Матвей Плещеев лежит от ран болен, ноги переломаны. И о том деи ее поместье бьет челом бояром Деревские пятины сын боярской* (то есть Пятый Мусин. — *А.С.*) *по своему старому ложному челобитью...*»

Мы располагаем другим любопытным документом, связанным с новгородским митрополитом, который свидетельствует о его отношении к враждующим сторонам русского общества. Это касается борьбы новгородцев с белозерцами, сторонниками московского царя Михаила Федоровича, за Тихвин монастырь. И Романовская, и большевистская историографии традиционно придерживались той точки зрения, что права московская сторона. А вот точка зрения митрополита Исидора: «*идти им* <ратным людям> *на богоотступников на полских и на литовских и на русских воровских людей, на тех, которые полские и литовские и русские воровские люди в Обонежской пятине монастырь Пречистые Богородицы Тихвинские и иные монастыри выграбили, и у чюдотворного образа Пречистые Богородицы и у иных у многих образов оклад обобрали, и монастыри разорили и посад Тихвинской выжгли и Тихвинского игумена Иосифа и старцов и слуг и иных многих людей неповинных с монастыри предали, а иных в полон поимали, и ныне воюют и разоряют многие места до основанья, а то розных денег с митрополита и с монастыри взято*». Этот текст, по всей вероятности, записан еще до начала основных боевых действий под Тихвином, однако направлен он против «героических защитников» Тихвина монастыря, которых в Новгороде называли «польскими и русскими воровскими людьми».

В пору открытого конфликта Москвы с Новгородом в 1614 году отношение Москвы к новгородским дворянам и детям боярским ухудшилось. После отступления московской рати от Бронниц в Разряде было заведено дело о сношениях Ратмана Вельяминова, воеводы в полку князя Трубецкого, и князей Андрея и Григория Шаховских с новгородским изменником «холмитином князем Андреем Константиновичем Шаховским», дядей последних. На всем протяжении следствия новгородцы назывались изменниками. Однако после 1617 года всем оставшимся в Новгороде дворянам, детям боярским, священнослужителям и посадским людям было объявлено полное прощение и дан приказ продолжать государеву службу. Только на основе таких отношений с новгородцами правительство Михаила Романова могло рассчитывать на стабильность на Северо-Западе.

### ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Истории сотрудничества подданных Российском империи с войсками Наполеона посвящена недавняя статья А.Филюшкина в журнале «Родина» (*Филюшкин А.* От худости сердца. Измена в Отечественную войну 1812 года // Родина. 2000. № 8. С. 44—48).

[2]Ганс Бракиль — переводчик на шведской службе.

[3]Вероятно, «Тесовский круг» состоялся в конце мая 1611 г., когда Я.Делагарди отвел свои войска от Новгорода. Подробнее о местоположении Тесовской пристани: *Селин А.А.* Тесово и Тесовская волость: некоторые итоги изучения // Дивинец Староладожский. СПб., 1997. С. 119—124.

[4]Интересно, что Данило Скрипицын получил это поместье приблизительно 6 марта 1613 г. В то же время уже 13 ноября этого года в Москве Владимирской чети была выдана память на придачу к денежному окладу сыну боярскому Водской пятины Даниле Алексееву сыну Скрипицыну к 5 рублям. Таким образом, весной он получил поместный оклад в Новгороде, а уже в конце осени получал деньги во Владимирской чети в Москве, то есть изменил новгородскому правительству.

[5]Максим — вероятно, крестильное имя Пятого Мусина.

# Россия и ее «малые» войны

Владимир ЛАПИН

«Русские медленно запрягают, но быстро ездят», — гласит одна из пословиц, которые принято считать патриотическими. Необходимость периода так называемой раскачки в начале любого дела, слабое планирование и частое несоответствие замыслов возможностям — известные качества россиян, как и их изобретательность, склонность к импровизации, нетрафаретным действиям и нечеловеческим усилиям, направленным на достижение поставленной цели. При этом значительная часть упомянутых усилий прилагается к разрушению препятствий, возникающих исключительно благодаря знаменитой медленной «запряжке».

Взгляд на военную историю России позволяет увидеть, как эта особенность национального характера, отягощенная косностью управленческих структур, несовершенством хозяйственных механизмов сказывалась на ходе войн и отдельных кампаний.

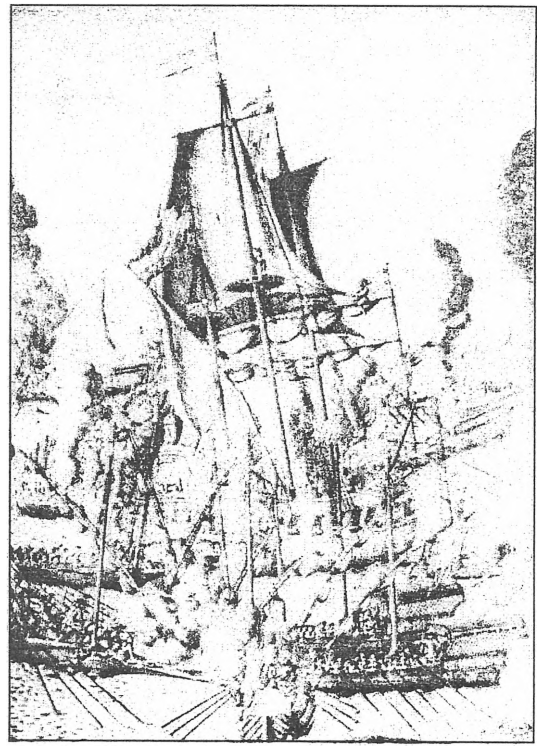
С конца XVII столетия до начала 1-й мировой войны Россия участвовала в 60 военных конфликтах разного масштаба — от эпохальных войн, менявших облик Европы, до колониальных экспедиций. К числу первых можно отнести Северную войну 1700—1721 годов, к числу вторых — Хивинский поход 1839—1840 годов. Противниками были и мощные коалиции великих европейских держав (в Крымской войне 1853—1856 годов — Англия, Франция), и отдельные сильные государства (в начале XVIII века — Швеция и наполеоновская Франция в начале XIX века), а также заведомо слабые соседи (Персия в 1806—1813 годах и в 1826—1829 годах; восставшая Польша в 1830—1831 годах.).

При всем разнообразии масштабов военных действий, их характера, театра войны, уровня подготовки вооруженных сил внимательный взгляд на историю кампаний выделяет одну интересную особенность: в подавляющем большинстве случаев начало войны (похода) трудно назвать блистательным для России.

Не углубляясь в исторические дали, начнем отсчет с эпохи Петра Великого, с момента постепенного превращения России в великую державу. Итак, 1695 год. Молодой правитель Московии, грезящий о великих воинских подвигах и об открытии выходов к морям, решается бросить вызов Турецкой империи, сильной, отнюдь не заслуживающей прозвища «безнадежно больного человека». Лучшие силы русского войска осаждают крепость Азов, запирающую выход из Дона. Огромные жертвы, фантастические затраты, обусловленные абсолютной неподготовленностью похода, отсутствием серьезной разведки и даже общего плана войны — таково положение дел в начале похода. Укрепления, далеко не современные по тем временам, защищаемые не лучшими турецкими войсками, оказались тем не менее не по силам петровской армии. Следующая кампания 1696 года, проведенная с учетом совершенных ранее ошибок, оказалась успешной. Азов был взят, русская армия отпраздновала свою первую победу в наступательной войне против турок.

В 1700 году началась Северная война, и началась она сокрушительным поражением под Нарвой: значительно превосходящая по численности армия царя Петра, расположившаяся в укрепленном лагере, была наголову разбита войсками Карла XII, не побоявшегося сходу бросить в бой измотанные многомильным маршем войска. В российском историческом сознании усвоение уроков Нарвы (Петр I называл шведов учителями) началось чуть ли не сразу после этой «конфузии». Однако начальные этапы войны освещались не всегда точно и объективно. Повышенное внимание к боям в Ингерманландии и в Прибалтике (взятие Ниеншанца, Нотебурга, Нарвы, разгром шведских войск в этом регионе) привели к тому, что истинная картина первых десяти лет войны оказалась несколько искаженной. На самом деле шведы вплоть до самой Полтавской битвы в 1709 году удерживали инициативу и являлись наступающей стороной. После этой действительно великой «виктории» игра пошла под диктовку русской стороны. Шведы были вытеснены из Финляндии и Прибалтики, потеряли контроль над Балтийским морем и в конце концов в 1721 году согласились на мирные условия, выгодные Петербургу.

В 1711 году Петр Великий, находясь под впечатлением победы над непобедимыми шведами, решил продолжить борьбу с Турцией, но попал в турецкий капкан на берегах реки Прут. Отвага русских солдат и офицеров, продажность турецких пашей и благосклонность судьбы позволили армии и возглавлявшему ее царю избежать гибели или плена. За поражение пришлось заплатить дорогую цену — вернуть Турции завоеванное в Азовских походах 1695—1696 годов. Исправить положение не было ни средств, ни войск, ни особого желания.



Морской бой у Гангута. Гравюра А.Зубова. *1715 г.*

Последнее крупное военное предприятие Петра Великого — Персидские походы 1722—1723 годов тоже развивались по указанной схеме. Войска двинули открывать путь в Индию, имея самые смутные представления о местности, которую собирались завоевывать, о климате, о характере местного населения. Источниками информации были купцы и казаки, которые, конечно, не представляли, с какими трудностями будет сопряжено продвижение и обеспечение довольно крупной группировки регулярных войск в горной и степной местности с жарким климатом. Такая слабая подготовка привела к громадным потерям, причем потерям не боевым, а связанным с недостатком провианта, фуража, с воздействием непривычного климата.

В 1735 году началась очередная русско-турецкая война, закончившаяся победой русского оружия и почетным Белградским миром, но начинавшаяся с длительной и далеко не блистательной раскачки. Победным был и финал русско-шведской войны 1741—1743 годов при довольно скромном дебюте. В 1768 году для нанесения удара по Турции Екатерина II направляет в Средиземное море эскадру под командованием графа А.Г.Орлова. Поначалу ничто не предвещало славных побед в Эгейском море: несколько месяцев тащились из Кронштадта плохо построенные и потому постоянно ремонтируемые корабли да еще и с плохо обученными экипажами: десятками хоронили умерших от болезней. Однако обучение в экстремальных условиях похода принесло свои плоды — турецкие военно-морские силы были разгромлены наголову. Неудачным, если не сказать сильнее, было для российского флота и начало следующей русско-турецкой войны 1787—1791 годов. Молодой Черноморский флот, только-только построенный на Херсонских верфях, попал в ужасный шторм, потерял несколько кораблей и вынужден был потратить немало времени на устранение повреждений. И снова в конце войны — серия побед, которые позволили не только установить полное господство Андреевского флага на Черном море, но и составить целый список имен кораблей-памятников этим «викториям»: перед 1-й мировой войной были построены эсминцы «Керчь», «Калиакрия», «Гаджи-Бей» и другие.

Полностью на стороне шведов была инициатива в начале войны 1788—1790 годов. Вражеский флот вышел на ближние подступы к Петербургу, реальной была угроза шведского десанта чуть ли не на Дворцовую набережную. Лучшие полки и корабли были посланы на юг — сражаться против турок, поэтому потребовались громадные усилия для мобилизации войск, необходимых, чтобы защитить столицу. И вновь знаменитая «быстрая езда» принесла свои плоды — вражеский флот был разбит, войска изгнаны с российской территории.

В 1798 году Россия включилась в борьбу с наполеоновской Францией. Здесь картина усложняется из-за взаимодействия различных факторов, но в целом не противоречит указанной схеме — победе непременно предшествует неудача. Эта эпопея, длившаяся с перерывами 16 лет, состояла из нескольких кампаний — 1798—1799 годов, 1805 года, 1806—1807 годов и 1812—1814 годов, причем имеются весьма веские основания отделять Отечественную войну 1812 года от Заграничных походов 1813—1814 годов. В самом начале этой борьбы удача как будто сразу повернулась лицом к русским — два действительно талантливых военачальника — А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков нанесли несколько поражений французам, но картина резко изменилась, когда за дело взялся лично Наполеон Бонапарт. Знаменитый переход через Швейцарские Альпы на деле не что иное, как отступление, спасшее войска Суворова от неминуемой гибели. Пришлось уйти из Голландии и союзному экспедиционному корпусу, в котором были и русские войска. В 1805 году русско-австрийская армия потерпела поражение под Аустерлицем, оставив в руках победителей почти всю артиллерию и несколько знамен.

Николай I со свитой. Гравюра Франца Крюгера.

В 1806—1807 годах Россия попыталась спасти поверженную Наполеоном Пруссию, но была разбита. Хорошо известно, как развивались события Отечественной войны 1812 года: за два месяца французы прошли от польской границы до Москвы, а затем не менее резво отступили, вернее, бежали восвояси.

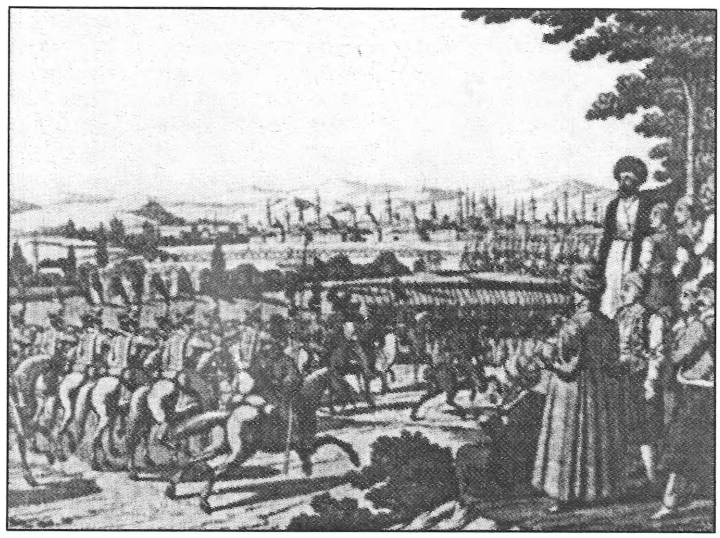
По уже привычному сценарию Россия действовала в Семилетней войне — в первом крупном сражении при Гросс-Егерсдорфе русские солдаты продемонстрировали чудеса героизма, а командование — удивительную некомпетентность и головотяпство. Уважительное высказывание Фридриха II, любовно тиражируемое в отечественной литературе — «Русского солдата мало убить, его надо еще повалить», связывают с этой битвой, где русские полки кровью оплачивали бездарность генералов, принявших бой на невыгодной позиции. Первую кампанию армия закончила трудно объяснимым отступлением. Излишне говорить, что военные действия завершились полной победой русского оружия.

Во время Заграничных походов 1813—1814 годов тоже не все шло гладко. Здесь не было неуклонного движения от берегов Немана к берегам Сены. В начале кампании 1813 года союзники получили ощутимый удар под Дрезденом и Бауценом, благодаря которому создалось впечатление, что Наполеон сумел восстановить силы после уничтожения его армии в Московском походе. Триумфальное вступление в Париж, казачьи пикеты на Елисейских полях, принятие императором Александром I звания спасителя Европы затушевали досадные неудачи первых шагов к этому торжеству российских войск.

Термин «локальные» не вполне применим к войнам, которые напоминали поединки — обе стороны выступали без союзников. Это понятие XX столетия, отмеченного двумя мировыми войнами, в первой из которых было 15, а во второй — 20 активных участников. Для военных конфликтов XVIII—XIX веков более уместно употреблять термин «ма-

лые» войны, которых тоже было немало в истории России этого периода. Россия всегда выходила из них победительницей, но привкус у большинства побед был горьковатый. Во-первых, в большинстве случаев проявлялся уже известный синдром стартовых неудач. Во-вторых, результаты не полностью соответствовали соотношению сил противников. Так, например, на хорошо изученном балканском театре военных действий во время очередной русско-турецкой войны 1806—1812 годов армия под командованием сначала Каменского, а затем Кутузова топталась на берегах Дуная, сражаясь против хорошо знакомых и не единожды битых турок. Блестящий финал опять сгладил посредственный дебют — армия османов оказалась в окружении, Стамбул подписал мир, уступая Молдавию.

1808 год. Петербург развязывает войну со Швецией, пытаясь решить окончательно проблему контроля над Восточной Прибалтикой, что было невозможно без присоединения к империи Финляндии. И здесь моральным победителем оказались финны, в большинстве своем враждебно встретившие русские войска. Пожалуй, впервые в истории царской армии пришлось испытать на себе, что такое партизанская война. Эта кампания была крайне непопулярна в русском обществе, хотя и закончилась существенным «округлением» границ державы.



Вход русских в Адрианополь (Эдирне) в августе 1829 г. *Гравюра.*

В 1828 году новая война с Турцией начинается по старому, ставшему уже привычным сценарию: русские войска значительно более сильные чем турецкие, медленно выдавливают противника из Северной Болгарии, даже терпят отдельные поражения, неудачно штурмуют крепости и наконец совершают даже не бросок, а прыжок через Родопы и впервые оказываются у ворот Стамбула. Командующий И.И.Дибич получает приставку «Забалканский», на одноименном проспекте в Петербурге воздвигаются триумфальные ворота. Крымская война 1853—1856 годов «выпадает» из предложенной схемы: она заканчивается на европейском театре так же неудачно, как и начинается.

В 1830 году вспыхивает восстание в Польше, включенной в состав Российской империи после раздела Европы в 1814 году. Польская армия примерно в три раза меньше царской, более чем наполовину состоит из новобранцев, испытывает острую нехватку в артиллерии, ружьях и боеприпасах. Начало войны — за поляками, которые своим умелым маневрированием, отчаянными атаками и упорной обороной перехватили инициативу у русских генералов и в конце концов разгромили инсургентов.

Русско-турецкая война 1877—1878 годов развивалась по сценарию той, которая громыхала на Балканах и Кавказе за полвека до того: полки, обливаясь кровью, штурмовали крепость Плевну, замерзали на горных перевалах, редели в бесцельных переходах в первые месяцы. В конце войны турецкая армия была разгромлена, и в пригороде Стамбула, городке Сан-Стефано, был подписан мир. От вступления русских войск в турецкую столицу султана спасло только вмешательство западных держав и присутствие британского флота в Мраморном море, к берегам которого уже вышли казачьи разъезды.

Кавказская война традиционно датируется 1817—1864 годами, то есть речь идет о периоде между первыми попытками установить контроль над Чечней и горными районами Дагестана и актами выражения покорности племенами Западного Кавказа. При этом наибольших успехов русское командование добилось в последнее десятилетие, а первые двадцать-тридцать лет этой войны были бесцельным кровопролитием, по крайней мере, со стороны русской армии, поскольку огромные потери во время экспедиций в горы не приносили ощутимых результатов. Только после накопления опыта, который нельзя назвать иначе как кровавым, русские войска стали добиваться того, что в военном отношении можно было считать победой.

Нечто похожее мы обнаруживаем и в истории присоединения Средней Азии. Первые решительные шаги в этом направлении закончились полным провалом. В 1717 году князь Бекович-Черкасский повел 5-тысячный отряд на Хиву и погиб. Неудача ждала и генерала Перовского, попытавшегося расширить границы империи в сторону Арала в 1839—1840 одах. После провала этих авантюр пришла пора осторожных, обдуманных действий на основе приобретенного опыта. Результатом стало довольно быстрое при сравнительно небольших потерях утверждение России на границах с Ираном и Афганистаном.

Русско-японская война 1904—1905 годов началась неожиданным нападением японского флота на русские корабли в Порт-Артуре и в Чемульпо, в результате чего два русских корабля были потоплены, а три серьезно повреждены. При этом следует заметить, что тогда Бог был на стороне наших моряков, потому что японские миноносцы могли устроить настоящую бойню на рейде главной российской военно-морской базы на Дальнем Востоке, но по разным причинам не сумели этого сделать.

Первую мировую войну русская армия начала наступлением в Восточной Пруссии, используя то обстоятельство, что основные силы Германии были брошены против Франции, однако уже через несколько недель немцы сумели организовать контрнаступление и разгромить два корпуса в районе Мазурских озер. Катастрофической была и ситуация в следующем 1915 году — линия фронта продвинулась далеко на Восток, немцы заняли Польшу, часть Литвы, угрожали Риге. Принимались меры на случай необходимости эвакуации из Киева и Петрограда. Положение стабилизировалось только к 1916 году: Брусиловский прорыв потряс Австро-Венгрию, которая после этого не могла бороться самостоятельно без поддержки германской армии, мобилизация и перестройка промышленно-

сти ликвидировали чудовищную нехватку вооружения и боеприпасов, характерную для 1914—1915 годов. Несмотря на громадные потери и нехватку кадровых офицеров, боеспособность армии оставалась достаточно высокой.

Таким образом, мы видим, что вооруженные силы России неудачно или по крайней мере без особых успехов начинали войны, затем добивались перелома и наконец победы. В чем же причина такого весьма своеобразного «графика» ведения военных действий. По нашему мнению, ответ следует искать в некоторых особенностях военной организации вообще и военной организации России в частности.

Прежде всего, следует обратить внимание на характер военной подготовки в мирное время — обучение в минимальной степени соответствовало требованиям реальных боевых действий — доминировали плацпарадные элементы. Один из военных деятелей XIX века, брат Николая I великий князь Михаил Павлович откровенно заявлял, что война портит солдат, так как они теряют выправку, навыки шагистики, и под этим высказыванием готовы были поставить подписи многие отечественные военачальники разных рангов. Плацпарадность вредила не только солдатам, но и командному составу, который не мог приобрести необходимых навыков, думая только о равнении шеренг и подтянутости ремешков. Сама амуниция была более приспособлена для смотров, нежели для походов и сражений.

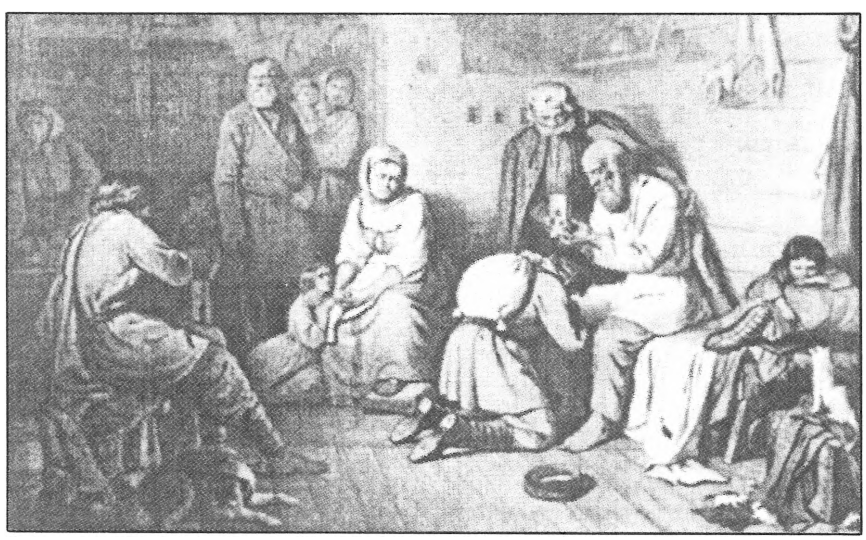
Можно смело сказать, что армия начинала войну, будучи к ней практически неподготовленной, и проходила обучение, что называется на практике, где оценки выставлялись непредвзято: правильно — живой, неправильно — вечная память. Многие командиры были выходцами из гвардии, тактическое образование в которой ограничивалось знаменитыми Красносельскими маневрами, бывшими скорее важной частью светского столичного календаря, нежели действительными военными учениями. Им приходилось так же методом проб и ошибок приобретать необходимые навыки командования частями и соединениями.

Огромное значение имело также хозяйственное устройство вооруженных сил, где рота и полк были не только тактическими, но и хозяйственными единицами. Бедность казны, пережитки поселенной системы содержания войск проявлялись в том, что армии приходилось прилагать колоссальные усилия для выживания. Без так называемых вольных работ, без развитого полкового хозяйства, без разного рода ухищрений, граничащих с преступлениями, без расквартирования армии по домам обывателей и питания с хозяйского стола содержать войска было практически невозможно. Работы, караульная служба (армия выполняла роль полиции и вневедомственной охраны) съедали львиную долю времени, оставляя меньшую часть на обучение, которое, как уже говорилось, в основном сводилось к плацпарадам.

Не могло не сказаться на боеготовности и то, что в XVIII веке около 90 процентов офицеров, а в XIX — около 60 процентов не имели специального образования, а приходили юнкерами в войска, где на правах дворянства довольно скоро дослуживались до первого офицерского чина. Такая система способствовала репродуцированию традиций и фактически исключала внедрение новшеств.

Наличие регулярной армии, постоянного войска вовсе не являлось гарантией готовности к войне. Всякий раз после очередной победы вооруженные силы России приходили в какое-то особенное состояние, как бы самораспускались и, несмотря на формальное сохранение боевых единиц, вели жизнь, абсолютно не ориентированную на серьезную военную подготовку.

То же можно сказать и о флоте, причем здесь расслабляющее действие оказывали и климатические условия, вынуждавшие флот длительное время бездействовать — в конце навигации происходило так называемое «разоружение» — с кораблей снимались паруса и прочий такелаж, так что оставались едва ли не одни голые корпуса. В эпоху парового и броненосного флота с кораблей снимали наиболее ценные части и хранили их на складе. Ни сухопутное, ни морское ведомства не выполняли завета, начертанного на памятнике адмиралу Макарову в Кронштадте: «Помни войну!» В мирный период вооруженные силы впадали в некое оцепенение, из которого их выводил только грохот надвигающейся новой войны.



Отец благославляет крестьянина-рекрута перед отправкой на Крымскую войну. *Гравюра.*

P.S.

# «Оперная война» короля и императрицы: художественный ответ Екатерины Великой в европейском политическом диалоге XVIII века

Александр ЧЕПУРОВ

Восемнадцатый век — век невиданного расцвета европейского придворного театра. Блистательные спектакли при королевских дворах Парижа, Вены, Берлина, Стокгольма, Петербурга словно соперничали друг с другом не только своим великолепием, но и той утонченной интеллектуальной игрой, которая в этот галантный и политизированный век зачастую разила лучше всякого оружия на полях сражений. Театр рождал острые политические аллюзии, а в героях и сюжетах, казалось бы далеких от современности, легко угадывались знакомые лица. Театр, словно вырастая из самого придворного этикета, настолько был пронизан им, что невозможно было отличить, где кончалась сценическая игра и начиналось куртуазное лицедейство. Дух театра царил в этой, похожей на роскошный спектакль, жизни. И невольно сцена начинала занимать тех, кто хотел и в самой реальности быть непременно драматургом, режиссером или первым актером. Венценосные особы — властители великих держав — снисходили до того, что сами брались за перо, сами сочиняли трагедии, комедии, оперы и балеты.

Русский историк Василий Осипович Ключевский называл XVIII век веком театральным, имея в виду не только бурное развитие сценического искусства при блистательных дворах европейских монархов. Он подчеркивал особый дух театральности, который невольно проникал во все сферы государственной, политической и светской жизни и был порожден разительной пропастью между рационально моделируемой драматургией сословных отношений и реальностью, которая открывалась за этой кукольной, театрализованной жизнью. Жизнь, стиснутая рамками придворного этикета, где за случайно брошенным взглядом, неосторожным жестом тотчас же угадывался скрытый намек или какой-либо тайный смысл, игра на острие ножа, лицемерные улыбки, галантность, скрывавшие подлинные намерения и цели, постоянная игра в прятки друг с другом, где лишь под маской можно было высказать свои истинные мысли, напряженность аллюзий в искусстве — все это и есть театр XVIII века.

Известно, что театр в руках просвещенного монарха становился той дорогой табакеркой, из которой порой можно было достать и весьма острый табачок, чтобы пощекотать нервы своих коронованных кузенов и кузин в том споре, который они вели на подмостках европейской политики. Театр как средство моделирования «второй реальности», как аналог сконструированной жизни легко, в отличие от действительности, подвластен воле разума. Не та ли это вожделенная сфера деятельности, которую можно соотнести лишь с искусством управления государством? Поиск гармонии между разумом и реальностью стал ареной для эстетических упражнений коронованных особ. И не случайно один за другим прусский король Фридрих Великий, за ним его шведский племянник Густав III и, наконец, российская императрица Екатерина обращают свои взоры к театру.

В 1786 году, настойчиво уговаривая княгиню Е.Р.Дашкову написать пьесу для Эрмитажного театра, Екатерина Великая признавалась, что по собственному опыту знает, сколь «занимает и развлекает» эта работа. В отличие от своего супруга Петра III, который предпочитал общению с живыми подданными забавы с комнатным кукольным театром или занятия «военным балетом» на плацу, Екатерина была реалисткой. Театр в ее восприятии был лишь пародией на действительность, он давал возможность высмеять, подчеркнуть абсурдность жизненных принципов, зачастую противоречащих разуму. Подмена реальности театром иллюзий стоила ей слишком дорого. Однажды, еще при коронации, она явно столкнулась с реальностью, которая, проникнув на театральные подмостки, чуть не испортила торжество.

Принято коронационные торжества 1763 года связывать прежде всего с тем знаменитым маскарадом «Торжествующая Минерва», который родоначальники русской драматургии и театра Александр Сумароков и Федор Волков устроили на улицах Москвы. Однако не менее важную роль сыграл и любительский спектакль, который был показан придворными дамами и кавалерами в Кремлевском дворце. Речь идет о «Гамлете», переделанном Сумароковым. Роль Гамлета в этом спектакле сыграл Григорий Орлов, недавний убийца несчастного мужа Екатерины, а в зале сидели сам «русский Гамлет», Павел Петрович, «царственная российская Гертруда» и многочисленные Полонии императорского двора. Этот спектакль, поставленный при участии Федора Волкова, легко мог стать «мышеловкой» для самой Екатерины... Здесь реальная расстановка действующих лиц впрямую создавала аллюзионный ряд, сообщая театральному действию острый современный смысл и провоцируя немедленную интеллектуальную реакцию. Такое соединение трагедии реальной и театральной накладывало отпечаток на всю структуру отношений внутри данного театрального события. И чаша весов склонялась скорее в сторону реальности, создавая угрозу для своеобразного «хэппенинга». Можно догадываться, чего стоило это сближение одному из режиссеров, увлекшихся этими жизненными сюжетами. Загадочность внезапной смерти актера Федора Волкова, принявшего активное участие в разыгравшейся дворцовой драме (а ведь он волей или неволей был вовлечен в события, связанные со свержением Петра III), наталкивает в этом смысле на разные догадки...

Екатерина избегала прямого сближения сюжетов реальных и театральных, и лишь единожды в конце 1760-х годов позволила себе серьезно увлечься только одним из них. Если внимательно приглядеться к репертуару театра екатерининского времени, то можно заметить, что иные из активно используемых театром сюжетов возникают именно в тех ситуациях, когда в реальной, а вернее, в придворной жизни становятся актуаль-

ными те или иные аналогичные коллизии. Так, например, можно заметить, как к концу 1760-х годов на сцене (причем в различных театральных жанрах) начинает обыгрываться сюжет об оставленной Дидоне. Екатерина явно увлечена этой историей. Она с упоением слушает и смотрит оперы и балеты, благосклонно внимает молодому драматургу Княжнину, который читает ей свою трагедию, переделанную из оперного либретто П.Метастазио. Екатерина, для которой интересы государства становятся выше личных привязанностей (а кто знает, может быть и любви), вынуждена отдалить от себя своего любимца Григория Орлова. Именно на рубеже 1760—70-х годов она воспринимает себя чуть ли не карфагенской царицей.

Однако, мысленно бросая в костер гибнущего Карфагена душу своей любимой героини, Екатерина навсегда порывает с ролью объятой пламенем страсти царицы и меняет ее на роль разумной матери Отечества. Не случайно явно по заказу императрицы тот же секретарь генерал-адъютанта Г.Г.Орлова Яков Княжнин пишет трагедию «Ольга», где в качестве героини выступает мудрая мать будущего правителя России. Смирять собственные страсти, скрывать их под маской разумности Екатерина научилась в совершенстве. Именно такими, лишенными страсти, и являются герои в ее собственных трагедиях или, как она сама их называла, театральных представлениях («Начальное управление Олега», «Из жизни Рюрика», «Игорь»). Не случайно знаменитый актер Иван Дмитревский, исполнявший роль Олега, на репетиции стремился хоть немного оживить схематичный образ. Он пытался придать своему герою некий темперамент. Однако Екатерина тут же отреагировала, заявив, что «хотя Олег и великий характер, но не терпит напускного». Она искала той «золотой середины», которая примирила бы разум и естественность.

Попытка соединить героическую патетику со схоластикой морализаторства, а искомую естественность с умозрительными сентенциями порождала противоречия. Не случайно Екатерине не удавались ни трагедии, ни серьезные оперы. Зато апология разумной естественности давала ей все преимущества на поле комедии, пародии, фарса, театральной пословицы (провербы) и комической оперы. Это излюбленные императрицей театральные жанры. Сатира в духе «улыбательном» под ее пером становится особенно острой и привлекательной. Здесь уместно вспомнить о некоторых особенностях самой Екатерины. Она от природы была невосприимчива к гармонии. Всякую музыку воспринимала как раздражающий шум. Эта «немузыкальность» Екатерины вместе с тем не помешала ей стать автором либретто целой серии комических опер.

Екатерина не умела писать и стихи. С трудом пытаясь рифмовать с помощью старательно составленного ее секретарем А.В.Храповицким «Лексикона рифм», она достигла на этом поприще весьма скромных успехов и писала исключительно прозой.

Невосприимчивость к Поэзии и Музыке свидетельствовали об известной эмоциональной глухоте Екатерины. Поэтизация патетических порывов, воспевание героических подвигов вызывали лишь ироническую усмешку матери Отечества. Сама Екатерина повторила феминистский подвиг императрицы Елизаветы, — надев гвардейский мундир и оседлав коня, она совершила дворцовую революцию и, похитив власть из рук кукольного героя-мужа, вознамерилась утвердить главенство женского начала в политике и в управлении государством.

Но здесь она столкнулась со своими коронованными оппонентами. Таковыми в первую очередь были ее ближайшие соседи — Фридрих Великий в Пруссии и Густав III в Швеции. Образ короля-воина, короля-героя, утонченного знатока искусств, эстетизирующего свою деятельность, актерствующего на подмостках истории, — стал объектом для колких нападок Екатерины. Ему она противопоставила себя — режиссера-драматурга, скорее управляющего другими, чем подчеркивающего собственное актерство. Она не владела никаким инструментом, никогда не играла на сцене. И в этом также отличалась от своих царственных коллег-мужчин.

В 1770-х годах Екатерина пишет сатирические комедии «О, время!», «Госпожа Вестникова с семьею» и «Именины госпожи Ворчалкиной», именно тогда Екатерина, расставшись со своими сердечными пристрастиями, резко порывает со всякой поэтизацией чувств и обращается к иронии как главному оружию в борьбе за естественность и разумность. Иронизируя над собственным окружением (а в героях комедий 1770-х годов зрители без труда угадывали лиц из самого ближайшего екатерининского круга), императрица сознательно ставила их в положение жалких комедиантов, подвластных ее драматургической и режиссерской воле. Именно на это обстоятельство и намекнула Екатерина в упомянутом выше разговоре с княгиней Е.Р.Дашковой.

Второй важный период театральной деятельности Екатерины начинается в 1786 году и связан с изживанием другой очень важной иллюзии в мировоззрении того времени. Поводом для этого послужил эстетический и политический демарш ее коронованного кузена — шведского короля Густава III. Привлекает внимание явное совпадение. В январе 1786 года в Стокгольме состоялась премьера оперы «Густав Ваза», написанной на либретто Густава. Известие об этом пришло одновременно с распоряжением, которое Екатерина дает своему секретарю Александру Васильевичу Храповицкому 1 февраля 1786 года. «Приказано мне, — сообщает Храповицкий в своем дневнике, — собрать прежние комедии». Показательна и другая запись Храповицкого под этой же датой, характеризующая направление мысли и реакцию, которую вызвало известие об опере Густава: «Упал Тезей. Он потерял свое равновесие. В комедии сказано, что он заметил это, когда лежал на полу». Эта цитата из 3-го акта комедии Мольера «Ученые женщины» подчеркивает, что Екатерина очень точно поняла смысл художественно-политической декларации своего кузена Густава и со свойственной ей иронией попыталась поспорить с ним. Слово сказано достаточно точно и прямо: ослепление «идеей героического» ведет к потере равновесия, к потере способности воспринимать естественный ход вещей. Источник цитирования также был выбран точно — Мольер, этот мастер комедии, безжалостно высмеивающий героев, ослепленных любимой идеей. В этот период Екатерина пишет свои знаменитые комедии «Обольщенный» и «Обманщик», направленные против масонства. В то же время ее начинают занимать сюжеты о сказочных и легендарных героях. Однако отнюдь не эпические и героические мотивы возникают в воображении императрицы.

Она обращается к иного рода источникам, а именно к фольклору, к сказке в ее лубочном варианте. Буквально через несколько дней она спрашивает у А.В. Храповицкого о сказке «Бова Королевич» — наипопулярнейшей в народе истории. Тогда же она срочно требует и первые тетради «Лексикона рифм». Екатерина пробует примерить доспехи

своего оппонента. Ей нужна поэзия, музыка, ей нужен героический сюжет. Тем не менее здесь же проявляется и еще одна особенность этого произведения: музыка, преломленная немузыкальным ухом, поэзия, срифмованная непоэтической натурой, геройство, поданное с позиции депоэтизации. Возникают все признаки гротеска. Впоследствии Екатерина произнесет слово «бурлеск» и будет близка к истине. Характерно, что она возьмет источником своих произведений не истинно народные сказочные образы, в которых заключена известная доля поэтизации, а привлечет огрубленные лубочные версии этих же сюжетов. Эта смена угла зрения проявится даже в трансформации названий. Так имя Иванацаревича из знаменитой русской сказки она заменит на некоего нелепого Ивана Архидеича, а сама комическая опера приобретет весьма ироническое, даже ядовитое название — «Храброй и смелой витязь Архидеич». Екатерина увлекается произведениями мировой литературы, в которых присутствует пародия на героев-рыцарей. Так, она естественно обращается к шекспировскому Фальстафу, делая собственное драматургическое переложение знаменитых «Виндзорских проказниц».

Знакомство с творчеством Шекспира наводит Екатерину на размышление о трагедии. И уже летом 1786 года она активно работает над «подражанием Шакеспиру» — историческим представлением «Жизнь Рюрика». Вслед за «Рюриком» следуют «Начальное управление Олега» и «Игорь». Творческая активность Екатерины не снижается до ноября 1786 года. Пик этой активности приходится на «Олега», однако интерес к большой форме вскоре заметно ослабевает: уже следующая пьеса — «Игорь» — так и остается незавершенной.

Если «Жизнь Рюрика» тяготела еще к драматической форме, то «Олега» Екатерина считала скорее оперой. Недаром она такое значение придавала хорам, музыке, обрядам и играм в последнем акте. В «исторических представлениях» четко ощутима авторская идея. Екатерина принципиально отказывается от всякой поэтизации в выражении чувств и мыслей героев. Она пишет исключительно прозой. И даже хоры к «Олегу», которые были первоначально зарифмованы А.В.Храповицким, она приказывает переделать белыми стихами. Екатерину занимает не столько драматизм и поэзия, сколько зрелищность и монументальность. Она стремится не столько к сопереживанию и драматическим аффектам, сколько к эффектности, вызывающей восторг, не столько к внутренней глубине, сколько к «срежиссированности» и масштабу действия. Здесь главным героем становится скорее режиссер-драматург, нежели герой-актер. И эта тенденция весьма показательна. Если Густав III, приглашая к сотрудничеству поэта И.Х.Келлгрена, стремился облечь свой замысел в поэтическую форму, то Екатерина заботилась скорее о постановочных моментах, штудируя Энциклопедию и изучая подробности греческих обрядов для использования торжественного апофеоза в финале. Она более заботилась о нарушении классического единства времени: «Когда 24 часа можно представить в полтора, то отчего и двух лет тут не поместить».

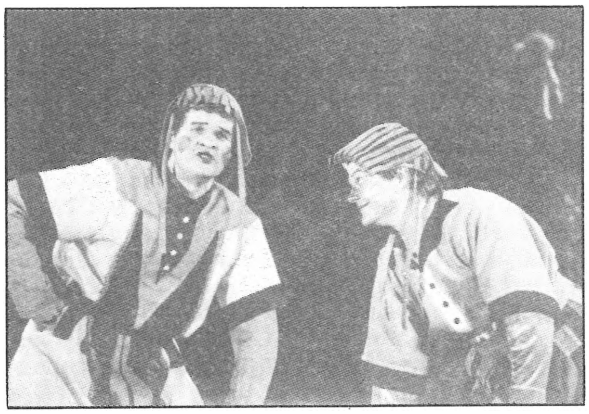
Ее сочинение было написано, что подчеркнуто в афише, «без сохранения обыкновенных театральных правил». Пространственно-временной континуум приобретал первостепенное значение. Музыка в замысле Екатерины должна была лишь подчеркнуть темпо-ритмические акценты действия. Екатерина строила в своем воображении сугубо постановочный спектакль. В отличие от Густава, который при постановке своей оперы оставил невоплощенным грандиозный замысел апофеоза с явлением статуи Густава Вазы, Екатерина, используя аллегории греческих олимпийских игр и театральных состязаний, сделала акцент именно на апофеозе, выстроив своеобразный «театр в театре».

Однако «театральность» понималась Екатериной двояко. С одной стороны, театр виделся ею, несомненно, в шекспировском духе: «Весь мир — театр». С другой стороны, театр или «театральщина» понимались ею как выражение неестественного, смешного, утрированного. В пародийном ключе ею обыгрываются отдельные театральные приемы и целые сценические жанры. Стилистика екатерининских произведений соткана еще и из чисто российских обстоятельств. У Екатерины было поразительное чувство русского языка. Вопреки бытующему мнению о том, что неправильности ее языка усердно исправляли секретари, на основе изучения ее черновиков можно с полной уверенностью заявить, что зачастую секретари, исправляя грамматику, портили екатерининский текст, втискивая остроту и образность ее языка в каноны среднелитературных штампов того времени. Недаром Екатерина так увлекалась этимологией слова. Этот интерес оборачивался своеобразной игрой смыслами. В каждом слове ей чудились скрытые значения и подчас нелепые их варианты. Екатерина тяготела к своеобразному словотворчеству. Изучая русский фольклор, в совершенстве владея оборотами народной речи, изучая русское летописание, сказки и пословицы, Екатерина принципиально писала по-русски. Это обстоятельство объясняет и особый оттенок в ее понимании театральных жанров. Исследователи не раз занимались поиском фольклорных источников комических опер Екатерины, тем не менее мало обращали внимание на то, что от сочетания классической европейской музыкальной формы и простонародной русской речи возникает пародийный эффект, который в начале XIX века великий русский драматург А.С.Грибоедов назовет смесью «французского с нижегородским».

В отличие от своих коронованных предшественников — Фридриха и Густава, — которые планы-либретто своих опер писали исключительно по-французски, Екатерина работала иначе. Здесь принципиально само различие подходов. Фридрих Великий набрасывал свои сценарии по-французски, а затем отдавал их для обработки поэтам-итальянцам (одним из которых был Батарелли). Его идеалом была итальянская опера-серия, поэтизирующая реальность, создающая образ возвышенный и как бы парящий над реальностью. Фридрих не только не помышлял о немецкой опере (хотя бы написанной на немецкие тексты), но и отвергал саму мысль об этом. «Я охотнее дал бы арию проржать лошади, чем допустил бы в свою оперу немку в качестве примадонны», — писал он. Оперы Карла Гейнриха Грауна — придворного композитора прусского короля, воплощавшего его оперные фантазии, написанные на итальянские стихи и исполненные итальянскими певцами, звучали идеально-сладкозвучно.

Племянник Фридриха — Густав Шведский, идя по стопам своего дяди, тоже делал наброски либретто на французском. Он также избрал профессионального поэта для реализации своих замыслов в поэтических образах. Но здесь начинается и первое, и существенное отличие. Во-первых, Густав в своем замысле героической оперы обратился к сюжету из национальной истории — к жизни основателя шведской династии Гу-

става Вазы. А во-вторых, поэт Йохан Хенрик Келлгрен писал либретто оперы по-шведски, что было принципиально для создания и развития национальной героической мифологии. Екатерина писала по-французски лишь свои сценические пословицы, предназначенные для узкого эрмитажного круга придворных и дипломатов. Основная же часть ее драматургических опытов писалась сразу по-русски. Ей не требовался, как Густаву, и вдохновенный поэт (А.В.Храповицкого к таковым не отнесешь).



Сцена из спектакля «Комическая опера Екатерины Великой»: Торон — Д.Воробьев, Кривомозг — С.Барковский. Александрийский театр. *1998 г.*

Обыгрывание формы было для Екатерины принципиальным, ибо она, перенимая образцы, была далека от прямого подражательства. Она всегда стремилась к созданию оригинального политического и эстетического коктейля. Эстетическая театральная игра становится в операх Екатерины превалирующим приемом. Если поставить ее произведения в ряд русской комической оперы XVIII века, то в первую очередь бросается в глаза то, что в них отсутствует лирический элемент. Даже лирические любовные сцены здесь подаются иронически и как бы «отстраненно».

Екатерина не владела, естественно, в должной мере оперной формой, и в дневнике Храповицкого мы находим, наряду с упоминанием о «Лексиконе рифм», свидетельства о том, что верный секретарь объяснял ей правила построения арий, хоров и дуэтов. Сам собой напрашивается вопрос: зачем Екатерине, не любившей и не воспринимавшей музыку с детства, понадобилась музыкальная форма, зачем ей было выступать в роли неофита, в то время, когда у нее уже имелся опыт работы в жанре прозаической комедии? На наш взгляд, тому имеется несколько объяснений.

Первым из них является тот факт, что Екатерина как подлинная императрица желала владеть всем театром и не могла удовольствоваться какой-либо его частью. Ее амбиции простирались на все театральное царство, и она хотела быть здесь абсолютной монархиней. С другой стороны, коль скоро бывший ее патрон, а впоследствии и оппонент Фридрих Великий, а также «любезный брат» Густав Шведский утверждали свое господство в области абсолютной гармонии — то есть в музыке, — то для Екатерины было важно дать им бой на их же собственной территории. Атаковать столь чуждую ей музыку с помощью иронии и пародии — было главной ее задачей. Опера и балет, культивирующиеся некогда в Ораниенбауме, при дворе ее покойного супруга Петра III, который считал себя апологетом Фридриха, отошли в прошлое. Между тем образ ее незадачливого мужа, бедного рыцаря, который являл собой пародию на своего дядюшку Фридриха, постоянно возникал в ее сознании. Если Фридрих играл на флейте, то Петр III не оставлял скрипку. Екатерине, как известно, не был дарован внутренний камертон. Опера-сериа, господствовавшая при Ораниенбаумском дворе, уже изжила себя. Теперь ей понадобилась опера буффонная.

Конечно же, Екатерина лукавила, заявляя о том, что ее оперные сочинения не более чем «безделки», и что она «кроме развлечения никогда не придавала этому никакой важности». Именно так она, очевидно, пыталась трактовать свои театральные увлечения и королю Густаву, когда тот гостил у нее в Царском Селе. Однако она же сама рекомендовала ему либретто «Цефал и Прокрис», на сюжет которого в России еще при императрице Елизавете итальянским композитором Ф.Арайей и русским драматургом Александром Сумароковым была написана опера. Однако Густав, стремясь к независимости от своей старшей кузины как в политической, так и художественной сфере, чувствовал себя ущемленным.

Свободу Густава, как известно, сковывали в значительной мере его зависимость, с одной стороны, от парламента, с другой стороны, от Пруссии и России. Своим особым покровительственным тоном Екатерина все время как бы между делом задевала самолюбие молодого короля. Вообще, надо сказать, Екатерина, а вслед за ней и другие русские дамы подчеркивали в своем отношении к Густаву некую снисходительную интонацию. Не без известной доли иронии обе русские Екатерины — императрица и княгиня Дашкова — отзывались о шведском короле как о большом ребенке, склонном идеализировать и окружающую действительность, и самого себя. Во время знаменитой встречи во Фридрихсгаме в 1783 году Дашкова заметила, что путешествие короля во Францию ввело Густава в глубокое заблуждение относительно реального хода вещей. Это впечатление от общения с королем, по всей вероятности, разделяла и сама Екатерина Великая, ибо, как свидетельствуют протоколы встреч, она почти демонстративно стремилась сократить часы их общения. Из дневника Храповицкого видно, что Екатерина со своей стороны очень болезненно воспринимала все проявления воинственного рыцарского духа у мужчин и мгновенно подвергала их атаке стрелами своей иронии. Ситуация обострялась еще и тем, что именно накануне встречи во Фридрихсгаме, то есть в 1782 году, Густав задумывает реализовать свои представления об образе короля-героя в проекте оперы об основоположнике династии Ваза. Свой проект Густав готовил как политическую акцию, облеченную в театральную форму.

Если покровительственный тон прусского «старого Фрица» Густав еще мог стерпеть, то таковое же отношение, исходящее из России, а тем более от женщины, стерпеть, конечно же, было невозможно. Мудрый Фридрих на исходе своих дней стремился смягчить конфликт своих «подопечных».

Как бы то ни было, самолюбие Густава было ущемлено, что впоследствии подтвердилось. Волю своей обиде Густав дал в знаменитой политической ноте 1788 года, послужившей началом русско-шведской войны. Екатерина, находясь в Царском Селе, получила известие о военных приготовлениях Густава и поняла, что дело приобретает нешуточный характер. Вскоре явилась и так называемая «сумасшедшая» декларация шведского короля, где он упрекал Екатерину в недостаточном уважении его королевского достоинства и в пренебрежении по отношению к его суверенным правам. «Думаете ли вы, что этот безумец на-

падет на меня?» — вполне серьезно опасается императрица. Екатерина меняет своей ироничный тон и весьма серьезно говорит в своем окружении: «Мы шведа не задерем, а буде он начнет, то можно его проучить».

Летом 1788 года ведется дипломатическая война, разворачиваются военные действия Швеции. Вооруженный конфликт подвигает Екатерину вновь взяться за перо, чтобы попытаться решить давно назревавший идейный спор. Одно за другим она пишет три произведения в различных жанрах, два из которых для театра.

Пока военная угроза представляется достаточно сильной, Екатерина работает над своим публицистическим произведением — «Возражениями на ноту шведского короля». Этот документ, демонстративно изданный в Гельсингфорсе, раскрывает подоплеку спора. Екатерина пытается разумными доводами опровергнуть претензии, выдвинутые Густавом, по пунктам отвечая на них. Она строит это сочинение как своеобразный диалог, интеллектуальный спор. Однако вскоре становится ясно, что Густав и Екатерина как бы не слышат друг друга.

И Густав и Екатерина оказываются глухи к доводам друг друга. Густав, заранее предвкушая победу, ослепленный воинственным духом, прибегает даже к недозволенному средству: он рассылает стокгольмским дамам приглашения на бал в Петергофе. Однако воинственность короля заметно угасает, когда становится ясно, что надежда на скорую и легкую победу иллюзорна. Выясняется, что не только из самой России исходит недовольство этой войной, ее противники обнаруживаются и в тылу. Брат короля герцог Зюдерманландский, будущий Карл XIII, готов вступить в сепаратные переговоры с Екатериной, а в Финляндии, на территории которой велись военные действия, появились силы, поддерживающие Екатерину, да и сам шведский парламент был весьма критически настроен к воинственным устремленям Густава. Утвердить свою абсолютную власть Густав стремился путем обретения воинских доблестей: внутренние проблемы страны он пытается решить сугубо внешними средствами. В этом и заключалась «драматическая» ошибка Густава, за что он впоследствии и поплатится своей жизнью. Как истинно театральный герой он будет убит в маскарадном костюме на бале в Стокгольмской опере. Ему не удалось на деле превратить жизнь в театр, и театральная драма обернулась реальной трагедией. Трезвый и реальный взгляд Екатерины стремился к разоблачению напыщенной театральности, к высмеиванию новоявленного геройства.

В августе 1788 года вслед за своими «Возражениями» Екатерина обращается к жанру театральной пословицы. Так появляется комедия «Le voyages de m-r. Bontemps», предназначенная для узкого круга эрмитажных друзей императрицы. Эта комедия, написанная по-французски, является своеобразным эскизом будущей оперы о «Горебогатыре». Зачастую при разговоре об этой опере французская «проверба» остается в тени. Однако в истории возникновения и эволюции замысла Екатерины она имеет очень важное значение. Эта проверба была закончена 27 августа, и Храповицкому было отдано приказание, переписав ее, отдать актерам и разыграть в Александров день в комнатах фаворита императрицы графа Дмитриева-Мамонова, то есть 30 августа в день легендарной победы Александра Невского над шведами на берегах Невы.

Все художественные приемы в этой комедии призваны уязвить шведского короля. И его рассказ о путешествии в заморские страны, и выдумки о мифических подвигах, и диалоги с теткой M-me de Poid. Но более всего здесь интересен монолог Криспина, где повествуется о походах и морском сражении, что вызывало прямые ассоциации с современными событиями. Пословица и мораль сей пьесы были таковы: «a bean mentir que vient de loin», то есть «хорошо тому лгать, кто приходит издалече». Французский язык, на котором была написана пословица (и на котором предпочтительно говорил сам Густав), только усиливал намек, придавая ему еще большую остроту. Фактически «проверба» была написана в духе памфлета.

Екатерина слишком горячилась, Густав вызывал ее негодование. Эрмитажный кружок, в который входили дипломаты граф Сегюр, граф Кобенцель и другие близкие ей люди, без труда понял намерение Екатерины. Однако под благовидным предлогом, из-за болезни Дмитриева-Мамонова, сочинительница воздержалась от столь резкой политической акции, и спектакль был отменен.

Вскоре А.В.Храповицкий заметил, что Екатерина работает над комической оперой. Это третий этап осмысления темы, который логически последовал за политической декларацией и политическим памфлетом.

Сюжетная схема и художественная идея были заданы уже в «провербе». Герой отправляется на поиски военных подвигов и бранной славы, но вместо этого проводит время неподобающим образом в увеселительных заведениях, но, возвратившись домой, разоблачает себя, рассказывая о своих мифических победах. Среди персонажей пьесы мы находим и тетку Горебогатыря, которая, понимая вздорность амбиций горегероя, все же решает его ублажить. Есть здесь и слуга, который, понимая ничтожность геройских амбиций, между тем поддерживает обман.

Сцена из спектакля «Комическая опера Екатерины Великой»: Степанида Даниловна — О.Боброва. Александрийский театр. *1998 г.*

Однако французский язык и колорит провербы уже не устраивают Екатерину. Она мечтает о более глубоком и объемном замысле. В ее сознании рождается собирательный образ Горебогатыря, в котором явственно проступают не только черты Густава, но и собственного незадачливого мужа и его кумира Фридриха. Возникает и своеобразное предостережение собственному сыну Павлу. И тогда императрица твердо решает использовать русские фольклорные мотивы.

Многочисленные поиски фольклорных источников «Горебогатыря», однако, не привели ни к каким результатам. Вслед за А.В.Храповицким многие исследователи повторяли, что Екатерина первоначально использовала народную сказку о «Фуфлыге». 11 сентября Екатерина повелевает отыскать сказку о Фуфлыге-богатыре, которую она якобы

слышала от графа Орлова, и, прибавив к ней современную историю (l'histoire du temps), сделать оперу. Сам А.В.Храповицкий удивлялся, откуда эта сказка могла попасть к Екатерине. Есть все основания думать, что подобный сюжет явился не чем иным, как стилизацией самой Екатериной сказки под народный лубок. К тому же за плечами у императрицы был опыт работы с лубочными сюжетами.

Работу над либретто оперы Екатерина обычно начинала с наброска сюжета в прозаических диалогах. Об этом свидетельствуют черновики опер о богатыре Боеславиче и витязе Архидеиче. К А.В. Храповицкому Екатерина обращается за помощью лишь тогда, когда сюжет у нее уже в основном сложился. Недаром впоследствии Екатерина перед текстом оперы велела опубликовать и саму сказку о Горебогатыре, написанную в прозе. Текст сказки можно рассматривать как своеобразный сценарий будущей оперы.

Однако только 22 ноября Екатерина читает А.В.Храповицкому начало оперы все еще под прежним названием — «Фуфлыга». Технология создания либретто предельно ясна: Екатерина оставляет за собой общий сценарный замысел и прозаические диалоги, а стихи для арий и ансамблей отдает делать Храповицкому. А.В.Храповицкий в свою очередь просит дать только содержание предполагаемых арий в прозе. Совместная работа с Храповицким начинается с выбора имени героя. Фуфлыга здесь явно не годится, ибо ничего, кроме общего обозначения характера, не выражает. Храповицкий пробует пойти прямым путем, дав варианты анаграмм на имя Густава, о чем и сообщает в дневнике 23 ноября 1788 года. Того же 23 ноября Храповицкий уже приносит готовую выходную арию Горебогатыря «Геройством надуваясь». Здесь, собственно, и выражена основная мысль Екатерины. Чем удобно в данном случае оперная форма Екатерине? Она предоставляла возможность достаточно открыто и декларативно представить героя, сочетая в монологах персонажа «остраненность» оценок с самораскрытием. Форма оперной арии давала возможность соединить живое действие с авторским морализаторством. Таким образом, риторика главного героя была уже пропитана известной долей иронии.

Имя герою еще 24 ноября не было найдено. Екатерина пытается задать тон образному строю оперы. Храповицкий предлагает придумать имя, исходя из характера героя, то есть пойти по тому же пути, как это делали, изобретая имена для других персонажей. А между тем уже были найдены имена придворным и наперсникам главного героя: Громкобай, Тороп и Кривомозг...

На следующий день в рукописи появляется впервые имя главного героя — Горебогатырь Косометович. Когда 5 декабря Храповицкий представил уже полностью первый акт, Екатерина своей волей исключила из него три арии, связанные с «валянием героя на траве», «таскания изюму и игре в свайку». А.В.Храповицкий соглашается, что в этих ариях ощущалась некоторая искусственность. Замедление действия за счет экспозиции не нужно Екатерине. Начальный хор «Оставя хлопоты работы» уже достаточно вводит зрителя в атмосферу действия. По ее замыслу на фоне вступительного хора Горебогатырь исполняет пантомиму. Концентрация внимания на основном высказывании-характеристике, высказывании-оценке для Екатерины оказывается принципиальной.

Работая над 2-м актом, 6 декабря Екатерина требует заменить арию о пагубном значении храбрости. Первоначально в тексте, сочиненном Храповицким по заданию Екатерины, были написаны следующие стихи:

Единой храбростью своею
Сломить себе всяк может шею;
Не будь на храбрость тароват,
Вовек не будешь виноват.

Здесь Екатерину, очевидно, не устроила морализаторская категоричность. Императрица желала быть точно понятой. Она говорила не о храбрости вообще, которая ею заслуженно почиталась, а о «лжегеройстве». А это уже совершенно разные вещи. Вместо убранной арии появляется песня Торопа и Кривомозга «Мы смелости не доказали...»

В ходе работы над либретто оперы возникает одна существенная аллюзия. Вводя эпизод о безруком старике, без труда справившемся с Горебогатырем, Екатерина явственно намекает на безрукого инвалида, коменданта Нейшлота, почти без усилий отразившего удар войск Густава, численно значительно превосходивших гарнизон крепости...

Когда опера была закончена, Екатерина дала совершенно четкие инструкции о том, как следует ее исполнять. 8 декабря 1788 года императрица говорит о том, что эта опера — «бурлеск». Но главное, чтобы актеры играли ее живее и развязнее. Собственно говоря, Екатерине было важно подчеркнуть пародийный характер арий, дуэтов и хоров. Так, в опере присутствует пародия на «античный хор». В опере он состоит из так называемых «барских барынь». Именно этот Хор открывает действие. В явлении третьем Екатерина разбивает этот Хор на две части, и они, двигаясь вправо и влево от главного героя, своим движением и перекличкой пародируют античную трагедию с антитезами строфы и антистрофы. Роль Хора в опере весьма значительна. Барские барыни своеобразно опекают Горебогатыря, они молят его мать Локмету отпустить сына «на подвиги», затем плачут при расставании, имитируют колокольный звон при появлении шумливой невесты Гремилы и, наконец, встречают и славят Горебогатыря, возвращающегося с «победой». «Античный хор», тексты которого построены на народных причитаниях о «нерадивом дитяти», в сочетании с воинственной патетикой и мнимой торжественностью придает опере явно пародийное звучание.

По законам пародии построена и сцена расставания Горебогатыря с его матерью, Локметой. Патетическую арию Локметы предваряет ее хлесткая фраза: «Пусть он едет, не збесясь собака не пропадает». Патетика первой фразы арии «Куда захочешь поезжай!» резко контрастирует с ее вторым стихом: «лишь о пол лба не разбивай», а напыщенному обороту «И током слез из глаз своих» дано вполне пародийное разрешение: «Ты не мочи ковров моих!» Контраст возвышенной патетики, которую задает сама форма героической арии, и явной «прозаизации» доминирует во всех музыкальных номерах. Если первый акт посвящен проблеме принятия «ответственного решения», то во втором акте показаны сборы Горебогатыря в дорогу. Этот акт состоит из двух частей. В первой — Локмета отдает приказание своим верным слугам — конюшему Кривомозгу и оруженосцу Торопу отправиться вместе с Горебогатырем в поход и охранять его. Ария Кривомозга «Моя пропала голова», в которой прослушиваются интонации плача, не предполагает никакой патетики. Вставленная на место «геройской» арии, приличествующей ситуации, ария Кривомозга лишь подчеркивает комическое снижение. Дуэт Кривомозга и Торопа имеет трехчастную композицию. Реплика Кривомозга «Куда нас рыцарь повезет?» и вполне пессимистический ответ Торопа «Куда нелегкое несет!». А затем возникают нотки страха по-

следних двух строк, поющихся в унисон.

Убавим спеси мы маленько,
И дома будем жить смирненько.

Портреты двух наперсников Горебогатыря, казалось бы, совершенно закончены. Однако Екатерина вводит еще одну сцену с казначеем Громкобаем, имеющую принципиальное художественное и политическое значение. В сцене трио с Громкобаем весьма остро раскрывается позиция Екатерины. Кривомозг и Тороп решительно требуют денег у казначея для готовящегося похода. Однако Громкобай весьма определенно заявляет:

Не нада денег брать в поход,
С чужой земли сберешь доход;
Куда вить рыцарь не приходит,
Всегда готовое находит.

Политическое кредо скаредного Громкобая звучит вполне саркастически. Обнажая тайные намерения героя-рыцаря, Екатерина направляет свой удар против своих оппонентов.

В финальном трио третьего явления обнажается суть этих трусливых героев. Они лишь говорят о том, что настоящих рыцарей можно встретить только в сказках, а от любого препятствия есть один способ — бегство.

Далее во втором акте дается своеобразная символическая сцена выбора доспехов. Горебогатырь в каменной кладовой примеряет доспехи знаменитых сказочных рыцарей. Эти доспехи оказываются слишком велики ему и так тяжелы, что он буквально падает под их весом. И здесь Тороп и Кривомозг предлагают ему взять игрушечные доспехи, которые придутся ему вполне впору. Финал второго акта — дорожная песенка Горебогатыря, которую подхватывают его наперсники.

Контраст легкомысленной ребячливой воинственности и плаксивой трусливости, намеченный во втором акте, прослеживается и в дальнейшем. Здесь, однако, возникает новый мотив. Тороп и Кривомозг пытаются воздействовать на Горебогатыря, запугать его и заставить возвратиться домой. В третьем действии дуэт Горебогатыря и Торопа начинается рассказом Торопа о «неудобствах» местности для «храбрых сражений». Заунывная, однообразная интонация Торопа сменяется рваной интонацией испуга Горебогатыря, который, видя в поле дым, до смерти пугается. Драматургия этого комического дуэта подготавливает пародийно-лирическую арию главного героя «Богатырско сердце ноет».

Страдания Горебогатыря иронически сравниваются Екатериной с воем в желудке:

Хочется когда мне есть,
Хочет тоже спесь и честь.

Слово «спесь» здесь звучит как бы «от автора», как своеобразная характеристика героя. Екатерина очень часто пользуется этим приемом, вставляя в прямую речь героев свой комментарий. Этот прием вносит, с одной стороны, морализаторский оттенок, с другой стороны, служит своеобразным указующим перстом зрителям, подчеркивая идеологическую тенденцию.

Следующий эпизод рисует один из лжеподвигов Горебогатыря. Осада избушки безрукого старика, как уже отмечалось, была подсказана реальным эпизодом из русско-шведской войны. Для Екатерины были важны мотивы. Горебогатырь в своей воинственной арии-призыве со всем простодушием говорит о целях войны:

Тогда придем к обеду,
И воспоем победу!

Дуэт Кривомозга и Торопа — также памфлет на позицию союзников в войне:

Тебе мы рады помогать,
Пока не будут нас толкать.

Ария Старика звучит как вполне определенная политическая декларация:

Бессмертия не покупают,
Героев в Стиксе не купают,
За деньги славы не дают,
И рыцарей шальливых бьют.

Итак, мы видим, что пародия, морализаторство и политическая декларация идут в опере Екатерины «рука об руку».

Принципиально, что единственная в опере по-настоящему лирическая ария отдана матери Горебогатыря Локмете. Построенная на манер народных печальных песен, она лишена самоиронии, лишена она и «указующих перстов» самой Екатерины. Это вполне цельное лирическое интермеццо, которое свидетельствует о том, что в этом образе Екатерина выразила самое себя. Иронизирует она, и то только слегка, над Громкобаем, который готов немедленно отправиться по приказанию Локметы «за тридевять земель». Здесь императрица слегка подсмеивается над своими слишком ретивыми приближенными.

Появление невесты Горебогатыря Гремилы вместе с матерью Степанидой Даниловной подана комически. В то время как играется торжественный марш и Хор пытается предварить появление невесты, Громкобай сталкивается в дверях с входящими. На пороге Локметиных покоев затевается возня, и, таким образом, торжественность появления невесты Горебогатыря оказывается существенно сниженной. Образ Гремилы вызывал у исследователей, писавших об этой опере, споры. Существует не одна версия, кого же именно имела в виду Екатерина, вводя тему женитьбы Горебогатыря и создавая образ Гремилы Шумиловны (от глаголов «греметь» и «шуметь»). Однако суть здесь заключается в том, что Екатерина желала свести военные амбиции горе-героев к семейным радостям и семейному пустозвонству. Неясность аллюзионных ходов говорит о том, что Екатерина метила не в конкретное лицо, а скорее в самую суть явления. Чем дольше она работала над текстом оперы и развитием сюжетной схемы, тем дальше она уходила от прямого политического памфлета.

Значение образа Гремилы в композиции оперы связано со стремлением Екатерины подчеркнуть страсть к пустозвонству. Здесь Екатерина использует свой излюбленный прием пародирования оперной формы. Оперные фиоритуры, которыми наполнена эта ария, лишь подчеркивают характер этой девицы, стремящейся произвести как можно больше «грома, звука, стука, треска». Тема арии Гремилы в финале четвертого акта переходит Хору, имитирующему перезвон колоколов. Эта пародийная имитация торжественного апофеоза в отсутствие и героя и подвига представляется наиболее эффектной сценой в опере.

Все четвертое действие практически лишено музыки. Здесь все отдано интриге. В стане Горебогатыря появляется Громкобай, который уговаривает Торопа и Кривомозга напугать Горебогатыря и тем самым заставить его возвратиться домой. Вместо музыки Екатерина организует какофонию из звуков охотничьего рога, улюлюканья, криков, визгов, которые загоняют Горебогатыря на дерево. Диалог насмерть испуганного Горебогатыря и его наперсников и является кульминацией действия. «Рыцарь» готов уже проститься со своими геройскими амбициями:

Как знаете везите,
Куда вы захотите!

Но существует еще одна цент-

ральная для замысла екатерининского произведения проблема: как же будет выглядеть горе-герой, удрав с поля боя?

И здесь наперсники Горебогатыря дают хитрый совет: сочинить басню о громких победах. Екатерина иронизирует над стремлением во чтобы то ни стало защищать честь мундира. В завершающем четвертое действие квартете возвращающихся героев она вставляет рефрен, который звучит особенно саркастически. Здесь введено название конкретного российского города, куда желает поскорее возвратиться Горебогатырь: «пойду, поеду в Арзамас!» Арзамас — символ заштатного провинциального городишки, символ непрезентабельной реальности. И это указание на реальное место действия последнего акта нужно Екатерине для усиления комического эффекта.

Финал оперы строится на манер классического финала героической оперы с хорами. Здесь есть все: и торжественный въезд войска в город, и Хор встречающей толпы, и темпераментный рассказ-ария героя о своих подвигах, и любовный дуэт восхищенной подвигами невесты с самим героем. Дуэт этот заканчивается самохарактеристикой новоиспеченной пары:

Горебогатырь с Гремилой
Брак составят не постылой,
Так согласны меж собою,
Словно ряпушка с водою.

Характерна лексика использованная в дуэте. Брак, который заключили Горебогатырь с Гремилой, называется не «счастливым», а «непостылым». И к тому же для сравнения взята не какая-нибудь благородная рыба, а вполне прозаическая мелководная речная рыбка — ряпушка.

Дуэт разростается в финальный Хор, который и трактует эту историю в духе русской пословицы о синице, которая хотела зажечь море, не смогла этого сделать, но произвела много шума. Слово «море» потребовалось Екатерине не случайно. Именно морские сражения на Балтике наделали шума на политическом горизонте Северной Европы, однако к 1789 году стало ясно, что этот «шум» во многом так и остается шумом, не способным поколебать, по мнению Екатерины, ее силы и величия.

Иронизируя над «любезным кузеном», в день заключения мирного договора с Густавом, означающего прекращение столь нелепой с ее точки зрения войны, она приказала в Эрмитаже устроить маскарад, где мужчины переоделись бы в женское платье, а женщины, — в мужское. Как будто вспомнив о некогда бывшем намерении Густава отпраздновать бал в Петергофе, она решила порядком проучить мужчин. К заключению долгожданного мира в 1790 году она готовила и премьеру своего «Олега».

Поводом к подготовке этого представления послужило также донесение из Стокгольма. Когда Густав почувствовал, что поражения на театре войны существенно подрывают его авторитет, он стремительно покидает армию и мчится в Стокгольм, где, даже не заезжая во дворец, отправляется в оперный театр на представление своей оперы. Именно получив это послание, Екатерина и отдает приказание своему секретарю А.В.Храповицкому достать рукопись «Олега» и отдать князю Г.А.Потемкину для того, чтобы он заказал музыку, а затем поставить это сочинение на сцене. Но это будет позже.

А поздней осенью 1789 года Екатерина просит своего фаворита Дмитриева-Мамонова заказать музыку к «Горебогатырю». Заказ достается испанскому композитору Мартин-и-Солеру, который в это время служил капельмейстером в Петербурге. Как известно, Екатерина впоследствии считала, что в музыке «слишком много итальянского». Однако, если вслушаться в мелодику этой оперы Мартин-и-Солера, то можно услышать в ней и обработанные чисто русские мотивы, интонации и ритмику. Музыка «Горебогатыря» поистине прелестна. Однако главный сценический эффект возникает от взаимодействия очень красивой мелодичной музыки и намеренно прозаизированной, даже чуть простоватой лексики. Этот стилистический контраст, как мы уже говорили, был осознанно использован самой Екатериной в образном строе этой оперы.

Она сама внимательно следила за репетициями спектакля. Желая подчеркнуть гротескный характер этого сюжета, она велела взять костюмы из ходовой в то время постановки русской комической оперы Аблесимова «Мельник, колдун, обманщик и сват». У актеров она желала видеть все больше развязности и озорства. Екатерина следила за зрительской реакцией. Более всего ей хотелось увидеть реакцию цесаревича Павла, ее собственного сына, «русского Гамлета», как его называли в Европе. Почему ей была важна именно его реакция? Да именно потому, что целилась в своей опере она не только в Густава, но в его лице во всех мужчин-горе-богатырей, которые военные и геройские доблести ставили превыше всего. Конечно же, ни ее давний оппонент Фридрих (умерший за несколько лет перед тем), ни его усердный подражатель Петр III (свергнутый ею с престола), ни ее ярый оппонет Густав не могли присутствовать в зале Эрмитажного театра. За них всех пришлось «отдуваться» Павлу...

Удовлетворившись той реакцией, которую она увидела со стороны Павла, его сыновей, дипломатов и придворных, Екатерина между тем запретила представление оперы на публичном театре. Ее художественный удар был важен отнюдь не для широкой публики, а лишь для тех, кто был «включен» в контекст спора. Эта «контекстуальность», определенного рода зашифрованность содержания оперы Екатерины, казалось, существенно сузила круг ее зрителей. Однако Екатерина делает еще один важный шаг. В 1789 году она публикует и либретто и музыку оперы отдельным изданием и отдает приказание перевести ее на французский и немецкий языки. Тем самым Екатерина сделала свое произведение доступным тем, кому оно было адресовано.

Политический диалог продолжила сама жизнь. События французской революции, разгоревшейся вскоре, заставили Екатерину забыть распри и уже не охлаждать, а, наоборот, воодушевлять своего кузена Густава как мужчину и рыцаря отстаивать достоинство монархической власти в Европе. Их переписка возобновляется с новой силой. Но это уже другая история...

Спустя 200 лет опера Екатерины вновь прозвучала на подмостках Эрмитажного театра. Артисты Александринского театра — наследники той театральной труппы, которая была привлечена Екатериной для исполнения своей оперы, — вновь исполнили «Горебогатыря». И, удивительно, оказалось, что опера отнюдь не устарела. Она, как и прежде, поражает игрой остроумия и также метко целит в современных «горебогатырей», которые в политике предпочитают авантюру разумной сбалансированности интересов. Россию и Швецию давно не разделяют военные распри, и «улыбательный» дух Екатерины, окончательно восторжествовав в наших отношениях, позволил показать спектакль александринцев в Стокгольме. Там же был проведен и научный симпозиум «Опера в политическом диалоге XVIII века».

**ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕДАКЦИИ:**

**РИМ,**
**Lettera Internazionale**

Гл.редакторы
ФЕДЕРИКО КОЭН,
АНТОНИН ЛИМ
*c/o Lelio Basso Foundation, Via della Dogana Vecchia 5, 00186 Roma,*
*tel.: 0039-6-68300644*

**МАДРИД,**
**Letra Internacional**

Гл.редакторы
САЛЬВАДОР КЛОТАС,
АНТОНИН ЛИМ
*Monte Esquinza 30, 2º dcha.*
*28010 Madrid, tel.: 0034-1-3104696*

**БЕРЛИН,**
**Lettre International**

Гл.редакторы
ФРАНК БЕРБЕРИХ,
АНТОНИН ЛИМ
*Rosenthaler Str. 13, 10119 Berlin,*
*tel.: 0049-30-30870441*

**БЕЛГРАД,**
**Lettre Internationale**

Гл.редакторы
ЙОВАН ХРИСТИЧ,
АНТОНИН ЛИМ
*Cika Liubina 1/V, 11000 Belgrad,*

**БУДАПЕШТ,**
**Magyar Lettre Internationale**

Гл.редакторы
ЕВА КАРАДИ,
АНТОНИН ЛИМ
*Nagyened u. 11/a; 1123 Budapest,*
*tel.: 361-2021089*

**ЗАГРЕБ,**
**Lettre Internationale**

Гл.редакторы
СЛОБОДАН П.НОВАК,
АНТОНИН ЛИМ
*Trg. Bana J. Jelacica 7, 4100 Zagreb*
*tel.: 041-416792*

**БУХАРЕСТ,**
**Lettre Internationale**

Гл.редакторы
Б.ЭЛВИН,
АНТОНИН ЛИМ
*Aleea Alexandru 38, sectorul 1, 71273 Bukaresti*

**СОФИЯ,**
**Lettre Internationale**

Гл.редакторы
ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВА
АНТОНИН ЛИМ
*Open Society Fund, Serdika Str. 1, 1000, Sofia, tel.: 003592-9888632*

**СКОПЬЕ**
**Lettre International**

Гл.редакторы
НИКОЛА КОСТЕСКИ
АНТОНИН ЛИМ
*Bul. «Sv.Kliment Ohridski», 15, Knizevno-likoven salon «Gurga», 91000 Skopje. Republic of Macedonia, tel.: 389 (0) 91228076*

**АВТОРЫ:**

**Константин Азадовский** —
историк литературы, переводчик.
**Абрам Блох** —
историк литературы. Живет в Москве.
**Ларс Андерссон** —
шведский писатель.
**Людмила Глухова** —
научный сотрудник Государственной Национальной библиотеки.
**Фаина Золотаревская** —
историк, литературовед.
**Владимир Лапин** —
историк.
**Ольга Либова** —
научный сотрудник Государственной Национальной библиотеки.
**Александр Львовский** —
литературовед.
**Александр Мусин** —
историк, археолог, диакон РПЦ.
**Евгений Пастернак** —
исследователь жизни и творчества Б.Л.Пастернака. Живет в Москве.
**Вадим Рогинский** —
историк. Живет в Москве.
**Адриан Селин** —
историк.
**Наталия Толстая** —
филолог, переводчик, писатель.
**Борис Фрезинский** —
историк литературы.
**Ирина Цимбал** —
искусствовед, переводчик.
**Татьяна Шах-Азизова**—
театровед, историк. Живет в Москве.
**Валерий Шубинский** —
литературовед, эссеист.
**Александр Чепуров** —
театровед.
**Черстин Экман** —
писатель. Живет в Швеции.
**Магнус Юнггрен** —
исследователь русской культуры. Живет в Швеции.
**Бенгт Янгфельдт** —
славист, исследователь русской литературы XX века. Живет в Швеции.

**ПЕРЕВОДЧИКИ:**

**Константин Азадовский**
**Александра Афиногенова**
**Елена Баевская**
**Юрий Беспятых**
**Мария Людковская**
**Ольга Макарова**
**Александра Поливанова**
**Елена Рябинина**
**Наталия Толстая**

**ПОЭТЫ:**

**Сергей Петров**
**Эдит Седергран**
**Тумас Транстремер**

ISSN 0869-3560

Подписано в печать 13.05.2002 г. Формат 60×90 1/8.
Объем 17,5 п.л. Зак.194. Лицензия № 1600 от 27.02.91 г.
Отпечатано в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.

Обложка отпечатана в типографии ОАО «Иван Федоров»

**Константин Азадовский ■ Абрам Блох ■ Ларс Андерссон ■ Людмила Глухова ■ Фаина Золотаревская ■ Эллен Кей ■ Владимир Лапин ■ Ольга Либова ■ Александр Львовский ■ Александр Мусин ■ Евгений Пастернак ■ Вадим Рогинский ■ Карл фон Руланд ■ Адриан Селин ■ Август Стриндберг ■ Наталия Толстая ■ Борис Фрезинский ■ Ирина Цимбал ■ Татьяна Шах-Азизова ■ Валерий Шубинский ■ Александр Чепуров ■ Черстин Экман ■ Магнус Юнггрен ■ Бенгт Янгфельдт**

К 300-летию С.-Петербурга редакция международного журнала «Всемирное слово» совместно с петербургским ПЕН-клубом осуществляет новый уникальный проект — тематическую серию журналов, посвященных истории развития культурных связей России с европейскими странами. Вышли в свет: № 12 — Россия и Германия (1999 г.); № 13 — Россия и Франция (2000 г.); № 14 — Россия и Англия (2001 г.); № 15 — Россия и Швеция (2002 г.).